



РАБИНДРАНАТ ТАГОР

РАБИНДРАНАТ ТАГОР



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**В ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ**

*Под редакцией Евг. Быковой,
А. Гнатюка-Данильчука, В. Новиковой*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1963**

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

ДОМ И МИР

Роман

РАССКАЗЫ

Переводы с бенгальского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1963

И (Инд)
Т-13

Комментарии

В. Новиковой,

А. Гнатюка - Данильчука

Переводы под редакцией

В. Ефановой

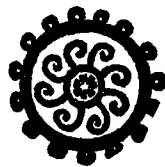
Оформление художника

Н. Крылова



ДОМ И МИР

Р о м а н



Перевод
В. Новиковой



РАССКАЗ БИМОЛЫ

О ма! Сегодня я так ясно вижу пунцовую полоску твоего пробора, твое сари с алой каймой, твои глаза — умные, добрые, спокойные, — и мне кажется, будто золотистый свет зари заливает лоно моей души. Щедро одаренная этим золотом вступала я в жизнь. А потом? Разве черные тучи, словно шайки разбойников, не настигали меня в пути? Неужели они отняли все, не оставив и крупницы золота от тех россыпей света? Пусть в грозные минуты, уготованные нам судьбой, меркнет этот дар священной зари, возвестившей рождение жизни, — разве он может угаснуть навеки?

Красивыми считают у нас людей со светлой кожей. Но разве не темной краской окрашено небо, дарующее нам свет? Моя мать была темнокожей, однако она так и светила благодатью, той самой благодатью, перед которой отступает внешняя красота.

Все говорили, что я похожа на мать. В детстве как-то раз я даже рассердилась на зеркало. Мне казалось, что судьба обидела меня, что она незаслуженно, по ошибке, наградила меня темным цветом кожи. И я усердно молила бога, чтобы он помог мне стать, по крайней мере, такой же благочестивой женщиной, какой была моя мать.

Когда настало время выдавать меня замуж, астролог, присланный семьей мужа, посмотрел на линии моей ладони и сказал:

— Девушка обладает счастливыми знаками, она будет настоящей Лакшми.

И все женщины подтвердили:

— Так и должно быть! Ведь Бимола вылитая мать!

Я вошла в семью раджи. Этот род был знатен еще во времена падишахов. В детстве я очень любила сказки о прекрасном царевиче, мое воображение рисовало мне удивительную картину. Он весь, казалось, был соткан из лепестков жасмина, я словно лепила его лицо из трепетных желаний своего сердца, вобрав в себя извечные мечты и чаяния юных девушек, которые с такой любовью лепят маленьких идолов на празднике Шивы. Как удивительны были его глаза, нос, усы, темные и шелковистые, линией своей похожие на изгиб крыла летящей пчелы.

Но оказалось, что мой муж совсем не похож на сказочного царевича. Даже лицом он был темен, как я. Я перестала стесняться собственной непривлекательности. Однако где-то в глубине души затаилось легкое разочарование. Уж лучше бы мне стыдиться самой себя, чем никогда не увидеть воочию царевича моих грез! Но я понимала, что истинной красоте чужды внешние эффекты, она проявляется где-то в глубине, скрыто. И именно она способна внушить любовь, которая не нуждается в украшениях. Еще в детстве я видела, каким прекрасным делает все вокруг такая любовь. Я наблюдала, как моя мать тщательно чистила для отца фрукты, как она расставляла еду на белом мраморном блюде, заботливо приготавливала для него пакетики бетеля, спрыснутого благоухающими эссенциями, или осторожно отгоняла мух веером из пальмовой ветви, пока он ел. Я уже тогда понимала, в какое удивительное море прекрасного струятся потоки нектара ее души, нежность ее ласковых рук.

И разве тогда уже не звучала в моей душе эта песня любви? Да, звучала. Хотя, по всей вероятности, я не сознавала этого. И если величественный гимн всевышнему способен наполнить жизнь каким-то глубоким смыслом, то и эта мелодия моего утра делала свое дело.

Вспоминаю, как первое время после нашей свадьбы я часто подымалась на рассвете и бесшумным движением брала прах от ног мужа. Мне казалось, что в эти мгновения красная полоска моего пробора горит пламенем

утренней звезды. Однажды муж проснулся и, улыбаясь, воскликнул:

— Что это, Бимола? Что ты делаешь?

Я никогда не забуду, как стыдно мне стало. Ведь он мог подумать, что я заискиваю перед ним. Но нет, нет! Просто мое женское сердце не могло любить, не преклоняясь.

В доме моего свекра придерживались старых обычаев, сохранившихся еще со времен моголов и патанов, и соблюдали заветы Ману и Парашары. Но мой муж был вполне современным человеком. В своей семье он первый получил хорошее образование и сдал экзамены на магистра. Оба его старших брата умерли в молодости от пьянства. Детей у них не было. Мой муж вина не пил и не был склонен к пороку. Его образ жизни был настолько необычным в этой семье, что решительно никому не нравился. Безупречное поведение, думали они, удел пасынков судьбы. На луне найдется место для пятен, это звезды обходятся без них.

Свекор и свекровь умерли давно, и хозяйкой в доме была бабушка. Мой муж был светом ее очей, жемчужиной сердца; пользуясь особым положением, он иногда осмеливался преступать границы старых законов. Так он сумел настоять на своем, когда решил пригласить мисс Джильби учить меня и быть моей компаньонкой, несмотря на то, что языки местных кумушек источали по этому поводу не мед, а яд.

Муж мой в то время уже получил степень бакалавра искусств и готовился получить магистра. Чтобы иметь возможность посещать лекции в колледже, ему приходилось жить в Калькутте. Писал он мне почти ежедневно, всего несколько строк, несколько простых слов, но как ласково смотрели на меня мягкие закругленные буквы, начертанные его рукой.

Я хранила письма мужа в шкатулке из сандалового дерева и ежедневно осыпала их цветами, собранными в саду. К тому времени образ моего сказочного царевича окончательно побледнел, подобно тому как бледнеет луна при первых лучах восходящего солнца. Теперь в моем сердце безраздельно царствовал он — мой муж, я была избранницей его сердца и могла разделять с ним этот трон,

но как приятно мне было сознавать, что настоящее мое место — у его ног.

С тех пор я успела получить образование, познакомиться с современными понятиями и современной литературой, и сейчас, написав эти слова, я почувствовала, что мне стыдно. А ведь не зная я всего этого, я не находила бы ничего особенного, поэтичного в погребности боготворить любимого, — для меня это было бы также естественно, как то, что я родилась женщиной.

Однако на самой заре моей юности наступила новая эра. Теперь нас учат поэтизировать то, что прежде казалось нам таким же естественным, как дыхание. Нынешние цивилизованные мужчины считают чрезвычайно поэтичными и не устают превозносить до небес верность жен и добродетель вдов. Из чего нетрудно заключить, что именно здесь жизнь проводит грань между истиной и прекрасным вымыслом. Неужели истины можно достичь теперь только с помощью прекрасного вымысла?

Я не думаю, что все женщины мыслят и чувствуют одинаково. Но я знаю, что между мной и моей матерью было нечто общее, и это общее — преданность и любовь. Только теперь, когда со стороны все это кажется таким искусственным, я понимаю, насколько естественно это было для меня тогда.

Тем не менее мой муж не допускал никакого преклонения с моей стороны. В этом сказывалось его благородство. Корыстолюбивый и алчный жрец в храме не уступит своего места, потому что он недостойн преклонения. Только негодяи считают себя вправе требовать от своих жен безусловного почитания и унижают тем самым и себя и их.

Щедрость моего мужа была беспредельна. Поток обожания словно захлестнул меня. Бесчисленные наряды, подарки, покорность прислуги, выполнявшей все мои прихоти... Как отрешиться от всего этого и принести себя в дар? Ведь мне гораздо больше хотелось давать, чем принимать. Любовь самоотверженна, ее цветы часто распускаются пышнее в пыли, у обочин дорог, чем в драгоценных китайских вазах роскошной гостиной.

Моему мужу трудно было порвать со старыми традициями, которые ревниво поддерживались на женской поло-

вине дома. Мы не могли видеться в любое время, однако я знала точно, когда он придет, и потому наши встречи не были неожиданностью. Я предвкушала их как рифму стиха, как цезуру в ритмической волне. Оставив дневные дела, я совершала омовение, тщательно причесывала волосы, рисовала пунцовое пятнышко на лбу и надевала падавшее красивыми складками сари. Забыв обо всем на свете, я всю себя отдавала ему одному. Время, которое мы проводили вместе, пролетало, как одно мгновение, но в этом мгновении была вечность.

Муж не раз говорил мне, что муж и жена имеют друг на друга равные права, поэтому и в любви они должны быть равны. Я не спорила с ним. Но сердце твердило, что преклонение одного перед другим отнюдь не нарушает равенства между мужем и женой, а лишь возвышает отношения, связывающие их, ограждает их от грубости и пошлости и сохраняет, как источник вечной радости. Преклонение подобно светильнику, горящему на алтаре любви, — он одинаково светит и кумиру и молящемуся. Я убеждена, что, поклоняясь кому-то, женщина вызывает к себе такое же чувство, иначе чего стоила бы ее любовь? Пламя вспыхнувшего светильника нашей любви устремлялось ввысь, а перегоревшее масло оставалось на дне.

Любимый, ты не ждал от меня преклонения, не хотел его, и в этом ты был верен себе, но как было бы хорошо, если бы ты принял его. Твоя любовь проявлялась в том, что ты дарил мне наряды и драгоценности, учил меня; ты выполнял все мои желания, ты давал мне даже то, о чем я и не мечтала. В твоих глазах, когда ты смотрел на меня, отражалась вся глубина твоей любви, она чувствовалась в твоих тайных вздохах. Ты лелеял меня, будто райский цветок, ты любил меня всю целиком, словно я была для тебя редким бесценным даром богов, и я гордилась этим. Почувствовав себя царицей, я стала требовать поклонения. Мои требования росли с каждым днем, я никогда не знала удовлетворения. Но разве счастье женщины в сознании, что она имеет полную власть над мужчиной? Нет, спасение женщины только в том, чтобы, смилив свою гордость, преклоняться перед любимым. Шанкар стоял нищим у дверей Аннапурны, но разве смогла

бы Аннапурна вынести страшную, огненную силу этого нищего, не соверши она покаяния Шиве?

Сейчас я вспоминаю, сколько затаенной зависти и недоброжелательства подстерегало нас со всех сторон в те счастливые дни. И разве могло быть иначе? Ведь счастье незаслуженно выпало на мою долю. А судьба не терпит незаслуженных почестей, она требует расплаты за каждый миг удачи. Небо шлет нам свои дары, но мы должны платить дань за то, что принимаем их и пользуемся ими. Увы, мы не в силах удержать даже то, что получаем!

Отцы, у которых были дочери на выданье, вздыхали, глядя на счастье, которое выпало мне. Кругом только и разговору было о том, красива ли я, добра ли, достойна ли я дома раджи. Бабушка и мать моего мужа славились необыкновенной красотой. Красотой отличались и мои вдовы невестки. Судьба не пощадила никого из них, и бабушка мужа поклялась, что не станет искать красавицы жены для своего единственного, оставшегося в живых внука. В дом мужа я вошла лишь благодаря счастливым линиям, которые обнаружил астролог на моей ладони, — иных прав я не имела.

В нашей семье, в доме, полном досгатка, далеко не все невестки пользовались должным уважением. Но что они могли поделать? Их слезы тонули в пене вина, их вздохи заглушались звоном запястий на ногах танцовщиц, но они старались высоко держать голову: ведь они были «знатными госпожами» и никто не должен был слышать их жалоб. Моя ли была заслуга в том, что муж не прикасался к вину, не растрачивал своих сил на женщин в публичных домах? Разве всевышний сообщил мне какие-то мантры, с помощью которых я могла обуздать мятущийся дух мужчины? Мне просто повезло. Но к моим невесткам судьба была безжалостна: праздник их жизни кончился задолго до наступления сумерек, и только пламя молодой красоты напрасно продолжало гореть ночами в пустых покоях. Пылало лишь пламя, музыка же смолкла навсегда.

Невестки не скрывали своего презрительного отношения к новшествам, которые вводил в нашу жизнь мой

муж. Как мог он вести славный семейный корабль под парусом женской юбки! Чего только не приходилось выслушивать мне: «Воровка, укравшая любовь мужа!» «Бесстыдно разрядившаяся притворщица!» С ревнивым негодованием смотрели они на модные платья, яркие кофточки, сари и юбки, в которые любил наряжать меня муж, и шипели: «Неужели ей не стыдно изображать манскенщицу? Это с ее-то наружностью!»

Муж знал обо всем, но сердце его было полно сострадания к невесткам, и он не раз просил меня не сердиться на них. Помню, как-то раз я сказала ему, что у женщин крошечные, исковерканные умишки.

— Как ножки китаянок, — подтвердил он. — И в этом виновато общество. Это оно исковеркало их. Судьба играет ими — вся их жизнь зависит от ее милостей. Разве они могут решать что-то сами?

Невестки получали от деверя все, что хотели. Он не задумывался, разумны ли, справедливы ли их требования. А они даже не выказывали благодарности ему, и это возмущало меня до глубины души. Старшая невестка, боро-рани, которая отличалась исключительной набожностью, ревностно исполняла религиозные обряды и соблюдала посты, тратя при этом все свои деньги до последней пайсы, не раз говорила во всеуслышание, что, по мнению ее двоюродного брата, юриста, стоит ей подать в суд, и она... и т. д. и т. п. Я дала мужу слово никогда не отвечать на их выпады, но мое раздражение от этого не проходило. Всякая доброта, казалось мне, имеет предел, преступая который человек становится жалким.

— Закон, общество не на их стороне, — говорил мой муж. — А им должно быть очень тяжело и оскорбительно выпрашивать, словно нищенкам, то, что когда-то принадлежало их мужьям и что они считают по праву своим. Слишком жестоко требовать за это еще и благодарности. Получить пощечину — и благодарить за нее!

Признаться, я часто желала, чтобы мой муж имел достаточно мужества быть менее добрым.

У второй невестки, меджорани, был совсем другой характер. Она была молода и отнюдь не прикидывалась святошей, напротив, любила рискованные разговоры и скользкие шутки. Не отличались примерным поведением и

молодые служанки, которыми она окружала себя. Однако никто ее не останавливал, — такие уж порядки царили у нас в доме. Я догадывалась, что ее раздражает редкое счастье, доставшееся мне в лице идеального мужа. Поэтому она старательно расставляла на его пути всяческие ловушки. Мне стыдно признаться, но при всей уверенности в нем я позволяла сомнениям закрадываться порой мне в душу.

В неестественной атмосфере нашего дома самые невинные поступки приобретали иногда дурной оттенок. Время от времени меджо-рани ласково приглашала моего мужа к себе, предлагая отведать приготовленных ею лакомств.

Мне очень хотелось, чтобы он под каким-нибудь предлогом отклонял эти приглашения, — нельзя же поощрять дурные намерения! Но каждый раз он с улыбкой на лице отправлялся к ней, а я, да простит меня бог, начинала терзаться сомнениями (что делать, сердцу не прикажешь!) относительно целомудренности мужчин. И как бы я ни была в это время занята, я обязательно находила предлог заглянуть вслед за ним в комнату моей невестки.

— Чхото-рани не спускает с тебя глаз, уж очень строгая у тебя охрана, — говорила она, смеясь. — Когда-то и у нас были мужья, но мы так не опекали их.

Муж сокрушался о незавидной участи невесток, а на их недостатки закрывал глаза.

— Я согласна, что вина за их бедственное положение лежит на обществе, — говорила я, — но к чему такая снисходительность? Что из того, что человеку приходится в жизни трудно, — это не дает ему права быть невыносимым!

Муж обычно не спорил, а только улыбался. Вероятно, для него не оставались тайной мои сомнения. Он прекрасно понимал, что мой истинный гнев направлен вовсе не против общества или кого-то еще, а только... но этого я не скажу.

Как-то раз муж попытался утешить меня:

— Если бы невестки действительно считали дурным все то, о чем они дурно говорят, это не вызывало бы в них такого гнева.

— Зачем же они тогда злятся зря?

— Зря ли? Ведь доля смысла есть и в зависти. Разве не правда, что счастье должно быть доступно всем?

— Ну, насчет этого им следует спорить со всевышним, а не со мной.

— До всевышнего рукой не достанешь.

— Пусть они берут все, что хотят. Ты же не собираешься отказывать им в чем-то. Пусть носят сари, кофточки, украшения, туфли, чулки. Хотят заниматься с гувернанткой, пожалуйста, она в доме. Наконец, если им хочется выйти замуж — ты можешь переплыть семь морей, ты ведь у нас на все руки мастер, — ты все можешь...

— Но в том и трудность: желанное рядом, а взять нельзя.

— Значит надо быть дурочкой? Кричать, что все чужое плохо, и злиться, потому что это чужое не принадлежит ей.

— Обманутый человек стремится не замечать обмана — в этом его утешение.

— Нет, что ты ни говори, а женщины страшно глупы. Они не хотят смотреть правде в глаза и все время хитрят.

— Значит, они оказались обманутыми больше всех.

Меня злило, что он старается оправдать ничтожество этих женщин. Его рассуждения о недостатках общества и о том, каким оно должно стать, были пустой болтовней. Я же не могла мириться с неприятностями, которые чинили мне на каждом шагу, с двусмысленными намеками и лицемерием.

— К себе самой ты весьма снисходительна, — возразил мне муж, — но когда речь заходит о тех, кто оказался жертвой общественных условий, всю твою мягкость как рукой снимает. Значит, на то он и бедняк, чтобы терпеть нужду?

— Ну пусть, пусть я ничего не понимаю! Все хороши, кроме меня, — ответила я с негодованием. — Ты-то ведь мало бываешь дома и ничего не знаешь...

Я сделала попытку посвятить его в закулисные тайны нашего дома, но он стремительно поднялся. Его давно ждет Чондронатх-бабу.

Я села и заплакала. Что делать, как доказать мужу свою правоту? Я не могла убедить его в том, что, случись

со мной то же, что с ними, я никогда не стала бы такой, как они!

Всевышний предоставил женщине возможность кичиться своей красотой, думала я, зато он уберег ее от других слабостей. Можно гордиться драгоценностями, но в доме раджи это теряет смысл. Мне не оставалось ничего другого, как упорно подчеркивать свои добродетели. И здесь, мне казалось, даже мой муж должен был признать свое поражение. Однако стоило мне начать с ним разговор о всяких семейных раздорах, как я сразу же становилась в его глазах мелочной, и он легко доказывал мне это. Тогда и у меня появлялось желание унижить его.

«Я не могу признать правильным все, что ты говоришь: ты просто хочешь выглядеть благородным. Но это — не самопожертвование, а самообман», — повторяла я в душе.

Мужу очень хотелось, чтобы я перестала ограничивать свою жизнь стенами нашего дома.

— А какое мне дело до мира, который лежит за его стенами? — спросила я однажды.

— Но может быть, ему есть до тебя дело, — ответил муж.

— Сколько времени мир обходился без меня, обойдется и дальше, — сказала я. — Вряд ли кто-нибудь изнывает от тоски, не видя меня.

— Меня очень мало беспокоит, изнывает кто-нибудь от этого или нет, — я думаю о себе.

— Вот как! Что же тогда тебя беспокоит?

Он промолчал. Мне была знакома эта его манера, и поэтому я заявила:

— Молчанием ты от меня не отделаешься — раз уж начал, говори до конца.

— Разве все можно сказать словами? Сколько в жизни такого, что и выразить невозможно?

— Не хитри, говори, в чем дело.

— Я хочу, чтобы там, во внешнем мире, мы нашли друг друга. Мы еще в долгу друг перед другом.

— Разве нашей любви дома что-нибудь мешает?

— Здесь ты поневоле думаешь только обо мне. Ты не знаешь ни своих желаний, ни цены тому, что имеешь.

— О, я хорошо знаю, очень хорошо!

— Тебе только кажется, что ты знаешь, на самом же деле это не так.

— Я не могу слышать, когда ты так говоришь.

— Значит, не надо говорить об этом.

— Но твое молчание я тоже не переношу.

— Потому я и не договариваю. Я хотел бы, чтобы ты попала в самую гущу жизни, тогда ты сама все поймешь. Заниматься только хозяйством и своими домашними делами, всю жизнь прожить в четырех стенах — нет, ты создана не для этого. Если там, в широком, реальном мире, мы увидим, что по-прежнему необходимы друг другу, значит, любовь наша выдержала испытание.

— Я не возражала бы против этого, если бы здесь между нами существовали какие-то препятствия. Но я не вижу их.

— Прекрасно, предположим, что я один вижу эти препятствия. Неужели ты не хочешь помочь мне устранить их?

Споры вроде этого возникали у нас нередко.

— Чревоугодник, любящий рыбный соус, — говорил муж, — без всякого сожаления потрошит рыбу, жарит ее или варит, приправляет по своему вкусу различными специями. Но тот, кто действительно любит рыбу, видит в ней прежде всего живое существо и отнюдь не спешит поджарить ее на сковородке и положить на блюдо. Он с удовольствием сидит на берегу и любуется тем, как рыба играет в воде. И даже если он сознает, вернувшись домой, что никогда не увидит ее больше, его утешает мысль, что рыбе хорошо. Счастлив тот, кто получает все; если же это невозможно, то я, например, предпочел бы не иметь ничего.

Такие рассуждения мне вовсе не нравились. Однако не они были причиной того, что я отказывалась покончить с затворничеством. В те дни бабушка мужа была еще жива. Не считаясь с ее вкусами, муж обставил дом, как того требовала мода XX века, и бабушка покорно снесла это. Не противилась бы она и в том случае, если бы невестка ее решила выйти из заточения. Она понимала, что рано или поздно это случится. Но, не придавая сама большого значения этому, я отнюдь не хотела доставлять ей лишнее огорчение. В книгах я читала, что мы похожи на птиц в

клетке. Не знаю, что творилось в других клетках, но для меня моя клетка содержала в себе столько, сколько не мог вместить и весь мир. Тогда, во всяком случае, я думала именно так.

Бабушка мужа очень полюбила меня, полюбила, очевидно, за то, что с помощью благосклонных ко мне звезд я сумела завоевать прочную любовь мужа. Ведь мужчины по природе своей легко поддаются соблазнам, они жаждут наслаждений. Ни одна из других ее невесток, несмотря на то, что все они были очень красивы, не смогла удержать мужа от падения в бездну греха, откуда нет спасения. Бабушка считала, что мне удалось потушить огонь, в котором один за другим сгорали наследники знатного рода. Она лелеяла меня и дрожала от страха, если я бывала хоть немного нездорова. Ей не нравились наряды и драгоценности, которые приносил мне муж из европейских магазинов, но она рассуждала так: мужчинам свойственны нелепые, дорогостоящие причуды. Мешать им в этом бесполезно. Хорошо еще, если они умеют остановиться вовремя, прежде чем окончательно разорятся. Если Никхилеш не будет наряжать жену, он станет наряжать кого-то другого. Поэтому каждый раз, когда у меня появлялась какая-нибудь обновка, она шутила и радовалась вместе с внуком. Так постепенно стали меняться ее вкусы. Новые веяния захватили ее настолько, что скоро она уже не могла провести ни одного вечера без того, чтобы я не рассказала ей какой-нибудь истории из английской книжки.

После смерти бабушки муж стал настаивать на переезде в Калькутту, но я никак не могла решиться на такой шаг. Ведь это был наш родовой дом, который бабушка, несмотря на все испытания и утраты, сумела сохранить для нас. У меня не раз возникала мысль, что, если я покину насиженное гнездо и уеду в Калькутту, то навлеку этим на себя проклятие, — мне казалось, что пустой ашон, на котором обычно сидела бабушка, смотрит на меня с укоризной. Эта благородная женщина вошла в дом мужа восьмилетней девочкой и покинула его семидесяти девяти лет. Счастье не баловало ее. Судьба наносила ей удар за ударом, сотни стрел впивались в ее незащищенную грудь, но сломить ее дух оказалось невозможным. Весь наш громадный дом был омыт и освящен ее слезами. Что я буду

делать, как буду жить вдали от него в шумной и пыльной Калькутте!

Муж хотел воспользоваться удобным случаем и, предоставив дом и хозяйство в распоряжение невесток, переселиться окончательно в Калькутту, где жизнь наша могла бы быть более привольной и интересной. Но этого-то как раз я и не хотела. Невестки всегда изводили меня, они никогда не замечали добра, которое делал для них муж, а теперь они же будут вознаграждены!

Кроме того, у нас было большое хозяйство. Все наши служащие, друзья, приживалы-родственники целыми днями толпились в доме. А что нас ожидало в Калькутте? Кто нас там знал? Здесь у нас почет и уважение, дом — полная чаша. Все отдать в руки невесткам, а самой жить, как Сита, в изгнании? Знать, что они смеются за моей спиной! Разве они поймут великодушие моего мужа, да и достойны ли они воспользоваться им? И наконец, получу ли я свое место в доме, если мы решим вернуться?

— Что тебе это место? — говорил муж. — В жизни есть тысячи вещей значительно более ценных, чем место в доме.

«Мужчины не понимают этого, — думала я. — Их интересы вне дома. Они и не представляют себе, как строится домашний очаг, — тут ими должны руководить женщины».

Самым главным было, по-моему, сохранить свое превосходство. Отдать же все в руки тех, с кем я столько времени враждовала, означало потерпеть поражение. Муж допускал то, что для меня было невозможным. Я полагала, что мое превосходство в благочестии.

Почему муж не увез меня в Калькутту насильно? Я знаю почему. Он не воспользовался властью именно потому, что она принадлежала ему. Не раз он говорил мне:

— Мне невыносима мысль, что я могу заставить тебя сделать что-то, пользуясь своим правом мужа. Я подожду. Может быть, мы все-таки пойдем друг друга, если же нет, ничего не поделаешь!

Но есть и еще нечто такое, в чем проявляется превосходство... В те дни мне думалось, что именно в этом нечто... впрочем, не стоит говорить об этом...

Если бы пришлось постепенно заполнять пропасть, отделяющую день от ночи, на это, наверно, потребовались бы века. Но встает солнце, тьма рассеивается, и достаточно одного мгновения, чтобы преодолеть вечность.

Так наступила в Бенгалии эра свадеши. Как это случилось, когда именно она началась, ясного отчета не отдавал себе никто. Постепенного перехода от прошлой эпохи к настоящей не было. Новое нахлынуло вдруг, как река, смывающая во время наводнения плотины на своем пути, и в один миг унесло все наши сомнения и страхи. У нас просто не было времени размышлять о том, что произошло и что ожидает нас в будущем.

Это было похоже на смятение, царящее в деревне, когда на улице должен появиться жених. Он играет на флейте, глаза его сверкают, и все женщины и девушки выбегают на веранды, поднимаются на крыши, льнут к окнам, — их не удержать взаперти... Словно флейты всех женихов заиграли вдруг разом по всей стране. Могли ли женщины молча заниматься своими хозяйственными делами? На улицах звучали свадебные приветствия, трубили раковины, и женские лица мелькали повсюду: в окнах, в дверях, в просветах заборов.

Новая эпоха захватила и меня. Все мои помыслы, все мои мечты и желания окрасились ее радужным цветом. До сих пор я всегда была занята лишь тем, что старалась разместить получше и повыигрышнее в своем мирке волновавшие меня надежды и идеалы, свои добрые дела и благочестие. Когда наступила бурная эпоха свадеши, мне не сразу удалось разрушить высокую стену, окружающую этот мирок, я сумела лишь взобраться на нее и неожиданно услышала донесшийся откуда-то издалека призыв, смысл которого понять я еще не могла, но который взволновал меня до глубины души.

Мой муж, еще учась в колледже, прилагал немало усилий к тому, чтобы наладить в стране производство товаров, в которых нуждался народ. В нашем округе росло много финиковых пальм. Муж работал над созданием специального аппарата для добычи сока из пальм и переработки его в сахар и натоку. Все сходилось на том, что аппарат он изобрел прекрасный, но... аппарат этот поглощал денег куда больше, чем производил сахара, так что вскоре

предприятие лопнуло. С помощью различных нововведений в сельском хозяйстве муж добивался грандиозных урожаев, но еще грандиознее были суммы денег, которые он тратил на свои опыты. Он был твердо убежден, что неудачи, которые терпят наши крупные предприятия, происходят, главным образом, от отсутствия банков, которые могли бы предоставить кредит в нужный момент. Он начал обучать меня политической экономии. Это бы еще ничего. Но он решил зажечь наш народ идеей капиталовложений и с этой целью открыл небольшой банк. Высокие проценты, которые выплачивал банк, привлекли в него много сельских жителей. И эти же высокие проценты оказались причиной краха банка. Все это очень тревожило и пугало старых служащих мужа и доставляло немало радости его противникам, изощрявшимся в островах на его счет. Как-то раз моя старшая невестка громко, чтобы я слышала, заявила, будто, по словам ее двоюродного брата — известного юриста, имущество древнего почтенного рода можно спасти, лишь вырвав его через суд из рук «этого безумца».

Одна только бабушка сохраняла спокойствие. Сколько раз журила она меня:

— И что вы все на него нападаете? Бойтесь, что он обанкротится? На моем веку наше имущество трижды описывалось. Разве мужчины похожи на женщин? Они от природы расточительны, и мотать деньги — их любимое занятие. Твое счастье, дитя мое, что он хоть себя-то сохранил. Не огорчайся и ни о чем не думай.

Список людей, которым помогал муж, был очень длинен. Стоило кому-то изобрести новый гкацкий станок, машину для очистки риса или еще что-нибудь в этом роде, он мог быть уверен в полной поддержке моего мужа, даже если это изобретение было совершенно никчемным.

Так родилось местное пароходство, решившее конкурировать с английской компанией. И хотя ни одного рейса не состоялось, акции пароходства, принадлежавшие моему мужу, пошли ко дну.

Но больше всего меня раздражал Шондип-бабу, который неустанно выманивал у мужа деньги на нужды свадеши. Начинал ли он издавать газету, или отправлялся пропагандировать идеи свадеши, или по совету врача на

некоторое время ехал отдохнуть в Утакамунд — муж без разговоров снабжал его деньгами. И это сверх того, что Шондип-бабу получал от него ежемесячно! Самым же удивительным было то, что Шондип-бабу и мой муж совершенно не сходились во взглядах.

Муж любил говорить:

— Страна нищает, если народ не в состоянии добывать сокровища, хранящиеся в недрах земли. Но если она не может раскрыть и использовать свои духовные богатства, она становится нищей вдвойне.

Рассердившись, я однажды сказала ему:

— Но ведь тебя все обманывают.

— Ну, поскольку сам я лишен талантов, пусть деньги будут моей лептой в общее дело, — ответил он, улыбаясь. — Ведь мои доходы тоже получены не без обмана.

Я так подробно рассказываю о событиях минувших дней, чтобы понятней стала напряженная, драматичная обстановка начала новой эпохи.

Как только волна движения захлестнула и меня, я не замедлила объявить мужу, что хочу сжечь все свои платья, сшитые из английских тканей.

— К чему сжигать, — ответил муж. — Ты можешь их не надевать, пока не захочешь.

— Как это — «пока не захочешь»?! В этом рождении я никогда...

— Прекрасно, ты можешь их никогда больше не надевать. Только к чему этот жертвенный костер?

— Но почему ты против этого?

— Отдай все свои силы на созидание. А на бессмысленное разрушение, поддавшись минутному порыву, не стоит расходовать и десятой доли своей энергии.

— Но этот же порыв даст нам силы созидать.

— Говорить так — все равно что утверждать, будто дом нельзя осветить без того, чтобы не поджечь его. Я согласен терпеть тысячу неудобств с разжиганием светильника, но не стану поджигать дом, чтобы поскорее добиться успеха. На первый взгляд, такой поступок мог бы показаться геройством, на самом же деле он — проявление слабости. Я понимаю, — продолжал муж, — сердцем ты еще не в состоянии принять моих слов, но подумай над ними хорошенько. Мать любит украшать своими драго-

ценностями дочерей. Так вот, сегодня наступил день, когда мать-земля награждает своими дарами каждую страну. Теперь все, что принадлежит нам: платье и пища, привычки, мысли и чувства — связывает нас с нею. Поэтому я считаю, что нынешняя эра — счастливая для всех народов. Отрицать это — невелико геройство.

Вскоре возникло новое осложнение. Когда мисс Джильби впервые появилась у нас в доме, поднялся ропот, но мало-помалу к ней привыкли, и все затихло. Теперь возмущение вспыхнуло с новой силой. Прежде меня нисколько не беспокоило — англичанка мисс Джильби или бенгалка? Теперь же это обстоятельство приобрело большое значение. Я предложила мужу отказать ей. Он ничего не ответил. Я разразилась потоком негодующих слов, наговорила ему много того, чего не следовало, и он ушел расстроенный. Ночью, когда я, наплакавшись вволю, наконец успокоилась и могла трезво рассуждать, муж сказал:

— Я не могу не доверять мисс Джильби только потому, что она англичанка. Неужели же после стольких лет ее национальность может оказаться для тебя непреодолимым барьером? Ведь она любит тебя.

Я смутилась, но, чтобы не ронять своего достоинства, ответила безразличным тоном:

— Хорошо, пусть остается, кто же ее гонит?

Мисс Джильби осталась. Но однажды по дороге в церковь она подверглась оскорблению: сын нашего дальнего родственника бросил в нее камнем. Мальчик этот с давних пор воспитывался у нас в доме, но когда муж узнал о случившемся, он немедленно прогнал его. Поднялся страшный шум. Слова мальчика приняли на веру и утверждали, что мисс Джильби обидела его и сама же на него нажаловалась.

Не удивительно, что и я сочувствовала мальчику. Матери у него не было, и его дядя умолял меня не выгонять мальчика. Я старалась сделать все, что могла, но ничего не добилась.

Простить мужу этот поступок не мог никто. И я затаила в душе обиду. На сей раз мисс Джильби сама решила уехать. Прощаясь, она расплакалась, но ее слезы меня не тронули. Так оклеветать мальчика, и какого

мальчика! Всем сердцем преданного делу свадеши, готового не есть и не совершать омовения ради него!

Муж сам отвез мисс Джильби в своем экипаже на станцию и усадил в вагон. Это уж чересчур, думала я. И решила, что он получил по заслугам, когда газеты на все лады расписали этот случай.

Меня не раз смущали поступки мужа, однако до сих пор я еще ни разу не испытывала чувства стыда за него. Теперь же мне было стыдно. Я не знала, чем именно обидел мисс Джильби бедный Норен. Но как вообще кому-то могло прийти в голову осуждать его за это в такое время! Я бы никогда не стала охлаждать порыва, который заставил его грубо вести себя с англичанкой, но муж ни за что не хотел понять меня, и я считала это проявлением малодушия с его стороны. Вот почему я краснела за него.

Но дело было не только в этом. Больше всего меня терзала мысль, что я потерпела поражение. Мое горение захватывало только меня и совершенно не трогало мужа. Я была уязвлена в своем благочестии.

И в то же время мой муж отнюдь не отказывался помогать делу свадеши и не выступал против него. Но он никак не мог принять «Банде Матарам».

— Я готов служить родине, — говорил он, — но *тот*, перед кем я могу преклоняться, в моих глазах стоит выше родины. Обожествляя свою страну, можно навлечь на нее страшные беды.

Как раз в эти дни в наших краях с проповедью свадеши появился Шондип-бабу в сопровождении своих последователей. Однажды после полудня в помещении храма должно было состояться собрание. Мы, женщины, устроились в стороне за легкими ширмами. Издали уже доносились торжественные звуки «Банде Матарам», и вся душа моя, ликуя, рвалась им навстречу. Звуки все приближались, и вдруг во дворик при храме хлынули потоки босоногих юношей и мальчиков в тюрбанах и одеждах цвета охры, подобно тому как после первого дождя к пересохшему лону реки, спеша напоить ее, устремляются неисчислимые ручейки, рыжеватые от глины. Народ все при-

бывал, а над толпой поднимался восседавший в большом кресле, которое несли десять юношей, Шондип-бабу. «Банде Матарам! Банде Матарам!» — гремело вокруг, и казалось, что от этих криков небесный свод вот-вот треснет и расколется на тысячи кусков.

Я уже и раньше видела фотографию Шондипа-бабу, и что-то в нем мне не нравилось. Он отнюдь не был безобразен, скорее даже красив. Но в лице его было что-то фальшивое, глаза и улыбка казались мне неискренними. Поэтому меня очень раздражало, когда муж беспрекословно исполнял все его желания. Меня беспокоили не деньги, истраченные на него, — нет, мне было обидно, что, пользуясь дружеским отношением моего мужа, Шондип-бабу обманывает его. Ведь внешне Шондип-бабу вовсе не походил ни на подвижника, ни на бедняка, у него был вид настоящего шеголя. Чувствовалось, что он привык к удобной жизни, однако... разные мысли приходили мне в голову. Сейчас невольно вспоминается многое из того, о чем я думала тогда. Но оставим это...

И все же, когда Шондип-бабу начал в тот день свою проповедь и сердца собравшихся затрепетали и всколыхнулись, готовые в порыве ликования вырваться наружу, я не узнала его — он вдруг совершенно преобразился. Луч солнца, медленно опускавшегося за крыши домов, скользнул по его лицу, и мне показалось, что Шондип-бабу — избранник богов, посланный, чтобы поведать их волю мужчинам и женщинам, населяющим землю. От начала и до конца каждая фраза его была призывом, и в каждой звучала безграничная уверенность в своих силах.

Мне мешала смотреть на него стоявшая передо мной ширма. Не помню, как это произошло, но незаметно для самой себя я отодвинула ее и впилась глазами в Шондипа-бабу. Никто не заметил этого, никто не обратил на меня внимания. Но я видела, как горящий взор Шондипа-бабу, подобный сверканию созвездия Ориона, упал на меня. Я забыла, где я, кто я! Разве в тот момент я была знатной госпожой? Нет! В этот момент я была всего лишь одной из многих бенгальских женщин. Он же был вождем, героем Бенгалии! Его чело освещали лучи заходящего солнца, — небо благословляло его на подвиг! Но ведь благословить его служение родине должна и женщина. Иначе

его борьба не увенчается победой. Наши взгляды встретились, и я почувствовала, что речь Шондипа-бабу стала еще пламенней. Белый конь Индры уже не желал слушаться поводыев — загредел гром, засверкала молния. Сердце подсказывало мне, что это новое пламя зажгли мои глаза, ибо мы, женщины, не только Лакшми! Нет, мы еще и Сарасвати!

В тот день я вернулась домой, преисполненная радости и гордости. В одно мгновение сильная душевная буря изменила во мне все. Мне хотелось, подобно женщинам древней Греции, отрезать свои длинные до колен волосы и сплести из них тетиву для лука моего героя. Если бы драгоценности, украшавшие меня, могли разделить мои чувства, — все эти ожерелья, браслеты и запястья разомкнулись бы сами собой и просыпались бы над собравшимися, как сверкающий дождь метеоритов. Мне казалось, что смятение, возбуждение, охватившие меня, улягутся только после того, как я принесу в жертву нечто дорогое мне.

Когда вечером муж вошел в мою комнату, меня охватил страх, как бы он не сказал чего-нибудь, что нарушило бы торжественную мелодию проповеди Шондипа, все еще звучавшую в моих ушах, страх, что он, презирующий фальшь, остался чем-то недоволен и скажет мне об этом. Случись так, я не сдержалась бы и наговорила бы ему резкостей. Но он ничего не сказал, и это мне тоже не понравилось. Ему следовало заявить, что после выступления Шондипа он понял, как глубоко заблуждался прежде. Мне казалось, что он молчит нарочно, желая подчеркнуть свое равнодушие.

— Сколько дней пробудет здесь Шондип-бабу? — спросила я.

— Завтра рано утром он уезжает в Рангпур, — ответил муж.

— Завтра рано утром?

— Да, его выступление там уже объявлено.

Немного помолчав, я спросила:

— А он не мог бы остаться здесь еще на день?

— Вряд ли. Да и зачем?

— Я хотела бы сама угостить его.

Муж очень удивился. Когда у него собирались близкие друзья, он не раз просил меня выйти к ним, но я упорно отказывалась. Он посмотрел на меня как-то особенно внимательно, недоумевающе, но что выражал его взгляд, я не поняла. Мне стало вдруг стыдно.

— Нет, нет, не нужно! — воскликнула я.

— Почему не нужно, — возразил муж. — Я попрошу Шондипа остаться, если, конечно, это возможно.

И это оказалось возможным.

Я признаюсь во всем. В тот день я укоряла всевышнего за то, что он не сотворил меня красавицей. И не потому, что я стремилась овладеть чьим-либо сердцем, а потому, что красота — это предмет гордости.

Мне казалось, что сейчас, в эти великие для нашей родины дни, сыны ее должны найти среди женщин настоящую Джагаддхатри. Но, увы, мужчины не поймут, что перед ними богиня, если ей недостает внешней красоты. Да и увидит ли во мне Шондип-бабу проснувшуюся Шакти нашей родины? Скорее всего он примет меня за обыкновенную женщину, хозяйку дома его друга.

Полуночью я намазала свои длинные волосы маслом, расчесала их и искусно перевязала алой шелковой лентой. Гости ждали в полдень, и у меня не было времени просушить волосы после купания и причесать их как обычно. Я надела белое мадрасское сари с золотой каймой и кофточку с короткими рукавами, тоже вышитую золотом. Такой наряд казался мне очень выдержанным, ничто не могло быть скромнее и проще его. Но меджо-рани, оглядев меня с ног до головы, поджала губы и многозначительно усмехнулась.

— Почему ты смеешься, диди? — спросила я.

— Да вот люблюсь твоим нарядом, — ответила она.

— Чем же он так тебя поразил? — осведомилась я, с трудом сдерживая негодование.

— Он просто замечателен, — с ехидной улыбкой сказала она. — Мне кажется только, что, если бы ты надела к нему одну из своих английских блузок с большим вырезом, твой костюм от этого еще больше выиграл бы.

Она вышла из комнаты, и от сдерживаемого смеха, казалось, вздрагивали не только ее губы и глаза, но и все ее

тело. Я страшно рассердилась и решила сбросить все и надеть обыкновенное сари. Но я не выполнила своего намерения, трудно сказать, почему именно. Ведь женщина — украшение общества, — убеждала я себя, — и мужу, наверно, будет неприятно, если я появлюсь перед Шондипом-бабу в будничном наряде. Я решила выйти уже после того, как муж и Шондип-бабу сядут обедать. Пока я буду давать указания слугам и проверять, как они подают, исчезнет неловкость первой встречи. Но обед запоздал (был уже час дня), и муж послал за мной, чтобы представить мне гостя.

Я вошла, но от смущения не могла поднять глаз. С большим трудом я заставила себя сказать:

— Обед сегодня немного запаздывает.

Шондип-бабу весьма непринужденно подошел и уселся рядом со мной.

— Обедать мне приходится ежедневно, — начал он, — только обычно Аннапурна предпочитает не показываться при этом. Но раз уж богиня решила явиться моему взору, обед может и подождать.

И сейчас, как вчера, выступая перед большим собранием, он говорил свободно и убедительно. Сомнения и колебания, казалось, были незнакомы ему — он привык быть хозяином положения. Его, очевидно, не смущала мысль, что о нем могут подумать. Непринужденность его поведения казалась настолько естественной, что тот, кто вздумал бы упрекнуть его за это, попал бы сам в неловкое положение.

Я очень волновалась, как бы Шондип-бабу не принял меня за старомодную, наивную и застенчивую женщину, но блеснуть остроумием, поразить и пленить собеседника метким ответом было выше моих сил. «Что со мной? — с досадой думала я, — какой невероятно глупой должна я ему казаться!»

Кое-как дождавшись конца обеда, я поспешно поднялась, но он все так же непринужденно подошел к двери и, преградив мне путь, сказал:

— Вы не должны считать меня чревоугодником; я остался совсем не ради обеда, а ради вас. С вашей стороны будет нечестно покинуть нас так быстро.

Эти слова могли бы показаться неуместными, не скажи

он их так просто и свободно; ведь как-никак они с мужем были большими друзьями, я могла относиться к нему почти как к брату! Я стояла в замешательстве, не зная, как выбраться из паутины слишком дружеской настойчивости Шонди-па-бабу, но тут на помощь мне пришел муж.

— И правда, -- обратился он ко мне, — почему бы тебе не вернуться после того, как ты пообедаешь сама?

Шонди-па-бабу потребовал от меня слова, что я вернусь и не обману его. Слегка улыбнувшись, я пообещала сейчас же вернуться.

— Мне хочется объяснить вам, почему я так недоверчив, — сказал он, — вот уже девять лет, как Никхилеш женат, и все эти годы вы избегали меня. Если вы сейчас опять исчезнете на девять лет, мы уже никогда не увидимся.

— Почему же мы не увидимся? — в тон ему спросила я.

— По гороскопу мне суждено умереть рано. Никто из моих предков не прожил более тридцати лет. А мне уже исполнилось двадцать семь.

Он знал, чем взять меня. В моем тихом голосе зазвучали искренние нотки участия.

— Молитвы всей страны оградят вас от дурного влияния звезд, — сказала я.

— Я должен услышать эту молитву из уст богини своей страны, поэтому я так хочу, чтобы вы вернулись. Пусть заклинание, которому суждено избавить меня от грозящих невзгод, начнет действовать сегодня же.

Хотя речной поток и мутен, но он быстро прокладывает себе путь. Шонди-па-бабу действовал так стремительно, что я невольно позволила ему говорить то, чего никогда не стала бы слушать ни от кого другого.

— Итак, я оставляю вашего мужа заложником, — сказал он, улыбаясь. — Если вы не придете, свободы лишится он.

Я направилась к двери, но Шонди-па-бабу снова обратился ко мне:

— У меня есть небольшая просьба.

Я с удивлением остановилась.

— Не пугайтесь, это всего лишь стакан воды. Я обычно пью не за едой, а немного погодя.

Волей-неволей мне пришлось заинтересоваться причиной и попросить объяснить, в чем дело. Он рассказал мне историю своего тяжелого желудочного заболевания, длившегося почти семь месяцев. Безуспешно испытав на себе все лекарства гомеопатов и аллопатов, он обратился к помощи кобираджей, лечение которых дало поразительные результаты. Заканчивая свой рассказ, он с улыбкой заметил:

— Даже болезни, которые послал мне всевышний, оказалось возможным лечить лишь одним лекарством — пилюлями «свадеши».

Но тут в разговор вмешался молчавший до этого муж:

— Однако склянки с английскими лекарствами не оставляют, по-видимому, тебя ни на одну секунду: в твоей гостиной три полки заставлены...

— Ты знаешь, что они мне напоминают, — перебил его Шондип-бабу. — Полицию, которая нам вовсе не нужна, но с присутствием которой мы вынуждены мириться, потому что она навязана нам современной системой управления. Приходится не только платить ей штраф, но и терпеть пинки.

Мой муж не выносит излишне пышных фраз, и я видела, что ему эти слова очень не понравились. Но ведь всякое украшение — это тоже излишество. Оно творение рук человека, а не бога. Помню, как-то раз я сказала мужу, оправдываясь в какой-то лжи:

— Только растения, птицы и животные говорят ничем не прикрашенную правду, потому что они лишены фантазии. Человек же наделен воображением, и в этом его превосходство над всем остальным миром, а женщина в этом отношении превосходит и мужчину. И как не портит женщину обилие драгоценностей, так не портит ее и правда, приукрашенная и расцвеченная ложью.

Я вышла из комнаты. На веранде стояла меджорани и смотрела сквозь щелки опущенных жалюзи.

— Что ты здесь делаешь? — спросила я.

— Подсматриваю, — ответила она шепотом.

Когда я вернулась, Шондип-бабу ласково заметил:

— Вы, наверно, почти ничего не ели сегодня.

Я очень смутилась. В самом деле, я вернулась слишком быстро. Стоило только прикинуть в уме время, и

можно было бы без труда заметить, что еда отняла его у меня немного по сравнению со всем остальным — куда меньше, чем того требовали правила приличия. Но мне и в голову не приходило, что кто-нибудь займется таким подсчетом. По-видимому, Шондип-бабу заметил мое замешательство, и от этого я смутилась еще больше.

— Конечно же, вы хотели бежать отсюда, — сказал он, — как бежит в лес от людей пугливая лань. И я тем более ценю, что вы сочли возможным сдержать свое слово и вернуться.

Я не сумела достойно ответить и, вся красная от смущения, забилась в угол дивана. Теперь уже ничего не оставалось от созданной моим воображением Шакти, величественной и гордой, чье появление и благосклонный взгляд венчали бы Шондипа-бабу гирляндой победы.

Шондип-бабу затеял спор с моим мужем. Сделал он это намеренно, зная, что именно в пылу спора особенно ярко проявляется его блестящий дар оратора, его остроумие. Я не раз замечала это впоследствии — он никогда не пропускал случая поспорить, если при этом присутствовала я.

Шондип-бабу прекрасно знал мнение моего мужа относительно мантры «Банде Матарам».

— Значит, ты считаешь, Никхил, — сказал он с легким вызовом, — что в патриотических делах нет места фантазии?

— Нет, Шондип, я считаю, что в некоторых случаях вполне допустимо давать волю фантазии, но злоупотреблять этим не следует. Я хочу знать правду — только правду — о своей родине. Мне становится стыдно, меня страшит, когда вместо правды приходится слушать магические заклинания, затуманивающие человеческий мозг.

— Но то, что ты называешь магическим заклинанием, я называю истиной. Родина олицетворяет для меня бога. Я преклоняюсь перед Человеком вообще и верю, что именно в нем и в родине проявляется все величие божье.

— Но если ты действительно веришь в это, то для тебя должны быть равны все народы и все страны,

— Ты прав, так должно быть, однако возможности мои ограничены, поэтому весь пыл своего преклонения я отдаю богу своего отечества.

— Все это так, только мне не совсем ясно, каким образом ты сочетаешь такое преклонение перед богом с ненавистью к другим народам.

— Ненависть и преклонение неразделимы. В битве с Махадевой, одетым в тигровую шкуру, Арджуна завоевал себе друга. Если мы будем готовы сразиться со всевышним, он, в конце концов, ниспошлет нам свою милость.

— Значит, те, кто предан родине, и те, кто приносят ей вред, — одинаково служат всевышнему? Зачем же ты тогда так горячо проповедуешь патриотизм?

— Это совершенно другое. Когда дело касается отчизны — все решает сердце.

— Почему не пойти дальше? Поскольку бог проявляется в нас самих, не следует ли в первую очередь сотворить культ из собственного «я». Кстати, это будет очень естественно.

— Никхил, все, что ты говоришь, — плод сухих умозаключений. Разве ты совсем не признаешь то, что принято называть душой?

— Я тебе скажу совершенно откровенно, Шондип, — возразил мой муж, — когда вы пытаетесь оправдать содеянную несправедливость своим долгом или выдать порок за высокое моральное качество, больше всего страдает во мне именно душа. Тот факт, что я не способен воровать, объясняется вовсе не моей способностью логически мыслить, а тем, что я питаю к себе некоторое уважение и имею кое-какие идеалы.

Внутренне я кипела от негодования и, не в силах далее сдерживаться, воскликнула:

— Разве история Англии, Франции, Германии, России и всех других цивилизованных стран не есть история бесконечных грабежей и разбоя во имя блага родины?

— За эти грабежи они понесут ответ, некоторые уже несут его, а история еще далеко не закончена.

— Прекрасно, — подхватил Шондип-бабу, — и мы так сделаем. Сперва мы обогатим казну нашей родины похищенными сокровищами, а затем через несколько лет,

окрепнув достаточно, дадим ответ за свои деяния. Но мне интересно знать: кто те, которые, по твоим словам, несут ответ за это?

— Когда пришло время Риму расплачиваться за свои грехи, мало кто из живущих в то время понял это — ведь до самого конца богатства его, казалось, были неисчислимы. То же самое происходит и сейчас — мы не замечаем, как расплачиваются за прошлые огромные цивилизованные государства-хищники. Но скажи мне, неужели ты не видишь, как придавливает их страшное бремя грехов, которые они тащат на своих плечах, как вся эта лживая политика, обманы, предательство, шпионаж, попрание истины и справедливости во имя сохранения своего престижа все более и более обескровливают их культуру? Я считаю, что те, для кого нет ничего святого, кроме родины, кто равнодушен даже к истине, равнодушен, в конце концов, к самой родине.

Я ни разу не присутствовала при спорах мужа с посторонними людьми. Правда, иногда я сама вступала с ним в спор, но он слишком любил меня, чтобы стремиться одержать надо мной верх. Сегодня я впервые убедилась в его умении спорить.

И все-таки в душе я не могла согласиться с его доводами. Мне казалось, что на все его слова есть достойный ответ, только найти его я не могла. Когда речь заходит об истине, как-то трудно сказать, что не всегда она уместна. У меня явилась идея написать возражения, которые родились в моей голове во время этого спора, и вручить их Шондипу-бабу. Потому-то я и взялась за перо, как только вернулась к себе.

Во время разговора Шондип-бабу вдруг взглянул на меня и спросил:

— А что вы думаете по этому поводу?

— Я мало разбираюсь во всяких тонкостях, — ответила я. — Но я скажу вам, что я думаю, в общих чертах. Я человек, и мне тоже свойственна жадность. Я страстно хочу богатства для своей родины. Ради этого я готова на грабеж и насилие. Я вовсе не добрая. Во имя родины я могу быть злой и, если надо, способна зарезать, убить, чтобы отомстить за нанесенные ей в прошлом обиды. У меня есть потребность восторгаться, и я хочу, чтобы

мой восторг принадлежал родине. Я хочу видеть ее, осязать — мне нужен символ, который я могла бы называть матерью, богиней, Дургой. Я хочу обагрить землю у ног ее кровью жертвы. Я — только человек, а не святая.

— Ура! Ура! — закричал Шондип-бабу, однако в следующий момент он спохватился и воскликнул: — «Банде Матарам!», «Банде Матарам!»

На лицо мужа легла тень страдания. Но она тут же исчезла, и он очень мягко сказал:

— Я тоже не святой, и я — только человек, поэтому-то я никогда и не допущу, чтобы зло, которое есть во мне, выдавалось за образ и подобие моей страны. Никогда!

— Ты видишь, Никхил, — заметил Шондип-бабу, — как истина обретает плоть и кровь в сердце женщины. Наша истина не имеет ни цвета, ни запаха, ни души — она просто схема. Но сердце женщины — подобно кровавому лотосу, в нем пышно расцветает истина, и она не беспочвенна, как наши споры. Только женщины могут быть по-настоящему жестоки; мужчины не способны на это — они склонны к самоанализу. Женщина легко может все разрушить. Мужчина тоже может, но его мучат сомнения. Женщины бывают яростны, как буря, но их ярость грозна и прекрасна. А ярость мужчины уродлива, потому что его точит червь сомнений и колебаний. И я утверждаю: спасение родины зависит от женщин! Сейчас не время проявлять благородство и щепетильность. Мы должны быть жестокими, беспощадными, несправедливыми. Мы не должны останавливаться перед грехом. Мы должны освятить его, совершить над ним обряд помазания кровавым сандалом и передать в руки женщин. Разве ты не помнишь слова нашего поэта?

Приди, о грех! Прекрасная, приди!
И огненным, пьянящим поцелуем
Взволнуй мне кровь и сердце пробуди.
Пусть раковины о беде трубят,
Отметь мое чело тавром позора,
А черный этот грех, о мать разора,
Укрой навечно на моей груди!¹

¹ Здесь и далее, за исключением особо отмеченных, стихи в переводе Г. Ярославцева.

— К дьяволу добродетель, которая не умеет разрушать и хохотать при этом!

Шондип-бабу дважды с силой стукнул тростью, и испугнутые пылинки закружились над ковром. В мгновенном порыве он оскорбил то, к чему испокон веков во всех странах мира люди относились, как к святой святыне. Он встал, гордо обвел нас взглядом. У меня пробежала по телу дрожь, когда я взглянула ему в глаза. И снова загремел его голос:

— Я узнаю тебя — ты прекрасный дух огня, испепеляющий дом и озаряющий мир. Одарь же нас неукротимой силой, дай нам мужество разрушить все дотла, сделай так, чтобы гибель и разрушение стали прекрасными!

К кому был обращен этот страстный призыв, осталось непонятным. Может быть, к той, кого воспевают «Банде Матарам», а может быть, к бенгальской Лакшми, которая олицетворяла бенгальских женщин и находилась в эту минуту перед ним.

Мне вспомнились санскритские стихи Вальмики, отринувшего зло во имя любви и добра. А теперь Шондип-бабу во имя зла отринул добродетель! А может быть, это был просто способ познакомить нас со своим драматическим талантом, при помощи которого он давно улавливал в свои сети людские сердца?

Он продолжал бы и дальше в том же духе, но внезапно мой муж встал и, прикоснувшись к его плечу, тихо сказал:

— Шондип, пришел Чондронатх-бабу.

Я обернулась и увидела в дверях благообразного старика, с осанкой, полной тихого достоинства; он стоял в нерешительности, не зная, входить ему или нет. Лицо его светилось нежным, мягким светом, подобным свету вечерней зари.

— Вот мой учитель, — шепнул муж, обращаясь ко мне. — Я много говорил тебе о нем. Поклонись ему.

Я склонилась перед учителем и взяла прах от его ног.

— Да хранит тебя всевышний долгие годы, мать! — сказал он, благословляя меня.

Как я нуждалась в его благословении в этот момент!

Когда-то я верил, что вынесу любое испытание, ниспосланное мне всевышним. Но проверить это не представлялось случая. Теперь мой час пробил. Порой в душе я старался испытать свою стойкость, представляя себе несчастья, которые могут выпасть на мою долю: нищету, тюрьму, бесчестие, смерть — даже гибель Бимолы. Едва ли я солгу, если скажу, что сумел бы перенести любое из них с высоко поднятой головой.

Но одну беду я никак не мог себе представить. Вот о ней-то я и думаю сейчас, и мысль, хватит ли у меня сил перенести все это, не перестает мучить меня.

Словно острый шип впился мне в сердце, и боль, которую он причиняет, не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Не успею я проснуться, мне начинает казаться, что прелесть утреннего света меркнет. Что это значит? Почему так случилось? Откуда эта тень? Отчего хочет она затмить радость моей жизни? Все мои чувства обострились до предела. Даже прошлые печали, подернувшиеся было дымкой счастья, сейчас обнажились и вновь терзают мне душу. Стыд и горе вплотную придвинулись ко мне, и как ни стараются они замаскироваться, я вижу их все явственнее. Я весь обратился в зрение: я вижу то, чего не должен, чего не желаю видеть.

Коварное благополучие сделало меня нищим. Я долго не замечал этого. Но проходили день за днем, минута за минутой, и моему взору и слуху открылось вдруг во всей своей наготе убожество моего обманчивого счастья. Отныне до последнего вздоха жизнь заставит меня с процентами возмещать ей долг за те иллюзии, которыми я жил в течение девяти лет юности. Лишь тот, чей капитал уже исчерпан, понимает, как тяжело это бремя. И все же я не могу не воскликнуть с жаром: «Да здравствует истина!»

Вчера приходил Гопал, муж моей двоюродной сестры Муну. Он просил помочь ему устроить свадьбу дочери. Взглянув на обстановку в моем доме, он, по всей вероятности, решил, что на свете нет человека счастливее меня.

— Передай Муну, что завтра я приду к тебе пообедать, — сказал я Гопалу.

Небесным раем стал бедный дом Муну, наполненный нежностью ее сердца. Я рвался туда, где прекрасная Лакшми раздавала пищу изголодавшимся духом. Бедность сделала ее еще прекрасней. «Я приду, чтобы увидеть тебя... О святая, пыль от твоих божественных ног все еще дарует земле благодать!»

Стоит ли притворяться? Не лучше ли, склонив смиренно голову, признать, что мне чего-то не хватает. Быть может, именно той решимости, которую женщины так стремятся найти в мужчине? Но разве решимость — это тщеславие, бесстыдный произвол, деспотизм?.. Впрочем, кому нужны мои возражения? Они ведь не восполняют недостатка. Я — недостойн! Недостойн! Недостойн! Ну и что из этого? Любовь тем и ценна, что награждает и недостойных. Для достойных на земле много наград, а для недостойных судьба приберегла одну лишь любовь.

Я сам сказал как-то Бимоле, что ей пора покончить с затворничеством. До сих пор она жила замкнутой жизнью своего маленького мирка с его мелкими домашними заботами и ограниченными интересами, и я не раз спрашивал себя, откуда черпает она любовь, которую дарит мне, — из тайного ли родника в своем сердце или это просто ежедневная доза, полагавшаяся мне, вроде той порции воды, которую городской муниципалитет ежедневно выдает городу.

Жаден ли я? Стремился ли я получить больше того, что мне давалось? Нет, жаден я не был, но я любил. Потому-то мне и хотелось, чтобы Бимола чувствовала себя свободно и чтобы ничто не сдерживало ее, чтобы она не была похожа на окованный железом сундук. Я не собирался украшать свой дом бумажными цветами, вырезанными из наших древних книг, я хотел видеть Бимолу в расцвете сил, знаний, чувств, которые ей мог дать живой мир.

Но я забывал об одном: если хочешь увидеть человека действительно свободным, нужно забыть о том, что имеешь на него какие-то права. Почему я не подумал об этом? Может быть, во мне говорило чувство собственника? Нет, просто я безгранично любил.

Я был настолько самонадеян, что считал: я не дрогну пред лицом жизни, как бы неприглядна она ни была. И испытание началось. Однако я до сих пор лелею гордую

мечту, что выйду победителем из этого сражения не на жизнь, а на смерть.

В одном Бимола не поняла меня. Она не поняла, что я считаю насилие проявлением величайшей слабости. Слабый никогда не решится быть справедливым. Он боится ответственности, которая ждет его, если он пойдет прямым путем, и предпочитает быстрее добраться до цели окольными, обманными тропинками. Бимола нетерпелива. Ей нравятся мужчины неуравновешенные, жестокие, несправедливые. Кажется, будто она не представляет себе уважения без доли страха.

Я надеялся, что, когда Бимола выйдет «на свободу», она на многое посмотрит иначе и освободится от своего преклонения перед деспотизмом. Но оказалось, что корни этого чувства ушли слишком глубоко. Ее влечет неукротимая сила. Самые простые яства, предложенные ей жизнью, она должна обильно приправлять перцем, чтобы дух захватывало, — иных ощущений она не признает.

Я же дал себе зарок исполнять свой патриотический долг сдержанно и спокойно, не поддаваясь действию пьянящего вина волнения и страсти. Я скорее прошу любой проступок, чем ударю слугу, и, сказав в пылу гнева что-нибудь лишнее, долго мучаюсь потом. Я знаю, Бимола принимает мою щепетильность за слабость характера, поэтому ей и трудно испытывать ко мне уважение. Ее сердит то, что я не мечусь вместе со всеми, выкрикивая «Банде Матарам». Кстати сказать, я заслужил неодобрение всех своих соотечественников, потому что не могу разделить бурного религиозного фанатизма, овладевшего ими. Они убеждены, что я либо жду высокого титула, либо боюсь полиции. Полиция же, в свою очередь, подозревает, что за моей внешней благопристойностью кроются дурные намерения. И тем не менее я продолжаю идти этим путем, вызывая недоверие и рискуя заслужить бесчестие.

Я считаю, что тем, кому недостаточно видеть свою родину в ее истинном свете, чтобы вдохновенно служить ей, — так же, как тем, кто не любит человека только за то, что он человек, — кому нужно непрестанно восхвалять и обожествлять свою страну, чтобы не дать угаснуть своим пламенным чувствам, дороги именно эти пламенные чувства, а вовсе не родина. Позволять плодам фантазии

заслонять истину — значит обнаруживать рабские черты, глубоко укоренившиеся в наших душах. Мы теряемся, обретая возможность свободно мыслить. В своем оцепенении мы утратили способность думать, если нас не подхлестывает фантазия, если мысли наши не направляет какой-нибудь пандит или видный политический деятель. Мы должны раз и навсегда уяснить себе, что, пока мы глухи к истине, пока мы не можем обходиться без дурманных сознание стимулов, по-настоящему управлять своей страной мы не способны. В этом случае, каково бы ни было положение страны, нам нужна будет сила — призрачная или реальная, а может быть, и та и другая, — чтобы держать нас в узде.

Как-то раз Шондип сказал мне:

— При всех твоих достоинствах тебе недостает воображения, потому ты и не можешь представить себе родину богиней-матерью.

Бимола согласилась с ним. Я ничего не ответил, так как победа в споре не доставляет мне никакого удовольствия. Расхождение во мнениях происходит у нас вовсе не оттого, что мы с ней неравны по уму, а оттого, что по характеру мы совершенно разные люди. В узких рамках маленького домашнего мирка разница в характерах едва уловима, она не нарушает ритма всей нашей жизни. Однако, выйдя на простор широкого мира, она становится ощутимой. Там волны уже не рокочут успокоительно, а бьют с силой.

Мне не хватает воображения! Иными словами, они считают, что в светильнике моего разума есть масло, но нет пламени! Я мог бы сказать им в ответ: это в вас нет пламени. Вы темны, как тот камень, из которого высекают огонь. Сколько раз надо по нему ударить, сколько шума надо наделать, чтобы появилась хотя бы одна искорка! Но эти искры лишь тешат ваше тщеславие, они не рассеивают мрака вокруг.

За последнее время я стал замечать в Шондипе какую-то грубую алчность. Он слишком одержим плотскими страстями — это невольно ставит под сомнение искренность его религиозных взглядов и придает оттенок

деспотизма его служению родине. Он груб по натуре, но обладает острым умом и умело прикрывает пышными фразами свои эгоистические намерения. Он добивается исполнения всех своих желаний с той же настойчивостью, с какой мстит за каждую обиду.

Бимола не раз говорила мне прежде о его чрезмерной жадности к деньгам. Я и сам это чувствовал, но заставить себя торговаться с Шондипом не мог. Мне стыдно было даже подумать, что он пользуется мной в своих корыстных целях. Мои денежные поощрения выглядели отвратительно, и поэтому я никогда не спорил с ним. Любовь Шондипа к родине — одно из проявлений той же грубой жадности и эгоизма. Но объяснить все это Бимоле теперь было бы трудно, потому что в Шондипе она чтит героя. Я мог бы показаться ей пристрастным. В моих словах могла прозвучать ревность, я мог бы впасть в преувеличение. Может быть, с тех пор как жгучая боль терзает мое сердце, Шондип и правда представляется мне в искаженном свете? Все же, пожалуй, будет лучше, если я расскажу обо всем прямо — затаенные мысли тяготят душу.

Своего учителя Чондронатха-бабу я знаю почти тридцать лет. Его не страшат ни клевета, ни бедствие, ни смерть. В семье, где я родился и вырос, мне неоткуда было бы ждать спасения, если бы он не создал для меня особый мир, центром которого был он сам — безгранично спокойный, справедливый, одухотворенный, если бы он не научил меня выше всего на свете почитать истину.

В тот день он спросил меня, так ли уж необходимо Шондипу оставаться здесь еще дольше?

Учитель обладает удивительной способностью чувствовать приближение опасности. Его не так-то легко встревожить, но тут он увидел призрак надвигающейся беды. Увидел потому, что сильно любит меня. За чаем я спросил Шондипа:

— Когда ты собираешься в Рангпур? Я получил от туда письмо. Друзья считают, что я поступаю эгоистично, задерживая тебя.

Бимола разливала чай. Она изменилась в лице и украдкой взглянула на Шондипа.

— Я пришел к заключению, что все эти наши переезды взад и вперед с целью пропаганды свадешы — просто непроизводительная трата сил. Мне кажется, что моя работа дала бы более ощутимые результаты, если бы я обосновался в одном месте и руководил всем оттуда. — Сказав это, Шондип вопросительно посмотрел на Бимолу. — Вы не согласны? — спросил он.

— Мне кажется, что руководить патриотическим движением из центра или разъезжать для этого по разным местам — одинаково хорошо, — ответила она, подумав. — Вопрос в том, какой способ вам больше по душе.

— В таком случае буду говорить откровенно, — сказал Шондип, — я долго был убежден, что переезды с места на место и пробуждение в массах энтузиазма — моя обязанность. Но затем я понял свою ошибку. Мне еще никогда не удавалось найти источник, из которого я мог бы безотказно черпать вдохновение, — вот почему я разъезжал все время, возбуждая энтузиазм в народе и в то же время заряжаясь энергией от него. Теперь же вы стали для меня Сарасвати. Мне еще никогда не приходилось встречать скрытого огня такой силы. А ведь я кичился своим могуществом! Какой позор! Во мне нет больше уверенности, что я могу стать вождем страны. Но я с гордостью заявляю, что с помощью огня, заимствованного у вас, я сумею воспламенить всю страну. Нет, нет, не смущайтесь. Вы должны быть выше сомнений, скромности, ложного стыда. Вы — Царица нашего улья, а мы, рабочие пчелы, сомкнемся вокруг вас. Вы будете нашей главой, нашим вдохновением. Вдали от вас нам не будет радости, не будет удачи. Примите без колебаний наше благоговение.

От стыда и гордости Бимола вся залилась краской, и ее рука, застывшая над пиалой, задрожала.

Как-то раз Чондронатх-бабу пришел ко мне и сказал: — Мне не нравится твой вид, Никхил. Достаточно ли ты спишь? Ты бы поехал с Бимолой в Дарджилинг.

Вечером я предложил Бимоле отправиться в Дарджилинг. Я знал, что ей давно хотелось побывать там,

полюбоваться вершинами Гималаев. Но Бимола отказалась. По всей вероятности, из долга перед родиной!

Я не хочу терять надежды, я буду ждать. Переход из маленького домашнего мирка в большой труден и чреват потрясениями. Жизнь Бимолы была ограничена четырьмя стенами нашего дома, она не покидала своего уютного гнездышка. Теперь она очутилась на свободе, и старые законы уже не могут удовлетворить ее. Я решил подождать, пока она не освоится со своей свободой и неведомым ей прежде миром. Если окажется, что в ее новом мире для меня не найдется места, я не стану препираться с судьбой, не стану спорить и тихо удалюсь. Сила? Насилие? Но к чему это? Ведь насилие несовместимо с истиной!

РАССКАЗ ШОНДИНА

«Мое — то, что выпало на мою долю», — говорит слабый, а нерешительный поддакивает ему. Но подлинный закон жизни гласит: «Мое — то, что я сумею отнять».

Страна еще не становится моей родиной только потому, что я в ней родился. Но она станет ею с того момента, как я завоюю ее силой.

Алчность так же естественна, как естественно право на обладание. Природа не требует, чтобы мы смирялись с лишениями. Если я страстно хочу чего-то, окружающие обязаны предоставить это мне. Это и есть единственно правильная точка соприкосновения двух миров — внутреннего и внешнего. Обучение этой истине мы не считаем высокой моралью, вот почему человек до сих пор не знает, что такое истинная мораль.

На земле есть жалкие создания, не умеющие ни сжать кулака, ни захватить, ни отобрать насильно. Вот пусть они и утешаются своей моралью и охраняют нравственные идеалы. Избранниками судьбы являются те, которые жаждут всем сердцем, наслаждаются всей душой, кого не мучают сомнения и нерешительность. Для них — прекраснейшие и богатейшие дары природы. Они не знают преград; если им что-то надо, — переплывают реки, преодолевают барьеры, выламывают двери. И делают это с радостью — добытое в борьбе вдвойне ценно. Природа покоряется лишь

наглым и сильным. Ее восхищает упорство желания, упорство достижения и упорство обладания. Свадебную гирлянду весенних цветов она не возложит на тощую шею изможденного аскета.

Звучит торжественная музыка. Сердце мое полно страстного нетерпения. Но кто же ее избранник? Избранник — я! Мне, идущему с зажженным факелом, принадлежит это место. Избранник природы всегда приходит незванным.

Стыд? Нет, я не знаю его. Я беру все, что мне надо, и даже не спрашиваю. А те, кому взять мешает жалкая робость, зависть свою прикрывают застенчивостью. Они возводят ее в добродетель. Мир, окружающий нас, — мир реальностей. Я не вижу, зачем вообще приходят в этот жестокий мир те, которые покидают его рынок голодными, с пустыми руками, запасшись лишь громкими фразами? Или, быть может, господа, забавляющиеся религией, наняли их играть на флейтах в небесных рощах нежные мелодии воздушных грез? Мне не нужны звуки флейты, а воздушные грезы меня не насытят.

Когда я чего-то хочу, то хочу страстно. Я хочу крепко сжать это что-то руками, обхватить ногами, умастить им все тело, вдоволь насладиться им. Я не стыжусь своих желаний и не колеблясь беру все, что хочу. Меня не трогает визгливый писк тех, кто, сидя на нравственном порционном, становится похожим на плоских и высохших клопов, забившихся в давно покинутую постель.

Я не хочу ничего утаивать — это трусость. Но, если я не смогу скрыть свои мысли, когда нужно, — я проявлю не меньшую трусость.

Ваша алчность заставляет вас возводить стены. Моя алчность заставляет меня пробивать в них бреши. У вас власть и сила, у меня — хитрость и ловкость. Все это естественно. На этом зиждятся империи и царства, на этом держатся все великие деяния людей. В речах богов, спускающихся с небес и изъясняющихся на священном языке, нет ничего реального. Поэтому, несмотря на взрывы одобрения, которыми встречают эти речи, по-настоящему внимают им только слабые. Сильные же, владыки мира, относятся к ним с презрением. Внимая таким речам, они потеряли бы свою силу. Ибо в этих речах нет

жизни. Тем, кто не колеблясь принимает это, кто не стыдится это признать, обеспечен успех. И жалка участь несчастных, которые разрываются между зовом природы и велениями богов, между реальным и нереальным, которые хотят встать одной ногой в одну лодку, а второй в другую, — они не смогут ни двинуться вперед, ни остаться на месте.

Есть немало людей, которые словно для того и родились на свет, чтобы думать о смерти. В медленном угасании есть своеобразная красота, подобная красоте небес в час заката. Наверно, именно она-то и пленяет их. Таков наш Никхилеш. Он мертв. Несколько лет тому назад мы крепко поспорили с ним.

— Я согласен, что добиться чего-то можно только силой, — сказал он. — Весь вопрос в том, что ты называешь силой и чего собираешься добиться. Моя сила — в умении обуздывать свои желания.

— Но ведь это значит, — воскликнул я, — что тебя влечет гибель, разрушение!..

— Да, так же, как сидящего в яйце цыпленка тянет разрушить скорлупу, лишь бы выбраться из нее. Скорлупа, конечно, вещь весьма реальная, но цыпленок готов расстаться с ней, чтобы получить взамен воздух и свет. По-твоему, сделка эта будет невыгодна для него, так, что ли?

Когда Никхилеш обращается к метафорам, ему трудно доказать, что все это лишь пустые слова. Ну что ж, пусть радуется своим метафорам. Мы же существа плотоядные. У нас есть зубы и когти. Мы можем преследовать, хватать, рвать. Мы не станем пережевывать вечером утреннюю жвачку. И уж мы не потерпим, чтобы вы, мастера метафор, преграждали нам путь к средствам существования. В этом случае нам придется либо красть, либо грабить, потому что мы должны жить. Как бы это ни печалило почтенных отцов-вишнуитов, но мы не настолько очарованы смертью, чтобы распластаться на листе лотоса и, усыхая, ждать ее появления.

Найдутся люди, которые скажут, что я кладу начало новому учению, — скажут потому, что в большинстве своем люди поступают так же, как я, но на словах утверждают обратное и не хотят понять такой простой вещи, что

этот закон и есть мораль. А я это понимаю. Мои слова отнюдь не отвлеченная теория — они проверены на практике. Я убедился в этом, видя, как легко мне при желании покорить сердца женщин. А они существа реального мира и не парят, подобно мужчинам, в заоблачных высотах, их не влекут воздушные шары, начиненные пустыми идеями. В моих глазах, жестах, мыслях и словах они угадывают страстное желание. Это не страсть, иссушенная аскетизмом, не страсть, раздираемая сомнениями, неуверенная в себе, колеблющаяся, нет, это настоящая, полнокровная страсть. Она бурлит и клокочет, как океанский прибой, и в ее грохоте ясно слышен вопль: «Хочу, хочу, хочу!» И женщины сердцем понимают, что именно эта неукротимая страсть движет миром. Она не признает иного закона, кроме себя, потому-то она и непобедима. И потому-то женщины и позволяли столько раз приливу моей страсти увлечь себя, не заботясь о том, куда несет их волна, — к счастью или к гибели. Силой, которая покоряет их, обладают лишь поистине могущественные люди: в мире реального эта сила торжествует неизменно. Те же, кто воспевают прелести иного мира, попросту стремятся к другим наградам — небесным, а не земным. Неизвестно, как высоко и как долго будет бить фонтан их грез, несомненно одно — женщины созданы не для этих жалких мечтателей.

Духовная близость! Не раз, когда того требовали обстоятельства, я говорил: Есть на свете мужчины и женщины, словно специально созданные богом друг для друга. Союз их — если им суждено встретиться, — выше всех союзов, которые благословляет закон. Дело в том, что мужчина, даже следуя зову природы, не может обойтись без пышных фраз, потому-то мир и переполнен ложью. Духовная близость? Но кто сказал, что она может быть лишь с одной женщиной? Хоть с тысячью! Мысль, что во имя близости с одной я могу отказаться от близости со всеми другими, противна моей природе. Я много встречал на своем пути духовно близких мне женщин, но это не препятствие для встречи еще с одной. И вот ее-то и вижу я перед собой сейчас. Так же явственно, как и она меня. Что же дальше? Дальше победа — если я не трус, конечно.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Я часто думаю: куда девался мой стыд? Вся беда в том, что у меня не было времени остановиться и взглянуть на себя со стороны, — дни и ночи вихрем неслись куда-то, увлекаая меня за собой, отметая прочь колебания и взыскательность к себе.

Однажды меджо-рани, смеясь, заявила при мне мужу: — Ну, братец, в нашем доме долго плакали женщины, теперь настал черед мужчин. Мы заставим их поплакать. Что ты скажешь, чхото-рани? Рыцарские доспехи уже на тебе? Смотри же, прекрасная воительница, чтобы твое копьё вонзилось прямо в сердце мужчины!

Проговорив это, она окинула меня взглядом с головы до ног. От ее быстрых глаз не ускользнуло ничто — ни тщательность, с какой я стала одеваться, ни изящество манер, ни живость речи. Мне совестно признаваться в этом сейчас, но тогда я не испытывала ни малейшего стыда. Потому что в душе моей все смешалось и я не отдавала себе отчета в том, что происходит.

Я стала уделять больше внимания своим нарядам, но делала это как-то машинально, без всякой задней мысли. Я хорошо знала, какие платья особенно нравятся Шонди-пу-бабу. Здесь не требовалось догадки, так как он ни от кого не скрывал своих вкусов. Однажды он сказал мужу:

— Знаешь, Никхил, когда я впервые увидел нашу Царицу Пчелу, у меня замерло сердце. Она сидела такая скромная и молчаливая, в сари, окаймленном парчой, а ее глаза были похожи на сбившиеся с пути звезды. Они были вопрошающе устремлены в безграничную даль, и казалось, что она уже тысячелетия смотрит так в преддверии мрака и чего-то ждет. И мне почудилось, что золотая кайма сари — это поток ее скрытого огня, пламенной лентой обвившегося вокруг нее. Оно так нужно нам — это яркое видимое пламя. Царица Пчела, исполните мое желание: покажитесь нам еще раз в своем огненно-пламенном наряде.

До тех пор я была всего лишь ручейком, протекавшим мимо деревни, который журчал по камешкам и лепетал что-то свое. Но откуда ни возмись, начался мощный прилив, морские волны докатились до ручейка, его воды вы-

шли из берегов и бешеным потоком устремились вперед, неся с собой грозный гул далекого прибоя.

Я долго не могла понять, что это голос моей взбаламученной крови. Где же было до сих пор это второе мое я? Почему так запенились вдруг волны красоты, таившейся во мне? Жадный взор Шондипа-бабу, устремленный на меня, горел, словно светильник перед алтарем. Каждый взгляд его говорил, что я — чудо красоты, что я обладаю волшебной властью. Его похвалы, немые и высказанные, словно удары гонга в храме, заглушали для меня все остальные голоса на земле.

Неужели всевышний заново создал меня, думала я. Или он решил возместить пренебрежение, с каким так долго относился ко мне? Я, дурнушка, стала красавицей! Я — такая незначительная и незамечная до сих пор — почувствовала вдруг, что во мне сосредоточились весь блеск, все великолепие Бенгалии. Ведь Шондип-бабу был не просто человек. В нем слились души миллионов бенгальцев. И, когда он называл меня Царицей Улья, вместе с ним мне пели хвалу все патриоты родины. Разве могли тревожить меня после этого презрительные взгляды старшей невестки или ядовитые шутки средней? Мое отношение ко всему миру резко изменилось.

Шондип-бабу внушил мне, что вся страна нуждается во мне. Я ни на минуту не усомнилась в этом. Словно какая-то божественная энергия вселилась в меня. Я никогда не испытывала такого состояния прежде, оно было недоступно мне. У меня не было времени задумываться над тем, откуда взялась так внезапно эта энергия. Каково ее происхождение? Во мне ли родилась она или нахлынула откуда-то извне. Нет, не во мне, а во всей стране, словно поток, рожденный половодьем. Что за дело такому потоку до крошечного пруда где-то на задворках сада.

Шондип-бабу советовался со мной о каждом пустяке, касающемся движения свадеши. Сперва я чувствовала себя очень неловко, пыталась уклониться под разными предлогами, но вскоре мое смущение прошло. Он восхищался всеми моими советами.

— Мы, мужчины, — говорил он, — способны только размышлять. Вы же, женщины, схватываете суть на лету. Создавая женщину, всевышний пустил в ход всю свою

фантазию; создавая мужчину, он применял грубую силу.

Слушая его, я начинала верить в свой ум, свое могущество; мне казалось, что я всегда обладала ими и они были настолько присущи мне, что я просто не замечала их.

Со всех концов страны к Шондипу-бабу приходили письма с самыми неожиданными вопросами. Шондип-бабу показывал их мне и не отвечал ни на одно, не узнав моего мнения. Иногда он не соглашался со мной, и в этих случаях я не спорила. Проходил день-другой, и вдруг с видом человека, неожиданно вышедшего из мрака на яркий свет, он говорил мне:

— Вы были правы, я спорил зря.

Шондип-бабу не раз признавался, что, когда он поступает вопреки моему слову, ему часто приходится расплачиваться за это впоследствии. В чем же тут дело? — удивлялся он. Постепенно я уверовала в то, что за всем происходившим в те дни в нашей стране стоял Шондип-бабу, а за ним — здравый смысл некой женщины. И сознание огромной ответственности, лежащей на мне, наполняло меня гордостью и ликованием.

Муж не принимал участия в наших совещаниях. Шондип-бабу относился к нему как к младшему брату, которого очень любят, но на благоразумие которого не полагаются. Он мягко вышучивал детскую наивность моего мужа, утверждая, что все его рассуждения поставлены с ног на голову. Но странные теории и парадоксы Никхилеша были, по его мнению, настолько забавны, что вызывали у него еще более нежные чувства к моему мужу. Движимый, очевидно, именно этой исключительной нежностью, он и отстранил мужа от всех трудностей, связанных с движением свадеши.

Природа располагает большим запасом болеутоляющих средств, которые она применяет, когда хочет незаметно перерезать живую нить, связывающую два организма. И тот, кто подвергся операции, узнает о ней лишь после того, как придет в сознание и увидит, что с ним произошло.

Пока скальпель работал над нитью, связывавшей меня с тем, что было мне дороже и ближе всего в жизни, наркоз совершенно одурманил меня, и я даже не подозревала, какая жестокость творится надо мной. Такова женщина:

стоит страсти проснуться в ней, и она забывает обо всем на свете. Мы, женщины, — разрушительницы. Слепая природа берёт у нас верх над разумом. Мы, как реки, питаем все вокруг, пока катим воды в своем русле, но стоит лишь нам выйти из берегов, и мы начинаем губить и разрушать.

РАССКАЗ ШОНДИПА

Я понимаю — происходит что-то неладное. У меня был случай убедиться в этом.

С моим приездом гостиная Никхилеша, где перемешались два мира: внутренний и внешний, превратилась в некое земноводное, которое живет и на свету и во мраке. Я мог входить туда, покидая свет, Царица Пчела появлялась из мрака.

Будь мы осторожней, прояви мы должную выдержку, никто не обратил бы внимания на то, что происходит между нами, но мы мчались вперед, не задумываясь о последствиях, подобно тому как устремляется вода в брешь плотины, размывая ее все больше и больше.

Я обычно сидел у себя, когда Царица Пчела приходила в гостиную, но сразу же узнавал о ее появлении. Раздавался звон запястий и браслетов: хлопала чуточку сильнее, чем нужно, дверь, скрипела дверца книжного шкафа. Я входил в гостиную и заставал Царицу Пчелу, стоящей спиной к двери и с преувеличенным вниманием выбирающей книгу. Я предлагал помочь ей в этом трудном деле, она испуганно вздрагивала и отказывалась. Затем завязывался разговор.

В тот вечер — это был четверг — в полдень я вышел из комнаты, заслышав знакомые звуки. Но на веранде передо мной вырос привратник. Не обращая на него внимания, я продолжал свой путь, однако он преградил мне дорогу.

— Господин, не ходите сюда.

— Не ходить? Почему?

— В гостиной рани-ма.

— Прекрасно, доложи твоей рани-ма, что Шондип-бабу хочет ее видеть.

— Нельзя, господин, — сказал он. — Не приказано.

Я страшно рассердился:

— А я приказываю — пойдй и доложи!

Привратник смутился, видя мою настойчивость. Оттолкнув его, я направился к двери и уже почти достиг ее, но он догнал меня и, схватив за руку, воскликнул:

— Господин, не входите!

Как! Прикасаюсь ко мне?

Я с силой выдернул руку и ударил его по щеке. В это мгновение в дверях появилась Царица Пчела и услышала, как привратник начал бранить меня.

Я никогда не забуду ее в этот момент.

Царица Пчела красива. Это открытие принадлежит мне.

Большинство моих соотечественников на нее и не взглянули бы. Она высока и тонка, и наши ценители красоты с презрением называли бы ее «жердью». Но меня как раз и восхищает ее высокая, стройная фигура, которая, словно струя фонтана жизни, бьет из самых глубин сердца создателя. Она смугла, но цвет ее лица напоминает вороненую сталь — светящуюся, мерцающую и суровую.

В тот день отблеск вороненой стали появился и в ее глазах. Она остановилась на пороге и, указывая пальцем на дверь, воскликнула:

— Вон!

— Не гневайтесь на него, — проговорил я. — Раз существует запрет, уйти должен я.

— Нет, вы не уйдете, войдите в комнату, — дрожащим голосом возразила Царица Пчела.

Ее слова звучали не просьбой, а приказанием. Я вошел, сел в кресло и, взяв веер, начал им обмахиваться. Царица Пчела что-то написала карандашом на клочке бумаги и приказала слуге отнести записку господину.

— Простите меня, — заговорил я, — я не владел собой, когда ударил вашего привратника.

— И хорошо сделали, — ответила Царица Пчела.

— Но ведь этот несчастный не виноват, он всего лишь выполнял приказание.

В комнату вошел Никхил. Я поспешно поднялся с кресла, подошел к окну и стал смотреть в сад.

— Привратник Нонку оскорбил Шондина-бабу, — начала Царица Пчела.

— Каким образом? — спросил Никхил, так хорошо разыграв изумление, что я невольно обернулся и внимательно посмотрел на него. «Самый порядочный человек опускается до лжи перед своей женой, — думал я, — если она этого заслуживает, конечно».

— Шондип-бабу шел в гостиную, а Нонку преградил ему путь и сказал: «Не приказано».

— Кем не приказано? — спросил Никхил.

— Откуда я знаю?

От гнева и обиды Царица Пчела готова была расплакаться. Никхил послал за привратником.

— Я не виноват, господин, я выполнял приказание, — мрачно ответил Нонку.

— Чье приказание?

— Мать боро-рани и мать меджо-рани мне приказали.

Некоторое время мы все молчали.

— Нонку придется выгнать, — сказала Царица Пчела, когда он вышел из комнаты.

Никхил промолчал. Я понял, что врожденное чувство справедливости не позволяет ему согласиться с этим. Его щепетильность не знает предела. Но на этот раз перед ним стояла нелегкая задача: Царица Пчела не из тех женщин, которые сдают позиции без боя. Увольнением Нонку она хотела отомстить невесткам за нанесенное оскорбление.

Никхил продолжал молчать. Глаза Царицы Пчелы метали молнии. Мягкость мужа возмущала ее до глубины души. Немного погодя, так ничего и не сказав, Никхил покинул комнату.

На следующий день я уже не видел привратника. Мне стало известно, что Никхил послал его работать в имение и что Нонку только выиграл от этого. По некоторым признакам я догадывался, какая сильная буря бушует за моей спиной. Могу сказать одно: Никхил — удивительный человек, ни на кого не похожий.

Результатом всего происшедшего было то, что Царица Пчела стала совершенно свободно приглашать меня в гостиную посидеть и поболтать с ней, не ища для этого предлога и не делая вид, что встретились мы случайно.

Таким образом, то, о чем прежде могли только догадываться и подозревать, становилось очевидным. И это было тем более удивительно, что для постороннего мужчины хозяйка знатного дома так же недосягаема, как звездный мир, в котором нет проторенных дорог. Мир, полный неуловимых движений, колебаний, звуков... Здесь один за другим слетали покровы обычаев, и наконец, обнаженная естественность явила изумительную победу истины!

Именно истины! Взаимное влечение мужчины и женщины — это реальность. Точно так же, как и весь мир материи, начиная с мельчайшей былинки и кончая небесными звездами. А человек пытается окутать эти отношения непроницаемым туманом лживых слов и с помощью им же самим придуманных ограничений и условностей превратить их в некую домашнюю утварь. Но ведь это так же нелепо, как если бы мы захотели растопить солнце, чтобы из расплавленной массы заказать цепочку для часов в подарок зятю.

Когда же, несмотря ни на что, жизнь откликается на зов плоти, хитрости мгновенно исчезают, и все становится на свои места. И никакая религия, никакая вера — ничто не может противостоять этому. Какой стон и скрежет зубовой поднимается вокруг! Но разве можно бранить бурю? Она и отвечать-то не станет, налетит и тряхнет как следует — она ведь реальность!

Я наслаждаюсь, наблюдая за тем, как постепенно просыпается истинное «я». Сколько смущения, робости, неверия! Но разве жизнь возможна без этого?

Как милы ее неуверенные шаги, потупленная головка! А ведь эти маленькие хитрости не могут обмануть никого, кроме ее самой. Когда жизнь вступает в борьбу с фантазией, хитрость становится ее главным оружием. Потому что враги естественности упрекают ее в грубости. И не мудрено, что ей приходится либо таиться, либо приукрашивать себя. Ведь не может же она заявить откровенно: «Да, я груба, потому что я — жизнь, я — плоть, я — желание, я — страсть, бесстыдная и безжалостная, как бесстыден и безжалостен огромный валун, который в потоке ливня летит с горной вершины на жилище людей, готовый разбиться вдребезги».

Сомнений быть не может. Завеса приподнялась, и мне видны последние приготовления. Затем наступит развязка. Я вижу узенькую алую ленточку пробора, едва заметную в массе ее блестящих волос, она похожа на огненную змейку в надвигающейся грозовой туче, сверкающую пламенем тайной страсти. Я ощущаю тепло, затаившееся в драпировках ее сари, понимаю, о чем говорит каждая складка ее одежды, говорит помимо воли той, которая носит ее и которая, возможно, даже не отдает себе отчета в этом.

Но почему она не отдает себе в этом отчета? Потому что человек, уходящий от действительности, собственными руками разрушает средства, при помощи которых можно познать и принять жизнь. Человек сгидится реальности. Ей приходится пробиваться сквозь запутанный лабиринт, созданный человеком. Путь ее проследить трудно, но когда она наконец обрушивается на нас, не увидеть ее мы уже не можем. Люди называют ее дьявольским искушением и шарахаются от нее. Поэтому ей приходится пробираться в райские сады в образе змеи и тайно нашептывать человеку слова, от которых у него раскрываются глаза и возгорается сердце. И тогда — прощай покой. Да здравствует гибель!

Я материалист. Обнаженная реальность разрушила темницу созерцания и выходит на свет. С каждым ее шагом моя радость растет. Я жду ее, пусть она подойдет ближе, я захвачу ее всю, я буду держать ее силой и не отпущу ни за что. Я разнесу в прах любую преграду, разделяющую нас, я втопчу ее в пыль и развею по ветру. Да будет радость, настоящая радость — неистовый танец жизни! А потом что будет — то будет: смерть ли, жизнь ли, хорошее или плохое, счастье или несчастье... все тлен! тлен! тлен!

Моя бедная маленькая Царица Пчела живет как во сне, не ведая, на какой путь она вступила. Будить ее прежде, чем наступит время, небезопасно. Лучше делать вид, будто и я не замечаю того, что происходит.

Как-то во время обеда Царица Пчела остановила на мне свой взгляд, не подозревая, по-видимому, как много он говорит. Когда наши глаза встретились, она густо покраснела и отвернулась.

— Вы удивляетесь моему аппетиту, — заметил я. — Я умею скрывать почти все свои пороки, но только не жадность. Однако стоит ли вам краснеть за меня, раз мне самому не стыдно?

Она пожала плечами и, еще более покраснев, пролепетала:

— Нет, нет, вы...

— Знаю, знаю, — перебил я ее, — женщины питают слабость к обжорам. Ведь как раз этот недостаток помогает им прибирать нас к рукам. Мне самому столько раз потакали и потворствовали в этом, что я, кажется, окончательно перестал стесняться. И меня ничуть не смущает, что вы следите, как исчезают ваши лучшие блюда. Я намерен до конца насладиться каждым из них.

Несколько дней тому назад я читал английскую книгу современного автора. В ней довольно откровенно обсуждались вопросы пола. Книгу я оставил в гостинной. На следующий день я зачем-то зашел туда после обеда. Царица Пчела сидела и читала мою книгу, но, заслышав шаги, поспешно прикрыла ее томиком стихотворений Лонгфелло.

— Я никак не могу понять, почему вы, женщины, так смущаетесь, когда вас застают за чтением стихов? — сказал я. — Смущаться надо мужчинам, адвокатам, инженерам. Это нам надо читать стихи по ночам, да еще при закрытых дверях. Но вам поэзия так близка. Творец, создавший вас, сам был поэтом-лириком, да и Джаядева, когда писал свою «Лалиталабангалату», наверное, сидел у его ног.

Царица Пчела ничего не ответила и, рассмеявшись, залилась краской. Она сделала движение к дверям.

— Нет, нет, — запротестовал я, — садитесь и читайте. Я забыл свою книгу. Возьму ее и сейчас же уйду.

И я взял книгу со стола.

— Счастье, что она не попалась вам в руки, — продолжал я, — иначе вы отругали бы меня.

— Почему? — спросила Царица Пчела.

— Потому что это не поэзия, — ответил я. — Тут одни только грубые факты, изложенные грубо, безо всяких прикрас. Мне очень хотелось бы, чтобы Никхил прочел ее.

— Но почему, — повторила Царица Пчела, чуть нахмурившись, — почему вам хотелось бы?

— Он свой брат, мужчина. Ведь если я с ним и ссорюсь, то только из-за того, что он предпочитает смотреть на мир сквозь туман своих фантазий. Ведь из-за этого он и на наше движение свадеши смотрит точно на поэму Лонгфелло, размер которой должен быть строго выдержан. Но мы действуем прозаическими дубинками и не признаем поэтических размеров.

— Но какая связь между этой книгой и свадеши? — продолжала допрашивать Царица Пчела.

— Это можно понять, только прочитав ее. Никхил предпочитает во всем — будь то свадеши или что-нибудь другое — руководствоваться прописными истинами, но это ведет лишь к тому, что он поминутно наталкивается на острые углы, которыми изобилует человеческая натура, ушибается и начинает клясть эту самую натуру. Он никак не хочет понять простой истины: человек появился значительно раньше всех этих пышных фраз и, без всякого сомнения, переживает их.

Помолчав некоторое время, Царица Пчела задумчиво сказала:

— Разве человеку не свойственно стремиться победить свою природу?

Я улыбнулся про себя: «О Царица, ведь это вовсе не твои слова, а Никхила. Ты-то ведь человек здравый. Твоя кровь и плоть не могут не отозваться на зов природы. Так смогут ли удержать тебя в сетях иллюзий заповеди, которые столько времени вдавливали тебе в голову? Ведь в твоих жилах пылает огонь жизни. Кому и знать это, если не мне? Сколько же еще времени смогут они охлаждать твой пыл холодными компрессами прописной морали?»

— Слабых большинство, — сказал я вслух. — Они из самозащиты денно и нощно бормочут эти заповеди, стараясь притупить слух сильных. Природа отказала им в твердости, вот они и делают все, чтобы ослабить других.

— Но ведь мы, женщины, тоже слабые создания, придется, по-видимому, и нам присоединиться к этому заговору, — заметила Царица Пчела.

— Это женщины-то слабые? — сказал я, улыбаясь. — Мужчины умышленно превозносят вашу нежность

и хрупкость, чтобы польстить вам и заставить вас самих поверить в свою слабость. Но на самом деле вы сильны. И я верю, что вам удастся разрушить крепость, созданную заповедями мужчин, и обрести свободу. Мужчины много говорят о своей так называемой свободе, но взгляните внимательнее — и вы увидите, насколько они, в сущности, связаны. Не их ли собственное творение — шастры, связывающие их по рукам и по ногам? И не они ли раздували огонь, чтобы выковать для женщин золотые кандалы, которые, в конце концов, сковали их самих? Если бы мужчины не обладали этой удивительной способностью запутываться в сетях, которые сами же сплетают, кто бы мог сдержать их? Они обожествляют ими же расставленные ловушки. Раскрашивают свое божество в разные цвета, наряжают в различные одежды, почитают под всякими названиями. Тогда как вы, женщины, телом и душой стремитесь жить настоящей, реальной жизнью. Истина близка вам, как выношенное и выкормленное вами дитя.

Царица — умная женщина, она не собиралась так просто покинуть поле боя.

— Если бы это была правда, не думаю, чтобы мужчины любили женщин, — парировала она.

— Женщины прекрасно сознают опасность, которая кроется в этом, — ответил я, — они понимают, что мужчинам необходима иллюзия, и создают ее, пользуясь у мужчин же заимствованными пышными фразами. Для них не секрет, что пьяница ценит вино больше, чем пищу. И они всячески стараются выдать себя за опьяняющий напиток, тогда как на деле они всего-навсего прозаическая пища. Самим женщинам иллюзии не нужны, и, если бы не мужчины, они ни за что не стали бы притворяться обольстительными и ставить себя в затруднительное положение.

— Зачем же в таком случае вы хотите разбить иллюзии? — спросила Царица Пчела.

— Во имя свободы. Я хочу видеть нашу родину свободной, я хочу, чтобы взаимоотношения людей основывались на свободе. Родина для меня нечто совершенно реальное, и я не могу смотреть на нее, находясь в чаду моральных поучений. Я реален так же, как реальны для меня вы, и я против оглуляющей и оупляющей болтовни.

Лунатиков нельзя пугать. Мне это известно. Но я по натуре порывист, осторожные движения мне несвойственны. Понимаю, что в тот раз я зашел слишком далеко в своих рассуждениях. Понимаю, что сказанное мною должно было произвести потрясающее впечатление. Но женщину можно победить только смелостью. Мужчины тешат себя иллюзиями, женщины предпочитают реальные факты. Мужчины молятся кумиру собственных идей, а женщины всю свою дань спешат принести к ногам сильного.

Наш разговор становился все более оживленным. И надо же было войти в это время в комнату старому учителю Никхила — Чондронатху-бабу. Как приятно было бы жить на свете, если бы не старые учителя, обладающие удивительной способностью отравлять существование. Люди, подобные Никхилу, готовы до самой смерти обращать весь мир в школу. По его мнению, школа должна следовать за человеком по пятам, она должна вторгаться даже в семейную жизнь. Я же считаю, что школьных учителей следовало бы сжигать вместе с умершими учениками.

И вот в самый разгар нашего спора в дверях появилось это ходячее олицетворение школы. В каждом из нас, по видимому, сидит ученик. Поэтому даже я застыл на месте, словно меня уличили в чем-то дурном. Бедняжка Бимола в одно мгновение превратилась в примерную ученицу, которая сидит с серьезным видом на первой парте. Казалось, она вдруг вспомнила о предстоящих ей экзаменах. На свете есть люди, которые, как стрелочники, неустанно дежурят у железнодорожного полотна, чтобы переводить ход ваших мыслей с одного пути на другой.

Войдя в комнату, Чондронатх-бабу слегка смутился и сделал попытку тотчас удалиться. Он забормотал: «Простите... я...» — но Царица Пчела склонилась перед ним и, взяв прах от его ног, сказала:

— Господин учитель, не уходите, прошу вас, садитесь, пожалуйста.

Можно было подумать, что она тонет в омуте и просит учителя о помощи. Трусишка! Впрочем, может, я ошибся. Возможно, здесь тайлась и доля женского кокетства — ей

хотелось набить себе цену в моих глазах, она как бы говорила мне: «Пожалуйста, не воображайте, что я очарована вами. Я чту Чондронатх-бабу куда больше».

Ну что же, чтите! Учителя тем и живут! Но я не учитель, и мне эти пустые знаки внимания не нужны. Пустотой сыт не будешь. Я признаю только существенное.

Чондронатх-бабу завел речь о свадеши. Я решил его не прерывать и не возражать ему. Самое хорошее — давать старикам высказаться. Тогда они начинают думать, что в их руках находится механизм вселенной. Им и невдомек, как велика пропасть, отделяющая их болтовню от окружающего мира. Сначала я молчал. Но даже злейший враг не упрекнет меня в чрезмерной терпеливости, и, когда Чондронатх-бабу сказал: «Однако, если мы хотим пожинать плоды там, где никогда ничего не сеяли, то...» — я не мог более выдержать и воскликнул:

— А кому нужны плоды! «Не о воздаянии думай, — сказано в Гите, — а о том, что творишь».

Чондронатх-бабу удивился:

— Чего же вы хотите?

— Терний, — ответил я. — Их разведение не требует сил.

— Тернии не только преграждают путь другим, — возразил Чондронатх-бабу, — они могут стать помехой и на вашем пути.

— Все это школьная мораль, — воскликнул я. — Мы не пишем упражнений на доске. Но у нас горят сердца, и это самое главное. Сейчас мы выращиваем тернии, чтобы шипы их вонзились в чужие ноги; если позже мы наколемся сами, что ж, будет время раскаяться. Ничего страшного в этом нет! Мы еще успеем остыть, когда придет наше время умирать. Пока же мы охвачены огнем, будем кипеть и бурлить.

— Ну и кипите себе на здоровье, — ответил с усмешкой Чондронатх-бабу, — но не пойте себе дифирамбов и не воображайте, что в этом заключается героизм. Народы, обеспечившие себе право жить на нашей планете, добились этого не бурными чувствами, а упорным трудом. Те же, кто работать не любит, полагают, что желанной цели можно достичь вдруг, без труда, наскоком.

Я мысленно засучивал рукава, готовясь дать сокрушительный отпор Чондронатху-бабу, но тут в комнату вошел Никхил. Учитель встал и, обращаясь к Царице Пчеле, сказал:

— Позволь мне удалиться, мать, у меня есть дело.

Как только он вышел, я сказал Никхилу, указав на английскую книгу.

— Я говорил с Царицей Пчелой об этой книге.

Усыпить подозрения огромного большинства людей можно только с помощью хитрости, но этого вечного ученика легче всего провести искренностью. Обманывать его надо в открытую. Поэтому, играя с ним, правильнее всего выложить свои карты на стол.

Никхил прочитал заглавие книги, но ничего не сказал.

— Люди сами виноваты в том, что действительный мир тонет под массой словесной трухи, — продолжал я. — Писатели же, подобные этому, берут на себя труд смести ненужную шелуху и представить человечеству вещи в их настоящем виде. Тебе следует прочитать эту книгу.

— Я ее читал.

— Ну и что ты о ней думаешь?

— Такие книги полезны людям, действительно желающим мыслить; для тех же, кто только пускает пыль в глаза, — они яд.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Видишь ли, проповедовать отказ от личной собственности в наше время может лишь абсолютно честный человек. В устах же вора эта проповедь будет звучать фальшиво. Те, кто действует под влиянием инстинкта, никогда не поймут этой книги правильно.

— Инстинкт — это фонарь, данный нам природой, он помогает нам найти дорогу. Уверять, что инстинкт — фикция, так же глупо, как выколоть себе глаза в надежде стать ясновидящим.

— Право следовать зову инстинкта я признаю только в человеке, умеющем этот инстинкт сдерживать. Чтобы увидеть вещь, не надо тыкать ею в глаза, этим ты только повредишь зрение. Необузданный инстинкт уродует человека, не позволяет ему видеть все в истинном свете.

— А по-моему, Никхил, ты просто тешишь свой ум, глядя на жизнь сквозь золотистую дымку всяких

этических тонкостей. В результате в нужный момент ты видишь мир в пелене тумана, и это мешает тебе как следует вцепиться в работу.

— Я не считаю стоящей работу, в которую надо «вцепиться», — нетерпеливо сказал Никхил.

— Вот как?

— Чего мы, собственно, спорим? Бесплодный разговор не вызывает у меня желания продолжать его.

Мне хотелось, чтобы Царица Пчела тоже приняла участие в споре. До сих пор она не произнесла ни одного слова. Не слишком ли я потряс ее своей откровенностью? Может быть, она начала терзаться сомнениями? Может быть, ей захотелось узнать, что думает учитель на этот счет? Как знать, не превышена ли сегодняшняя мера? Но как следует встряхнуть ее было совершенно необходимо. Человек должен с самого начала знать, что даже незыблемые истины могут вдруг оказаться чрезвычайно шаткими.

— Я рад, что у нас зашел этот разговор; — сказал я Никхилу. — Знаешь, я уже готов был дать эту книгу Царице Пчеле.

— Что же в том плохого? Если я прочел ее, то почему бы не прочесть и Бимоле? Мне хочется только напомнить одну вещь. Сейчас в Европе модно ко всем явлениям подходить с научной точки зрения. Говорят, например, что человек — это только физиология, биология, психология или социология. Но, сделайте милость, не забывайте: человек гораздо глубже и шире, чем все эти науки. Ты все смеешься надо мной, называешь вечным школьником, но ведь это относится именно к тебе подобным, а не ко мне. Это вы ищете правду в научных трактатах, забывая о том, что познать ее можно только самому, на опыте.

— Почему ты так возбужден сегодня, Никхил? — насмешливо спросил я.

— Потому что ясно вижу, как вы стараетесь оскорбить человека, умалить его достоинства.

— Откуда ты это взял?

— Я все вижу. Об этом мне говорят мои оскорбленные чувства. Вы хотите осквернить все самое хорошее в человеке, самое святое, самое прекрасное.

— Ты говоришь глупости!

Никхил неожиданно встал.

— Видишь ли, Шондип, — сказал он, — получив смертельную рану, человек еще не обязательно умирает. Я готов к любым испытаниям, и потому меня не страшит никакая правда!

И он стремительно вышел из комнаты. Я в недоумении смотрел ему вслед, как вдруг стук падающих на пол книг привлек мое внимание: Царица Пчела, обойдя меня стороной, взволнованными, быстрыми шагами направилась вслед за ним к выходу.

Поразительный человек этот Никхилеш! Он хорошо видит, что в его доме собирается гроза. Так почему же он не схватит меня за шиворот и не выбросит вон? Я знаю, он ждет, чтобы ему посоветовала сделать это Бимола, но, если она ему скажет, что их брак ошибка, он склонит голову и покорно согласится с ней. Он не в состоянии понять, что самая большая ошибка — это признание своих ошибок. Идеализм расслабляет человека, и Никхил тому прекрасный пример, — другого такого человека я не встречал. Поразительный чудака! Вряд ли он годится в герои романа или драмы, не говоря уже о настоящей жизни. А Царица Пчела? Сегодня, кажется, она пережила глубокое потрясение. Она внезапно осознала, куда течение уносит ее. Теперь ей надо либо повернуть назад, либо продолжать свой путь, но уже с открытыми глазами. Возможно, она будет то стремиться вперед, то отступать. Но меня не беспокоит это. Когда загорается платье, то чем больше мечешься в испуге, тем сильнее полыхает пламя. Страх, который обуял Бимолу, только разожжет влечение ее сердца. Я видел еще не такое. Я помню, как вдова Кушум, дрожа от страха, прибежала и отдалась мне. А девушка-евразийка, жившая рядом с нами? Можно было подумать, что в один прекрасный день она в гневе растерзает меня. Однажды с криками: «Уходи, уходи!» — она с силою вытолкнула меня за дверь, но стоило мне перешагнуть порог, как она бросилась к моим ногам и, обхватив их, стала биться головой об пол, пока не потеряла сознание. Я их хорошо знаю! Гнев, страх стыд, ненависть — все эти чувства, как горючее, разжигают огонь женских сердец, испепеляя их. Идеализм — единственное, что

может погасить эти чувства. Женщинам он несвойствен. Они молятся, совершают покаяние, получают благословение у ног гуру с таким же постоянством, с каким мы ходим на службу, но идеализма не поймут никогда.

Больше я, пожалуй, не буду вести с ней таких разговоров. Лучше дам ей почитать несколько модных английских книжек. Пусть она постепенно поймет, что инстинкт имеет право на существование и уважительное отношение к нему считается «современным», стыдиться же его и возводить в добродетель аскетизм, наоборот, несовременно. Главное — уцепиться за какое-нибудь словечко, вроде «современный», — и все будет в порядке. Ведь ей необходимо покаяться, обратиться к гуру, выполнить положенный обряд, а идеализм для нее — пустой звук.

Как бы то ни было, но надо досмотреть пьесу до конца. К сожалению, не могу похвастаться, что я всего лишь зритель, который сидит в литерной ложе и время от времени аплодирует артистам. Сердце у меня неспокойно, нервы напряжены. Когда ночью я тушу свет и ложусь в постель, мою тихую комнату наполняют ласковые слова, робкие желания, нежные прикосновения. Проснувшись утром, я ощущаю трепетное волнение, а по жилам моим разливается музыка.

В гостиной на столе стояла двойная рамка с фотографиями Никхила и Царицы Пчелы. Ее карточку я вынул. Вчера я показал Царице Пчеле на пустое место и сказал:

— Кража была вызвана чьей-то скупостью, поэтому грех за совершенное деяние падает равно и на вора и на скупого. Что вы скажете на это?

— Фотография была скверная, — заметила Царица Пчела, слегка улыбнувшись.

— Что же делать? Портрет — всегда только портрет. Придется довольствоваться таким.

Царица Пчела взяла какую-то книгу и начала ее перелистывать.

— Если вы недовольны, — продолжал я, — то я постараюсь как-нибудь восполнить нанесенный урон.

Сегодня я это сделал. Фотография была снята в ранней юности — лицо мое дышит молодостью, молода и ду-

ша. Тогда у меня еще сохранялись кое-какие иллюзии относительно этого мира, да и будущего. Вера вводит людей в заблуждение, но у нее есть одно большое достоинство: она придает чертам лица одухотворенное выражение.

Рядом с портретом Никхила теперь стоит мой портрет. Ведь мы старые друзья!

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

Прежде я мало интересовался собой. Теперь же нередко гляжу на себя со стороны и стараюсь представить, каким видит меня Бимола. Какая скорбно-торжественная фигура представляется, наверно, ее взору. И все это — моя привычка чересчур серьезно относиться ко всему на свете.

А этого не следует делать. Гораздо лучше шагать по жизни смеясь, чем орошая ее слезами. Ведь только так, в сущности, и можно продолжать жить. Мы только потому и можем наслаждаться едой и сном, что умеем, словно от призраков, отмахиваться от большинства невзгод, стерегущих нас и дома и в мире. Если бы хоть на одно мгновение мы признали всю серьезность их — разве сохранились бы у нас аппетит и сон?

Но я не могу причислить себя к людям, легкомысленно шагающим по жизни. В моей печали, кажется, заключена вся мировая скорбь. Оттого так печально мое лицо, что, глядя на меня, нельзя удержать слез.

О несчастный, почему ты не выйдешь на большую дорогу вселенной и не почувствуешь себя частицей ее? Кто тебе эта Бимола — крошечная песчинка в безбрежном вечном океане человечества? Твоя жена! Но что такое жена? Радужный мыльный пузырь, который ты сам выдул через соломинку и теперь стережешь день и ночь. Но ведь стоит прикоснуться к нему булавкой, и он мгновенно лопнет.

Моя жена! В самом деле, моя? А если она скажет: «Нет, я сама по себе?» Должен ли я тогда сказать: «Как это так? Разве ты не моя»? Жена! Но довод ли это? И в этом ли истина? Разве можно в одно слово, как в тюрьму, заключить всего человека?

Моя жена! Было ли для меня что-нибудь на свете более чистое, более прекрасное? Я оберегал ее от всего, не позволял жизненной грязи коснуться ее. Для нее курился фимиам моего восхищения и пела музыка моей страсти; к ее ногам складывал я весной пышные цветы бокула, а осенью нежные цветы шефали. И если сейчас мутный поток унесет ее с собой в водосточную канаву, как бумажный кораблик, неужели я...

Но я опять вступаю в скорбный тон. При чем тут «мутный поток», при чем «канава»? Горькие слова, брошенные в припадке ревности, не меняют сути дела. Если Бимола больше не моя, она и не станет моей, а насилие и злость только подтвердят это. А если разрывается сердце? Пусть разрывается. Ни мир, ни даже я сам от этого не погибнем. Самая тяжкая утрата в жизни — это утрата человека. И все-таки можно переплыть океан слез и достичь другого берега, иначе люди не плакали бы.

Но общество... Что ж, в конце концов, дело общества, как оно посмотрит на это. Я горюю о себе, а не об обществе. Если Бимола скажет, что она больше не жена мне, разве я буду страдать из-за того, что та, которую общество называло моей женой, покинула меня.

От беды не уйдешь. Одного я не должен допускать ни в каком случае — нельзя терзаться мыслью, что жизнь моя потеряла смысл от того, что мной пренебрегли. Смысл моей жизни не ограничивается семейным кругом. Есть и другие ценности, которых ничто не уничтожит. Настало время теперь подумать о них в полную меру.

Нужно взглянуть на себя и Бимолу со стороны: я долго кутал ее в дорогие покровы своего воображения. И хотя образ, созданный моей фантазией, не всегда совпадал с образом настоящей Бимолы, тем не менее в душе я боготворил ее.

Я, и только я, виноват в том, что сотворил себе кумира из Бимолы. Я был ненасытен. Я наделял ее неземными совершенствами, потому что это было приятно мне самому. Но Бимола всегда оставалась сама собой. Нелепо было думать, что она станет разыгрывать из себя небесное создание ради моего удовольствия. Всевышний не обязан сотворять женщину по моему заказу.

Во всяком случае, теперь пора посмотреть правде в глаза и окончательно отрешиться от прекрасных грез. Я долго наблюдал за происходящим, не понимая его смысла. И только сейчас мне стало очевидно, что в жизнь Бимолы я вошел случайно. По натуре она лучше всего подходит к союзу с Шондипом. И это для меня сейчас главное.

В то же время я не могу из ложной скромности согласиться с тем, что отвергнут по заслугам. Я знаю, что у Шондипа есть много привлекательных качеств, которые долгое время держали и меня в плену его обаяния. И все же мне кажется, что как человек он стоит не выше меня. И если свадебная гирлянда ляжет на его плечи, всевышний осудит ту, что оказала ему это унижительное предпочтение. Я говорю это не из хвастовства. Чтобы спасти себя от бездны отчаяния, я должен совершенно честно дать себе отчет, чего же я, в конце концов, стою. Если то, что произошло, расценить как непризнание моих человеческих достоинств, тогда я заслужил быть хламом на свалке жизни. Какой от меня тогда прок!

Пусть же, пройдя сквозь горнило невыносимых страданий, я познаю радость освобождения. Многое стало мне ясно теперь. Я научился отличать свое истинное «я» от того, что было создано моим воображением. Баланс подведен, и в итоге я сам — не калека, не нищий, не больной, за которым требуется женский уход, а человек, крепко сбитый рукой творца. Он перенес все, что выпало ему на долю, и это не сломило его.

Несколько минут тому назад ко мне зашел учитель и, положив руку на плечо, сказал:

— Иди, Никхил, спать, уже глубокая ночь.

Я ложусь поздно, когда Бимола уже спит крепким сном. Иначе мне трудно. В течение дня мы встречаемся, разговариваем, — но о чем могу говорить я с ней в постели под покровом ночной тишины? Мне слишком стыдно, — стыдно душой и телом.

— Почему же вы сами до сих пор не спите? — спросил я учителя, в свою очередь.

Учитель едва заметно улыбнулся.

— Прошли годы, когда я спал, — сказал он, уходя, — теперь настало время бодрствовать.

Я уже собрался отложить дневник и отправиться спать, как вдруг увидел в окно яркую, крупную звезду, сверкавшую в просвете грозовых туч. Казалось, она говорила: «Я здесь всегда. Сколько на моих глазах было завязано и разорвано уз. Я пламя вечного светильника брачных покоев, я вечный поцелуй брачной ночи». И внезапно в душе моей пробудилась вера, что где-то там, за пределами вселенной, меня спокойно ждет вечная любовь. В скольких рожденьях, в скольких зеркалах видел я ее отражение — в зеркалах разбитых, кривых и запыленных. Но стоило мне сказать: «Это зеркало мое, я запру его в шкатулку», — и отражение моментально исчезало. Пусть! При чем тут зеркало, при чем тут отражение!

О любимая! Я верю — твоя улыбка не увянет никогда и алая полоска твоего пробора будет с каждой новой зарей все ярче пламенеть в лучах восходящего солнца.

А из темного угла слышится голос дьявола: «Это все сказки, которыми обманывают детей». Допустим. Детей надо успокаивать. Но ведь плачут сотни тысяч, миллионы; неужели успокоить их можно только обманом? Нет, вечная любовь не обманет меня, ибо она — настоящая любовь. Настоящая! Вот почему я столько раз видел ее и не раз еще увижу. Я видел ее, несмотря на все свои ошибки и заблуждения, видел сквозь пелену набегавших слез, я терял ее в гуще толпы на ярмарке жизни и вновь находил и знаю, что опять увижу ее, перешагнув порог смерти. О жестокая, не смейся более надо мной. Если я не смог отыскать тебя по следам на дороге, по аромату твоих распущенных волос, повисшему в воздухе, не заставляй меня вечно это оплакивать.

Звезда, выглянувшая из-за туч, говорит мне: «Не бойся, то, что вечно, будет всегда».

Теперь я отправляюсь к Бимоле. Она спит, разметавшись в постели, борьба с самой собой утомила ее. Я не стану ее будить, лишь запечатлею на лбу поцелуй — знак моего преклонения. Я верю, после смерти забудется все — все мои ошибки и огорчения, но трепет сегодняшнего поцелуя навсегда сохранится в моей памяти, потому что гирлянда, сплетенная из таких поцелуев, переходя из одной жизни в другую, украсит, в конце концов, чело вечной возлюбленной.

В комнату вошла меджо-рани. Пробило два часа ночи.

— Что ты делаешь, братец? Иди спать, дорогой. Не сокрушайся так. Мне больно смотреть на тебя, до чего у тебя измученный вид.

Из глаз ее закапали слезы.

Я молча поклонился и, взяв прах от ее ног, ушел к себе в спальню.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Вначале меня не мучили сомнения, я не знала страха и лишь испытывала величайшую радость от сознания, что отдаю всю себя без остатка служению родине. Я на опыте познала, какое блаженство дает человеку полное самопожертвование!

Вполне возможно, что в один прекрасный день бурные страсти, бушевавшие в моей душе, улеглись бы сами собой. Но Шондип-бабу не желал этого — он и не думал скрывать своих чувств. Его голос будто ласкал меня, униженная мольба сквозила в его взгляде. Но за всем этим я чувствовала безумную силу желания, и временами мне казалось, что ураган его страсти вот-вот с корнем вырвет меня из родной почвы и поволочет за собой.

Я не хочу лгать. День и ночь ощущала я притягательный жар его страстного желания. Ходить по краю бездны очень заманчиво. стыдно, страшно, но вместе с тем так сладко! И ко всему этому мое безграничное любопытство! Ведь я едва знала Шондипа-бабу, и он, несомненно, никогда не будет близок мне. И вот этот могучий человек, чья молодость горела тысячами огней, таил в душе огонь кипучей, всепобеждающей страсти — страсти ко мне! Можно ли было представить себе все это? Океан, бушевавший где-то очень далеко и известный мне лишь из книг, внезапно преодолел в бурном порыве все препятствия, достиг маленького пруда на задворках нашего сада, где мы обычно чистили посуду и брали воду, вскипел пышной пеной и рухнул к моим ногам.

Сначала я преклонялась перед Шондипом-бабу, но это длилось недолго. Я перестала уважать его. Больше того, я начала смотреть на него сверху вниз. Он не выдерживал никакого сравнения с моим мужем. И если не сразу, то

постепенно я поняла, что то, что в Шондипе-бабу казалось мужеством, было всего лишь сластолюбием.

Однако в его руках находилась вина моих чувств, моей крови и плоти, и он не переставал играть на ней. Я готова была возненавидеть и его руки, и эту вину, но она продолжала звучать, и ее волшебная мелодия будоражила меня. «Ты погибнешь сама в пучине этой мелодии и погубишь все, что у тебя есть», — внушали мне каждый мой нерв, каждый удар пульса.

Не скрою: я испытывала порой чувство... не знаю, как бы это объяснить, — чувство сожаления, что я не могу умереть сейчас.

Чондронатх-бабу заходит ко мне всякий раз, как у него выдастся свободная минутка. Он обладает особой силой: он умеет поднять мой дух на такую высоту, с которой я могу в одно мгновение окинуть взором всю свою жизнь. И тогда я начинаю понимать, что пределы ее не так ограничены, как казалось мне прежде.

Но зачем все это? Действительно ли я хочу вырваться из сладкого плена? Нет! Пусть горе постигнет нашу семью, пусть поникнет и съезжится все лучшее, что есть во мне, лишь бы сохранилось чудесное блаженное состояние, в котором я нахожусь.

Как страшно негодовала я, когда муж моей золовки Муну, напившись, бил ее, а затем умолял о прощении и клялся, что больше никогда не притронется к вину, и в тот же вечер снова начинал пить.

Но чем лучше опьянение, в котором живу я сама? Вся разница в том, что вино, которое пьянит меня, не покупают и не разливают в стаканы, оно играет и пенится у меня в крови. И я не могу, не знаю, как уберечься от соблазна. Неужели такое состояние может продолжаться долго?

Иногда я, спохватившись, оглядываюсь на себя и думаю: «Все это нелепый сон. В один прекрасный момент он должен оборваться и рассеяться. Слишком уж все это неправдоподобно, во всем этом нет никакой связи с моим прошлым. Что это? Откуда это наваждение? Я ничего не понимаю.

Однажды меджо-рани, смеясь, заметила:

— Чхото-рани показывает чудеса гостеприимства — она так ухаживает за гостем, что он, кажется, решил навсегда остаться у нас. В свое время нам тоже приходилось принимать гостей, но мы не лезли из кожи вон, чтобы угодить им. По глупости мы все свое внимание отдавали мужьям. Бедный братец расплачивается за свои современные взгляды. Ему следовало бы войти в наш дом гостем, тогда еще он мог бы рассчитывать на какое-то внимание, а теперь похоже на то, что делать ему тут нечего. Ты сущий дьяволенок, — неужели тебя совсем не трогает его вид?

Такие выпады меня не задевали. Разве могли понять мои невестки, что лежало в основе моего преклонения перед Шондипом-бабу. Восторженное сознание, что я приношу жертву родине, как броня, защищало меня от стрел их сарказма.

С некоторых пор мы перестали говорить о родине. Теперь темами наших разговоров были взаимоотношения мужчин и женщин в наше время и тому подобные вопросы. Отдавали мы должное и поэзии — английской и вишнуйтской. Все это под аккомпанемент мелодии — неслыханной по красоте, в низких бархатистых нотах которой мне слышалась властная сила и истинная мужественность.

Наконец все покровы спали. У Шондипа-бабу не было ни малейшей причины продолжать жить у нас, не было никаких оснований и для наших разговоров с глазу на глаз.

Поняв это, я страшно рассердилась на себя, на меджо-рани, на весь мир и решила: нет, больше я ни за что не выйду из своих комнат, не выйду даже ценою смерти!

Два дня я держалась. За это время мне впервые стало ясно, как далеко я зашла. Мне казалось, что я окончательно утратила вкус к жизни. Все было мне противно. Я словно превратилась в ожидание. Чего я ждала? Кого? От напряженной тревоги кровь моя взволнованно звенела.

Я придумывала себе занятия. Пол в моей спальне был достаточно чист, но я заставила снова вымыть его при себе, выливая один кувшин воды за другим. Вещи в шкафу

лежали в определенном порядке, я повыгаскивала их, перетряхнула без всякой нужды и уложила все по-новому. На купанье у меня ушло времени вдвое больше, чем обычно. Я даже не нашла времени до обеда причесаться как следует и, кое-как подвязав волосы, ходила по дому, придираясь ко всем, пока наконец не добралась до кладовки. Убедившись в исчезновении многих продуктов, я, однако, не посмела никого потребовать к ответу — ведь невольно у каждого мелькнула бы мысль: «А где раньше были твои глаза?»

Короче говоря, весь день я вела себя как одержимая.

Назавтра я попыталась заняться чтением. Не помню, что за книгу читала я в тот день. Погрузившись в задумчивость, я и не заметила, как, читая, очутилась на веранде, соединявшей женскую половину дома с гостиной. Машинально остановилась я у окна и приподняла жалюзи. Прямо против меня, по ту сторону квадратного внутреннего дворика, были окна комнат внешней половины нашего дома. Одна из этих комнат уже на другом берегу моего жизненного океана, думала я, и переправы туда нет. Мне оставалось только смотреть. Я — словно дух бывших правителей, которых уже давно нет в живых, но все вокруг напоминает об их существовании.

И вдруг я увидела Шондипа. С газетой в руках он вышел на веранду. Вид у него был чрезвычайно раздраженный, можно было подумать, что злобу его вызывают и дворик и перила веранды. Он скомкал и отшвырнул прочь газету жестом, не оставлявшим сомнения в том, что он с удовольствием перевернул бы вверх тормашками весь мир. Моего решения не выходить к нему как не бывало. Но не успела я сделать и шага в сторону гостиной, как увидела позади себя меджо-рани.

— Великий боже! Нет, это уж слишком! — воскликнула она и скрылась.

В гостиную я не пошла.

На следующий день рано утром ко мне вошла горничная.

— Чхото-рани, пора выдавать продукты.

— Пусть выдаст Хоримоти, — ответила я и, бросив ей связку ключей, села к окну и занялась вышиванием.

Вошел слуга и подал мне письмо.

— От Шондипа-бабу, — сказал он.

Его дерзости нет границ! Что мог подумать слуга? Сердце мое усиленно застучало. Вскрыв конверт, я увидела несколько слов, написанных без всякого обращения: «Срочное дело, касающееся свадеши. Шондип».

Я отбросила вышивание, подбежала к зеркалу, торопливо поправила волосы. Сари я не переменила и лишь надела другую кофточку, с которой у меня были связаны особые воспоминания. Мне нужно было пройти через веранду, где по утрам обычно сидела меджорани и резала бетель. Сегодня такое препятствие меня ничуть не смущало.

— Куда направилась, чхото-рани? — спросила она.

— В гостиную.

— Так рано? Утреннее свидание?

Я прошла, ничего не ответив. Невестка насмешливо запела мне вслед:

Ушла моя Радха, исчезла навеки...
Так в темной морской глубине
Скрывается ма́кара... След пропадает,
Незрим он становится мне.

Шондип был в гостиной. Он стоял спиной к двери и внимательно рассматривал иллюстрированный каталог картин Британской академии художеств. Шондип считал себя большим знатоком искусства. Муж однажды сказал ему:

— Пока Шондип жив, художники могут быть спокойны — в нужный момент он придет им на помощь, все объяснит и всему научит.

Мужу несвойственно было говорить колкости, но теперь его характер изменился: он не щадил Шондипа и пользовался любым случаем, чтобы съязвить на его счет.

— А ты считаешь, что художники не нуждаются в учителях? — спросил Шондип.

— Таким людям, как мы, придется еще долго учиться у художников, ибо иных средств понять искусство у нас нет.

Но замечание мужа показалось Шондипу смешным.

— Ты, наверно, думаешь, Никхил, — сказал он, — что скромность — это своего рода капитал, который тем

больше приносит прибыли, чем чаще пускать его в оборот. Я же считаю, что люди, лишенные самонадеянности, похожи на водяные растения, которые стелются на поверхности и не вырастают корнями в почву.

Каждый раз, присутствуя при таких разговорах, я испытывала настоящее смятение. С одной стороны, мне хотелось, чтобы муж одержал верх в споре и сбил немного спесь с Шондипа, с другой — именно эта беззастенчивая самоуверенность и влекла меня так к Шондипу. Она слепила глаза, подобно бриллианту чистейшей воды, и, казалось, готова была померяться блеском и игрой лучей с самим солнцем.

Я вошла в комнату. Я знала, что Шондип слышал звук моих шагов, но он продолжал рассматривать книгу, делая вид, что ничего не заметил. Я боялась, как бы он не начал разговора об искусстве. Я никогда не могла побороть своего смущения, когда он высказывал мнение о картинах. Делать же сугубо безразличный вид, как будто я не нахожу в его словах ничего предосудительного, мне бывало трудно. У меня мелькнула мысль, не вернуться ли, но в этот момент Шондип глубоко вздохнул, поднял голову и искусно разыграл удивление при виде меня.

— А, вот вы и пришли! — воскликнул он.

В его словах и тоне я не могла не почувствовать сдержанного упрека. Мое положение было таково, что я приняла этот упрек. Можно было подумать, что он имеет на меня такие права, что даже кратковременное мое отсутствие рассматривает как преступление. Я понимала, что его тон оскорбителен для меня, но, увы, обидеться на него не могла. Я молчала. Стараясь не смотреть в сторону Шондипа, я все время ощущала его жалобный взгляд, устремленный на меня. Что делать! Уж лучше бы он заговорил — тогда я могла бы найти убежище, укрывшись за его собственными словами. Прошло несколько минут, и наконец я не выдержала и спросила:

— В чем дело? О чем вы хотели поговорить со мной?

Шондип с притворным изумлением ответил:

— Но разве всегда надо говорить только о деле? Неужели дружба сама по себе ничего не стоит? Почему такое отношение к самому великому и прекрасному на

земле? Можно ли, Царица Пчела, вышвыривать за дверь, как бездомную собаку, преданное сердце?

Все во мне затрепетало. Опасность нарастала, и отвратить ее было уже нельзя. Страх и безудержная радость боролись в моей душе. Вынесу ли я на своих плечах это бремя? Устою ли? Или буду повергнута в прах?

Руки и ноги у меня дрожали.

— Шондип-бабу, вы звали меня по какому-нибудь делу, связанному со свадеши? — сделав над собой усилие, повторила я. — Я бросила все домашние дела и пришла.

— Но ведь я как раз это и пытаюсь объяснить вам, — улыбнувшись, ответил он. — Я пришел сюда, чтобы совершить обряд поклонения, и вы знаете это. Разве я не говорил вам, что вы олицетворяете в моих глазах Шакти нашей родины? Ведь родина — это отнюдь не географическое понятие. Кому придет в голову отдать жизнь за географическую карту? Только увидев вас, я понял, как прекрасна моя родина, как дорога она мне, сколько дает силы и энергии. Приняв благословение от вас, я буду знать, что это моя родина благословила меня на дальнейшую борьбу. Если мне суждено пасть пораженному смертоносной стрелой, то не на пыльную землю страны, очертания которой известны мне из атласа, мысленно опущусь я, а на любовно расстеленное сари. И знаете, на какое? На то самое, какое было на вас в тот день: сари цвета огненной земли, с алой, как кровь, каймой. Я никогда его не забуду. Такие воспоминания дают силу ярко жить и красиво умереть.

Глаза Шондипа горели. Я не могла понять, был ли то пламень страсти или пламень преклонения. Мне вспомнился тот день, когда я впервые его услышала. Тогда я недоумевала: что передо мной — огненная стихия или человек? С обыкновенными людьми мы держимся просто. Мы знаем много правил на этот счет. Но ведь огонь — это совсем другое. В одно мгновение он ослепляет вас, делая самое гибель прекрасной. Кажется, будто его истинное «я» долго таилось в груди ненужного сухого хвороста, но вдруг вырвалось на свободу и с дьявольским хохотом в мгновение ока поглотило все, что принадлежало жалкому скряге.

Продолжать разговор не было сил. Меня охватил страх: я боялась, что Шондип забудется и схватит меня за руку. Он трепетал, как колеблемый ветром язык пламени, а глаза его сыпали искры.

— Как можете вы отдавать предпочтение мелким домашним хлопотам? — воскликнул Шондип. — Вы — обладающая властью посылать нас на жизнь и на смерть! Неужели такая сила должна быть скрыта покровом онтохпура? Прочь ложный стыд! Умоляю вас, не слушайте людских толков. Забудьте все запреты и вырвитесь на свободу. Сегодня же!

В словах Шондипа-бабу искусно сочетались его вдохновенная любовь к родине и не менее пламенные чувства ко мне. Слушая его, я чувствовала, как закипает моя кровь, как рассыпаются в прах последние сомнения. Пока речь шла об искусстве, вишнуйтской поэзии или проблемах пола, о реальном или нереальном, я все время испытывала желание спорить, говорить ему колкости. Но сегодня жар его слов снова воспламенил меня, и я забыла стыд. Я словно была богиней в расцвете своей красоты и женственности. О, почему не сияет яркий ореол над моей головой? Почему не срываются с моих уст пламенные призывы, которые, словно мантры, повторяла бы страна в час своего крещения огнем?

В этот момент в комнату с воплями и причитаниями вбежала моя служанка Кхема.

— Рассчитайте меня, и я уйду, — кричала она, — никогда так... — Рыдания заглушили ее слова.

— Что такое? В чем дело?

Оказалось, что Тхако, служанка меджо-рани, ни с того ни с сего начала ссориться с Кхемой и страшно изругала ее. Все мои обещания разобраться позже в этой ссоре ни к чему не привели: Кхема никак не могла успокоиться.

Казалось, что на утреннюю мелодию светильника, звучащую в моей душе, вдруг опрокинули лоханку помоев. Будто вся тина стоячего пруда на женской половине дома вдруг всплыла на поверхность.

Чтобы скрыть все это от глаз Шондипа, я поспешно пошла к себе. Моя невестка продолжала сидеть на веранде,

поглощенная приготовлением бетеля. На лице ее играла улыбка, и она тихонько напевала:

Ушла моя Радха, исчезла навеки...

Она делала вид, что понятия не имеет о происшедшем скандале.

— Почему твоя Тхако набросилась на Кхему? — обратилась я к ней.

Невестка удивленно подняла брови:

— Неужели правда? Вот негодная! Да я выгоню ее метлой из дому. Подумать только, так испортить тебе утренний прием! Но и Кхема, тоже хороша! Знает ведь, что ее госпожа разговаривает с посторонним человеком, — и на тебе, явилась туда! Нет у нее ни стыда, ни совести. Но ты, чхото-рани, не заботься о домашних делах, возвращайся в гостиную, а я постараюсь все уладить.

Удивительна человеческая душа! С какой легкостью ее парус улавливает изменившееся направление ветра.

Здесь, среди истари установившихся правил онтохпура, мои встречи с Шондипом-бабу показались мне вдруг чем-то таким невозможным и недопустимым, что я даже не нашла, что ответить невестке, и ушла к себе в комнату.

Я не сомневалась, что сегодняшняя ссора двух служанок была делом рук меджо-рани, но я слишком неуверенно чувствовала себя, чтобы отважиться вступить с ней в открытый бой. Ведь не смогла же я выдержать характер до конца, когда требовала в пылу гнева, чтобы муж выгнал привратника Нонку. Меня смутило тогда появление невестки, которая заявила мужу:

— Знаешь, братец, вина-то тут, видно, моя. Мы воспитаны по старинке, и поведение твоего Шондипа-бабу нам совсем не нравится. Потому я и решила, что привратнику лучше... Но я и в мыслях не собиралась оскорбить чхото-рани, совсем наоборот... Глупая я, и больше ничего!..

Поступки, кажущиеся прекрасными и благородными, когда взираешь на них с вершин патриотизма, быстро теряют свою привлекательность, когда, спустившись на землю, подходишь к ним вплотную. Сперва это сердит, но вскоре на смену злости приходит отвращение.

Вернувшись в спальню, я заперла дверь и, сев к окну, задумалась. Как легка была бы жизнь, если бы между человеком и тем, что его окружает, была полная гармония. Вот меджо-рани беззаботно сидит себе на веранде и крошит бетель, а как трудно мне теперь занять свое прежнее положение, вернуться к своим несложным делам. Чем же все это кончится? — спрашивала я себя. Удастся ли мне когда-нибудь освободиться от этого наваждения? Или со сломанными крыльями я окажусь на самом дне пучины, откуда уже нет возврата? Где моя счастливая звезда? Как случилось, что я не сумела воспользоваться выпавшим мне счастьем и сама погубила свою жизнь?

Самые стены, потолок и пол спальни, куда я вступила девять лет назад невестой, теперь смотрели на меня с огорчением и укоризной. Когда мой муж выдержал экзамен на магистра, он привез из Калькутты очень редкую орхидею, родина которой где-то на далеком острове в Индийском океане. Всего несколько листочков, а под ними великолепный каскад цветов, словно просыпавшихся из перевернутой чаши красоты. Казалось, будто радуга засияла под этими листьями и обернулась красивыми гроздьями. Мы решили поместить орхидею над окном нашей спальни. Орхидея цвела всего лишь один тот раз, но надежда вновь увидеть ее в цвету нас не покидала. Странно, что я по привычке и теперь ежедневно поливаю цветок, и его листья, связанные в пучок бечевкой из кокосового волокна, по-прежнему свежи и зелены.

Вот в этой нише четыре года тому назад я поставила портрет своего мужа в рамке из слоновой кости. Теперь, когда случайно мой взгляд падает на него, я невольно опускаю глаза. До последнего времени я каждый день по утрам после купанья приносила цветы и, украсив ими портрет, низко кланялась ему. Сколько раз муж сердился на меня за это! Однажды он сказал:

— Этими незаслуженными знаками внимания ты только ставишь меня в неловкое положение.

— Какие глупости!

— Да, и не только ставишь в неловкое положение, но еще и вызываешь ревность.

— Вот как! К кому же ты меня ревнуешь?

— К своему двойнику, придуманному тобой. Ведь это доказывает только, что я, такой как есть, тебя не удовлетворяю, что тебе нужен необыкновенный человек, который подавлял бы тебя своим превосходством. Вот ты и создала себе еще одного Никхила и обманываешь себя.

— Ты нарочно злишь меня такими разговорами.

— Злишь на свою судьбу, а не на меня, — ответил он. — Ты не могла выбрать меня свободно, выходила за меня замуж с закрытыми глазами! Вот и стараешься теперь исправить ошибку судьбы, награждая меня несуществующими качествами. Дамаянти сама выбирала себе мужа, потому она предпочла божеству живого человека. А вы, женщины, не можете воспользоваться таким правом и, забыв о живом человеке, венчаете гирляндой придуманное вами божество.

В тот день слова мужа так обидели меня, что я заплакала. И сейчас, вспоминая этот разговор, я чувствую, что не могу поднять глаз на портрет. Потому что в моей шкатулке с драгоценностями лежит еще один портрет. На днях, убирая гостиную, я забрала оттуда рамку, в которой рядом с фотографией мужа была вставлена карточка Шондипа. Эту фотографию я не украшаю цветами и не склоняюсь перед ней до земли. Но она спрятана среди моих сокровищ — алмазов, жемчуга и других драгоценных камней. И оттого, что ее надо прятать, она особенно дорога мне. Я достаю ее, только заперев в комнате все двери. Ночью я подкручиваю фитиль керосиновой лампы и, приблизив карточку к огню, молча смотрю на нее. Каждый раз мне хочется сжечь ее в пламени лампы и навсегда покончить с этим. И каждый раз, глубоко вздохнув, я осторожно прячу ее под драгоценностями и запираю шкатулку на ключ. Несчастная, кто подарил тебе все эти жемчуга и алмазы? Какой безграничной любовью перевиты твои украшения! Неужели ты забыла об этом? О, зачем ты живешь на свете?

Шондип старался внушить мне, что женщинам несвойственны колебания. Они не сворачивают ни вправо, ни влево, убеждал он, а идут всегда вперед. Он часто повторял:

— Когда женщины Бенгалии пробудятся, они гораздо решительнее, чем мужчины, заявят: «Мы хотим». Рядом с таким желанием не может быть места рассуждениям о плохом и хорошем, возможном и невозможном. Они будут твердить: «Мы хотим!», «Я хочу!» Этот крик — основа первоздания, он не признает никаких правил и предписаний, он стал пламенем, горящим в солнце и звездах. Он не знает пощады. Создавая человека, он поглотил бесчисленные жертвы, и теперь этот страшный, все разрушающий вопль: «Я хочу!» — стал женщиной. А трусы-мужчины стараются остановить этот первобытный поток земляными плотинами, они боятся, что иначе он, смеясь и играя, смочет в своем беге все грядки в их огородах.

— Мужчины воображают, — продолжал он, — что, соорудив плотины, они на долгие времена сковали эту силу. Однако вода все прибывает. Сегодня водные просторы женских сердец глубоки и спокойны. Сегодня они недвижны и не подают голоса, безмолвно заполняя кувшины, расставленные в кухнях мужчин. Но вода все прибывает, — плотина скоро прорвется. И тогда столь долго сдерживаемые силы с ревом: «Я хочу, я хочу», — устремятся вперед.

Слова Шондипа звучат у меня в ушах, словно барабанный бой. Они приходят на ум, когда в душе моей начинается борьба и угрызения совести мучат меня. Что мне до того, что думают обо мне люди. Позор? Это меджорани — мой воплощенный позор. Она сидела на веранде, занимаясь приготовлением бетеля, и бросала на меня косые взгляды. Чего ради мне беспокоиться? Чтобы быть самой собой, нужно собрать все силы и без колебания крикнуть во всю мощь: «Я хочу!» — а иначе незачем жить. Почему нежная орхидея и портрет в нише считают, что они имеют право высмеивать и оскорблять меня? Ведь во мне горит первобытный огонь мироздания! Неудержимое желание выбросить за окно цветок и убрать портрет из ниши охватило меня. Мне захотелось дать волю духу разрушения, бушующему во мне, — пусть видят все, что это такое. Рука поднялась, но вдруг больно заныло сердце, на глаза набежали слезы, я бросилась на пол и зарыдала. Что будет? Что станет со мной? Что уготовила мне судьба?

РАССКАЗ ШОНДИНА

Когда я читаю свой дневник, у меня возникает вопрос: я ли это? Будто я — это сплошные слова, будто я — это книга, обернутая в переплет из плоти и крови.

Земля не мертва, как луна. Она дышит, из ее рек и морей поднимаются клубы пара, окутывающие поверхность, а пыль носится в воздухе и укрывает ее, словно плащом. Если посмотреть на землю со стороны, увидишь лишь свет, отражаемый облаками пара и пыльным покровом. Разве можно различить на ней государства и страны?

Так же и человек — он дышит, он думает, и мысли, которые излучает его мозг, пеленой тумана обволакивают его. В этом тумане стираются грани плоти и крови, и начинает казаться, будто человек — шар, сотканный из теней и света. Мне кажется, будто я подобен живой планете. Я — шар идей. Но ведь я — это не только мои желания, мои мысли, мои поступки, а и то, чего я не люблю, чем быть не желаю. Я начал существовать еще до своего появления на свет. Я не мог участвовать в своем созидании. Поэтому мне пришлось иметь дело с тем, что уже было готово.

Я твердо убежден: все великое — жестоко. Справедливыми могут быть лишь заурядные люди. Несправедливость — исключительное право великих.

Сначала поверхность земли была ровной. Однако вулкан пробил ее изнутри огненным рогом и вознесся над нею. Ему не было никакого дела до остальной земли, он действовал сам по себе. Расчетливая несправедливость и убежденная жестокость дают человеку или целому народу богатство и власть. Если один закрывает глаза, другой действует, иначе существование первого было бы слишком безоблачным.

Поэтому я проповедую великое учение — несправедливость. Я заявляю: только несправедливость несет освобождение, она как пламя, которому необходимо непрестанно пожирать что-то, иначе оно угаснет и превратится в ничто. Стоит какому-нибудь народу или человеку утратить способность творить зло вокруг, и ему останется один путь — на свалку мира. Но пока это только идея. Сам я еще не одицетворяю ее полностью. Сколько бы я ни возносил несправедливость, в броне, одевающей

мое «я», остаются трещины, и сквозь них можно рассмотреть нежность и душевную мягкость. Как я сказал, это происходит оттого, что большая часть меня была создана раньше, чем я очутился на этой ступени своего бытия.

Время от времени мы вместе с учениками устраиваем испытание жестокости. Однажды у нас был пикник. Неподалеку на лугу паслась коза. Я спросил:

— Кто из вас сможет отрезать заднюю ногу у живой козы?

Все растерялись, а я пошел и отрезал. Самый жестокий из моих учеников от такого зрелища потерял сознание.

Видя, что я совершенно спокоен, они назвали меня великим святым и взяли прах от моих ног. Иными словами, все увидели в тот день иллюзорный шар моих идей, а никак не меня самого, по странной иронии судьбы созданного ласковым и жалостливым, с тревожно бьющимся сердцем, которое лучше держать скрытым.

В теперешней главе моей жизни, связанной с Бимолой и Никхилом, многое также остается скрытым. Покров не спал бы, если бы с моими идеями не произошло нечто неожиданное.

Мыслям, неотступно преследующим меня, подчинена моя внутренняя жизнь, но есть и другая часть моей жизни, и притом значительная, которая не поддается их воздействию. Отсюда весьма существенное расхождение между мной — таким, каким меня видят другие, и таким, каков я на самом деле, — расхождение, которое я всеми силами стараюсь скрыть даже от самого себя, чтобы не погубить не только свои планы, но и самое свою жизнь.

Жизнь — это нечто неопределенное, клубок противоречий. Мы же, люди мыслящие, стремимся вылепить ее по удобному нам образцу и сообщить ей определенность, которая достигается только удачей. Все, перед кем склонялся мир, начиная с непобедимого Александра Македонского и кончая нынешним американским миллиардером Рокфеллером, выбирали себе определенный символ — меч или золотую монету — и приспособляли свою жизнь к этому символу, что и приводило их, в конце концов, к успеху.

Вот тут-то и начинается наш спор с Никхилом. Я говорю: «Познавай себя», — и он говорит: «Познавай себя»,

Но в его толковании «познавай» значит как раз «не познавай».

— Добиться того успеха, о котором ты мечтаешь, — сказал он мне как-то, — можно, лишь пойдя на сделку со своей совестью. Но душа выше успеха.

— Ты выражаешься очень туманно, — сказал я в ответ.

— Ничего не поделаешь, — возразил Никхил. — Душа сложнее машины, поэтому если ты станешь разбирать ее по частям, как машину, чтобы добиться ясности понимания, то это ничего тебе не даст. Определить успех много легче, чем определить, что такое душа. Добиваясь успеха, легче всего потерять душу.

— Но где она находится, эта замечательная душа? — спросил я. — На кончике носа или на переносице?

— Там, где она может познать себя в бесконечном и стать выше земных успехов.

— Ну, а как ты связываешь все это с нашей работой на благо родины?

— Так ведь это одно и то же. Если страна ставит себя и свои дела превыше всего, она достигает успеха, но теряет душу. Если же она стремится к истинному величию, то успеха она может и не добиться, но душу обретет обязательно.

— Где ты видел в истории тому примеры?

— Человек достаточно велик, чтобы не считаться ни с успехами, ни с примерами. Возможно, что примеров нет. Внутри семени тоже нет цветка, есть только зародыш. Впрочем, разве примеров действительно нет? В течение многих веков Будда почитался в Индии, но разве это почитание — результат его деятельности?

Нельзя сказать, чтобы я совершенно не мог понять точки зрения Никхила. В этом-то и кроется для меня опасность. Я родился в Индии, и яд духовных исканий течет у меня в жилах. Как бы громко я ни провозглашал, что идти путем самоотречения безумие, я никогда не был в состоянии окончательно от него отказаться. Этим и объясняется то, что в нашей стране происходят сейчас такие удивительные вещи. Нам одинаково нужны и религия и патриотизм. Нам нужны и «Бхагавадгита» и «Банде Матарам». Но ведь от этого страдает и то и другое, — гром салюта сливается со звуками флейты, и мы уже не

различаем их. Я задался целью прекратить эту неразбериху. Я восстанавливаю воинственную музыку в ее прежней силе, ибо звуки флейты приведут, в конце концов, нас к гибели. Мы не будем стыдиться победного знамени инстинкта, которое вручила нам мать-природа, мать Шакти, мать Дурга, посылая нас на поле брани. Инстинкт прекрасен, инстинкт чист — чист, как цветок орхидеи, не нуждающийся в омовении.

Один вопрос неотступно преследует меня: почему я допустил, чтобы моя жизнь так тесно переплелась с жизнью Бимолы? Я ведь не шкурка банана, которая несется по волнам и цепляется за каждый сучок.

Я уже говорил: если жизнь ограничивать только шаблоном идеи, то идея придет в столкновение с жизнью и человек окажется за ее пределами. То же произошло и со мной.

Я вовсе не ощущаю ложного стыда оттого, что Бимола стала предметом моего страстного желания. Не может быть никаких сомнений в том, что такое же чувство влечет и ее ко мне. Поэтому она моя по праву. До поры до времени плод висит на ветке. Но это не значит, что он должен вечно так висеть. Всю свою сладость, весь свой сок этот плод накопил для меня. Смысл его существования в том и состоит, чтобы отдать себя в мои руки. Это его естественное предназначение и истинная добродетель, и я сорву этот плод, чтобы не дать ему пропасть зря.

Меня раздражает, что я сам запутываюсь. Бимола в моей жизни какое-то наваждение. Я рожден для власти, для того, чтобы вести за собой народ, куда захочу. Чернь — мой боевой конь. Я оседлал его, в моих руках поводья. Я один знаю, куда будет направлен его бег. Тернии будут впиваться ему в ноги, грязь забивать копыта, но я не дам ему рассуждать и буду гнать его. Этот конь ждет меня у двери, он грызет удила и нетерпеливо бьет копытом. От его звучного ржания содрогается небо.

А я? О чем я думаю? Чего жду? Зачем день за днем упускаю блестящие возможности?

Прежде я воображал, что подобен урагану, что сломанные и оборванные мною цветы только устилают мой путь и не смеют задерживать моего движения вперед. Но теперь я — не ураган, я व्यюсь вокруг цветка, подобно шмелю.

И я утверждаю: всяческие идеи, которыми любит украсить себя человек, это только внешний покров. Душа человека остается нетронутой. Если бы кто-нибудь мог проникнуть в мой внутренний мир и написать мою биографию, сразу стало бы ясно, что между мною и арендатором Пончу, и даже Никхилом, разница небольшая.

Вчера вечером я перелистывал свой дневник. В ту пору, когда я писал его, я только что сдал экзамены на бакалавра юридических наук и мой мозг был забит философией. Но уже тогда я поклялся, что в моей жизни не будет места иллюзиям, созданным мною или кем-либо еще, что я буду строить жизнь на прочной основе реальности. Что же произошло на самом деле? Где она, эта прочная основа? Она больше похожа на сеть: нити тянутся непрерывно, но между ними слишком много ячеек. Что я только ни предпринимал, но справиться с ними не могу. Вот уже несколько дней я твердо шел вперед, как вдруг опять угодил в ячейку и безнадежно застрял в ней.

Дело в том, что я стал даже испытывать угрызения совести.

«Я хочу! Плод передо мной. Надо его сорвать». Все это звучит удивительно четко и ясно. Я всегда говорил: успех приходит лишь к тем, кто упорно и неотступно добивается его. Но бог Индра не пожелал сделать путь к успеху легким и послал нимфу раскаяния туманить пеленой слез глаза путников и стараться сбить их с дороги.

Я вижу, Бимола бьется, как попавшая в сети лань. Сколько тревоги, страха, страдания в ее огромных глазах. С какой силой она рвет путы, оставляя на своем теле глубокие раны. Истый охотник должен быть доволен таким зрелищем. Доволен и я, хоть мне и больно. И потому я медлю и, стоя у западни, никак не могу заставить себя затянуть петлю.

Были мгновения, когда я мог броситься к Бимоле, схватить ее за руку, прижать к своей груди... и она не сопротивлялась бы, не протестовала. Она сознавала, что решительный момент приближается и что, после того как неизбежное свершится, весь смысл жизни, все значение ее сразу и круто изменятся. Стоя на краю пропасти, она была бледна и в глазах ее метался страх, но они горели возбуждением. В такие мгновения словно останавли-

вается время и вся вселенная, затаив дыхание, следит за ним. Но я не воспользовался этими мгновениями, упустил их. Я не нашел в себе сил довести дело до конца и превратить возможное в действительное. Теперь я понимаю, что это объединились и восстали против меня какие-то силы, долгое время таившиеся в моей душе.

Точно так же погиб Равана, которого я считаю истинным героем «Рамаяны». Он не ввел Ситу в свой дом, а оставил в лесу. Слабость таилась в душе этой исполинской фигуры. Поэтому такой несовершенной кажется вся глава о Ланке. Если бы не его колебания, Сита отбросила бы мысль о верности и полюбила бы Равану. Эта же слабость — вина тому, что Равана долго жалел своего брата-предателя Вибхишану, вместо того чтобы сразу убить его, и в результате погиб сам.

В этом и заключается трагедия жизни. Нечто крошечное и незаметное, притаившееся в темном, потайном уголке сердца, в какой-то момент может разрушить великое. Вся беда в том, что человек, в сущности, никогда не знает самого себя до конца.

Ну и потом ведь остается еще Никхил. Пусть он чудак, пусть я постоянно высмеиваю его, забыть о том, что он мой друг, я все-таки не могу. Сначала я не слишком задумывался над тем, как должен себя чувствовать он сам, а сейчас мне очень стыдно и неловко из-за этого. Иногда я, как прежде, завожу с ним спор, пытаюсь говорить с прежним задором и горячностью, однако слова мои звучат фальшиво и неубедительно. Порою я иду даже на то, чего никогда не допускал прежде: делаю вид, будто соглашаюсь с ним. Но лицемерия не выносим ни я, ни сам Никхил. Тут уж мы действительно сходимся.

Вот почему я сейчас избегаю встреч с Никхилом — приходится скрывать свое смущение, а это не всегда легко.

Все это — признаки слабости. Стоит только самому себе признаться, что поступок, который ты готовишься совершить, неправилен, и отделаться от этой мысли уже невозможно. Она будет неотступно давить и мучить тебя. Как хорошо было бы, если бы я мог открыто сказать Никхилу, что подобные вещи неизбежны, что они и есть жизнь и что так на них и следует смотреть. И еще, что истина не может встать между настоящими друзьями.

Но увы! Я, по-видимому, и в самом деле начинаю слабеть, а ведь покорил я Бимолу отнюдь не слабостью. Мотылек обжег свои крылышки в огне моего непоколебимого мужества. Но лишь только дым сомнений начинает заволакивать пламя, как Бимола сразу же в смятении отступает. В ней подымается злость, она с удовольствием сорвала бы с меня гирлянду избранника, но не смеет; все, на что она способна, это закрыть глаза и не смотреть на эту гирлянду.

Однако пути отступления отрезаны для нас обоих. Я не нахожу в себе сил оставить Бимолу. И я не сверну с пути, который наметил себе. Мой путь — с народом; мой путь — не черный ход, ведущий в онтохпур. Я не могу отказаться от служения родине, особенно сейчас. Нужно сделать так, чтобы Бимола и родина слились для меня воедино. Пусть ураган с Запада, который сорвал покров, окутывавший сознание моей родины-Лакшми, сорвет покрывало с лица Бимолы, верной супруги, — в этом не будет ничего постыдного. Среди рева и пены, по волнам людского океана понесется ладья, над которой будет развеваться победное знамя «Банде Матарам», и эта ладья станет колыбелью нашей силы и нашей любви. И Бимола увидит тогда столь величественную картину свободы, что оковы сами падут с нее, и она не ощутит стыда. Восхищенная красотой силы разрушения, Бимола не колеблясь станет жестокой. Я заметил, что в натуре у нее есть эта жестокость, которая делает мир прекрасным, без которой немыслима жизнь. Если бы женщины могли освободиться от искусственных оков, созданных мужчинами, мы воочию увидели бы на земле богиню Кали. Она бесстыдна и безжалостна. Я поклоняюсь ей. Бросая Бимолу в вихрь разрушения и гибели, я принесу ее в жертву Кали. Теперь я готовлюсь к этому.

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

Осенний дождь оживил все вокруг. Молодые побеги риса нежны, как руки ребенка. Вода затопила сад и подобралась к самому дому. Утренний свет, словно ласка лазурного неба, щедрым потоком льется на землю.

Почему же не пою я? Искрится вода в ручье, блестят глянцевитые листья деревьев, золотятся на солнце волнующиеся нивы риса, и только я один не участвую в этой чудесной осенней симфонии. Мой голос замер. Свет вселенной касается моего сердца, но отразить эти радостные лучи мое сердце не может. Мой внутренний мир сер и тускл, и я прекрасно понимаю, почему оказался обездоленным в жизни. Трудно ожидать, чтобы кто-то мог долгое время день и ночь терпеть мое общество.

В Бимоле так и бьет жизнь. За все девять лет нашей супружеской жизни ни на одно мгновение она не показалась мне скучной. Я же напоминаю глубокий и тихий омут, лишенный трепета жизни. Я повинуюсь толчкам извне, сам же сообщать кому-либо движение не могу. Поэтому разделять мое общество так же скучно, как соблюдать пост. Только сейчас я понял, как убога и пуста была жизнь Бимолы. Но кого в том винить?

Месяц бхадро щедро дарит дождем,
Увы! Храм мой пуст.

Теперь-то я вижу, что для того и был он построен, чтобы оставаться пустым. Ведь его двери не отворяются. Только до сих пор я не понимал, что моя богиня не переступила его порога. Я верил, что она приняла мою жертву и подарила мне свою милость. Но увы, храм мой пуст, совсем пуст!

Каждый год в сентябре, когда наступали светлые ночи, в эту пору обновления всей земли мы уплывали вдвоем в нашей лодке на просторы Шамолдохо. И возвращались домой только, когда луна совершенно исчезала и ночи становились темными. Я не раз говорил Бимоле: «В каждой песне есть свой припев, который повторяется снова и снова. Но настоящий припев песни двух сердец может родиться только на лоне природы, там, где над журчащей водой «проносится влажный ветерок», где лежит, притаившись в безмолвной лунной ночи зеленая земля, набросившая покрывало, сотканное из теней, и слушает шепот реки. Именно там, а не в четырех стенах, встретились впервые мужчина и женщина. И мы вдвоем только повторяем припев песни того изначального свидания в те изначальные времена, когда на горе Кайласе,

среди лотосов озера Манаса, встретились Шива и Парвати.

Первые два года я проводил годовщину нашей свадьбы в Калькутте, в суматохе экзаменов. А затем семь лет подряд в сентябре луна приходила в нашу опочивальню на воде, среди распустившихся водяных лилий, и безмолвно приветствовала нас. Так прошло семь лет. Сейчас для нас началась новая полоса.

Я никак не могу забыть, что снова наступили светлые сентябрьские ночи. Первые три дня уже прошли. Не знаю, помнит ли об этом Бимола. Она продолжает хранить молчание. Все замолкло. Не слышно и песни.

Месяц бхадра щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

В храме, опустевшем лишь на время разлуки влюбленных, продолжает звучать музыка флейты. В храме, покинутом ими навсегда, царит глубокое, страшное безмолвие, там не слышно даже рыданий.

Моя душа истекает слезами. Я должен сжать зубы. Я не имею права жалкими стенаниями удерживать Бимолу в плену. Если любовь ушла, слезы не помогут. Бимола никогда не почувствует себя по-настоящему свободной, пока видит, что я страдаю.

Я должен дать Бимоле полную свободу, иначе я сам не освобожусь от этой фальши. Стараясь удержать ее около себя, я только еще больше запутываюсь в сетях иллюзии. И это никому не приносит ни счастья, ни радости. Дай свободу другому — и ты обрешь ее сам. Освободись от лжи — и горе станет для тебя счастьем.

На этот раз я, кажется, подошел вплотную к пониманию одной вещи. Все мы сообща так усердно раздували пламя любви между мужчиной и женщиной, что, в конце концов, оно вырвалось за положенные ему пределы, и теперь мы не можем обуздать его, несмотря на то, что от этого страдает все человечество. Светильник, назначение которого освещать дом, мы превратили в испепеляющий костер. Но хватит, нельзя давать ему волю, настал день обуздать огонь. Обожествленный инстинкт превратился в кумира. Довольно приносить в жертву мужское достоинство на окровавленный алтарь этого кумира. Нужно

порвать хитросплетения нарядов и украшений, робости и скромности, песен и сказок, улыбок и слез.

«Ритусамхара» Калидасы у меня всегда вызывает гнев.

Все букеты цветов и корзины плодов вселенной оказываются у ног любимой и приносятся в дар богу любви. Может ли человек так пренебрегать земными благами? Какое вино затуманило взор поэта? То, что я пил до сих пор, было не слишком ярким по цвету, но слишком крепким на вкус. Оно бродит во мне и сегодня, и я с самого раннего утра бормочу:

Месяц бхадро щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

Пуст! стыдно сказать! Почему опустел твой большой дом? Я понял, что ложь есть ложь, и правда жизни покинула меня.

Сегодня утром я зашел в спальню за книгой. Я давно уже не заходил сюда днем. Я огляделся вокруг, и в груди больно заныло. На вешалке висело приготовленное для Бимолы сари, в углу в ожидании стирки лежала кучка сброшенной ею одежды. На туалетном столике рядом со шпильками, гребешками, флаконами с духами и маслом все еще стояла коробочка с алой краской. Под столом — пара маленьких домашних туфель из парчи. Несколько лет тому назад, когда Бимола еще ни за что не хотела носить фабричную обувь, я попросил одного приятеля-мусульманина привезти их из Лакнау. Она стыдилась пройти в них даже из спальни на веранду. С тех пор Бимола сносила не одну пару туфель. Но эти она любовно хранила. Даря ей эти туфельки, я решил подразнить ее.

— Я подсмотрел, что ты берешь украдкой прах с моих ног, думая, что я сплю, — сказал я, — прими же дар от меня, моя недремлющая богиня, пусть он охраняет и твои ножки от пыли.

— Не говори так, иначе я никогда не надену эти туфли, — воскликнула Бимола.

Как знакома мне эта спальня! Самый воздух здесь какой-то особенный, все здесь трогает меня до глубины души. Я никогда не ощущал так остро, как теперь, что мое истомившееся сердце приросло сотнями мельчайших корешков ко всем этим знакомым предметам. Выходит,

недостаточно обрубить главный корень, чтобы освободиться. Цепляться и удерживать будет все, вплоть до маленьких туфель. Вот почему, хоть Лакшми и покинула меня, вид оборванных лепестков, разбросанных повсюду, продолжает кружить мне голову. Мой рассеянный взгляд упал на нишу. Портрет висел на прежнем месте, и только лежащие перед ним цветы почернели и увяли. Все переменилось, но он остался прежним. И эти засохшие цветы сегодня самый подходящий для меня дар. Они лежат здесь потому лишь, что нет нужды их выбрасывать. Горькая правда заключается в них — смогу ли я принять ее с тем же холодным безразличием, с каким взирает на нее мой портрет?

Я не заметил, как в комнату вошла Бимола. Поспешно отвернувшись, я направился к книжной полке, бормоча, что пришел за дневником Амиеля. Нужно ли было спешить с объяснениями? Я почувствовал себя вдруг преступником, соглядатаем, человеком, стремящимся проникнуть в чужую тайну. Не смея встретиться взглядом с Бимолой, я поспешно вышел из комнаты.

Когда, сидя у себя в кабинете, я вдруг почувствовал, что не в состоянии продолжать чтение, что жизнь стала невыносимой и у меня нет ни малейшего желания ни смотреть, ни слушать, ни говорить, ни делать что-либо, и будущее представилось мне огромной, неподвижной глыбой, тяжелым грузом, давящим на сердце, — в комнату вошел Пончу со связкой кокосовых орехов и, положив их передо мной, низко поклонился.

— Что это, Пончу? Зачем? — спросил я.

Пончу — арендатор моего соседа, заминдара Хориша Кунду. Мне говорил о нем учитель. Вряд ли он рассчитывает, что я смогу как-то облегчить его положение, к тому же он очень беден, так что никаких оснований принимать от него приношения у меня нет. Я подумал, что несчастный, находясь в безвыходном положении, избрал этот путь, чтобы добыть немного денег на пропитание. Я вынул из кошелька две рупии и готов был уже отдать их ему, когда он, сложив с мольбой руки, воскликнул:

— Нет, господин, я не могу взять.

— Почему, Пончу?

— Сейчас я все объясню. Как-то, когда мне было особенно трудно, я украл из сада господина несколько коко-

совых орехов. Может быть, смерть уже поджидает меня, поэтому я пришел отдать свой долг.

Чтение дневника Амиеля вряд ли могло принести мне пользу в тот день, но от слов Пончу у меня на душе стало легче. Наш мир намного шире, чем счастье или горе одного человека, сближение или разрыв его с женщиной. Мир огромен, и измерить свои слезы и радости можно, лишь находясь в центре его.

Пончу — один из почитателей моего учителя. Я хорошо знаю, на что ему приходится пускаться, чтобы прокормить свое семейство. Он встает на рассвете, кладет в корзинку бетель, табак, цветную пряжу, маленькие зеркала, гребенки и другие вещи, дорогие сердцу крестьянских женщин, и по колено в воде бредет через болото в поселок номошудр. Там он выменивает свои товары на рис и выручает, таким образом, чуть больше того, что истратил сам. Если ему удастся вернуться пораньше, он, наскоро перекусив, отправляется к торговцу сладостями готовить баташа. Возвратившись же домой, он садится и за полночь трудится, делая украшения из раковин. При таком каторжном труде он вместе с семьей только несколько месяцев в году имеет возможность два раза в день съесть горсточку риса. Обычно перед едой он основательно наполняет желудок водой, а питается, главным образом, перезревшими дешевыми бананами. И все же, по крайней мере четыре месяца в году, его семейство ест один раз в день, не больше.

Я подумывал над тем, как бы помочь ему немного. Но учитель сказал мне:

— Своими подачками ты можешь погубить человека, а жизнь его как была, так и останется невыносимо тяжелой. Разве мало у нас в Бенгалии таких вот Пончу? Если молоко в груди матери-родины иссякло, деньгами тут не поможешь.

Я долго думал над его словами и пришел к решению, что необходимо найти какой-то выход. Я готов был всего себя без остатка отдать этому делу. В тот же день я сказал Бимоле:

— Давай посвятим жизнь искоренению нищеты в нашей стране.

— Ты, оказывается, мой царевич Сиддхартха, — смеясь, ответила она, — смотри, как бы поток твоих чувств не унес меня прочь.

— Сиддхартха давал обет без жены, я же без жены обойтись не могу.

Дело ограничилось этим шутливым разговором.

Надо сказать, что по натуре Бимола — настоящая госпожа. Семья ее весьма родовита, хоть и небогата. В душе она убеждена, что людям, принадлежащим к низшим классам, горести и невзгоды отпущены другой меркой, чем нам. Конечно, всю жизнь от колыбели до могилы их преследует нужда, но в их понимании это еще отнюдь не нужда. Они очень скромны в своих желаниях, и скромность служит им защитой, подобно тому как тесные берега служат защитой небольшому пруду — стоит берега раздвинуть, и вода разольется, обнажив илистое дно.

В жилах Бимолы течет кровь благородных предков, гордых своим исключительным правом на особое, пусть незначительное, положение среди избранных народов, каким обладала Индия. Бимола была истинным потомком знаменитого Ману.

Во мне же, по всей вероятности, течет кровь героев «Рамаяны» и «Махабхараты», и я не могу сторониться тех, кто беден и лишен всего. Индия для меня не только страна аристократов, и мне совершенно ясно, что деградация низших классов ведет к деградации Индии, с их смертью умрет и моя родина.

Бимола ушла из моей жизни. Она занимала в ней так много места, что сейчас, когда я утратил ее, моя жизнь сделалась пустой и жалкой. Я забыл о своих планах и стремлениях, я все отбрасывал от себя, чтобы освободить место для нее. Я был занят лишь тем, что день и ночь украшал ее, наряжал, развивал ее ум, ходил вокруг нее, забывая о том, сколько истинного величия кроется в людях, как драгоценна жизнь каждого человека.

Меня спас Чондронатх-бабу, который, как мог, старался сохранить во мне веру в великое. Без него я бы погиб. Удивительный он человек! Я говорю так потому, что он представляет собой исключение в наши дни. Он ясно видит свое предназначение, и потому ничто не может обмануть его. Сегодня я подвожу баланс своей жизни.

В статье расходов оказывается один серьезный просчет, ошибка, большая потеря. Однако, сбросив ее со счета, я с облегчением обнаруживаю значительную прибыль.

Отец мой умер давно, и самостоятельность пришла ко мне еще в ту пору, когда я занимался с учителем. Я просил учителя оставить работу и навсегда поселиться у меня.

— Видишь ли, — ответил он, — за то, что я дал тебе, мне заплачено сполна. И если я возьму награду за то, что дам тебе сверх этого, то это будет равносильно тому, что я решил продать своего бога.

Не раз Чондронатх-бабу шел ко мне на урок пешком под дождем или палящим солнцем, и я никак не мог уговорить его воспользоваться нашим экипажем. Обычно он отвечал:

— Мой отец, добывая для нас кусок хлеба, постоянно ходил на службу из Боттолы в Лалдигхи пешком и никогда не пользовался экипажем. Мы все потомственные пешеходы.

— Почему бы вам не заняться делами нашего имения? — спрашивал я.

— Нет, дитя мое, не заманивай меня в западню богатей, я хочу оставаться свободным.

Его сын сдал экзамен на магистра и искал работу. Я предложил юноше работать у меня. Ему понравилась такая перспектива. Он сказал отцу, но не встретил у него сочувствия. Тогда сын потихоньку намекнул об этом мне, и я с воодушевлением принялся уговаривать учителя. Однако все было напрасно, Чондронатх-бабу был непреклонен. Сыну показалось очень обидным упустить такой случай, и, рассердившись на отца, он уехал в Рангун.

Не раз Чондронатх-бабу говорил мне:

— Знаешь, Никхил, наши отношения тем и ценны, что построены на полной свободе. Мы очень унизим себя, если позволим деньгам встать между нами.

Теперь Чондронатх-бабу занимает должность директора в местной начальной школе. Он давно не бывал у нас. Последнее время я сам вечерами ухожу к нему, за разговором мы засиживаемся до поздней ночи. Но возможно, на сей раз он решил, что мне тяжело в осеннюю жару находиться в его маленьком домике, и поэтому сам поселился у меня. Странно, что к богачам он относится

с таким же состраданием, как и к беднякам, и не может хладнокровно видеть их несчастья.

Когда вниманием человека завладевают мелочи повседневной жизни, истина невольно ускользает из поля его зрения и он теряет свою свободу.

Бимола виной тому, что мелочи жизни, заслонившие от моих глаз истину, стали так мучительно важны для меня. И нет исхода моему горю, и кажется, будто по всему свету рассеялась моя тоска. Потому-то, наверно, и звучит в ушах моих с раннего осеннего утра эта песня:

Месяц бхадро щедро дарит дождем.
Увы! Храм мой пуст.

Но, когда я смотрю на мир глазами Чондронатха-бабу, смысл песни совершенно меняется:

Молвит Биддапотти: дни вы влачите как,
Бога отринув?

Беды и заблуждения затмили истину. Но как жить без нее? Я задыхаюсь! О Истина, приди в мой пустой храм!

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Трудно описать, что сделалось вдруг с душой Бенгалии. Словно живые воды Бхагиратхи внезапно коснулись праха шестидесяти тысяч сыновей Сагары. Веками покоился этот прах на дне глубокого водоема. Ни огонь, ни влага не могли дать ему жизнь, и вдруг этот прах вспрыл и воскликнул: «Вот и я!»

Когда-то я читала, что в Древней Греции одному скульптору удалось вдохнуть жизнь в созданную им статую. Но перед ним была уже готовая форма. А разве пепел погребального костра нашей родины похож на отлитую форму? Будь он тверд, как камень, это было бы еще возможно: ведь и превращенная в камень Ахалья в один прекрасный день снова приняла человеческий образ. Но этот пепел просыпался, по-видимому, сквозь пальцы творца, и ветер развеял его по свету. Даже сметенный в кучи, он не мог соединиться. Но вот настал день, когда эта бесформенная масса обрела вдруг форму, выросла перед нами и заявила громовым голосом: «Я есмь!»

И не удивительно, что все, происходившее тогда, казалось нам чем-то сверхъестественным. Этот момент нашей истории напоминал драгоценный камень, выпавший из короны захмелевшего бога прямо к нам в руки. Он не вытекал из нашего прошлого и был похож на ту самую воображаемую панацею от бед, которая на самом деле не существует. И нам казалось, что теперь все наши несчастья и страдания, как по волшебству, сгинут сами собой. Грань между возможным и невозможным исчезла. Все, казалось, говорило: «Вот оно! Оно здесь!»

Мы с восторгом решили, что колеснице нашей истории не нужны кони, что, подобно воздушной колеснице Куберы, она сама понесется вперед. Во всяком случае, нам не придется платить вознице — разве что подносить ему время от времени чашу с вином. Впереди нас ожидали дивные райские чертоги.

Нельзя сказать, чтобы мой муж оставался равнодушным к событиям. Но, несмотря на радостное возбуждение, царившее вокруг, тень печали в его глазах становилась с каждым днем все гуще и гуще. Можно было подумать, что он видит дальше, чем все мы, опьяненные восторгом происходящего, и смущен тем, что открылось его взору. Как-то раз во время одного из своих бесконечных споров с Шондипом, он сказал:

— Счастье затем и приблизилось к нашим дверям, затем и манит нас, чтобы показать, как не готовы мы к его встрече.

— Твои слова, Никхил, похожи на речи атеиста, — ответил Шондип, — ты, верно, совсем не веришь в наших богов. Мы ясно видим богиню, которая пришла дать нам свое благословение. А ты не хочешь верить даже собственным глазам.

— В бога я верю, — сказал муж. — Именно поэтому я и убежден, что мы не приготовились как следует, с должным благоговением встретить его. Во власти бога наградить нас, если он этого хочет, но нужно, чтобы и мы были в состоянии принять его милости.

Такие речи мужа страшно сердили меня.

— Ты считаешь, что в нас говорит опьянение, — вмешалась я. — Но разве опьянение не дает людям силу?

— Силу, пожалуй, да, но не оружие, — ответил он,

— Сила — это дар всевышнего, — продолжала я. — А оружие может сделать простой кузнец.

— Кузнец даром не сделает, ему надо платить, — с улыбкой возразил муж.

— На этот счет не волнуйся, — важно заявил Шондип. — Кузнеца оплачу я.

— Ну, а уж музыкантов на праздник приглашу я, но не раньше, чем ты закончишь свои расчеты с кузнецами.

— Не воображай, пожалуйста, что без твоих щедрот у нас и музыки не будет, — презрительно заявил Шондип, — торжество за деньги не купишь.

И он сильным голосом запел:

Нет денег — он не унывает: беда невелика!
Он, радостный, в лесах блуждает,
Мотив чарующий выводит на флейте бедняка.

Взглянув на меня, Шондип, улыбаясь, сказал:

— Царица Пчела, я пою для того лишь, чтобы доказать, что отсутствие голоса не так уж важно, когда сердце хочет петь. Человек, который поет только потому, что обладает прекрасным голосом, умаляет значение песни. Нашу страну внезапно затопила песня, пусть же Никхил упражняется в гаммах, а мы тем временем своими надтреснутыми голосами поднимем страну.

«Куда же ты идешь? —
скрипит мой старый дом, —
Через порог шагнешь —
раскаешься потом».

Но глас моей души
уйти меня зовет:

«Спеши, спеши, спеши,
пусть прахом все пойдет!»

— Хорошо, пусть все идет прахом, хуже этого ведь ничего нет. Я согласен, это меня вполне устраивает.

«О, если ты уйдешь, —
дом говорит мне вслед, —
Сюда уж никогда
не возвращайся, нет!
С улыбкой я приму
слепой судьбы удар,
Пусть в сердце мне течет
несущий смерть нектар».

— Дело в том, Никхил, что сейчас уже нас не остановишь. Мы не можем долее оставаться в рамках возможного и мчимся по пути к невозможному.

О те, кто хочет вновь
к себе меня вернуть!
Вам счастья смысл понять
дано ль когда-нибудь?
Не прям — извилист путь,
он вдаль меня зовет.
Добро и прямота —
пусть прахом все пойдет!

Мне показалось, муж хочет что-то возразить. Но он ничего не сказал и медленно вышел из комнаты.

Вихрь, налетевший на нашу страну, заставил зазвучать какие-то нотки и в моем сердце. Приближается колесница бога моей судьбы, и день и ночь я слышу скрип ее колес и трепещу в ожидании. Мне все кажется, что со мной вот-вот случится что-то необычайное, за что я не могу быть в ответе. Грех ли это? Ведь дверь оттуда, где царствует добро и зло, порицание и раскаяние, сочувствие и лицемерие, сама открылась передо мной. Я никогда не хотела этого, не ждала, но... окиньте взором всю мою жизнь, и вы убедитесь — я не виновата. Когда наступил час воздаяния, передо мной явился не тот бог, которому я так долго и самозабвенно молилась. Моя очнувшаяся от оцепенения родина восторженными кликами «Банде Матарам» приветствовала свое еще не осознанное будущее. И в моей душе все так же пело и ликовало: «Приди! О таинственный загадочный, властный незнакомец, приди!»

Голос моей родины удивительно сливался с голосом моей души.

Однажды поздно ночью я тихонько встала и вышла на крышу. За оградой нашего сада расстилались поля зреющего риса. С северной стороны сквозь просветы рощи, расположенной за деревней, виднелась река, на другом ее берегу темнела полоса леса, и мне чудилось, будто в утробе безбрежной ночи все дремлет, утратив ясные очертания, подобно зародышу какого-то будущего творе-

ния. Я видела перед собой мою родину. Она была женщиной, подобно мне, полной ожидания, бросившей место у домашнего очага; едва заслышав зов его — таинственного незнакомца, она не раздумывала, куда он зовет ее, она даже не успела зажечь светильник, устремляясь вперед во тьму. О, я знаю, как откликается на этот зов вся душа ее, как вздымается ее грудь, какое чувство испытывает она, приближаясь к нему. Ей казалось, что она уже достигла цели! Она найдет его даже с завязанными глазами! Нет, она не мать. Она не слышит плача голодных детей, который несется ей вслед, она не думает о домашней работе и очаге, в котором ей надо развести огонь. Она возлюбленная. Она — родина наших вайшнавов. Она покинула дом и забыла о своих обязанностях. Странное непостижимое желание влечет ее вперед. Куда? Зачем? Не все ли равно!

В ту ночь столь же страстное желание охватило и меня. Я тоже покинула свой дом и сбилась с пути. Я не вижу своей цели, не знаю, как достигну ее. Мной владеют два чувства — желание и нетерпение. Несчастливая заблудшая душа! Остановись! Ночь пройдет, и займется заря, а ты не найдешь пути обратно. Но зачем возвращаться? Остается ведь еще смерть. Если Духу Тьмы, чья флейта звучит в ночи, угодно погубить меня, к чему беспокоиться о будущем? Когда тьма поглотит меня, исчезнет все, ничего не будет — ни меня, ни добра и зла, ни смеха и слез. Ничего!

В те дни машина времени Бенгалии работала на полный ход. Все, что было недоступным раньше, сделалось простым. Казалось, ничто не могло предотвратить проникновение новых веяний даже в наш далекий уголок. Однако мы долго не поддавались этому настроению. Главной причиной был мой муж. Он не хотел оказывать давление на кого бы то ни было. Истинными патриотами он считал тех, кто готов принести жертву ради блага родины. Тех же, кто насильно требует жертв от других, он называл врагами родины и говорил, что, подрубая корень свободы, они надеются оживить ее орошением.

Но после того, как Шондип-бабу поселился у нас, а его приверженцы наводнили округу и стали выступать с речами на ярмарках и базарах, волны возбуждения

докатались и до нас. К Шондипу присоединилась группа местных юношей. Среди них были и такие, которые до этого, по общему мнению, только позорили свою деревню, теперь же они горели благородным энтузиазмом, и пламя его очистило их внутренне и внешне. Да это и понятно, когда над страной веет чистый ветер большой радости и надежды, он сметает прочь весь сор и отбросы. Когда в стране царят мрак и уныние, человеку трудно быть здоровым, чистым и правдивым.

И вот тогда все обратили внимание на то, что во владениях моего мужа еще не запрещены иноземные соль, сахар, ткани. Даже служащие мужа стали смущаться и стыдиться этого. А ведь совсем недавно, когда муж стал закупать для дома и деревни товары местного производства, все от мала до велика, кто явно, а кто втихомолку, посмеивались над ним. Пока свадеши не стало нашей национальной гордостью, мы относились к этому движению свысока. Правда, муж и теперь еще точит карандаш индийского производства того же производства перочинным ножиком, пишет тростниковой ручкой, пьет воду из медного кувшина и занимается вечером при светильнике. Но эти его вялые никчемные уступки свадеши не встречали у нас никакого сочувствия. Наоборот, я не раз испытывала стыд за убогую обстановку гостиной мужа, в особенности когда он принимал почетных гостей, вроде судьи.

— Ну что ты расстраиваешься из-за таких пустяков, — смеясь, говорил муж.

— Они примут нас за дикарей, — отвечала я. — Или, уж во всяком случае, за людей малоцивилизованных.

— Ну что ж, в этом случае я могу отплатить им тем же и считать, что цивилизация затронула их очень поверхностно — не дальше их белой кожи.

На его письменном столе стоят обычно цветы в простом медном кувшинчике. Сколько раз, узнав, что он ждет в гости европейца, я потихоньку убирала кувшинчик и ставила цветы в переливающуюся радугой хрустальную вазу английской работы.

— Послушай, Бимола, — запротестовал он наконец, — неужели ты не видишь, что цветы эти скромны, как и

медный сосуд, в котором они стоят. Твоя же английская ваза слишком уж бросается в глаза. В ней следует держать не живые, а искусственные цветы.

Одна только меджо-рани поощряла его. Как-то раз она прибежала запыхавшись и сообщила:

— Братец, я слышала, у нас в лавке появилось чудесное индийское мыло. Для меня прошли уже времена, когда я пользовалась туалетным мылом, но, если в нем нет животного жира, мне очень хотелось бы купить кусочек. Я привыкла употреблять мыло с тех пор, как поселилась у вас. Теперь-то я им почти не пользуюсь, но мне и сейчас еще кажется, будто купание без мыла совсем и не купание.

Муж приходил в восторг от таких разговоров, и дом наводнялся мылом местного изготовления. Если, конечно, можно назвать это мылом! Сплошные комья соды! И будто я не знала, что меджо-рани по-прежнему ежедневно моется английским мылом, как и при жизни своего мужа, а индийское мыло отдает служанкам для стирки.

Другой раз она заявила:

— Братец, говорят, появились индийские ручки! Будь так добр, достань мне несколько штук.

И братец старался изо всех сил. Комната меджо-рани заваливалась какими-то отвратительными палочками, которые почему-то именовались «ручками». Впрочем, ее очень мало трогало их качество, так как не в ее характере было заниматься чтением или письмом, написать же счет прачке можно было и карандашом. К тому же в ящике для письменных принадлежностей у меджо-рани хранилась старинная ручка из слоновой кости, и если у нее вдруг являлось желание написать что-то, то на глаза обязательно попадалась именно эта ручка. Делалось же все это с единственной целью досадить мне, потому что я не хотела поощрять капризы мужа. Но выводить ее на чистую воду не имело никакого смысла. Лишь только я заводила разговор о ней с мужем, у него делалось неприятное, хмурое выражение лица и было ясно, что результата я добилась как раз обратного. Открывая таким людям глаза на то, что их обманывают, только сам попадаешь в неловкое положение.

Меджо-рани любит шить. Однажды, когда она сидела за работой, я не удержалась и прямо ей заявила:

— Какая ты все-таки притворщица! Когда ты говоришь при братце об индийских ножницах, ты чуть ли не захлебываешься от восторга, а стоит тебе взяться за шитье, ты и минутки не можешь обойтись без английских ножниц.

— Ну и что? — возразила она. — Неужели ты не видишь, как это его радует. Мы ведь с ним с детства дружны, выросли вместе. Это тебе все ни о чем, а я просто видеть не могу его грустного лица. Бедненький, — мужчина, а никаких у него увлечений нет, только вот эта игра в лавку с индийскими товарами да ты — самая пагубная его страсть! Из-за тебя он и погибнет.

— Все равно, двуличной быть нехорошо, — резко сказала я.

Меджо-рани расхохоталась мне в лицо.

— Нет, вы только ее послушайте! Нашу бесхитростную чхото-рани. Какая же она ровная да прямая, ну прямо указка учителя! Но ведь женщина не так устроена. Она должна быть мягкой, гибкой, и ничего плохого в том нет.

Я никогда не забуду слов меджо-рани: «Ты — его пагубная страсть! Из-за тебя он и погибнет».

Теперь я твердо знаю: если уж мужчина непременно должен иметь какую-нибудь страсть, то пусть этой страстью будет не женщина.

Шукшаор, который находится на принадлежащей нам земле, — один из самых больших торговых центров в округе. Здесь по одну сторону пруда ежедневно бывает базар, по другую — каждую субботу — ярмарка. Во время дождей, когда пруд соединяется с рекой и лодки с товарами могут подходить к самому месту ярмарки, торговля оживляется — к предстоящим холодам привозят большое количество пряжи и теплых тканей.

Во времена, о которых идет речь, препятствия, чинимые англичанами индийским тканям, индийскому сахару и соли, вызывали страшный шум на всех рынках Бенгалии. Мы же с еще большим упорством стояли на своем. Однажды Шондип пришел ко мне и сказал:

— В наших руках большой торговый центр, надо его наводнить товарами местного производства. Пусть родной ветер избавит нас от иноземной напасти.

Я с готовностью ответила согласием.

— Я уже разговаривал с Никхилом по этому поводу, — продолжал Шондип. — Но ничего не добился. Он говорит, что не возражает против наших выступлений с речами, но насилия не допустит.

— Предоставьте это мне, — гордо ответила я.

Я знала, как велика любовь мужа ко мне. Не утратить к тому времени окончательно способности рассуждать здраво, я скорее умерла бы, чем решилась сыграть на его чувствах. Но мне нужно было продемонстрировать Шондипу свою власть. Ведь в его глазах я была воплощением Шакти. Со свойственным ему красноречием он постепенно внушил мне, что не всякому дано увидеть высшую силу, управляющую миром, и не всякий человек может воплотить ее в себе. Только страстное желание познать вечно-женственное начало единения с природой исторгает его из наших глубин, где звучит тихая флейта владыки мира.

Иногда он при этом пел:

Когда ты на меня не глядишь, о Радха, звенит моя свирель.
Теперь ты рядом, и замолкла ее мелодия,
Играя на свирели, я искал тебя повсюду;
Сегодня мои слезы нашли улыбку на лице моей возлюбленной.

Слушая его, я забывала, что я Бимола. Я была Шакти — воплощение радости мира. Меня ничто не связывало, для меня было все возможно. Все, к чему я прикасалась, обретало новую жизнь. Я заново создавала свой мир. Разве было столько золотых красок на осеннем небе раньше, до того как его коснулся философский камень моего сердца? А этот герой, — свято выполняющий свой долг перед родиной, преданный мне, этот блистательный ум, бурлящая энергия, светлый гений — разве он не творение моих рук? Разве не видно, что это я вливаю в него непрестанно новые, свежие силы?

Как-то Шондип уговорил меня принять его ревностного последователя — юношу по имени Омуллочорон. Едва тот поднял на меня свои выразительные глаза, в них вспыхнуло яркое пламя. Я поняла, что и ему открылась во мне

Шакти, что и его кровь зажглась от моего волшебного прикосновения.

На следующий день Шондип сказал мне:

— Вы обладаете поистине чудодейственной силой! Омумло стал совсем другим, — он преобразился в одно мгновение, он весь так и горит. Как можно хранить ваш огонь в четырех стенах! Коснуться его должен каждый, и когда все светильники будут наконец зажжены, в нашей стране наступит прекрасный праздник Дивали.

Опьяненная собственным величием, я решила оказать милость своему преданному почитателю. Я ни на секунду не допускала мысли, что кто-то может отказать мне.

В тот день, вернувшись к себе после разговора с Шондипом, я распустила волосы и сделала прическу по-новому. Мисс Джильби научила меня подымать волосы на затылке и делать из них шиньон. Новая прическа очень нравилась мужу.

— Как жаль, — сказал он однажды, что бог решил открыть не Калидасе, а мне, человеку, лишенному поэтического таланта, сколь красива может быть шея женщины. Поэт, возможно, назвал бы ее стебельком лотоса, мне же она кажется факелом, взметнувшимся кверху черное пламя твоих волос.

С этими словами он прикоснулся к моей открытой шее... Но увы! К чему эти воспоминания!

Итак я послала за мужем. В былые дни я придумывала тысячи разнообразных предлогов, если мне хотелось увидеть его. С некоторых пор способность эту я окончательно утратила.

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

Жена Пончу умерла от туберкулеза легких. Пончу должен будет совершить обряд очищения. По подсчетам общины это обойдется ему в двадцать три с половиной рупии.

— Это еще что за выдумки! — воскликнул я, возмущенный, — не соглашайся на это, Пончу. Ну, что они тебе могут сделать?

Пончу поднял на меня полные покорности глаза вконец загнанного вьючного животного и сказал:

— У меня старшая дочь уж на выданье... Да и похоронный обряд по жене без этого не справишь.

— Если на твоей душе и был какой-нибудь грех, то ты уже давно искупил его своими страданиями.

— Так-то оно так, — наивно согласился Пончу. — Ведь я уже продал часть участка, чтобы оплатить расходы на врача, а остальное все заложил. Но пока я не заплачу брахманам и не угощу их как следует, они от меня не отстанут.

Спорить с ним не имело никакого смысла. Когда же настанет время очистительных обрядов, думал я, для тех брахманов, которые могут требовать подобных приношений?

Пончу, который и так всегда находился на грани нищеты, после болезни и похорон жены оказался ввергнутым в самую пучину ее. В отчаянных поисках утешения он повадился слушать проповеди самоотречения одного саньяси и настолько проникся его философией, что забыл про своих голодных детей. Он внушил себе мысль, что все на свете суeta суeta и что счастье и несчастье одинаково иллюзорны. Кончилось тем, что однажды ночью он бросил в полуразвалившейся хижине своих детей и сам отправился странствовать.

Я ничего об этом не знал, потому что как раз в это время светлые силы и силы преисподней вели в моей душе страшную борьбу. Не знал я и того, что Чондронатх-бабу взял детей Пончу к себе и заботился о них, несмотря на то, что после отъезда сына в Рангун жил один, и несмотря на то, что школа отнимала у него почти все время.

Прошел месяц, и как-то рано утром Пончу снова появился в деревне. Его аскетический пыл сильно поостыл за это время. Старшие дети — мальчик и девочка — уселись у его ног на земле и настойчиво спрашивали, куда он ходил. Младший сынишка вскарабкался к нему на колени, а вторая девочка забралась на спину и крепко обхватила его за шею. Все дружно плакали.

— О господин, — с трудом произнес наконец Пончу, обращаясь к учителю, — я не в силах кормить их два раза в день, а бросить их тоже не могу. За что мне такое наказание? Какой я совершил грех?

За это время его скромные торговые связи оборвались, и восстановить их он не смог. Он продолжал жить в доме учителя, приютившего его в первые дни, и не заикался о том, чтобы переселиться в свой дом. Наконец учитель сказал ему:

— Отправляйся-ка ты, Пончу, к себе, иначе твоя хижина окончательно развалится. Я дам тебе немного денег в долг, ты начнешь понемногу торговать и со временем расплатишься со мной.

Пончу слегка расстроился. На свете нет милосердия, думалось ему. А когда учитель взял с него расписку в получении денег, он решил, что невелика цена благодетелю, за которое придется рассчитываться.

Но не в характере учителя было выступать в роли благодетеля и делать человека морально обязанным себе. Он утверждал:

— Если человек теряет уважение к себе, он погибает.

После того как Пончу взял деньги под расписку, в поклонах его сильно поубавилось почтительности, а брать прах от ног учителя он и вовсе перестал. Учитель в душе посмеивался — он проживет и без поклонов.

— Я признаю лишь отношения, основанные на взаимном уважении, — говорил он. — Чрезмерное поклонение только портит их.

Пончу накупил дхоти, сари, теплых тканей и стал продавать их в ближайших деревнях. Правда, деньгами ему платили редко, но он мог продавать полученный рис, джут и другие сельские продукты, и это давало ему возможность существовать и даже откладывать деньги на уплату долга. Через два месяца часть долга учителю он погасил. По мере того как сокращалась сумма долга, сокращалось и число поклонов. Должно быть, Пончу решил, что ошибся, считая господина учителя своим гуру. «И этот человек не прочь нажиться», — думал он.

Так обстояло дело с Пончу, когда на него обрушился поток свадеши.

Шли каникулы, и молодежь из нашей и соседней деревни, учившаяся в школах и колледжах Калькутты, вернулась домой. Некоторые юноши в избытке усердия бросили занятия вообще и, сделав Шондипа своим вождем, увлеклись пропагандой свадеши. Многие из них закончили

мою бесплатную школу, других я обеспечивал стипендией для занятий в Калькутте. И вот однажды они гурьбой явились ко мне.

— С нашего шукшаорского рынка, — заявили они, — должны быть изъяты английская пряжа, теплые ткани и другие товары.

— Я не могу этого сделать, — ответил я.

— Почему? Вы боитесь убытков? — ядовито спросил кто-то из них.

Я понимал, что этот вопрос был задан только для того, чтобы оскорбить меня.

— Убытки понесу не я, — пришлось мне ответить, — а мелкие торговцы, в большинстве своем люди бедные, и их покупатели.

Но тут в разговор вмешался учитель, присутствовавший при этом.

— Конечно, убытки понесет он, а не вы, — сказал он.

— Во имя родины... — начали было они.

— Родина — это не только земля, — снова оборвал их учитель, — но и люди, которые на ней живут. А вы видели хотя бы краем глаза, как они живут? И все же вы вдруг ни с того ни с сего хотите диктовать им, какую соль есть и в какое платье одеваться. Почему они должны это терпеть, почему мы должны заставлять их терпеть это?

— Но ведь мы сами употребляем только отечественные соль и сахар и носим отечественные ткани, — отвечали они.

— Это уж ваше дело. Вам нужно давать выход своему раздражению и поддерживать свой фанатизм. Деньги у вас есть, так чего ж вам не покупать товаров отечественного производства, уплачивая за них на две пайсы дороже. Бедняки не мешают вам развлекаться по-своему. Вы же непременно хотите заставить их поступать по-вашему. Вся их жизнь — непрестанная, упорная и тяжелая борьба за существование. Вы даже представить себе не можете, что значат для них эти две пайсы. Так как же вы можете сравнивать себя с ними! Вы вели совершенно иной образ жизни, чем они. И теперь хотите ответственность за это свалить на их плечи! Хотите вылить на них свою злобу? Я считаю это низостью. Сами вы можете делать что угодно, хоть умереть! Я, старик — ваш наставник, готов при-

ветствовать вас и даже последовать за вами. Но если вы, размахивая знаменем свободы, будете попираť свободу бедняков, я восстану против вас и, если потребуется, отдам жизнь.

Почти все эти юноши были учениками Чондронатхабабу и не решились отвечать ему непочтительно, хотя, совершенно очевидно, они с трудом сдерживали кипевшую в них ярость.

— Вся наша страна дает сейчас великую клятву, — обратились они ко мне, — неужели вы один будете препятствовать ее желанию?

— Неужели вы думаете, что я способен на это? Я охотно отдал бы жизнь, чтобы помочь ей.

— Разрешите узнать, в чем заключается ваша помощь? — криво усмехнувшись, спросил один из студентов, готовившийся стать магистром.

— Я закупил у местных фабрик и привез на наш рынок отечественную ткань и пряжу. Больше того, такую же пряжу я послал на соседние рынки.

— Но мы видели, — возразил тот же юноша, — что вашу пряжу на рынке никто не покупает.

— Это не моя вина и не вина торговцев. Это доказывает лишь то, что еще не вся страна дала великую клятву, о которой вы говорите.

— Дело не только в этом, — вмешался учитель. — Доказывает это еще и то, что и вы сами дали клятву больше для того, чтобы доставлять неприятности всем вокруг. Вы хотите, чтобы торговцы, которые никакой клятвы не давали, покупали пряжу, чтобы ткачи, не дававшие клятвы, ткали из нее ткань, а люди, не дававшие клятвы, покупали бы такую ткань. И это — способ достижения цели? Шумиха, поднятая вами, и насилие над слугами заминдра? Иначе говоря, клятву даете вы, но поститься будут они, зато первыми разговляться после поста будете опять-таки вы.

— А может быть, вы разрешите нам осведомиться, — продолжал другой студент, — в чем будет заключаться доля лишений, взятая вами на себя?

— Отчего же, пожалуйста, — ответил учитель. — Так знайте же, что Никхилу пришлось самому скупать всю эту пряжу отечественного производства, а для того, чтобы выткать из нее материю, ему же пришлось открыть

ткацкую мастерскую. Если судить по его блестящим деловым успехам в прошлом, надо полагать, что стоимость этой ткани, когда она будет готова, достигнет стоимости парчи. А пригодится она, по всей вероятности, только на оконные занавески для его же гостиной, хотя она и будет пропускать солнечные лучи. И если к тому времени вы забудете о своей клятве, то сами же будете вовсю потешаться над этим образцом отечественного искусства. И только англичане, может быть, восхитятся когда-нибудь мастерством наших тканей.

Я знаю своего учителя с тех пор, как помню себя, но никогда еще не видел его таким возбужденным. Я прекрасно понимал, что с некоторых пор в его сердце за таилась обида за меня. Это было причиной того, что его обычное самообладание, не раз уж подвергавшееся испытаниям, изменило ему в конце концов.

— Вы старше нас, — вмешался студент-медик, — и нам не пристало пререкаться с вами. Но мы все же попросим вас твердо ответить нам на один вопрос: вы не запретите продажу иностранных товаров на вашем рынке?

— Нет, я не сделаю этого, — ответил я, — потому что эти товары мне не принадлежат.

— Или потому, что вы пострадаете от этого! — с усмешкой заметил будущий магистр.

— Да, — ответил за меня учитель. — И обычно тот, кто страдает, лучше разбирается во всем.

С громкими возгласами «Банде Матарам» студенты покинули нас.

Через несколько дней учитель привел ко мне Пончу. Оказывается, заминдар Хориш Кунду наложил на него штраф в сто рупий. Почему, в чем он провинился? Пончу продавал английские ткани. Он пришел к заминдару и, упав в ноги, обещал никогда больше не заниматься торговлей, лишь бы заминдар разрешил ему продать ткани, купленные на деньги, взятые в долг.

— Так дело не пойдет, — ответил заминдар, — ты должен у меня на глазах сжечь все ткани — тогда я отпущу тебя.

Пончу не сдержался.

— Мне такие забавы не по карману, — выпалил он, — у вас вон денег много, покупайте и жгите себе на здоровье!

Заминдар весь побагровел, услышав такие речи.

— Ах ты подлая тварь! — заревел он. — Ты еще будешь разговаривать! Я тебя проучу!

Последовала унижительная порка, а затем штраф в сто рупий.

И это совершают люди, которые следуют по пятам за Шондипом и кричат «Банде Матарам»! Это люди, которые служат родине!

— А что стало с материей?

— Всю сожгли.

— Кто там был еще?

— Много народу, и все кричали «Банде Матарам». Там и Шондип был. Он взял в пригоршню пепел и сказал: «Братья, это первый в нашей деревне погребальный костер, на котором возданы последние почести английской торговле. Это священный пепел! Обсыплем им тело и разорвем путы Манчестера. Нагими аскетами выполним свой обет».

— Пончу, тебе надо подать жалобу, — сказал я.

— Никто не захочет выступить свидетелем, — ответил Пончу.

— Как это не захочет? Шондип! Шондип!

Шондип вышел из своей комнаты.

— Что случилось? — спросил он.

— На твоих глазах заминдар сжег товары Пончу. Ты выступишь свидетелем?

— Конечно, выступлю, — ответил, смеясь, Шондип, — но со стороны заминдара.

— Что ты хочешь этим сказать? Разве ты не собираешься свидетельствовать истину?

— А разве истина только то, что действительно случилось? — в свою очередь, спросил Шондип.

— Какая же еще может быть истина?

— Случилось то, что должно было случиться, — сказал Шондип. — Чтобы воздвигнуть храм истины, нам придется в процессе созидания не раз прибегать ко лжи, недаром весь мир — это порождение иллюзии, лжи. Те, кто хочет чего-то достигнуть в этом мире, должны творить свою правду, а не идти слепо за общепризнанной.

— Следовательно...

— Следовательно, я дам то, что вы называете ложным показанием. Точно так же, как дают ложные показания те, которые создают империи, строят социальные системы, основывают религиозные учения. Те, кто хочет властвовать, не боятся лжи, железные оковы правды достаются тем, кто склоняется перед этой властью. Разве ты не читал истории? Разве ты не знаешь, что в огромной кухне мира, где готовится политический соус к государствам-жертвам, главной приправой является ложь?

— В мире сейчас готовят много разных соусов, но...

— Знаю, знаю! Зачем тебе заниматься стряпней! Ты предпочитаешь быть одним из тех, кого потом будут пичкать изготовленным. Они разделят Бенгалию на части и скажут, что делают это во имя вашего блага. Они закроют двери к образованию и будут говорить о благородном стремлении поднять вашу культуру на еще большую высоту. Вы будете продолжать хныкать по углам, а мы, грешники, воздвигнем крепость из камня лжи. При чем спасти нас может именно наша крепость, а не река ваших слез.

— Не стоит спорить, Никхил, — сказал учитель. — Разве может тот, кто не чувствует истины в своей душе, понять, что высшее назначение человека состоит в том, чтобы освободить эту истину от всех покровов и показать миру, а вовсе не в том, чтобы, прикрываясь действительностью, строить заградительную стену вокруг нее.

— Правильно! — рассмеялся Шондип. — Такая речь как раз и подобает школьному учителю. Обо всем этом я давно читал в книгах, но жизнь научила меня другому — я узнал, что главным занятием каждого является все-таки умение прикрыться действительностью. Люди искушенные изоощряются во лжи в рекламах своих предприятий, жирно вписывают фальшивые цифры в счетоводные книги политики. Их газеты — корабли, нагруженные ложью, идущие в чужие страны, а их пропагандисты распространяют ложь, как мухи заразу. Я — только скромный ученик сих великих людей, и когда принадлежал партии Конгресса, то нисколько не стеснялся разбавлять полсера правды пятнадцатью серами лжи. И хотя я вышел из этой партии, но до сих пор хорошо помню заповедь, что цель человека — не истина, а успех.

— Истинный успех, — поправил его учитель.

— Может быть, — продолжал Шондип, — но плоды такого успеха вырастить не так-то легко. Для этого надо возделывать поле лжи, разрыхлить землю и уничтожить все комки. Правда же растет сама, как чертополох и сорняки, вот только ждать от нее плодов могут лишь гусеницы да всякие букашки.

С этими словами Шондип стремительно выбежал из комнаты. Учитель с улыбкой посмотрел на меня и сказал:

— А знаешь, Никхил, Шондип не атеист, он — последователь иной религии. Он словно луна на ущербе. Называется луной, а на самом деле — месяц.

— Потому-то, — ответил я, — хоть мы с ним расходимся во взглядах, но душой я тянусь к нему. И я не могу не уважать его, несмотря на то, что он принес мне много горя и, может, принесет еще больше.

— Я догадываюсь об этом, — сказал учитель, — сначала я долго удивлялся, как ты можешь терпеть Шондина. Иногда у меня даже закрадывалось подозрение — не слабость ли это с твоей стороны? Теперь же я вижу, что хоть у вас нет единства в суждениях, но вы понимаете друг друга. Нет рифмы, но ритм один.

— Кажется, в данном случае судьба решила написать поэму «Потерянный рай» белыми стихами, — заметил я шутливо в тон ему. — И друзья с подходящими рифмами оказались бы здесь не на месте.

— Но что же нам делать с Пончу? — вернулся учитель к прежней теме.

— Вы говорите, что заминдар хочет согнать Пончу с земли, которая принадлежала еще его предкам. А что, если я куплю эту землю и оставлю на ней Пончу как своего арендатора?

— А кто уплатит штраф в сто рупий?

— С кого же он сможет требовать этот штраф? Земля-то будет принадлежать мне.

— А сожженный товар?

— Я достану ему новый. Став моим арендатором, он сможет продавать все, что захочет. Хотел бы я видеть, кто осмелится ему помешать.

— Господин, — вмешался Пончу, сложив в мольбе руки, — боюсь я этого. Когда господа дерутся, все хищ-

ники тут как тут, начиная с полицейского инспектора и кончая судьей. Всем есть на что поглазеть. Ну, а если надо кого пристукнуть — тут и я под рукой.

— Почему? Что они могут тебе сделать?

— Подождут мой дом вместе с детьми и вообще...

— Хорошо, твои дети проведут несколько дней в моем доме, — сказал учитель, — ты не бойся. Иди к себе домой и торгуй всем, чем хочешь, никто не посмеет тебя тронуть. Я не допущу, чтоб ты мирился с несправедливостью. Чем больше тащишь, тем больше на тебя наваливают.

В тот же день я купил землю Пончу и вступил официально в ее владение. Тут-то и начались неприятности.

Наследство досталось Пончу от деда со стороны матери. Все прекрасно знали, что он был его единственным наследником. И вдруг, откуда ни возьмись, явилась какая-то тетка и водворилась в доме Пончу со своими узлами, четками и взрослой вдовой-племянницей, заявив, что имеет право до конца жизни пользоваться частью его имущества. Пораженный Пончу заявил, что его тетка давно умерла. «Так то была первая жена, — услышал он в ответ. — По-твоему у него второй быть не могло, что ли?»

Однако дядя умер значительно раньше тетки и потому вряд ли имел возможность взять себе другую жену. Против этого возражений не было, однако Пончу сообщили, что никто и не утверждает, будто дядя женился после смерти жены, нет, женился он еще при ее жизни. Только вторая жена, опасаясь семейных раздоров, оставалась в доме отца. После смерти мужа она, будучи женщиной благочестивой, отправилась в Вриндаван, где предавалась посту и молитве, и сейчас вот возвращается оттуда. Все это прекрасно известно служащим заминдара Кунду, возможно, знают о том и некоторые его арендаторы, — и если заминдар как следует прикрикнет, так, наверно, найдутся и такие, что пировали на свадьбе дяди.

В тот день я до полудня был поглощен распутыванием дела Пончу. Неожиданно меня позвали в онтохпур. Я очень удивился:

— Кто зовет?

— Рани-ма, — последовал ответ.

— Боро-рани-ма?

— Нет, чхото-рани-ма.

Чхото-рани! Кажется, прошла вечность с тех пор, как она последний раз звала меня. Оставив всех в кабинете, я отправился в онтохпур. Удивление мое возросло еще больше, когда я увидел в спальне Бимолу, совершенно очевидно принарядившуюся для встречи со мной. Сама комната, ставшая последнее время холодной, нежилой, чем-то напоминала сегодня нашу былую уютную спальню.

Я молча стоял и вопросительно смотрел на Бимолу. Она немного покраснела и быстро заговорила, нервно теребя браслет на левой руке:

— Во всей Бенгалии только на нашем рынке продают английские товары. Разве это правильно?

— А что ты считаешь правильным? — спросил я.

— Приказать выбросить иноземные товары.

— Но ведь они не мои.

— Зато рынок твой.

— Я бы сказал, что рынок принадлежит тем, кто на нем торгует.

— Так пусть они торгуют товарами местного производства.

— Я был бы очень этому рад. А если они не захотят?

— Что значит не захотят! Они никогда не осмелятся! Разве ты не...

— Я сегодня очень занят, и у меня нет времени спорить с тобой. Но имей в виду, пожалуйста, что я не собираюсь никого заставлять.

— Но ведь ты сделал бы это не ради своей выгоды, а во имя родины...

— Совершать насилие во имя родины — значит совершать насилие над родиной. Боюсь, однако, что тебе не понять этого.

С этими словами я ушел. И внезапно перед моими глазами по-новому осветился мир. Я почувствовал всем своим существом, будто земля утратила весомость и со всем, что было на ней живого и двигающегося, с какой-то невероятной скоростью устремилась в бесконечность, в головокружительном вращении огсчитывая, как на четках, дни и ночи. Безграничен был труд, ждавший меня впереди, и не было предела освобожденным силе и энергии. Сковать их уже не сможет никто! Никто и ни-

когда! В глубине моего сердца возникла вдруг бурная радость и, как струя фонтана, взмыла вверх, бросая вызов небесам.

Сколько дней я спрашивал себя — что это? Что происходит со мной? Сперва я не мог найти ясного ответа на этот вопрос. Но затем понял: оковы, которые столько дней теснили мне душу, сегодня наконец пали. Я облегченно вздохнул и отчетливо, как на фотографической пластинке, увидел Бимолу и все, что крылось за ее поступком. Совершенно очевидно, что она нарядилась специально в надежде добиться от меня нужного ей распоряжения. До сих пор я никогда не отделял Бимолу от ее нарядов. Но сегодня ее замысловатая английская прическа казалась мне каким-то нелепым украшением. То, что прежде было таинственной оболочкой ее настоящего «я» и потому бесценным для меня, стало дешевой бутафорией.

У нас с Шондипом были разногласия по поводу нашей родины. Это были существенные разногласия. Но все, что говорила о родине Бимола, было лишь отражением взглядов Шондипа, начисто лишенным его убежденности. Будь на месте Шондипа кто-нибудь другой, и Бимола говорила бы другое. Все это стало для меня более чем очевидно, сомнений не оставалось.

Я вышел из спальни — этой разбитой клетки — на яркий свет зимнего дня. В саду под деревом возбужденно щебетали скворцы. Направо вдоль веранды тянулась усыпанная гравием дорожка. По обеим ее сторонам цвели бегонии, источавшие вóкруг пьянящий аромат. Недалеке, у края луга, стояла пустая тележка, зарывшаяся носом в землю и с поднятым кверху задком. Один из распряженных волов пасся на лугу, а другой, зажмурив от удовольствия глаза, грелся на солнышке, в то время как ворона, сидевшая у него на спине, старательно выклевывала насекомых. Сегодня я словно услышал близко-близко биение пульса земли, занятой своими обычными делами — такими простыми и такими великими. Ее теплое дыхание, напоенное ароматом бегоний, проникало в глубь моего сердца, и невыразимо прекрасный гимн звучал над этим миром, где все было свободно, как был свободен я сам. И тут я вспомнил о Пончу, попавшем в хитрую западню, о его нищете, увидел мысленно, как он бредет по

печальным, освещенным неярким светом зимнего солнца полям и дорогам Бенгалии и, подобно волю, жмурит глаза, но не от удовольствия, а от усталости, недомогания и голода. Пончу — воплощенный образ бенгальского крестьянина-бедняка. Мне вспомнился и толстый с благообразной внешностью и тилаком на лбу Хориш Кунду. Хориш Кунду — таких не единицы, таких очень много, они завлакивают все вокруг, как зеленая тина, которая заводится в старых, загнивших прудах между корнями тростника. Распространяя ядовитые испарения, она застилает весь пруд от одного берега до другого.

Нужно до конца бороться с непроглядным мраком, изможденным нищетой, ослепшим от невежества и одновременно скованным беспробудной инертностью, насосавшейся крови умирающих людей. Эта темнота душист кормилицу-землю, терзает ее. Надо бороться! Мы все время откладывали это дело. Но теперь пусть исчезнут мои иллюзии, пусть спадет окутывающее меня покрывало, пусть моя сила освободится от призрачных сетей онтохпура! Мы — мужчины, мы служим свободе, идеал которой мы видим перед собой, мы преодолеем преграды и вырвем пленницу Лакшми из рук злого духа. Нашей спутницей станет та, которая изготовит своими искусными руками победное знамя для нашего шествия. Мы скинем личину с той, что, сидя дома, плетет колдовские сети, чтобы удерживать нас. Мы раз и навсегда освободимся от ее чар, мы не станем наряжать ее в волшебные одежды своих желаний и грез, чтобы она не отвлекла нас от истинной цели. Мне кажется, что сегодня я одержал победу, что я вступил на верный путь. Я смотрю на все открытыми глазами. Я получил свободу, и я дам ее другим. И в труде я найду спасение.

Возможно, когда-нибудь сердце заново. Но теперь я уже знаю эту боль и смогу не поддаться ей. Ведь больно будет только мне — значит, какая же цена этой боли? Я готов принять на себя часть страданий вселенной, пусть они будут гирляндой на моей шее. О истина! Спаси меня, спаси! Не допусти моего возвращения в мир лживых иллюзий. Если я обречен идти один, позволь мне, по крайней мере, идти твоим путем. И пусть твои литавры играют победный марш в моем сердце.

РАССКАЗ ШОНДИПА

Несколько дней назад Бимола плакала. Она вызвала меня к себе и долго не могла произнести ни слова, а глаза ее были полны слез. Я понял: она ничего не добилась от Никхила. Бимола была уверена, что настоит на своем, но я не разделял ее уверенности. Женщины очень хорошо видят, в чем слабость мужчин, но они совершенно не способны понять, в чем кроется их сила. Короче говоря, мужчина — такая же тайна для женщины, как женщина для мужчины. Будь это иначе, разделение полов означало бы напрасную трату сил со стороны природы.

О, гордость! Бимолу отнюдь не угнетает то, что она не выполнила важного дела. Она до глубины души возмущена тем, что просьба, на которую она решилась только после трудной внутренней борьбы, была отвергнута мужем. К чему только женщина не прибегает, чтобы поставить на своем. В ее арсенале — слезы и ласка, хитрость, намеки и обман. Женщины гораздо более индивидуальны, чем мужчины — в этом-то и заключается их очарование. Создавая мужчину, творец чувствовал себя школьным учителем, у которого в сумке хранятся лишь сухие заповеди да правила. Когда же наступило время создавать женщину, он превратился в художника, а в его сумке нашлись кисть и палитра. Разрумянившаяся, с глазами, полными слез уязвленного самолюбия, стояла передо мной Бимола. В этот момент она напоминала сверкающую зарницами грозную тучу, нависшую над горизонтом, и была так прекрасна, что я не выдержал — подошел к ней совсем близко и взял за руку. Рука задрожала, но Бимола не отдернула ее.

— Царица, — сказал я, — ведь мы товарищи, у нас одна цель. Сядем и поговорим, как нам быть.

Она не протестовала, и я усадил ее в кресло. Но удивительное дело! Страстный порыв, овладевший мной, вдруг угас, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Так в период дождей с ревом и грохотом несется вперед Падма, и кажется — ничто ее не остановит. Но вдруг она беспричинно меняет свое направление и сворачивает в сторону. Что за преграда встретила на ее пути — не знает сама Ганга. Когда я дотронулся до руки

Бимолы, все струны моего сердца отзывались дивным аккордом, но стоило мне сделать одно движение — и музыка внезапно оборвалась. Я понимал, что глубочайшее ложе потока жизни прокладывается не сразу, а долгие годы. Стремительный напор желаний только разрушает и портит его. Что же остановило меня? Во всяком случае, не какое-то определенное препятствие, скорее сплетение тысяч помех, возникших вдруг передо мной, необъяснимое чувство связанности. Одно мне теперь ясно: я сам себя не знаю и не могу поручиться за себя. Я — тайна для самого себя, и потому я так полон собой. Если бы я мог до конца разгадать эту тайну, я перестал бы терзаться сомнениями и обрел блаженство покоя.

Опускаясь в кресло, Бимола страшно побледнела. По всей вероятности, она тоже поняла, что опасность миновала. Комета промчалась стороной, чуть задев ее своим огненным хвостом, и от этого потрясения Бимола на несколько мгновений словно потеряла сознание. Желая рассеять ее угнетенное настроение, я сказал:

— Препятствия неизбежны, но мы должны бороться, а не падать духом. Не правда ли, Царица?

Не сразу овладев собой, Бимола промолвила:

— Да.

— Чтобы было ясно, с чего начинать, необходимо наметить план действий, — продолжал я, доставая из кармана карандаш и бумагу.

Мы принялись обсуждать, как распределить обязанности среди юношей, приехавших из Калькутты и примкнувших к нам. Вдруг Бимола прервала меня на полуслове:

— Оставим это пока что, Шондип-бабу, я приду в пять часов, и мы поговорим об всем. — С этими словами она поспешно вышла из комнаты. Очевидно, она была не в состоянии слушать меня и что-то решать. Ей нужно было побыть одной и, возможно, хорошенько выплакаться.

Когда Бимола ушла, меня с новой силой охватило то же пьянящее чувство. Подобно тому как после заката солнца гуще и богаче становятся краски облаков, после ухода Бимолы во мне снова вспыхнула страсть еще более пламенная. Я понял, что упустил замечательный, неповторимый случай. Какая трусость! Может быть, Бимола ушла,

презирая меня за нерешительность? Она, безусловно, имела на это право.

От всех этих мыслей у меня кружилась голова. Вошел слуга и доложил, что меня хочет видеть Омулло. Я хотел было сказать, чтобы он пришел попозже, но не успел — он появился в дверях.

Омулло сообщил о столкновениях, которые уже произошли в разных местах из-за продажи соли, сахара, платья, и скоро угар страсти, охвативший меня, окончательно рассеялся. Я словно пробудился от долгого сна и встал готовый к борьбе. Впереди поле битвы! «Банде Матарам!»

— Большинство торговцев — арендаторы заминдара Кунду, — рассказывал Омулло, — перешли на нашу сторону. Да и среди служащих Никхила многие тайно поддерживают нас и играют нам на руку. Купцы-марвари просят разрешить им продать иноземные ткани хотя бы ценою небольшого штрафа, иначе они разорятся. И только несколько мусульман продолжают упорствовать. Один из них купил своим детям по дешевке немецкие шарфы, а здешний парень — наш, конечно, — отобрал их и сжег. С этого и пошло. Мы сказали, что купим теплые шарфы, только индийские. Но где их возьмешь, чтобы они стоили так же дешево? Цветных тканей не видно. Не можем же мы купить ему кашмирскую шаль! Крестьянин отправился к Никхилу и пожаловался, тот посоветовал ему подать в суд на парня, который сжег шарфы. Хорошо еще, служащие Никхила сумели все это замять и не допустить до суда. Ведь даже его адвокат на нашей стороне.

Я вот только что думаю — где мы будем брать деньги, чтобы покупать местные ткани взамен тех, что сожжем, да еще оплачивать потом судебные издержки. И самое забавное — то, что уничтожение иноземных товаров лишь повышает спрос на них, а следовательно, и барыши иностранцев. Это напоминает случай с торговцем люстр, дело которого оказалось очень прибыльным, так как его навабу нравился звон бьющегося хрусталя. И потом вот еще что — дешевых теплых тканей местного производства на рынке нет. Наступили холода. Как нам быть с английской фланелью и шерстью? Может быть, в отношении их сделаем исключение?

— Совершенно ни к чему дарить индийские ткани тем, у кого мы отобрали иностранный товар, — сказал я. — Наказаны должны быть они, а не мы. А если они станут подавать на нас в суд, мы будем поджигать их амбары. Не стоит жалеть их. Ну, ну, Омупло, чему ты удивляешься? Меня тоже совсем не радует перспектива такой иллюминации. Но не забывай, что это война. Если ты боишься причинить кому-либо горе, будь добреньким, бейся головой о стену и кричи: «Не надо!» Для нашего дела такое настроение не подходит. Что же касается иностранных теплых тканей, то, как бы трудно ни было, нельзя соглашаться снять с них запрет. Я ни за что не пойду на компромисс. Когда не было цветных английских шалей, крестьяне заворачивались с головой в домотканые и прекрасно обходились, пусть и теперь делают так. Я знаю, что это им не понравится, но сейчас не время считаться с чьими-то желаниями.

Всякими правдами и неправдами нам удалось привлечь на свою сторону большинство лодочников, которые перевозят товары на базар. Однако самый влиятельный из них, Мирджан, никак не поддавался на уговоры. Тогда я спросил нашего агента, здешнего управляющего, не возьмется ли он потопить его лодку.

— Отчего не взяться? Возьмусь, — ответил тот. — Но не пришлось бы мне ответить за это?

— Нужно сделать все это половчее, чтобы не попасться. Ну, а если попадешься, то отвечу за все я, — сказал я.

И вот как-то раз в базарный день Мирджан оставил свою лодку у пристани, а сам отправился на рынок. Гребцов поблизости тоже не было: управляющий заманил их на какое-то представление. Под вечер он нагрузил лодку всяким хламом, сделал в днище пробоину и пустил ее по течению. Она затонула на середине реки.

Мирджан прекрасно все понял. Он явился ко мне и, сложив с мольбой руки, сказал:

— Господин, я был неправ, я не понял...

— Как же ты теперь все так хорошо понял? — с издевкой спросил я.

Оставив мой вопрос без ответа, он продолжал:

— Господин, лодка стоила около двух тысяч рупий. Я сознаю теперь свою ошибку. Если вы простите меня на этот раз, я никогда... — И он повалился мне в ноги.

Я предложил ему зайти ко мне дней через десять. Стоит дать Мирджану две тысячи рупий, и его можно будет прибрать к рукам. А он как раз тот человек, который может оказаться очень полезным. Нам нужно иметь в своем распоряжении солидную сумму денег, иначе мы ничего не добьемся.

Как только Бимола вошла в тот вечер в гостиную, я поднялся с кресла и сказал:

— Царица, время настало, и медлить нельзя, успех обеспечен, но нам необходимы деньги.

— Деньги? Сколько денег? — спросила Бимола.

— Не очень много, но любым путем мы должны достать их.

— Но скажите сколько, — настаивала Бимола.

— В настоящий момент всего-навсего пятьдесят тысяч рупий.

Услыхав о такой сумме, Бимола внутренне содрогнулась, но постаралась не подать виду. Могла ли она снова признаться в своем бессилии?

— Царица, вы одна, кажется, способны сделать невозможное возможным, — сказал я. — Вы это доказали уже не раз. Вы бы поняли свою силу, если бы я мог показать вам, как много вы сделали. Но время для этого еще не пришло. Оно придет, а пока нам нужны деньги.

— Я дам их вам, — последовал ответ.

Я понял: Бимола решила продать свои драгоценности, поэтому я сказал:

— Но ваши драгоценности должны оставаться нетронутыми: неизвестно, что еще ждет нас впереди.

Бимола растерянно смотрела на меня, не понимая.

— Вам придется взять деньги из сейфа мужа.

Бимола растерялась еще больше. Через некоторое время она сказала:

— Как же я могу взять его деньги?

— Разве его деньги не ваши?

— Нет, не мои, — ответила она. Было очевидно, что мой вопрос уязвил ее гордость.

— Но если так смотреть, то они и не его. Эти деньги принадлежат родине, в трудную для нее минуту Никхил не должен их утаивать.

— Но как же мне их взять? — повторила она.

— Как угодно. Вам лучше знать, как это сделать. Вы должны взять их для той, кому они принадлежат по праву. «Банде Матарам!» «Банде Матарам!» Этой мантрой вы откроете сегодня дверцу его стального сейфа, раздвинете стены его сокровищницы. И пусть устыдятся те, чьи сердца не откликнутся на этот великий зов. Скажите «Банде Матарам», Царица!

— Банде Матарам!

Мы — мужчины, мы — владыки, нам полагается собирать дань. Явившись на землю, мы немедленно стали расхищать ее богатства. И чем больше мы требовали, тем покорнее она отдавала их. От начала времен мы собираем плоды, рубим деревья, вскапываем землю, убиваем зверей, ловим птиц и рыбу. Мы без разбора берем все и отовсюду: со дна океана, из земных недр, из самых когтей смерти. Такова мужская природа. Мы не пощадили ни одного сундука в кладовой всевышнего.

Земле доставляет величайшее наслаждение выполнять требования людей. Непрерывно отдавая им свои богатства, она сама становится плодородней, обильней, прекрасней. Если бы не это, она покрылась бы джунглями и так никогда и не познала бы себя; двери ее сердца остались бы закрытыми, ее алмазы никогда не увидели бы света дня, и жемчуга никогда не сверкали бы на солнце.

Точно так же нам, мужчинам, удалось своей настойчивой требовательностью пробудить к жизни дремавшие в женщинах возможности. Отдавая всех себя без остатка нам, они обрели истинное величие. Они приносят алмазы своего счастья и жемчуга своих печалей в наши сокровищницы и становятся по-настоящему богаты. Мужчина, собирая, дает; женщина же, отдавая, — приобретает.

Надо сказать, что потребовал я сейчас от Бимолы не малого. Я даже испытывал поначалу угрызения совести — таковы уж мы, мужчины, любим вступать в бесцельные

споры сами с собой. Я говорил себе, что такое поручение было для нее слишком трудным. На какой-то миг я даже почувствовал желание позвать ее обратно и сказать: «Нет, вас не должны касаться наши трудности, я не хочу осложнять вашу жизнь еще больше». Я забыл, должно быть, что назначение мужчины именно в том и состоит, чтобы своими подчас чрезмерными требованиями заставить женщину встрепенуться, сбросить с себя врожденную инертность, в том, чтобы открывать перед ней бездонные пропасти страданий, ведущие в сокровищницу ее души. Мужчина создан для того, чтобы заставлять мир содрогаться от рыданий. Иначе зачем так сильна рука мужчины, так крепка его хватка!

Бимола всем сердцем желала, чтобы я, Шондип, потребовал от нее какой-нибудь большой жертвы, пусть даже жизни! Без этого она не мыслила себе счастья. Ведь она давно уже пресытилась своим семейным счастьем и все эти долгие скучные годы только и ждала случая выплакать свое горе на чьем-нибудь плече. Поэтому едва лишь она заприметила меня, как горизонт ее сердца омрачили грозовые тучи. И, если я пожалею ее и постараюсь спасти от слез, будет совершенно ясно, что своего назначения я не оправдал.

Конечно, угрызения совести мучили меня, главным образом, из-за того, что потребовать мне от нее пришлось денег. Добыча денег — мужское дело. Было похоже, что я клянчу у нее. Поэтому мне пришлось назначить большую сумму. Тысяча рупий, две тысячи — это определенно смахивает на мелкое жульничество. В цифре же пятьдесят тысяч есть что-то романтическое — это уже грабеж. И почему только я не богат! Сколько раз мои желания оставались неосуществленными исключительно из-за отсутствия денег! Бедность мне не к лицу. Будь судьба просто несправедлива ко мне; я еще, может быть, извинил бы ее, но проявленный ею дурной вкус совершенно непростителен. Для такого человека, как я, не только печально, но и просто смешно каждый месяц метаться в поисках денег на квартирную плату и считать пайсы, прежде чем купить билет в общий вагон.

Также очевидно и то, что людям, подобным Никхилу, богатство, доставшееся в наследство, совершенно ненужно.

Ему вполне подошло бы быть бедняком. Он присоединился бы к своему дорогому учителю и бодро потащил бы с ним в паре двойное бремя никчемности и нужды.

О, как бы я хотел хоть раз в жизни получить возможность потратить пятьдесят тысяч рупий на свои удовольствия и на служение родине. Барство у меня в натуре, моя заветная мечта: сбросить хоть на несколько дней нищенское обличье и увидеть себя в подобающем мне виде.

Однако мне не верится, что у Бимолы пайдется доступ к пятидесяти тысячам. Одна-две тысячи, это еще возможно, но больше... что ж! Если есть опасность остаться совсем без хлеба, мудрец вынужден согласиться хоть на четверть булки.

К своим запискам я еще вернусь несколько позже. Сейчас не до того. Управляющий просит, чтобы я немедленно явился к нему. Кажется, случилось что-то неприятное.

По словам управляющего, полиция догадывается, кто потопил лодку. Этот человек — большой пройдоха, и уличить его не так-то просто. Но разве можно быть абсолютно уверенным! Никхил взбешен, и вполне возможно, что управляющему не удастся повернуть дело по-своему. Он так и сказал:

— Смотрите, если я попаду в беду, я и вас впутаю.

— Где же те сети, которые запутают меня? — спросил я.

— У меня есть четыре письма: одно ваше и три Омудло-бабу, — ответил он.

Я понял, что именно поэтому он и прислал мне письмо с пометкой «срочно», на которое просил немедленного ответа. Да, многому мне еще надо учиться. Ведь если мы можем потопить лодку противника, мы с таким же успехом можем потопить и приятеля, и в этом отношении управляющий готов даже уступить мне первое место. Правда, он с еще большей готовностью сделал бы это, если бы я не посылал ему письма, а ограничился устным ответом.

Ясно одно — придется дать взятку полиции, а если дело замять не удастся, придется возместить убытки владельцу лодки. Не менее ясно, что значительная часть до-

бычи, попавшей в расставленные сети, попадет в карман управляющего. Однако я предпочел оставить такие мысли при себе — ведь он кричит «Банде Матарам» с не меньшим воодушевлением, чем я.

В делах такого рода всегда возможны просчеты — бывает, что выигрываешь больше того, что теряешь. По-видимому, известный запас нравственных принципов обязателен для каждого человека, поэтому сначала я страшно рассердился на управляющего и готовился уже вписать в свой дневник весьма резкие суждения о вероломстве моих соотечественников. Однако, если существует всевышний, я должен выразить ему свою признательность за то, что он вовремя вразумил меня: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что представляю из себя я сам и окружающие меня. Я могу обманывать других, но себя — никогда. Поэтому мой гнев быстро улетучился. Истина ни хороша, ни плоха — она истина, и на ней основывается знание. Озеро — это всего лишь вода, которую не смогла впитать почва.

Наше патриотическое движение напоминает такую почву, на которой сохранилась какая-то часть воды. Рыбачим в ней и я и управляющий. Конечно, наше занятие не из благородных, однако оно существует, и с этим приходится считаться. На дне каждого большого дела есть такой слой почвы. Он есть даже в океане. Поэтому, когда берешься за большое дело, всегда надо учитывать желающих погреть на нем руки. Таких, как управляющий и я. Без этого не обойдешься. Недаром говорится: «Мало накормить коня, надо смазать и колеса».

Как бы то ни было — нам нужны деньги. Пятьдесят тысяч сами не придут. Надо брать все, что плохо лежит. Ждать не приходится. Знаю, что, согласившись на малое, можно потерять большое. Взяв сегодня пять тысяч, я рискую не получить завтрашних пятидесяти. Не я ли говорил Никхилу: «Аскетизм предполагает алчность, алчность же предполагает аскетизм». Я отказался от пятидесяти тысяч, а учителю Никхила — Чондронатху-бабу, отказываться от них не надо.

Есть шесть пороков. Двумя первыми и двумя последними страдают сильные люди, остальные два — удел слабых. Не знающая преград страсть — это я! Алчность и

самообольщение не властвуют надо мной, иначе они ослабили бы мою страсть. Самообольщение, иллюзии — заставляют людей жить прошлым и будущим, не замечая настоящего. Те, кто постоянно напрягает слух, прислушиваясь к флейте прошлого, подобны покинутой Шакунтале, которая отдалась воспоминаниям о возлюбленном и не услышала зова гостя, стоящего рядом, за что и была проклята им. Самообольщение — смертельный яд для жреца страсти.

С того дня, когда я сжал руку Бимолы, трепетное чувство, взволновавшее наши сердца, не покидает нас. Мы должны бережно хранить его, не допускать повторений. Иначе то, что сейчас звучит как дивная мелодия, превратится в нечто будничное и обычное. Пока что вопрос «почему?» просто не приходит ей в голову. И я не должен лишать иллюзий Бимолу — одну из тех, кому иллюзии необходимы. Что касается меня, то я сейчас очень занят. Пусть любовный напиток наполняет до краев чашу страсти, не надо сейчас осушать ее до дна. Но когда настанет подходящий момент, я не замедлю сделать это. О жаждущий, подави в себе алчность и научись нежно перебирать струны вины иллюзий, пока ты не сможешь извлекать из нее тончайшие оттенки обольщения.

За это время к нам присоединились новые люди. Наши группы растут. Но хотя мы охрипли, убеждая мусульман, что они наши братья, приходится признать, что лаской с ними ничего не сделаешь. Придется прижать их, чтобы они поняли: сила в наших руках. Сегодня они не обращают внимания на наши призывы, рычат, скалят зубы, однако придет день, и мы заставим их танцевать, как ручных медведей.

— Если вы действительно проповедуете единую Индию, не забывайте, что мусульмане — неотъемлемая часть ее, — возражает Никхил.

— Безусловно, — сказал я на это, — но мы должны определить им место и держать их там, иначе неприятностей не оберешься.

— Поэтому ты, как я вижу, хочешь покончить с одними неприятностями при помощи других.

— А что ты можешь посоветовать?

— Есть только один испытанный путь — прекратить вражду, — выразительно сказал Никхил.

* Известно, что споры с Никхилом всегда заканчиваются наставлением, как все правоучительные истории. Забавнее всего, что он сам до сих пор в них верит, хотя, казалось бы, давно пора перестать. Никхил, по моему мнению, все еще остается самым настоящим школьником. Его главное достоинство — неподдельная искренность. Подобно Чанд Шодагору, он склонен прибегать к «божественным знаниям», дабы воскресить умершего от укуса обыкновенной змеи. Беда с такими людьми — они даже смерть не считают концом и совершенно уверены в существовании потусторонней жизни.

Я давно лелею один план. Если бы мне удалось осуществить его, пожар охватил бы всю страну. Народу необходимо видеть перед собой образ родины — разве он зажжется по-настоящему без этого? Родина должна стать для него богиней. Товарищам понравилась моя мысль.

— Прекрасно, — заявили они, — давайте создадим что-нибудь подобное.

— Нет, так просто у нас ничего не выйдет, — возразил я. — Воплощением родины мы можем сделать лишь божество, уже почитаемое в нашей стране. В этом случае поклонение народа устремится к нему легко и свободно по знакомому пути.

Незадолго до этого у нас с Никхилом состоялся крупный разговор.

— Истину, которую мы действительно почитаем, не нужно не затемнять, ни приукрашивать, — сказал он, — как бы сильно мы ни стремились к ней.

— Надо подсластить пилюлю, — ответил я ему, — если отказаться от иллюзий, за нами не пойдет простой народ, а он составляет большинство. Чтобы поддерживать в народе иллюзии, каждая страна создает свои собственные божества: без этого обойтись невозможно.

— Нет, нам нужен бог, который помог бы нам покончить с иллюзиями, — возразил Никхил. — Только темные силы могут поддерживать их.

— Что ж тут такого? Ради успеха дела можно прибегнуть к помощи и фальшивых богов. Наша беда, что мы не умеем использовать иллюзии для своих целей, хоть они и очень сильны в народе. Посмотри на брахманов, мы называем их земными богами, берем прах от их ног,

осыпаем их приношениями, а толку от них нет никакого. Если бы они действительно обладали силой, мы сделали бы невозможное возможным. На земле существует очень много людей, умеющих лишь пресмыкаться, не способных взяться ни за какую работу, если им на голову или на спину не сыплется прах от чьих-то ног. Иллюзии — великая сила, заставляющая таких людей трудиться. Мы долго оттачивали наше оружие, и наступило время сражения. Так неужели же мы не воспользуемся им теперь?

Однако убедить во всем этом Никхила очень трудно. Слишком уж крепко засела в его мозгу эта самая истина — он прямо-таки осязает ее как нечто реальное. Сколько раз я говорил ему:

— Доказанная ложь становится истиной. Это понимали у нас в Индии испокон веков и не боялись утверждать, что для человека невежественного ложь и есть истина. Такой человек все равно не увидит, в чем разница между ними. Тому, кто обожествляет свою родину, образ ее богини заменит истину. По своей природе, в силу установившихся традиций мы не способны ясно представить себе, что такое наша родина, представить же себе образ богини-матери для нас очень просто. Это — непреложный факт, без признания которого нельзя рассчитывать на успех дела.

Но Никхил, слушая меня, только приходил в возбуждение.

— Просто вы разучились служить истине и предпочитаете, чтобы вам прямо в руки валились с неба чудесные дары, — в большом волнении сказал он. — Запоздав на несколько веков со своим служением родине, вы хотите теперь сотворить из нее кумира, который будет осыпать вас незаслуженными милостями.

— Мы хотим осуществить невозможное, — возразил я, — поэтому волей или неволей должны прибегнуть к помощи божества.

— Иными словами, вас не прельщает осуществление возможного, — сказал Никхил, — вы не стремитесь что-то изменить сами, а только надеетесь на нечто сверхъестественное.

— Вот что, Никхил, — сказал я, выведенный в конце концов из себя, — все эти нравоучения необходимы

в определенном возрасте, человеку же, обладающему полным комплектом зубов, они вовсе не нужны. Разве мы не видим, как пышным цветом расцветает то, что нам никогда и во сне не снилось. Почему это происходит? Это проявляет свою силу божество, олицетворяющее нашу родину. Ведь гений эпохи должен быть сосредоточен на том, чтобы дать вечный облик этому божеству. Здесь не должно быть места спорам — гений творит! А я лишь придам законченную форму тому, что создано воображением народа. Я распушу слухи, что богиня явилась мне во сне, что она требует поклонения. Мы скажем брахманам: «Вы — жрецы богини, вы пали так низко потому, что забыли о своем долге, перестали заботиться о том, чтобы ей воздавалось должное». Ты скажешь, что это будет ложь? Нет, это правда. Даже больше того, это — та правда, которую родина уже давно жаждет услышать из моих уст. Если бы только мне представился подходящий случай оповестить о своем откровении, ты бы убедился, какой удивительный получился бы результат.

— Не знаю, суждено ли мне его увидеть, — ответил Никхил. — Мой жизненный путь ограничен, а результат, о котором ты говоришь, не окончателен. Всякие последствия, о которых мы сейчас и не подозреваем, возможны.

— Мне нужны результаты только сегодняшнего дня, — сказал я.

— А мне нужны результаты, которые имели бы значение во все времена, — возразил Никхил.

Если говорить правду, Никхил не был лишен фантазии, которой щедро наделены все бенгальцы. Но, укрывшись за сухим деревом высокой морали, он почти убил в себе это качество. Посмотрите, как высоко чтут бенгальцы Дургу и Джагаддхатри. Я совершенно убежден, что поклонение этим богиням было задумано некогда как политический ход. В период мусульманского господства бенгальцы стремились к освобождению, они мечтали получить благословение от Шакти — родины, которую воплощали две богини. Мог ли создать еще какой-нибудь из народов Индии такую удивительную форму для выражения своего идеала?

Никогда еще отсутствие истинного дара воображения у Никхила не сказывалось с такой силой, как в его тогдашнем ответе на мои слова:

— В период мусульманского владычества и маратхи и сикхи с оружием в руках стремились одержать победу. Бенгальцы же удовлетворились тем, что вложили оружие в руки своей богини, читали мантры и молили о победе. Но родина не богиня, и единственным результатом их молений были отсеченные головы жертвенных коз и буйволов. Когда наши поиски правильного пути к счастью увенчаются успехом, тот, кто выше нашей родины, ниспошлет нам истинные блага.

Вся беда в том, что, когда слова Никхила записываешь на бумагу, они звучат хорошо. Мои же речи — не для бумаги, они должны быть выжжены каленым железом на груди родины, не как «Руководство по земледелию», напечатанное типографской краской на бумаге, а как воля крестьян, которую они вычерчивают лемехом плуга, глубоко вредая его в землю.

Встретившись с Бимолой в следующий раз, я сразу же взял в разговоре высокий тон.

— Разве могли бы мы всем сердцем верить в бога, для прославления которого рождаемся на свет вот уже тысячи веков, если бы своими глазами не убедились в его существовании.

— Сколько раз я говорил вам, — продолжал я, — что, не встретив вас, я никогда не смог бы увидеть свою родину как нечто целое. Не знаю, в состоянии ли вы правильно меня понять, но ведь все дело в том, что боги остаются невидимыми лишь на небесах, на земле их могут увидеть все смертные.

Бимола как-то особенно взглянула на меня и серьезно ответила:

— Я очень хорошо вас понимаю, Шондип.

Это было первый раз, когда она назвала меня просто Шондипом.

— Арджуна всегда знал Кришну лишь как своего возницу, но Кришна мог явиться вселенной и в другом облике. В тот день, когда Арджуна увидел Кришну в этом новом образе, он познал истину.

Для меня вы являетесь законченным воплощением родины. Семь рукавов Ганги и Брахмапутры образуют ожерелье на вашей шее. Не насурмленные ресницы, обрамляющие ваши черные глаза, вижу я — мне чудится полоса

леса, окаймляющая далекий берег за темной рекой, переливчатый блеск вашего яркого сари напоминает мне игру света и теней над волнующимися нивами, а жестокое сияние вашей красоты не что иное, как знойное летнее солнце, которое испепеляет все вокруг, заставляет замереть в тяжелой истоме даже небо, похожее в этот момент на льва, изнывающего от жары в пустыне. И раз уж богиня снизошла до того, что явилась мне, своему верному почитателю, в таком чудесном образе, значит, я избран призвать всю страну к поклонению ей, ибо только тогда наша родина обретет новую жизнь. «Твой образ мы воздвигнем в каждом храме!» Но всего этого народ еще не осознал. И потому я сначала объединю весь народ вашим именем, а потом покажу ему богиню, плод своих рук, от которой не сможет отвернуться в неверии никто. О, благослови меня! Дай мне сил совершить это!

Бимола слушала, опустив веки. Она застыла, словно каменное изваяние. Если бы я продолжал, она потеряла бы сознание. Через несколько мгновений она раскрыла глаза и, устремив в пространство остановившийся взгляд, начала шептать:

— О путник, несущий гибель, никто не в силах помешать тебе идти по избранному тобою пути. Разве есть силы, способные сдержать бурный поток твоих желаний? Монарх сложит свою корону к твоим ногам, богач распахнет перед тобой двери своих сокровищниц, а нищий будет молить, чтобы ты позволил ему узреть тебя. Границы добра и зла исчезнут. О мой властелин, божество мое! Не знаю, что ты увидел во мне, я же всем сердцем увидела твое величие. Что я такое, кто я рядом с тобой! О, ужас! Как страшна сила, несущая гибель. Я все равно никогда не познаю истинной жизни, пока она не поразит меня. Я не могу больше терпеть, моя грудь разрывается!

Бимола соскользнула с кресла и упала к моим ногам. Затем последовал неудержимый поток рыданий.

Вот он гипнотизм — чудесная сила, обладая которой можно покорить мир. Никаких средств, никакого оружия, одно только неотразимое внушение. Кто сказал: «Да победит истина»?! Победит ложь! Бенгальцы это поняли, потому-то они и почитают десятирукую богиню, восседающую на льве. Теперь бенгальцы должны создать новую

богиню, которая очарует и покорит весь мир. «Банде Матарам!»

Я осторожно поднял Бимолу и усадил в кресло. Прежде чем у нее после возбуждения наступила реакция, я сказал:

— Царица, я получил приказание свыше зажечь в Бенгалии огонь поклонения нашей святой Родине-Матери. Но что я могу сделать — ведь я беден!

Все еще с пылающими щеками и затуманенными глазами Бимола сказала прерывающимся голосом:

— Вы бедны?! Вам принадлежит все, что есть у каждого из нас. Для чего полны мои шкатулки? Возьмите все мои драгоценные камни и золото, раз вам нужно! Мне ничего не надо.

Бимола и раньше хотела отдать мне свои украшения. Я редко перед чем-нибудь останавливаюсь, но здесь я почувствовал границу, перешагнуть которую я не в состоянии. Я знаю, откуда эти колебания: мужчина должен дарить женщине украшения, отбирать их у нее — оскорбительно для его мужского самолюбия.

Однако сейчас я должен забыть об этом. Я беру не для себя. Речь идет о Матери-Родине, это дань поклонения, которая будет принесена на ее алтарь. Торжество должно быть обставлено с невиданной в нашей стране пышностью, нужно, чтобы оно навсегда осталось в истории новой Бенгалии. Это будет мой ни с чем не сравнимый дар народу! Глупцы поклоняются богам, а создает этих богов Шондип! Но до этого еще далеко! Теперь же надо добывать средства. Нам нужно достать хотя бы три тысячи — пять тысяч устроили бы нас окончательно. Но как заговорить о деньгах после того, как мы только что парили в небесах? Однако времени терять нельзя.

Я подавил все колебания. В мгновение ока я был на ногах.

— Царица, — сказал я твердым голосом, — сокровищница наша пуста, мы не сможем продолжать начатое дело.

По лицу Бимолы скользнула тень страдания. «Она думает, что я снова буду просить пятьдесят тысяч», — мелькнуло у меня в голове. Мысль о них, наверно, камнем лежит у нее на сердце. Наверно, она не одну ночь провела без сна, ища и не находя выхода. Бимола не может открыто принести к моим ногам свое сердце, и потому ей

хочется, принеся мне в дар такую огромную — для нее — сумму денег, дать выход своему затаенному чувству. Но она не находит пути для выполнения своего желания и мучится. Ее страдания заставляют больно сжиматься мое сердце, ведь теперь она целиком моя. Зачем же терзать бедняжку? Я должен беречь и хранить ее.

— Царица, — продолжал я, — у нас сейчас нет особой нужды в пятидесяти тысячах рупий. Я подсчитал и думаю, что пока хватит пяти и даже трех тысяч!

Бимола облегченно вздохнула.

— Я принесу вам пять тысяч, — словно пропела она, и в ее голосе слышался отзвук песни Радхи:

Посмотри, любимый, на цветок,
Что приколот к волосам моим.
На земле, на небе — в трех мирах,
Что еще сравниться может с ним.
Звук свирели воздух напоил,
Но не слышно в этой песне слов
О реке любви, что разлилась,
Выйдя навсегда из берегов.

Та же мелодия, та же песня, те же самые слова: «Я принесу тебе пять тысяч!» — «Посмотри, любимый, на цветок, что приколот к волосам моим». У свирели очень узкие скважины, и поэтому мелодия ее так тонка и проникновенна. Сломай я, мучимый алчностью, эту свирель, и музыка умолкнет вовсе, а я услышу совсем другую песню: «Зачем тебе столько денег? Где я, женщина, достану такую сумму?» и т. д. Что очень мало напоминало бы песню Радхи. Поэтому я утверждаю: одна иллюзия реальна, она и есть сладкозвучная свирель, тогда как истина всего лишь немая пустота внутри этой свирели.

За последнее время с этим чувством окончательной пустоты пришлось познакомиться и Никхилу — я вижу это по его лицу. Даже мне тяжело смотреть на него. Но ведь Никхил сам всегда бравировал жаждой истины. Я же упорно настаивал, что дорожу только иллюзией. Каждый получил то, что хотел. Так что жаловаться не на что.

Желая удержать Бимолу в заоблачных высотах, я прекратил разговор о пяти тысячах рупий и принялся рассуждать о торжестве, которое мы устроим в честь Дурги. Где и когда оно состоится? В Руимари, в одном из поместий

Никхила, в середине декабря отмечают мусульманский праздник, и туда стекаются сотни тысяч богомольцев. Конечно, хорошо было бы устроить торжество именно там. Бимола вся так и загорелась. Это ведь не сжигание иностранных тканей, думала она, и не поджог жилищ. Никхил ничего не будет иметь против этого. В душе я смеялся: как мало они знают друг друга, несмотря на прожитые бок о бок девять лет! В рамках домашней жизни они еще кое-как понимали друг друга, когда же речь заходит о жизни за пределами их дома, они совершенно теряются. В течение девяти лет они тешились мыслью, что полная гармония существует между их домом и внешним миром. Им приходится расплачиваться сейчас за свое заблуждение, потому что наверстать упущенное и установить гармонию теперь уже невозможно.

Ну что ж, пусть на горьком опыте познают свои ошибки те, кто делает их! Меня это очень мало трогает. Пока что мне порядком надоело заставлять Бимолу парить в небесах, подобно воздушному шару на привязи; дело нужно довести до конца.

Когда Бимола встала и направилась к двери, я как бы вскользь бросил:

— Итак, относительно денег...

— В конце месяца, когда я получу деньги на личные расходы, — обернувшись, ответила Бимола.

— Боюсь, что будет слишком поздно.

— Когда же вы хотели бы получить их?

— Завтра.

— Хорошо, я принесу их завтра.

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

В газетах стали появляться заметки и письма, направленные против меня. Я слышал о готовящихся на меня пасквилях и карикатурах. Забил фонтан остроумия, брызги лжи разлетаются повсюду и заставляют покатываться от смеха всю страну. Газетчики знают, что им принадлежит исключительное право окатывать грязью, — ни в чем не повинному прохожему трудно рассчитывать сохранить в чистоте свое платье.

В моих владениях, пишут они, люди всех слоев и положений готовы поддержать свадеши, но из страха передо мной предпочитают держаться в стороне. Несколько смельчаков, которые хотели ввести в обиход товары местного производства, я на правах заминдара будто бы жестоко наказал. У меня будто бы тайная связь с полицией; я близко знаком с судьей, и, кроме того, из «достоверных источников» известно, что мои отчаянные усилия присоединить к наследственному титулу новый, иноземный, по всей вероятности, увенчаются успехом. Имя — богатство человека, — сообщают они, — однако, по имеющимся у них сведениям, человека обрекают на безродство.

Мое имя прямо не упоминалось, но намеки были весьма прозрачны. В то же время в газете появляются одна за другой статьи, восхваляющие преданного родине Хориша Кунду. «Если бы таких преданных родине патриотов в стране было больше, — распространялся автор одной из статей, — то даже трубы Манчестера скоро затрубили бы гимн «Банде Матарам».

Пришло на мой адрес письмо, написанное красными чернилами, со списками заминдаров-предателей, чьи владения были сожжены. «Священный огонь, — говорилось в письме, — призван выполнять свою очистительную миссию. Есть силы, которые следят за тем, чтобы недостойные сыны отчизны не обременяли ее лона». Подпись: «Смиренный обитатель материнского лона Шриомбикачорон Гупто».

Я догадывался, что все это сочинения местных студентов. Несколько из них я вызвал и показал письмо. Бакалавр многозначительно сказал мне:

— Мы тоже слышали, что организовалась группа отчаянных, для которых ничего не стоит устранить любое препятствие, мешающее успеху свадеши.

— Если хоть один человек пострадает от их бессмысленной жестокости — это будет страшным поражением для всей страны, — ответил я.

— Я вас не понимаю, — возразил магистр исторических наук.

— Страх привел нашу страну на край пропасти — сначала страх перед богами, затем перед полицией. А теперь вы хотите во имя свободы заменить устаревшее пугало

новым. Если вы думаете прийти к победе, угнетая и запугивая слабых, помните, что вам никогда не удастся согнать тех, кто действительно любит родину, — сказал я.

— А скажите, есть ли такие страны, где подчинение власти не основывалось бы на страхе? — не унимался магистр.

— В любой стране степень свободы, — сказал я, — находится в прямой зависимости от того, как далеко простирается страх, на котором основывается власть. Там, где она вселяет страх только в бандитов, воров и проходимцев, правительство имеет право сказать, что оно стремится к освобождению человека от насилия со стороны другого. Там же, где под угрозой наказания предписывается, что человек должен надевать, где покупать товары, что есть и с кем садиться за один стол, — попирается свобода воли и в самом корне убивается чувство человеческого достоинства.

— Но разве в других странах не существует насилия над личностью? — настаивал магистр.

— Отрицать этого не станет никто, — сказал я. — Степень унижения человека как личности в той или иной стране определяется именно степенью его закабаления.

— Значит, кабала — естественное состояние человека, его неотъемлемая природа, — вмешался магистр.

— Шонди-па-бабу очень хорошо объяснил нам все это на примере, — вступил в разговор бакалавр. — У ваших соседей-заминдаров, Хориша Кунду и Чоккроборти, все владения выметены под метелку, там теперь невозможно достать и горсти иноземной соли. А почему? Да потому, что они правят железной рукой. Самое страшное несчастье для тех, кто по природе своей раб, остаться без хозяина.

— Я знаю один такой случай, — вмешался провалившийся на экзамене претендент на бакалавра. — У Чоккроборти был арендатор из касты писцов. Человек он был упрямый и ни за что не хотел подчиниться Чоккроборти. Против него возбудили судебное дело. И в конце концов он совсем разорился. После того как его семья просидела несколько дней без еды, он решил продать серебряные украшения жены — последнее, что у него осталось. Но из страха перед заминдаром никто не осмелился купить их.

Управляющий Чоккроборти предложил бедняку пять рупий за драгоценности, хотя они стоили по меньшей мере тридцать. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось согласиться на эти пять рупий. Как только ценности оказались в руках управляющего, тот заявил, что зачтет эти пять рупий при очередном взносе арендной платы. Узнав об этом, мы сказали Шондипу-бабу, что объявим бойкот Чоккроборти и его управляющему. Шондип-бабу ответил, что если мы будем так отталкивать всех живых людей, то продолжать работу нам придется с мертвецами, ожидающими сожжения на берегу реки. Люди живые знают, чего хотят, и умеют настаивать на своих желаниях, говорил он. Они рождены повелевать. Те же, кто не умеет добиваться своего, должны либо подчиняться им, либо умереть по их повелению. Шондип-бабу сравнил с вами Чоккроборти и Хориша Кунду и сказал: «Сейчас во владениях Чоккроборти нет ни одного человека, который посмел бы хоть слово сказать против свадеши, а вот Никхилеш, сколько бы он ни старался, насадить у себя свадеши не сможет».

— Я хочу насадить у себя нечто более значительное и прекрасное, чем свадеши, — ответил я, — поэтому и не могу поддерживать свадеши. Я не хочу иметь дело с сухими бревнами, мне нужны живые деревья; вырастить их потребуется время.

— Боюсь, что вы останетесь и без сухих бревен, и без живых деревьев, — ехидно заметил историк. — Я согласен с Шондипом-бабу — получать значит отбирать. Нам потребуется немало времени, чтобы усвоить это. Ведь в школе нас учили совсем другому. Я сам был свидетелем того, как собирал налог сборщик заминдара Кунду, Гуручорон Бхадури. Одному арендатору-мусульманину нечем было заплатить, и в доме ничего не осталось для продажи. Была лишь молодая жена. «Продай жену и погаси долг», — посоветовал Бхадури. Нашелся подходящий покупатель, и долг был выплачен. Верите ли, после того как я видел слезы несчастного мужа, я несколько ночей не мог сомкнуть глаз. Но как бы мне ни было тяжело, я уяснил себе одно: человек, который может заставить своего должника продать жену в уплату долга, стоит гораздо выше меня самого. Признаюсь, что сам я был бы не способен на это —

я слабый человек, мне ничего не стоит расчувствоваться! Спасти нашу родину могут только такие вот Кунду и Чоккроборти со своими подручными.

Я был потрясен.

— Если то, что вы говорите, правда, — воскликнул я наконец, — то отныне я посвящу всю свою жизнь спасению родины от таких вот Кунду и Чоккроборти. Рабские инстинкты, прочно засевшие в нас, при благоприятных обстоятельствах очень легко перерождаются в страшный деспотизм. Выйдя замуж, женщина терпит побои, но, став свекровью, она десятикратно вымещает их на своей невестке. Если всеми презираемый человек вдруг становится шафером на свадьбе, то почтенные отцы семейств будут немало страдать от его заносчивости. Вы сами так привыкли повиноваться из страха, что считаете теперь своим священным правом заставлять повиноваться других. Вы считаете признание насилия — законом. А я буду бороться и с признанием его, идущим от слабости, и с насилием, идущим от жестокости.

Все, что я говорю, очень просто, обыкновенные смертные поймут меня без труда. Однако наши будущие историки, кажется, помешаны на идее сокрушения истины.

Мне не дает покоя мысль о мнимой тетке Пончу. Представить доказательства против нее будет трудно, найти свидетелей подлинных событий всегда бывает нелегко, а иногда и вовсе невозможно. Зато можно заранее сказать, что недостатка в очевидцах событий, которые не имели места, но на которых можно подзаработать, не будет никогда. Все эти махинации были, очевидно, затеяны с целью вернуть обратно наследственный участок Пончу, который я купил. Не видя иного выхода, я решил предоставить Пончу участок в одном из своих поместий и построить ему домик. Однако учитель не пожелал сложить оружие перед такой несправедливостью и сказал, что хочет попытаться что-нибудь сделать.

— Вы хотите попытаться?

— Да, хочу, — ответил он.

Я не мог представить себе, как сможет мой учитель вести судебную волокиту. В этот вечер он не пришел ко мне в обычный час. Оказалось, что он куда-то отправился, захватив с собой кое-что из одежды и постельные

принадлежности. Слуги могли мне сказать только, что Чондронатх-бабу вернется не ранее, чем через три-четыре дня. «Учитель отправился в деревню, где жил дядя Пончу, в надежде найти там свидетелей», — решил я. Однако я не сомневался, что его усилия будут напрасны.

В школе учителя не ждали. Он располагал несколькими свободными днями, потому что впереди было воскресенье и Дурга-Пуджа.

В зимние сумерки, когда тускнеют дневные краски, мрак начинает окутывать и мою душу. На свете много людей, сердца которых заключены в каменную крепость. Что им до того, что творится вокруг! Но мое сердце живет под сенью деревьев, с ним ведут беседы вольные ветры, оно отзывается и на радостные и на мрачные мелодии, которые долетают издалека. Днем, когда светят яркие лучи солнца и все вокруг суетятся и хлопочут, мне кажется, что жизнь моя заполнена до предела, что мне ничего больше не надо. Стоит, однако, поблекнуть ярким краскам на небе и темной шторе из окна небес спуститься на землю, как сердце начинает убеждать меня, что этот заветный час наступает лишь для того, чтобы оставить человека в одиночестве. Земля, небо, вода, словно сговорившись, внушают мне ту же мысль. Днем душа на виду у всех, ночью же она замыкается в себе, и в этом заключается смысл смены дня и ночи. Я не могу притворяться, будто не понимаю этого. И поэтому, когда ночь, не мигая, глядит на мир звездами черных очей любимой, внутренний голос все настойчивее твердит мне, что правда жизни — не в одной работе, что не в ней сошлись все надежды и чаяния человека, что человек не может быть рабом, даже если владыкой его будут истина или вера.

Как, Никхилеш, неужели ты навсегда утратил свое второе «я», которое с наступлением темноты, словно обрело свободу от дневных забот, погружаясь в живительную благодать ночи? Как страшно одинок тот, кто одинок в мирской суете!

Как-то на днях, в такой вот сумеречный час, я обнаружил, что мне нечего делать, да и работа не шла на ум. Не было и учителя, с кем я мог бы поговорить. Мятущееся, опустошенное сердце жаждало ухватиться за

что-нибудь. Я вышел в сад. Я люблю хризантемы. В моем саду их множество, самых разнообразных сортов, цветов и оттенков, и, когда они цветут, кажется, будто это катятся зеленые волны океана, покрытые сверкающей радужной пеной. Я давно не видел своих цветов и теперь, внутренне подсмеиваясь над собой, думал: «О моя Хризантема, я лечу навстречу тебе!»

Пока я шел по саду, из-за ограды выглянула луна и осветила западную часть сада, оставив во тьме лишь полосу у подножья ограды. Казалось, будто она подкралась сзади и шаловливо прикрыла ладонями глаза мраку. Я направился в ту сторону, где от стен террасами спускались вниз к аллее ряды пышных хризантем. Вдруг я увидел женскую фигуру, распростертую на траве возле цветов. Сердце мое учащенно забилося. Услышав мои шаги, женщина вздрогнула и поспешно поднялась. Что было делать? Может быть, лучше удалиться, думал я. И остаться и уйти было одинаково неловко. Несомненно, та же мысль мучила и Бимолу. Однако прежде чем я пришел к какому-нибудь решению, она набросила на голову край сари и направилась к дому. В одно это мгновение я отчетливо понял всю безмерную тяжесть горя Бимолы. И сразу же собственные печали и горести отодвинулись куда-то вдаль.

— Бимола! — воскликнул я.

Она вздрогнула, остановилась, но не обернулась ко мне. Я подошел. Свет луны падал мне на лицо. Бимола стояла в тени с закрытыми глазами, стиснув руки.

— Бимола, — сказал я, — я вовсе не хочу запираить тебя в клетку. Разве я не знаю, что ты только зачахнешь в неволе.

Она по-прежнему стояла, не подымая глаз, не говоря ни слова.

— Ведь и моя жизнь превратится в оковы, если я буду стараться насильно удерживать тебя. Какая мне от этого может быть радость?

Бимола продолжала молчать.

— Я честно говорю тебе: ты свободна! Если я не стал для тебя никем другим, то и тюремщиком твоим я не стану никогда.

С этими словами я повернул к дому. О нет, это было не великодушие и не самопожертвование! Просто я по-

нял, что никогда сам не получу свободы, пока не дарую свободу другому. Если я сохраню Бимолу как ожерелье вокруг своей шеи, тяжкий груз навсегда останется лежать на моей совести. Разве не молил я всевышнего: «Если я недостойн счастья, хорошо, я согласен перенести горе, только не лишай меня свободы. Называть ложь истиной и хвататься за нее во имя спасения — все равно, что наступить себе на горло. Спаси меня от такого самоуничтожения».

Я вернулся к себе в кабинет и застал там Чондронатха-бабу. Мое волнение еще не улеглось, и, прежде чем о чем-нибудь спросить его, я воскликнул:

— Учитель, самое главное для человека — свобода. Ничто не может с нею сравниться, ничто!

Удивленный моим возбужденным состоянием, он вопросительно взглянул на меня.

— Разве книжные истины открывают нам что-нибудь? — продолжал я. — В шастрах я вычитал, что желания — цепи, которые связывают и тебя и других. Но такие слова сами по себе пустой звук. Только когда выпустишь птицу из клетки, понимаешь, что, улетаая, птица освободила и тебя. Запирая кого-нибудь, мы и на себя надеваем оковы желаний, крепостью своей равные железным цепям. Но никто на свете не понимает этого. Все считают, что совершенствоваться и изменять нужно что-то в окружающем нас мире. А на деле мы сами должны совершенствоваться, должны научиться отказываться от собственных желаний. Только это имеет значение. Больше ничто!

— Мы часто думаем, — ответил учитель, — что, получив желаемое, мы обретаем свободу. Тогда как действительно обрести свободу можно, лишь научившись отказываться от своих желаний.

— Все это звучит как старикиовская мораль, — продолжал я, — но стоит применить эти слова к себе, и начинаешь понимать, что они и есть тот божественный нектар, который делал бессмертными богов. Мы не замечаем прекрасного до тех пор, пока не лишаемся его. Мир завоевал Будда, а не Александр. Выраженное в сухой прозе, это

звучит фальшиво. Когда же мы сможем воспеть все это в стихах? Когда же, наконец, сокровенные истины вселенной хлынут на страницы книг и разольются священным потоком, подобно Ганге, несущейся с вершин Ганготри.

Внезапно я вспомнил, что учитель несколько дней отсутствовал и что я не знаю, где он был все это время. Смутившись, я спросил его:

— А где вы были?

— Я жил у Пончу, — последовал ответ.

— Жили у Пончу? Все четыре дня!

— Да, я хотел прийти к какому-нибудь соглашению с женщиной, которая выдает себя за его тетку. Сперва она немного удивилась, увидев меня. Ей даже в голову не приходило, что образованный человек может пожелать поселиться у них в доме. Когда же она убедилась, что я не собираюсь никуда уходить, она смутилась. «Мать, — сказал я ей, — вы не отделаетесь от меня, даже если станете меня оскорблять. Это относится и к Пончу тоже. Ведь вы же понимаете, я не могу допустить, чтобы его маленькие дети, потерявшие мать, очутились на улице». Первые два дня она молча слушала меня и не говорила ни да, ни нет. Наконец, сегодня, вижу, стала связывать узлы. «Мы направляемся в Вриндаван, — сказала она, — дай нам денег на дорогу». Я знаю, она не поедет в Вриндаван, но оплатить расходы — и не маленькие — придется. За этим я и пришел к тебе.

— Конечно, нужно заплатить все, что она ни потребует.

— Старуха — неплохая женщина, — задумчиво продолжал учитель. — Пончу не разрешал ей прикасаться ни к кувшинам с водой, ни к другим вещам. Поэтому между ними постоянно происходили стычки. Когда же старуха увидела, что я без возражения принимаю пищу из ее рук, она стала очень внимательна ко мне. Она превосходно стряпает. Но зато я потерял и тот остаток уважения, который Пончу еще питал ко мне. Прежде он считал меня хотя бы честным человеком. Теперь же он пришел к выводу, что я принимаю пищу из рук старухи с затаенной мыслью подчинить ее себе. В мире, действительно, не обойдешься без хитрости, но ведь тут существовала опасность осквернить касту. Вот если бы я попытался как-то

перехитрить ее и добиться, чтобы она свидетельствовала против себя на суде, тогда дело другое! Как бы то ни было, мне нужно будет остаться в доме Пончу на несколько дней даже после отъезда тетки, а то Хориш Кунду устроит еще какую-нибудь гадость. Сказал же он своим приспешникам: «Я достал Пончу фиктивную тетку, но он перещеголял меня, раздобыв где-то фиктивного отца. Посмотрим, однако, как этот отец спасет его».

— Спасем мы его или нет, не знаю, — ответил я, — но если нам суждено погибнуть, спасая страну от бесчисленных западней, которые стерегут народ повсюду — и в религии, и в обычаях, и в деловой жизни, то мы, по крайней мере, умрем спокойно.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Кто бы мог подумать, что в одной жизни может произойти столько событий. Мне кажется, будто я пережила семь рождений, что за последние месяцы мною были прожиты тысячелетия. Время мчалось с такой стремительностью, что я даже не замечала его движения до тех пор, пока несколько дней тому назад неожиданный толчок не привел меня в чувство.

Я знала, что не так просто будет уговорить мужа запретить продавать на нашем рынке иностранные товары. Но я твердо верила, что в конце концов заставлю его сделать по-своему — заставлю не доводами, нет... Мне казалось, что от меня исходит волшебная сила. Ведь упал же к моим ногам такой могущественный человек, как Шондип. Словно морская волна, разбившаяся о берег, лежит он у моих ног. Разве я звала его? Нет, но он не мог не подчиниться влекущему зову этой волшебной силы. А Омулло, юноша чистый и нежный, как новая флейта? Он увидел меня, и вся жизнь его расцвятилась новыми красками, как река на утренней заре. При виде Омулло я чувствовала себя, как богиня, когда она глядит в вдохновенное, сияющее лицо своего почитателя. Так я убеждалась в могуществе волшебной палочки своих чар.

Я отправилась к мужу с такой уверенностью в успехе, с какой блеск молнии предвещает гром. Но что случилось?

Ни разу за девять лет не видела я в его глазах такого равнодушия. Они были похожи на небо пустыни — ни капли живительной влаги, тусклая, бесцветная пелена застилала взор. Рассердись он на меня, и то, пожалуй, было бы лучше, но я не могла нащупать живого места, прикосновение к которому вывело бы его из себя. Я была как во сне, тяжелом сне, который оставляет надолго гнетущее, безысходное чувство.

Я долго завидовала красоте моих золовок. Я знала, что всевышний не дал мне собственной силы и что вся моя сила заключается в любви ко мне мужа. Я привыкла пить пьянящий напиток власти, я поняла, что не могу обходиться без него. И вдруг сегодня я обнаружила, что чаша, из которой я пила, разбита. Я не знаю, чем я буду жить дальше!

Сколько внимания уделила я прическе в тот день. Какой позор! О, какой позор! Когда я проходила мимо комнаты меджо-рани, она воскликнула:

— Чхото-рани, твой шиньон вот-вот взовьется и улетит! Смотри, как бы он не утащил за собой и твою голову!

А с какой легкостью сказал мне муж тогда в саду: «Я готов дать тебе свободу». Разве можно так легко ее взять или отдать? Ведь свобода — не вещь. Она — словно воздух. Долгое время я чувствовала себя рыбой, плавающей в море любви. И когда ее вынули из воды и сказали: «Вот твоя свобода», — она поняла, что ни двигаться, ни жить она не может.

Когда я вошла сегодня в спальню, я увидела только вещи, стоящие там: вешалку, зеркало, постель. Души комнаты не было — она улетела куда-то. Взамен мне осталась свобода — пустота! Поток пересох, обнажились скалы и галька; отсюда ушла любовь, одни только бездушные предметы окружали меня.

Я была растерянна и подавлена в тот день, когда встретилась в последний раз с Шондипом. Меня мучали сомнения, есть ли вообще правда на этом свете? Но стоило нашим жизням соприкоснуться — и искры снова брызнули во все стороны. Это и была истина — бьющая через край, преодолевающая все преграды, все сметающая на своем пути. Я отлично сознавала, что в этом чувстве было несравненно больше истины, чем в разговорах и смехе лю-

дей, окружающих меня, чем в причитаниях боро-рани, в шутках и двусмысленных песенках меджо-рани и ее служанки Тхако.

Шондип потребовал пятьдесят тысяч. Мое сердце, полное хмельной радости, говорило: пятьдесят тысяч — ничто! Я добуду их. Где и каким образом — неважно. Ведь и я, ничего не представляя собой, вдруг поднялась выше всех. Значит, стоит мне пожелать, и мое желание сбудется. Я достану эти деньги, достану, достану! У меня нет ни малейшего сомнения.

Но, вернувшись к себе и подумав, я поняла, что деньги достать будет не так-то просто. Где же кальпатару? О, почему мир так больно ранит мое сердце? Но все равно я достану их. Я пойду на все. Преступление пятном позора ложится только на слабых. Оно не может загрязнить одежды Шакти. Воруют простые смертные, раджа же берет свою добычу по праву победителя. Надо узнать все: где хранятся деньги, кто их принимает, кто их стережет.

Часть ночи я провела на веранде, я стояла, впившись глазами в дверь конторы. Как я вырву из-за железных решеток пятьдесят тысяч рупий? Сердце мое ожесточилось. Если бы я могла одним заклинанием убить стражников, я сделала бы это немедленно! Небо было непроницаемо. Охрана менялась каждые три часа, колокол отбивал время, и весь огромный дом был погружен в безмятежный сон, а в мыслях хозяйки этого дома шайка разбойников с саблями в руках отплясывала дикий танец и просила свою богиню благословить их на грабеж.

Я пригласила к себе Омулло.

— Родине нужны деньги, — сказала я, — не смог бы ты достать их у нашего казначея?

— Почему бы нет? — с готовностью ответил Омулло.

Увы! Я совершенно так же ответила Шондипу: «Почему бы нет?»

Самонадеянность Омулло не окрылила меня надеждой.

— Расскажи мне, как ты это сделаешь, — попросила я.

Омулло стал предлагать фантастический план, годный разве что для рассказов, которые печатаются на страницах месячных журналов.

— Нет, Омулло, — остановила его я, — это ребячество.

— Хорошо, в таком случае я подкуплю стражу.

— Где же ты возьмешь деньги?

— Ограблю какого-нибудь торговца на рынке, — ответил он, не задумываясь.

— В этом нет никакой необходимости. У меня есть драгоценности, можно взять их.

— Только сдается мне, что хранителя казны подкупить будет трудно, — заметил Омулло. — Но ничего, есть еще один способ, проще.

— Какой?

— Ну, зачем вам знать. Очень простой!

— Нет, я хочу знать.

Из кармана куртки Омулло выложил на стол сначала маленькое издание «Гиты», а затем небольшой пистолет и, ничего не говоря, показал его мне.

Какой ужас! Ни минуты не задумываясь, он решил убить нашего старого казначея. Глядя на его честное, открытое лицо, можно было подумать, что он и мухи не обидит. И как противоречили этому его слова. Было ясно, что, говоря о хранителе казны, он не представлял себе живого человека, думающего и страдающего. Все исчерпывала одна строфа из «Гиты»: «Кто убивает тело — тот ни его не убивает».

— Что ты говоришь, Омулло, — воскликнула я, — ведь у господина Рая жена, дети...

— Где же взять у нас в стране человека, у которого не было бы жены и детей? — возразил он. — Ведь наша жалость к другим — это не что иное, как жалость к самим себе. Мы боимся задеть чувствительные струны своего сердца и потому предпочитаем не наносить ударов вообще. Это не жалость! Самая настоящая трусость, и больше ничего!

Слова Шондипа в устах этого юноши заставили меня содрогнуться. Ведь он так молод, ему впору еще верить в добро, в людей. В его возрасте надо наслаждаться жизнью, учиться познавать ее. Во мне проснулись материнские чувства. Для меня самой больше не существовало ни добра, ни зла. Впереди была лишь смерть, желанная и манящая. Но мысль, что восемнадцатилетний мальчик мог так легко решиться убить ни в чем не повинного старого человека, потрясла меня. Сердце Омулло было еще совсем чисто, и от этого его слова

казались мне еще страшней, еще ужаснее. Это было так же чудовищно, как взыскивать с ребенка за грехи матери и отца. Взгляд его огромных, ясных, полных веры и энтузиазма глаз тронул меня до глубины души. Юноша был на краю пропасти. Кто спасет его? О, если бы наша родина хоть на один миг превратилась в настоящую мать и, прижав Омullo к груди, сказала: «Сын мой, к чему спасать меня, раз я не могу спасти тебя!»

Я знаю, знаю: настоящая власть на земле дается только в союзе с дьяволом. Мать — одна мать может обезвредить козни дьявола. Ей не нужны успехи и богатство — она стремится дать жизнь, сохранить жизнь. Страстное желание уберечь юношу от гибели охватило меня, оно заставляло меня действовать.

Но ведь я только что сама просила Омullo совершить грабеж. Если сейчас я начну отговаривать его, он отнесется к этому как к внезапному проявлению женской слабости. Слабость в нас мужчины ценят лишь тогда, когда мы можем своими чарами сделать мир игрушкой в их руках.

— Иди, Омullo, тебе ничего не нужно делать. Я сама добуду деньги, — решительно сказала я.

Он уже подошел к двери, но я вернула его.

— Омullo, я твоя диди. Сегодня по календарю не день для совершения торжественной церемонии благословения брата, но ведь такая церемония возможна в любой день года. Благословляю тебя, пусть хранит тебя всевышний!

Услышав эти слова, Омullo от неожиданности замер на месте. Затем, опомнившись, он склонился до земли и взял прах от моих ног, в знак того, что принимает наше родство. В глазах его блестели слезы. О брат мой, быстрыми шагами иду я к своей смерти — позволь же мне унести с собой все до единого твои грехи! И пусть не коснется тебя скверна, наполняющая мою душу.

— Пусть твоим братским даром мне будет этот пистолет, — сказала я ему.

— Что вы будете с ним делать, диди?

— Я хочу научиться убивать.

— Это верно, сестра, наши женщины тоже должны уметь умирать и убивать. — И Омullo протянул мне пистолет.

Отблеск сияния, озаряющего его юное лицо, упали на мою жизнь и осветил ее, как первый нежный луч утренней зари.

Я спрятала пистолет на груди под сари. В минуту отчаяния этот братский дар поможет мне найти выход...

Я думала, в моем сердце распахнулась дверь, ведущая в покой, где хранятся материнские чувства. Но на смену матери явилась возлюбленная, она захлопнула дверь и преградила мне путь к высшему счастью. На следующий день я встретила с Шондипом. И безумие снова закружило мое сердце в неистовой пляске.

Что это? Разве это я? Нет, никогда! Я никогда не подозревала в себе столько бесстыдства, столько коварства. Заклинатель змей уверяет, что эту змею он извлек из складок моей одежды. Это неправда, змеи у меня никогда не было. Она все время принадлежала ему. Мною владеет какой-то злой дух, это он направляет мои поступки — я не ответственна за них.

Этот злой дух предстал передо мной в образе бога с пылающим факелом в руке и сказал: «Я твоя родина, я твой Шондип, я для тебя — все. Банде Матарам!» И, сложив с мольбою руки, я ответила: «Ты моя вера, ты мой рай! Все остальное сметет моя любовь к тебе, Банде Матарам!»

Нужны пять тысяч? Хорошо, принесу пять тысяч. Они нужны завтра? Прекрасно, завтра вы их получите! В безумной оргии, которая происходит сейчас, этот пяти-тысячный дар растает, как легкая пена на вине: безумный разгул только начинается. Неподвижный мир заколеблется под ногами, глаза опалит пламя, мы услышим страшные раскаты грома, и завеса тумана скроет от нас все, что впереди. Неверными шагами приблизимся мы к краю бездны, где ждет нас смерть... мгновение — и пламя потухнет, пенел разлетится по ветру. Исчезнет все!

Я долго думала над тем, где бы мне достать деньги. И вот позавчера, когда нервы мои были, казалось, взвинчены до предела, я вдруг отчетливо поняла, что мне нужно делать. Каждый год к празднику Дурги мой муж дарит обеим невесткам в знак уважения по три тысячи рупий. И каждый год подаренные деньги вносятся на их имя в банк. И на этот раз, как обычно, подарок был

сделан, однако я знала, что деньги еще не отправлены в банк. Я знала также, где они хранятся: в стальном сейфе, стоявшем в углу маленькой гардеробной рядом с нашей спальней.

Обыкновенно мой муж сам отвозил эти деньги в калкуттский банк; на этот раз у него пока что не было случая это сделать. Я увидела в этом руку судьбы. Деньги задержаны потому, что они нужны родине. Кто посмеет отнять их у нее и отправить в банк? И разве я посмею отказаться взять их?! Богиня-разрушительница протягивает мне свою жертвенную чашу и говорит: «Я алчу. Дай мне, дай!» Вместе с этими пятью тысячами рупий я отдаю ей кровь своего сердца. О мать! Ведь те, кому эти деньги принадлежат, и не почувствуют их потери — а для меня это вопрос жизни или смерти.

Сколько раз называла я прежде в душе боро-рани и меджо-рани воровками, обвиняя их в том, что они выманивают деньги у моего доверчивого мужа. Я говорила ему:

— После смерти своих мужей они скрыли многое из того, что не принадлежало им.

Он отмалчивался и ничего не отвечал. Тогда я начинала злиться и говорила:

— Если тебе так уж хочется доказать свою щедрость, делай им подарки, я не понимаю, зачем ты разрешаешь надувать и обирать себя.

Как, наверно, смеялась судьба, слушая мои упреки. Теперь я сама собираюсь похитить деньги из сейфа мужа, — деньги, принадлежащие моим невесткам.

Вечером муж разделся в маленькой гардеробной и, по обыкновению, оставил ключи в кармане. Я вытащила ключ от сейфа и открыла его. Замок чуть звякнул при этом, но мне показалось, что этот звук должен был разбудить весь мир. Руки и ноги у меня похолодели, я задрожала.

Внутри сейфа был ящичек. Выдвинув его, я не нашла банкнот, а лишь аккуратно завернутые столбиками гиней. У меня не было времени отсчитать себе деньги — я забрала все двадцать пакетов и завязала их в угол своего сари.

Ноша была нелегкая. Под тяжестью похищенного я чувствовала себя совсем раздавленной. Может быть, если

бы это были банкноты, мой поступок не так походил бы на кражу, но ведь я несла золото.

Крадучись, я вошла в свою комнату. Она стала мне чужой. Совершив кражу, я утратила все свои права на нее — права, столь дорогие моему сердцу.

Я шептала: «Банде Матарам! Банде Матарам! Родина, моя родина! Моя золотая родина! Все золото принадлежит тебе и никому другому».

В темноте ночи дух человека слабеет. Закрыв глаза, прошла я мимо постели спящего мужа, прижимая к груди завязанный в край сари сверток с похищенным золотом, вышла на крышу онтохпура и распростерлась на полу. Каждая гинея впивалась мне в грудь и давила меня. А безмолвная ночь стояла рядом и грозила мне пальцем. Я не могла отделить свой дом от родины. Сегодня я ограбила дом, следовательно, ограбила и родину. Совершенный мною грех лишал меня дома, а вместе с ним и родины. Если бы я умерла, не закончив собирать пожертвования для своей родины, даже то небольшое, что положила бы я к ее ногам, было бы даром почитания, угодным богам. Но разве воровство — почитание? Как же я могу принести в дар это золото? Горе мне! Я знаю, что впереди меня ждет смерть. Так зачем же я хочу своим нечестивым прикосновением осквернить родину!

Путь к возвращению денег для меня отрезан. У меня не хватит сил вернуться в комнату, взять ключ и снова открыть сейф. Я, наверно, упала бы без сознания на пороге комнаты мужа. Остается только идти по пути, на который я вступила.

Нет у меня сил и для того, чтобы сосчитать взятые деньги. Сколько их там, в этих свертках? Раскрывать их и пересчитывать краденое я не буду.

На темном холодном небе не было ни облачка, мерцали звезды. Лежа на крыше, я думала: «Случись мне во имя родины похитить, подобно золотым монетам, эти звезды, что бережно хранит у себя на груди ночная тьма, ночь навсегда осиротела бы и ночное небо ослепло — я ограбила бы весь мир». А разве я не сделала этого сейчас? Разве не ограбила я весь мир, похитив не деньги, а вечный свет неба — доверие и честь?

Ночь я провела на крыше. Только утром, когда я могла быть уверена, что муж встал и ушел, я закуталась с головой в шаль и потихоньку отправилась к себе.

Меджо-рани поливала из медного кувшина цветы на веранде.

— Чхото-рани, ты слышала новость? — воскликнула она.

Я молча остановилась, нервная дрожь охватила меня. Мне казалось, что свертки гиней выпирают из-под шали. «А вдруг они прорвут сари и со звоном рассыплются по веранде, — мелькнула у меня мысль, — и слуги увидят воровку, обокравшую самое себя!»

Меджо-рани продолжала:

— Шайка вашей Деби Чоудхурани прислала анонимное письмо, угрожая ограбить нашего брата.

Я стояла молча, как вор, застигнутый врасплох.

— Я ему посоветовала искать защиты у тебя, — продолжала она поддразнивающим тоном. — Смилуйся, богиня, уйми свою шайку. Уж мы, так и быть, пожертвуем что-нибудь на ваше «Банде Матарам». И что только не делается вокруг! Но ты уж, бога ради, нас хоть пощади — не допусти в доме грабежа.

Ничего не ответив, я поспешно прошла к себе в спальню.

Я попала в трясины, и выбраться из нее у меня нет сил — стараясь освободиться, я лишь глубже погружаюсь.

Хоть бы скорее можно было передать деньги Шондипу! Больше я не в состоянии нести свою ношу, моя спина надламывается.

Несколько позже мне сообщили, что Шондип ждет меня. Тут было не до нарядов. Завернувшись в шаль, я торопливо вышла к нему в гостиную.

Вместе с Шондипом был Омулло. Мне показалось, будто последние остатки гордости, чести покидают меня. Неужели я должна буду обнажить свой позор перед этим мальчиком? Неужели они обсуждали мой поступок с другими своими единомышленниками, ничего не оставив в тайне?

Мы, женщины, никогда не поймем мужчин. Прокладывая дорогу для колесницы своих желаний, они не останавливаются даже перед тем, чтобы вымостить путь мелкими

осколками разбитого сердца вселенной. Охваченные творческим экстазом, они с радостью уничтожают все созданное творцом. Что им до жгучего стыда, который пришлось пережить мне? Их очень мало интересует чья-то жизнь — все силы души они отдают достижению цели. Увы! Что я для них? Полевой цветок на пути бурного потока.

Какая польза Шондипу от того, что он погубит меня? Пять тысяч рупий? Неужели я не стою большего? Конечно, стою. Ведь Шондип сам внушил мне это, ведь, только поверив ему, я и стала свысока смотреть на окружающий мир. Я поверила, что несу в себе свет, жизнь, силу, бессмертие; возликовав, я порвала все путы и вышла на широкие просторы жизни. О, если бы кто-то убедил меня сейчас, что я имела на это право, сама смерть не была бы страшна мне — утратив все, я не потеряла бы ничего!

Неужели они хотят сказать мне, что все это была ложь? Что богиня, которая жила во мне, потеряла свою божественную силу и больше не заслуживает почитания? Усердно воспевая хвалу мне, они заставили меня покинуть райские чертоги и спуститься на землю. Но они во все не хотели, чтобы я помогла им устроить рай на земле. Нет, им нужно было, чтобы земная пыль замела и райскую обитель.

Пристально взглянув на меня, Шондип сказал:

— Так как же деньги, Царица?

Омулло тоже не сводил с меня взгляда. Он не был сыном моей матери, но все же он мне брат; мы дети одной матери — единой для всех людей. Как невинно и бесхитростно его юное лицо, как ласковы глаза, устремленные на меня. А я — женщина, такая же женщина, как и его мать, неужели я протяну ему отравленный кубок только потому, что он попросил меня об этом?

— Так как же деньги, Царица?

От стыда и гнева я готова была швырнуть золото Шондипу в лицо. Я никак не могла развязать узелок сари, пальцы мои дрожали. Наконец на стол посыпались свертки денег. Лицо Шондипа потемнело. Он, наверно, решил, что это серебро. Сколько гнева, сколько пренебрежения было в его взгляде. Казалось, он хочет меня ударить! По всей вероятности, он решил, что я буду уговаривать его до-

вольствоваться двумя-тремя сотнями рупий, вместо пяти тысяч. Было мгновение, когда я думала, что он выбросит все свертки за окно. Разве он нищий? Он властелин, требующий дани.

— А больше нет, Царица-диди? — спросил Омулло.

Его голос был преисполнен жалости, я с трудом удержалась, чтобы не разрыдаться, и только пожала плечами.

Не касаясь свертков, Шондип продолжал молчать.

Мне хотелось уйти, но ноги не двигались. Если бы земля разверзлась подо мной, я, как каменная глыба, рухнула бы в пропасть.

Мое унижение тронуло Омулло. Он вдруг воскликнул с деланной радостью:

— Неужели этого мало? Вполне достаточно! Вы нас спасли, Царица-диди!

С этими словами он разорвал бумагу одного из свертков, и золотые монеты со звоном посыпались на стол. С лица Шондипа в одно мгновение слетела темная пелена, его глаза засверкали радостью. Не сумев скрыть внезапную перемену в своих чувствах, он вскочил с кресла и бросился ко мне. Не знаю, что он собирался делать. Взглянув на Омулло, который вдруг изменился в лице, словно его ударили хлыстом, я изо всех сил оттолкнула от себя Шондипа. Он стукнулся головой о мраморный столик, упал на пол и несколько секунд лежал без движения. Я почувствовала, что силы окончательно оставили меня, и опустилась в кресло. Лицо Омулло сияло. Даже не взглянув на Шондипа, он подошел ко мне, взял прах от моих ног и уселся на полу подле меня. О мой брат! О сын мой! Твоя преданность — последняя капля нектара в опустевшем сосуде вселенной! Я не могла больше сдерживаться, и слезы полились у меня из глаз. Прижимая обеими руками к лицу край сари, я продолжала всхлипывать. И каждый раз, как я чувствовала на своих ногах ласковое, подбадривающее прикосновение Омулло, слезы мои начинали литься с новой силой.

Немного погодя я успокоилась и открыла глаза. Шондип как ни в чем не бывало сидел у стола и завязывал в свой платок гинеи. Омулло с влажными глазами поднялся с пола.

Невозмутимо глядя на меня, Шондип сказал:

— Шесть тысяч рупий.

— Но нам ведь не надо столько денег, Шондип-бабу, — возразил Омулло. — Я подсчитал и убедился, что для начала дела нам вполне достаточно будет трех с половиной тысяч рупий.

— Деньги нужны нам не только для работы здесь, — ответил Шондип. — Можно ли точно подсчитать, сколько нам потребуется?

— Пусть так, — сказал Омулло, — однако в будущем все деньги, нужные нам, берусь доставать я. Так что две с половиной тысячи верните, пожалуйста, Царице-диди.

Шондип вопросительно посмотрел на меня.

— Нет, нет! Я не хочу даже касаться этих денег! Что хотите, то и делайте с ними, — воскликнула я.

Глядя на Омулло, Шондип сказал:

— Смог ли бы какой-нибудь мужчина дарить так, как это делают женщины?

— Они — божества! — восторженно подтвердил Омулло.

— Мы, мужчины, — продолжал Шондип, — в лучшем случае можем поделиться избытком своих сил, женщины же отдают самих себя. Они дают жизнь ребенку, они питают его своими жизненными соками. Только такой дар — истинный дар. Царица, — продолжал он, обращаясь ко мне, — если бы ваше сегодняшнее приношение состояло из одних денег, я не прикоснулся бы к нему. Но вы отдали нам то, что для вас дороже жизни.

В каждом из нас, наверно, живут два разных человека. Я отлично понимала, что Шондип меня обманывает, и в то же время охотно соглашалась быть обманутой. Шондип обладает большой внутренней силой, но благородство отсутствует в его характере. Он одновременно пробуждает к жизни и поражает на смерть. Его стрелы, подобно стрелам богов, бьют без промаха, но в колчан их вложил дьявол.

Все гиней не уместились в платок Шондипа.

— Не можете ли вы дать мне свой платок, Царица? — обратился он ко мне.

Взяв мой платок, он сначала приложил его ко лбу, а затем неожиданно склонился к моим ногам.

— Богиня, я хотел взять прах от ваших ног, потому и направился к вам, вы же оттолкнули меня. Я принимаю

это, как знак милости ко мне — знак, который вы запечатлели на моем челе. — И, обнажив голову, он показал ушибленное место.

Неужели я ошиблась в тот момент? Возможно ли, что он простирал ко мне руки, действительно желая в почтительном поклоне коснуться моих ног? Но ведь и Омулло заметил, какую страстью пылали его глаза, видел его лицо. Как бы то ни было, Шондип умеет подбирать удивительные мелодии для своих хвалебных песен, и я не в состоянии спорить с ним. Словно дым опиума застилает мне глаза, и я перестаю видеть правду. Шондип отплатил вдвойне за удар, нанесенный мною: рана на его голове стала раной моего сердца.

После того как Шондип благоговейно простерся у моих ног, ореол святости окружил вдруг кражу — рассыпанное на столе золото будто рассеялось упрекам людей и укорам совести. Не мог сопротивляться обаянию Шондипа и Омулло. Его обожание, поколебавшееся было, вспыхнуло с новой силой. Чаша сердца Омулло вновь оказалась до краев заполненной преданностью Шондипу и мне. Глаза юноши, как утренние звезды, светились чистой верой и нежностью. Теперь, когда я воздала и приняла знаки поклонения, я почувствовала, что очистилась от своего греха. Мне казалось, что от меня исходит сияние. Взглянув на меня, Омулло молитвенно сложил руки и воскликнул: «Банде Матарам!»

Я сознаю, что такое обожание не может окружать меня всю жизнь, но сейчас только оно поддерживает мои силы и помогает сохранить уважение к себе самой. Мне тяжело входить в собственную спальню. Стальной сейф смотрит на меня, мрачно нахмурившись, постель негодуяще грозит мне. Мне хочется бежать от самой себя, бежать к Шондипу и вновь слышать из его уст хвалебные песни. Над страшной бездной моего позора возвышается один лишь этот жертвенник, и я отчаянно цепляюсь за него, зная, что стоит мне сделать шаг в сторону, и меня поглотит пучина. Мне необходима хвала неустанная, не-смолкаемая хвала, ибо я перестану жить, лишь только опустеет чаша вина, пьянящего меня. Вот почему моя душа так рвется к Шондипу. Рядом с ним моя жизнь обретает какой-то смысл.

Мне очень тяжело сидеть напротив мужа во время обеда. Но избегать под каким-нибудь предлогом этих дневных встреч мне не позволяет чувство собственного достоинства. Поэтому я стараюсь сесть так, чтобы не встречаться с ним взглядом. Так я сидела в тот момент, когда вошла меджо-рани.

— Братец, ты, конечно, можешь смеяться над всеми этими письмами с угрозами грабежа, а я их боюсь. Ты еще не отправил в банк деньги, которые подарил нам?

— Да нет, времени не было, — ответил муж.

— Ты так беспечен, братец дорогой... Поостерегся бы ты лучше...

— Но ведь деньги лежат в стальном сейфе, в соседней с моей спальней гардеробной, — смеясь, перебил ее муж.

— Ты думаешь, туда забраться невозможно?

— Если грабители смогут забраться в мою комнату, то они с таким же успехом могут похитить и тебя.

— Ну, на этот счет можно не волноваться, — кому я нужна! Настоящий магнит находится в твоей комнате... Но шутки шутками, а держать деньги дома нечего.

— Через несколько дней в Калькутту повезут налоговые сборы, с тем же конвоем я отправлю в банк и ваши деньги.

— Смотри не забудь! Ведь ты такой рассеянный!

— Но если даже эти деньги украдут из моего сейфа, ты от этого не пострадаешь.

— Ну, ну, братец, не смей так говорить, а то я по-настоящему рассержусь. Разве я когда-нибудь делала разницу между вашим и моим. Ты, что думаешь, мне будет все равно, если вас ограбят. Судьба отняла у меня все, но она оставила мне способность чувствовать и понимать, какой замечательный у меня деверь — настоящий Лакшмана! Я, братец, не могу день и ночь думать только о своем боге, как ваша боро-рани. Тот, кого послал мне всевышний, дороже мне всего на свете. Ну, а ты, чхото-рани — почему ты молчишь, как истукан? Знаешь, в чем дело, братец? Чхото-рани думает, что я льщу тебе. А что тут плохого? Можно и польстить, когда нужно. Но ты ведь не падок на лесть? Будь ты похож на Мадхоба Чоккроборти, нашей боро-рани пришлось бы поменьше мо-

литься богам и побольше кланяться тебе, чтобы вымолить хоть полпайсы. Впрочем, может, это было бы к лучшему. У нее не оставалось бы времени упрекать тебя и строить всякие козни.

Меджо-рани продолжала непринужденно болтать, не забывая при этом время от времени обращать внимание деверя на тушеные овощи, рыбу, лангусты и другие блюда.

Я с трудом владела собой — развязка быстро приближалась, медлить было нельзя, необходимо было сейчас же что-то придумать. Я тщетно искала выхода, и мне с каждой минутой становилось все тяжелее слушать веселую болтовню невестки. Кроме того, я хорошо знала: от зорких глаз меджо-рани не укроется ничего. Она то и дело искоса посматривала на меня. Не знаю, что прочла она на моем лице, мне казалось, что на нем ясно написано все.

Безрассудству нет предела! Небрежно усмехнувшись, я шутливо воскликнула:

— Понимаю, меджо-рани боится, как бы деньги не стащила я, — все эти разговоры о ворах и грабителях ведутся просто так, для отвода глаз.

— Вот это ты сказала верно, нет ничего страшнее женщины, решившейся украсть, — от нее не уберешься, — ответила она, ехидно улыбнувшись. — Но ведь и я не мужчина — обвести меня вокруг пальца тоже не так-то легко.

— Ну раз уж я внушаю тебе такие опасения, — возразила я, — давай я принесу тебе на хранение все мои драгоценности. Если, по моей вине, ты что-нибудь потеряешь, они останутся тебе.

— Нет, вы только послушайте, что она говорит! — смеялась моя невестка. — А как насчет тех потерь, которые не возместишь ни в этом мире, ни в будущем?

Пока шла эта перепалка, муж не произнес ни одного слова. Закончив обед, он ушел, так как теперь не отдыхал в нашей спальне.

Самые ценные мои украшения находятся на сохранении у нашего казначея. Но даже те драгоценности, что лежат у меня в шкатулке, стоили не меньше тридцати—тридцати пяти тысяч рупий. Я принесла шкатулку невестке и открыла ее.

— Меджо-рани, я оставляю тебе свои украшения. Теперь ты можешь быть спокойна.

— О ма, — воскликнула меджо-рани, с притворным негодованием, — ты положительно удивляешь меня. Неужели ты действительно думаешь, что я не сплю по ночам от страха, что ты украдешь мои деньги?

— А почему бы тебе и не бояться меня? Разве узнаешь помыслы другого человека?

— Ага, ты, значит, решила проучить меня, доверив мне свои драгоценности? Я не знаю, куда девать свои украшения, а тут еще твои надо стеречь! Нет, милая моя, забирай-ка ты их отсюда, да поскорее, кругом столько любопытных носов!

От меджо-рани я прямо прошла в гостиную и послала за Омулло. Вместе с ним пришел и Шондип.

Времени терять было нельзя. Обратившись к Шондипу, я сказала:

— У меня дело к Омулло, может быть, вы нас извините...

Сухо усмехнувшись, Шондип воскликнул:

— Итак, в ваших глазах Омулло и я больше не одно и то же? Если вы решили завладеть им, то придется сразу признаться, что сил удержать его у меня нет.

Я стояла молча, выжидательно глядя на него.

— Ну что ж, — продолжал Шондип, — ведите свой таинственный разговор с Омулло. Но вслед за этим вам придется иметь не менее таинственный разговор и со мной. В противном случае, я потерплю поражение, а я могу стерпеть все, кроме поражения. Мне должна принадлежать всегда львиная доля. Всю жизнь из-за этого я воюю с судьбою и побеждаю ее.

И, сверкнув на Омулло глазами, Шондип вышел из комнаты.

— Брат мой милый, — обратилась я к Омулло, — я хочу попросить тебя выполнить одно поручение.

— Я готов отдать жизнь, лишь бы исполнить ваше желание, диди, — ответил он.

Вытащив из-под шали шкатулку с драгоценностями, я поставила ее перед ним и сказала:

— Можешь заложить мои украшения, можешь продать их, но мне нужно как можно скорее шесть тысяч рупий.

— Нет, диди, нет! — воскликнул взволнованный Омулло. — Не надо продавать или закладывать драгоценности, я достану вам шесть тысяч.

— Не говори глупостей, — нетерпеливо прервала его я. — Я не могу ждать ни минуты. Бери мою шкатулку и отправляйся ночным поездом в Калькутту, а послезавтра утром во что бы то ни стало привези мне шесть тысяч.

Омулло вынул из шкатулки бриллиантовое ожерелье, поднял его к свету и снова с расстроенным видом положил обратно.

— Я знаю, что тебе нелегко будет продать эти бриллианты за настоящую цену, поэтому я и даю тебе драгоценностей больше чем на тридцать тысяч. Можешь продать все эти вещи до единой — лишь бы у меня обязательно были шесть тысяч.

— Диди, — сказал Омулло, — я поссорился с Шондипом-бабу из-за тех шести тысяч, что он взял у вас. Мне было невероятно стыдно! Шондип-бабу утверждает, что даже стыд мы должны приносить в жертву родине. Возможно, он прав. Но это же другое дело! Я обрел особую силу — я могу без страха умереть за родину и без колебаний убить ради нее. Однако я никак не могу примириться с тем, что мы взяли у вас деньги. В этом отношении Шондип-бабу намного сильнее меня, у него нет и капли раскаяния. Он говорит: «Нужно отрешиться от мысли, что деньги принадлежат тому, в чьем ящике они случайно оказались, иначе где же волшебная сила «Банде Матарам»?

Омулло говорил все с большим жаром и воодушевлением. Так всегда бывает, когда слушаю его я.

— В «Гите», — продолжал он, — всемогущий Кришна говорит, что убить душу не может никто. Что такое убийство? Пустое слово. Тоже можно сказать и про кражу денег. Кому принадлежат они? Их никто не создает, никто не берет с собой, уходя из жизни; они не составляют частицы ничьей души. Сегодня они мои, завтра моих детей, а еще через некоторое время ростовщика. А раз деньги в действительности никому не принадлежат, можно ли порицать патриотов за то, что они берут их себе и используют для служения родине, вместо того чтобы оставлять в руках какого-нибудь ничтожества?

Ужас охватывает меня, когда я слышу слова Шондипа из уст этого юноши. Пусть заклинатели змей играют на флейтах, — если змея ужалит их, то ведь они шли на это с открытыми глазами. Но эти мальчики — они так юны, так невинны, что каждому невольно хочется уберечь их. Не подозревая об опасности, они беззаботно протягивают руки к смертоносному жалу змеи, и, только видя это, начинаешь понимать, какую страшную угрозу представляет собой эта змея. Шондип прав в своих догадках — он понял, что хоть я сама и готова погибнуть от его руки, Омулло я хочу отнять у него и спасти.

— Итак, деньги нужны вашим патриотам для служения родине? — спросила я с улыбкой.

— Конечно, — ответил Омулло, гордо подняв голову. — Они ведь наши властелины, а бедность умаляет царственную силу. Знаете, мы разрешаем Шондипу-бабу ездить только в первом классе. И он никогда не отказывается от почестей, которые ему воздаются, он знает, что это нужно не для него самого, а для прославления всех нас. Шондип-бабу говорит: «Блеск и роскошь, окружающие тех, кто правит миром, гипнотизируют людей и дают в руки правителей очень сильное оружие. Принять обет нищеты означает для них не только согласие на лишения — это равносильно самоубийству».

В это время в комнату неслышно вошел Шондип. Я торопливо прикрыла шалью шкатулку с драгоценностями.

— Тайнственный разговор с Омулло еще не кончен? — спросил Шондип ядовито.

— Мы кончили, — пробормотал смущенный Омулло. — Да ничего особенного и не было.

— Нет, Омулло, — возразила я, — наш разговор еще не кончен.

— Это означает, что Шондипу снова нужно удалиться? — спросил Шондип.

— Пожалуйста, — подтвердила я.

— Но впоследствии Шондипу разрешат вернуться?

— Не сегодня, у меня не будет больше времени.

Глаза Шондипа засверкали.

— Понимаю, — воскликнул он, — у вас есть время только на деловые разговоры, ни на что больше!

Ревность! Может ли слабая женщина не торжествовать победу, когда проявляет слабость сильный мужчина? Я твердо повторила:

— У меня правда нет времени.

Шондип помрачнел, нахмурился и вышел. Расстроенный Омулло заметил:

— Царица-диди, Шондип-бабу очень рассердился.

— У него нет ни права, ни основания сердиться, — ответила я с сердцем. — Я хочу сказать тебе еще одну только вещь, Омулло. Ни за что на свете ты не должен говорить Шондипу-бабу о продаже моих украшений.

— Хорошо, я не скажу.

— В таком случае не задерживайся больше, поезжай сегодня ночным поездом.

Я вышла вместе с Омулло из комнаты. На веранде стоял Шондип. Я поняла: он подстерегает Омулло. Нужно было отвлечь его.

— Шондип-бабу, что вы хотели мне сказать? — спросила я.

— О, так, ничего особенного — пустяки... Раз вы заняты...

— Несколько минут у меня найдется.

Тем временем Омулло ушел. Войдя в комнату, Шондип сразу же спросил меня:

— Что это за шкатулку нес Омулло?

Ага, значит ничто не укрылось от его зорких глаз!

— Если бы я могла сказать вам, что это за шкатулка, то передала бы ее Омулло при вас, — ответила я сухо.

— А вы думаете, Омулло мне не скажет?

— Нет, не скажет.

Шондип больше не мог скрывать своего гнева.

— Вы рассчитываете взять надо мною верх? Не получится! — крикнул он. — Омулло! Да он сочтет за счастье умереть у меня под ногами! А вы собираетесь подчинить его себе. Не бывать тому, пока я жив!

О слабость, слабость! Шондип наконец понял, что он слабее меня. Этим-то и объясняется яростная вспышка его гнева. Он понял: его сила ничто перед моей волей, достаточно одного моего взгляда, чтобы рухнули стены самых прочных его бастионов. Этим объясняется его бахвальство и пустые угрозы.

Я ничего не ответила и презрительно улыбнулась. Наконец-то я оказалась выше его. Во что бы то ни стало я должна сохранить за собой эту выгодную позицию и не спускаться больше вниз. Пусть хотя бы эта капля собственного достоинства сохранится в потоке унижения, захлестнувшем меня.

— Я знаю, — помолчав, сказал Шондип, — это была шкатулка с вашими драгоценностями.

— Вы можете думать что хотите, я ничего не скажу.

— Значит, вы доверяете Омулло больше, чем мне? А знаете ли вы, что этот мальчишка всего лишь тень моей тени, эхо моего эха? Что без меня — он ничто, пустое место?

— Когда он перестает быть вашим эхом — он становится просто Омулло, и тогда я доверяю ему больше, чем вашему эху.

— Не забывайте, что вы обещали отдать все свои украшения мне, чтобы положить их к ногам нашей Матери-Родины! В сущности, вы уже принесли их в дар.

— Те украшения, которые богам будет угодно оставить мне, я принесу им в дар. Но я не могу отдать им похищенные у меня драгоценности.

— Не думайте, что вам удастся отвертеться. Сейчас нам не до смеха. Вот когда мы выполним то, что должны, можете обратиться к своим женским уловкам и капризам — тогда и я с удовольствием присоединюсь к вашей игре.

С тех пор как я похитила деньги мужа и передала их Шондипу, мелодия, звучавшая в наших сердцах, оборвалась. Я перестала быть тем интересным объектом, на котором можно отлично продемонстрировать свое могущество. Глупо целиться в мишень, которая находится у вас в руках. Сегодня Шондип перестал быть героем в моих глазах, и я стала явственно различать сварливые, грубые нотки в его голосе.

Шондип поднял на меня горящие глаза, и, по мере того как он смотрел, они разгорались все ярче и ярче, словно жар полуденного неба. Он ерзал на стуле. Казалось, что вот-вот он вскочит с места и бросится ко мне. Я почувствовала, что силы оставляют меня, сердце бешено стучало, в ушах звенело. Я поняла, что если не уйду сейчас же, то уж не смогу подняться и покинуть комнату. Я за-

ставила себя встать и быстрыми шагами направилась к двери. Почти задыхаясь, Шондип прохрипел:

— Куда вы, Царица?

В один миг он очутился рядом, готовый схватить меня.

Но за дверью слышались шаги, и Шондип так же быстро отскочил и опять сел в кресло. Я остановилась возле полки с книгами, невидящими глазами всматриваясь в их названия.

Не успел муж войти в комнату, как Шондип заговорил:

— У тебя нет Броунинга, Никхил? Я как раз рассказывал Царице Пчеле о нашем университетском клубе. Ты помнишь спор между четырьмя нашими товарищами о переводе Броунинга? Неужели забыл? Вот, послушай:

She should never have looked at me,
If she meant I should not love her!
There are plenty... men you call such,
I suppose... she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them;
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

Кое-как, — продолжал Шондип, — я перевел стихи на бенгали, но нельзя сказать, чтобы, ознакомившись с моим переводом, «Гоура народ в радости приник к источнику нектара». Одно время — правда, недолго — я предполагал стать поэтом. Судьба сжалилась надо мной и спасла меня от такого несчастья. А вот наш Докхиначорон, не пойдя он в соляные инспекторы, несомненно стал бы поэтом. Он делал отличные переводы, мы их читали, и они казались нам бенгальскими стихами. Страна, которая не числится в учебниках географии, ведь не имеет и своего языка —

О, если поняла она, что ей не полюбить меня,
Зачем ей было так смотреть глазами, полными огня?
Немало в мире есть мужчин (мужчин ли вправду,
милый друг?)

Таких, что если б им она свою открыла душу вдруг,
То равнодушно на нее взглянули б, чуждые мечты,
И в их тупых глазах ничто не заменило б пустоты,
А я ведь не из их числа — понятно это было ей,
Когда меня пронзил насквозь скользнувший взор ее очей¹.

¹ Стихи в переводе В. Рогова.

Царица Пчела, вы ищете напрасно: после свадьбы Никхил бросил читать стихи; возможно, у него и нет в том потребности. Меня же от поэзии заставили отказаться дела. Похоже на то, однако, что мне снова грозит приступ поэтической лихорадки.

— Я пришел предупредить тебя, Шондип, — сказал муж.

— Насчет поэтической лихорадки?

— За последние дни, — продолжал мой муж, игнорируя его шутку, — из Дакки приехало несколько магометанских проповедников, которые всячески стараются взбудоражить местных мусульман. Они настроены очень воинственно и могут напасть на тебя в любой момент.

— И что же ты советуешь мне — бежать?

— Я пришел только сказать тебе об этом и не собираюсь давать никаких советов.

— Если бы эти поместья принадлежали мне, такого рода предостережение было бы высказано магометанским проповедникам, а не мне. Вместо того чтобы пугать меня, попробовал бы ты припугнуть их, это куда больше пристало бы и мне и тебе. Знаешь ли ты, что твоя слабость распространяется и на соседних заминдаров?

— Вот что, Шондип, я не даю тебе советов, но и ты уволь меня от своих наставлений. Они бесполезны. И вот еще что: ты и твои друзья стали с некоторых пор причинять исподтишка неприятности моим арендаторам и всячески тиранить их. Так продолжаться дальше не может, и потому я прошу тебя покинуть мои владения.

— Кто же мне угрожает — мусульмане или еще кто-нибудь?

— Бывают случаи, когда не боятся только трусы. Поэтому я и предлагаю тебе, Шондип, уехать. Через несколько дней я собираюсь в Калькутту, я хочу, чтобы ты поехал вместе со мной. Там ты, конечно, можешь остановиться в нашем доме, никто возражать не станет.

— Ну что ж, значит, у меня есть пять дней на размышления. Позвольте, Царица Пчела, спеть вам прощальную песню пчелиного роя. О поэт новой Бенгалии, открой мне свои двери, я хочу похитить твою вину. Собственно говоря, это ты обокрал меня, выдав мою песню

за свою. Пусть под песней стоит твое имя, все равно она моя!

И Шондип занял низким, сильным и фальшивым голосом песню на мотив бхойроби:

На родине твоей весна цветет отрадно круглый год,
Там радостен разлук и встреч, слез и улыбок хоровод;
Тот, кто уходит, недалеко; не осыпается цветок, —
Он вновь способен расцвести, коль ненадолго опадет.
Когда я рядом был с тобой, то песнь моя пронзала тишь...
Я должен уходить — ужель ничем меня не одаришь?
Я под деревьями стою, надежду пылкую таю,
Что ты слезами знойный март в благую осень превратишь¹.

Дерзость Шондипа переходила все границы. Это была ничем не прикрытая, откровенная дерзость. Его невозможно было остановить. Разве можно запретить греметь грому: ослепительный смех молнии снимет любой запрет.

Я вышла из комнаты и направилась во внутренние покои. На веранде передо мной неожиданно вырос Омулло.

— Царица-диди, — сказал он, — ни о чем не беспокойтесь: я уезжаю и ни за что не вернусь, не добившись успеха.

— Я беспокоюсь не о себе, — сказала я, глядя прямо в его серьезное юное лицо, — я думаю о тебе.

Омулло повернулся, чтобы идти, но я окликнула его и спросила:

— У тебя есть мать?

— Есть.

— А сестра?

— Нет, я единственный сын у матери. Отец умер, когда я был совсем маленьким.

— Тогда вернись к своей матери, Омулло.

— Но, диди, ведь здесь я обрел и мать и сестру.

— В таком случае сегодня перед отъездом зайди ко мне, я угощу тебя.

— У меня будет мало времени, Царица-диди, лучше дайте мне что-нибудь на дорогу — что-нибудь, освященное вашим прикосновением.

¹ Стихи в переводе В. Рогова.

— Что ты любишь больше всего?

— Если бы я жил с матерью, она дала бы мне много сладких лепешек, вроде тех, что пекут у нас зимой. Когда я вернусь, испеките мне таких лепешек своими руками, Царица-диди.

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

Как-то раз я проснулся среди ночи, и вдруг мне почудилось, что мир, в котором я жил до сих пор, со всеми окружающими меня предметами, постелью, комнатой, домом, стал каким-то нереальным, призрачным. Я внезапно понял, почему человек так боится призраков умерших близких. Очень страшно, когда хорошо знакомое, близкое, родное вдруг становится непонятным, чужим. Жизнь привычную, удобную, надо втискивать в другое русло, которого, по существу, еще и нет. Трудно оставаться самим собой в таких условиях — посмотришь на себя, а ты уже и впрямь не тот, что был.

С некоторых пор мне стало ясно, что Шондип со своими последователями пытаются создать беспорядки в нашем районе. Будь я уверен в себе, как прежде, я немедленно предложил бы Шондипу убраться отсюда. Но то, что произошло со мной, выбило почву у меня из-под ног. Я потерял уверенность в себе. Мне неловко сказать Шондипу, чтобы он уехал, я перевожу разговор на другую тему и чувствую себя ничтожеством.

Брак для меня не просто прибежище взрослого человека и не один из этапов его жизненного пути. Он — часть меня самого. И я не могу изменять его по своей воле. Насилие над ним равноценно насилию над моим богом. Я никому не могу рассказать об этом. Возможно, я — чужак. Возможно, меня обманывают. Но если кто-то и может обмануть меня, я себя обмануть не могу.

Я служу истине, которая лежит в основе мира. Мне придется теперь разорвать его пагубные сети. Мой бог освободит меня от рабства. Я получу свободу ценой собственной крови, и она утвердит царство покоя в моей душе.

Я уже сейчас ощущаю радость своего освобождения. Время от времени из мрака доносится песня утренней птицы моей души. Мужающий голос ее твердит мне, что если и исчезнет Бимола — порождение иллюзии, — то жизнь для меня еще не кончится!

Я узнал от учителя, что Шондип вместе с Хоришем Кунду готовят большие торжества в честь богини Дурги. Необходимые расходы Хориш Кунду покрывает из кармана своих арендаторов. Силами пандитов Кобиротно и Биддабагиша был сочинен хвалебный гимн, который звучит весьма двусмысленно. По этому поводу между учителем и Шондином произошла стычка. Шондип сказал:

— Эволюция затрагивает и богов. Если потомки не будут приспосабливать к своим вкусам богов, созданных их предками, они ковчат атеизмом. Моя миссия состоит в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в наших древних богов. Я рожден их спасителем, они будут обязаны мне своим освобождением от пут прошлого.

С детских лет я наблюдаю, как жонглирует идеями Шондип. Поиски истины не интересуют его нисколько, зато ему доставляет немалое удовольствие потешаться над ней. Появись он на свет в дебрях Центральной Африки, он с пеной у рта доказывал бы, выдвигая в защиту своего мнения множество всяких доводов, что людоедство — идеальный способ общения между людьми. Но те, которые любят вводить в заблуждение других, в конце концов сами становятся жертвами заблуждения. Я совершенно убежден, что, проповедуя очередную ложь, он каждый раз искренне верит, что открыл истину, даже если она откровенно противоречит его прежним измышлениям. Но я не собираюсь помогать ему строить в нашей стране винокурню, где варилось бы зелье, именуемое иллюзией. Молодые люди, готовые посвятить себя служению родине, не должны приучаться к пьянящим напиткам. Люди, которые считают необходимым прибегать к возбуждающим средствам, чтобы заставить других работать в полную меру своих сил, обычно гораздо больше ценят самую работу, чем тех, кого они заставляют глотать эти средства. Если я не смогу спасти страну от этого безумия, то фимиам, который курят Матери-Родине, превратится в ядовитый угар, а патриотическое служение

родине станет тем смертоносным оружием, которое вонзится в ее грудь.

Я вынужден был сказать Шондипу в присутствии Бимолы, что он должен покинуть наш дом. Возможно, и Бимола и Шондип неправильно истолкуют мой поступок, но страх быть неверно понятым больше не мучит меня. И если даже Бимола не поймет меня — пусть будет так!

Проповедники-мусульмане из Дакки все прибывают. В моих владениях мусульмане питали почти такое же отвращение к закланию коров, как индусы. Теперь же донесения об убийствах этих животных поступают со всех сторон. Первыми — и с явным неодобрением — сообщили мне об этом мои арендаторы-мусульмане. Я сразу же понял, что впереди нас ждет немало трудностей. Дело в том, что в основе всего этого лежит искусственно разжигаемый фанатизм, однако, пытаясь пресечь такого рода выходки, можно вызвать взрыв уже настоящего фанатизма. Со стороны наших противников это довольно тонкий ход.

Я призвал к себе нескольких наиболее влиятельных арендаторов-индусов и попытался объяснить им положение.

— Мы можем быть непоколебимы в своей вере, — сказал я, — но это отнюдь не означает, что мы имеем право вмешиваться в религиозные убеждения других. Ведь, несмотря на то, что большинство нас вишнуиты, мы не мешаем шактистам приносить в жертву животных. Тут ничего не поделаешь. Пусть и мусульмане поступают так, как им нравится. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, избегать всяких осложнений и беспорядков.

— Но ведь сколько времени уже, махарадж, — возразили они, — не знали мы подобных бедствий.

— Мусульмане сдерживались, и все было спокойно. Нам надо вести себя так, чтобы отношения опять могли наладиться. Это будет невозможно, если между вами произойдут столкновения.

— Нет, махарадж, — настаивали они, — прежнего так легко не вернешь. Они не успокоятся, пока вы не употребите власть.

— Если применить силу, — ответил я, — то очень скоро от заклания коров они перейдут к убийствам людей.

Среди моих арендаторов был один, знающий английский язык. Он умел щегольнуть модным выражением.

— Дело тут не только в предрассудках, — сказал он. — Наша страна земледельческая, корова здесь...

— Буйволицы тоже дают нам молоко, и на них же пашут, — прервал я его. — Поэтому пока мы сами, выманные кровью буйвола, с его отсеченной головой на плечах, пляшем в экстазе на папертях своих храмов, нам незачем ссориться с мусульманами из-за религиозных убеждений. Это только посмешит богов и приведет к еще большей нетерпимости. Раз нельзя убивать коров, а буйволов можно, то тут дело не в религии, а в слепых предрассудках.

Знающий английский язык продолжал:

— Но разве вы не видите, что кроется за всем этим? Ведь, нарушая закон, мусульмане убеждены, что им не грозит наказание. Разве вы не слышали, что произошло в Панчуре?

— Отчего оказалось возможным, — сказал я, — с такой легкостью натравить мусульман на нас? Не сами ли мы своей нетерпимостью подготовили для этого почву? А теперь всевышний решил наказать нас за это и обрушить на наши же головы содеянные нами грехи.

— Хорошо же, раз так, пусть они обрушиваются на нас, — ответил мой собеседник. — Но это им даром не пройдет, нам удалось поколебать основу их бывшего могущества — твердую веру в непогрешимость собственных законов. Некогда они творили правый суд, а теперь сами ведут себя, как разбойники. Может быть, история и не отметит этого, но мы это запомним навеки.

Мое имя приобретает известность, благодаря пасквилям, которые перепечатаются всеми газетами. Говорят, что в поместье Чоккроборти на погребальном костре у реки на днях было торжественно сожжено мое чучело. Готовятся и другие выпады.

Дело в том, что мои противники решили сообща открыть текстильную фабрику и пришли ко мне с предложением принять участие в этом деле.

— Если бы убыток терпел я один, в том не было бы беды, — отвечал я. — Но я не хочу даже косвенно быть причиной убытков, которые, несомненно, по-

несут люди, на последние гроши купившие ваши акции, поэтому я не войду в это дело.

— Правы ли мы будем, заключив, что вопрос процветания родины вас нисколько не интересует? — осведомились мои посетители.

— Развитие промышленности, безусловно, может привести к расцвету страны, — ответил я, — но одного желания мало, чтобы расцвет этот действительно наступил. Наша промышленность чахла даже в более спокойные времена; так неужели же она расцветет пышным цветом теперь, когда мы окончательно потеряли голову?

— Почему вы не хотите сказать прямо, что боитесь потерять деньги?

— Я вложу свои деньги только тогда, когда увижу, что вас интересуют действительно успехи промышленности. Но из того, что вы развели огонь, еще не следует, что вы обязательно приготовите обед.

Они считают меня человеком очень расчетливым, скупым и хотят во что бы то ни стало заглянуть в книгу моих расходов, связанных со свадьбой. Они, конечно, не знают, что когда-то я пытался поднять урожайность на наших землях. Сколько лет подряд я ввозил сахарный тростник с Явы и, следуя рекомендациям департамента сельского хозяйства, пытался привить его у нас. А чего я добился? Крестьяне до сих пор подсмеиваются надо мной. Сейчас они смеются втихомолку. А когда я, начитавшись сельскохозяйственных газет, советовал им сеять японскую фасоль или разводить хлопок, то они смеялись в открытую. А ведь тогда ни о каких патриотах еще и речи не было и никто не кричал: «Банде Матарам». А история с пароходством? Стоит ли вспоминать об этом?

Если бы мое горящее чучело хоть немного утолило их патриотический пыл, я был бы очень этим доволен.

Что же это такое! Нашу контору в Чокуйе ограбили. Накануне вечером там собрали очередной взнос в семь с половиной тысяч рупий для главного казначейства. Деньги было решено отвезти в Калькутту сегодня утром по реке. Для удобства кассир обменял деньги на кредитки в десять и двадцать рупий и связал их в пачки. Глубокой

ночью бандиты, вооруженные пистолетами и ружьями, ограбили кассу. Стражник Касем был ранен из пистолета.

Удивительней всего то, что грабители забрали только шесть тысяч рупий, остальные кредитки, на полторы тысячи рупий, были разбросаны по комнате, хотя бандиты без труда могли забрать все деньги. Как бы то ни было, налет совершен, и теперь примется за дело полиция. Пропали деньги, пропал и покой!

Когда я вошел на женскую половину дома, оказалось, что все уже знают о случившемся.

— Какой ужас, братец! — воскликнула меджо-рани. — Что же нам делать?!

Желая подбодрить ее, я сказал шутливо:

— Ну как-нибудь проживем. Кое-что у нас еще осталось.

— Не шути, братец, — продолжала она. — И что они на тебя так взъелись? Я об одном прошу: не обостряй ты с ними отношений. Уступи им в чем-нибудь. Неужели во всей стране не найдется человека...

— В угоду этому человеку я не стану выставлять свою родину на посмешище.

— Это возмутительно, что они устроили на берегу реки с твоим чучелом. Стыд им и позор! Наша чхоторани ничего не боится, недаром она училась у гувернантки. А я себе просто места не находила, пока не позвала жреца Кенарама, чтобы он молитвами оградил нас от несчастий. Ради меня, братец милый, уезжай в Калькутту. Я думать боюсь, что они могут еще выкинуть, пока ты здесь.

Меня до глубины души тронула искренняя тревога меджо-рани. О Аннапурна, наши мольбы у порога твоего сердца никогда не окажутся тщетными!

— И разве я не предупреждала тебя, что нельзя хранить столько денег рядом со своей спальней, — продолжала она. — Ведь они все могут пронюхать. Я беспокоюсь не о деньгах. Просто мало ли что может случиться!

— Хорошо, я сейчас же отнесу деньги в контору, — пообещал я, чтобы успокоить женщину, — а послезавтра мы отправим их в калькуттский банк.

Мы вместе пошли в спальню, но оказалось, что дверь в гардеробную закрыта.

— Я переодеваюсь, — ответила Бимола на мой стук.

— Так рано, а чхото-рани уже наряжается, — не преминула заметить меджо-рани. — Удивительно! Наверно, опять собрание у этих «Банде Матарам». О Деби Чоудхурани, уж не припрятываешь ли ты там награбленное?

— Я заберу деньги немного погодя, — сказал я и пошел к себе; в кабинете уже сидел полицейский инспектор.

— Напали вы на след бандитов? — спросил я.

— Кое-кого мы подозреваем.

— Кого же именно?

— Стражника Касема.

— Какой вздор! Ведь он же ранен.

— Это не рана. Небольшая царапина на ноге. Вполне возможно, что она дело его же рук.

— Я просто не допускаю этого. Касем — очень преданный человек.

— Верю, однако это не мешает ему быть вором. Сколько раз я был свидетелем того, как человек двадцать пять лет служит верой и правдой, и вдруг...

— Все равно я не позволю, чтобы его отправили в тюрьму.

— Как это не позволите? Отправят его те, кто обязан это сделать.

— Почему же Касем взял только шесть тысяч, а остальные бросил?

— Чтобы сбить нас с толку. Что бы вы ни говорили в его защиту, он, конечно, воробей стреляный. Службу свою он, правда, нес честно, но я уверен, что он имел касательство ко всем кражам в нашей округе.

Тут инспектор привел массу примеров того, как мошенники совершают грабеж за двадцать пять — тридцать миль от дома и успевают вернуться вовремя к исполнению своих обязанностей.

— Вы привели Касема? — спросил я.

— Нет, он остался в полицейском участке. Сейчас придет судья, и начнется допрос.

— Я хочу его видеть.

Как только я вошел в камеру, Касем бросился мне в ноги и, рыдая, проговорил:

— Клянусь богом, махарадж, я не совершал кражи!

— Я в этом уверен. Не бойся, я не дам тебя в обиду, раз ты ни в чем не виноват.

Точность в рассказе Касема отсутствовала. В его изложении все принимало грандиозные размеры — участвовали в ограблении четыреста или пятьсот человек с огромными ружьями и мечами и т. д. Все это, конечно, был вздор. Он или сильно перетрусил, или его мучил стыд от того, что он не выполнил свой долг и не защитил казну хозяина. Он настаивал, что все это дело рук Хориша Кунду, и утверждал даже, что ясно слышал голос его главного арендатора, Экрама.

— Вот что, Касем, — сказал я, — поменьше болтай и не старайся кого-нибудь запутать в это дело. Тебе никто не поручал возбуждать подозрение против Хориша Кунду.

Вернувшись домой, я попросил учителя зайти ко мне. Выслушав меня, он покачал задумчиво головой и сказал:

— Если люди заменяют совесть понятием «родина», ни к чему хорошему привести это не может. В таких случаях бесстыдно обнажаются пороки страны во всем их безобразии.

— Как вы думаете, дело чьих рук...

— Не спрашивай меня. Помни, однако, что порок заразителен. Немедленно удали их всех из своих владений.

— Я дал Шондипу еще один день. Послезавтра они все уедут.

— Да, вот еще что. Забери с собой в Калькутту Бимолу. Здесь кругозор ее слишком ограничен — она не способна видеть людей и их поступки в истинном свете. Покажи ей мир, людей, занятых трудом. Пусть она научится смотреть на вещи широко.

— Я уже думал об этом.

— И не медли. Помни, Никхил, история человечества создается соединенными усилиями всех народов мира. Поэтому нельзя продавать совесть из соображений политики и делать фетиш из родины. Я знаю, что Европа придерживается другого мнения, но разве имеет она право

претендовать на роль нашего духовного руководителя? Отдавая жизнь во имя истины, человек становится бессмертным. Обессмертил бы себя на страницах истории человечества и целый народ, погибший за правду. Так пусть же Индия будет первой страной, которая осознала истину в мире, содрогающемся от хохота дьявола. Какая страшная эпидемия порока проникла в нашу родину из чужеземных стран!

Весь день прошел в суматохе допросов и расследования. К вечеру я устал и решил, что отнесу деньги невесток в конторский сейф завтра утром.

Ночью я вдруг проснулся. Было темно. Мне показалось, что я слышу стоны. По-видимому, кто-то плакал. Отчаянные, прерывистые всхлипывания были похожи на порывы ветра дождливой ночью. Мне почудилось, что это рыдает душа нашей комнаты.

В спальне не было никого: ведь с некоторых пор Бимола спит в соседней комнате. Я встал и вышел на веранду. Там на полу ничком лежала Бимола.

Есть вещи, которые не поддаются описанию. Они открываются лишь тому, кто видит все страдания мира и всем сердцем разделяет их. Безмолвное небо, тихие звезды, немая ночь, и на этом фоне безудержные, неутешные слезы!

Мы даем определения человеческим чувствам. Шастры учат нас делить их на дурные и хорошие и для каждого находить свое название. Но как назвать эту муку, хлынувшую из разбитого сердца в ночную тьму? Глубокая ночь, покой которой сторожили миллионы безмолвных звезд, обступила меня со всех сторон. Я смотрел на лежащую у моих ног женщину и с трепетом благоговения думал: «Кто дал мне право осуждать Бимолу? О жизнь, о смерть! О владыка мира, которому нет ни начала, ни конца. Я склоняюсь в низком поклоне перед тайной, которую храните вы!»

Надо уйти, — мелькнуло у меня в голове. Но уйти я не мог. Опустившись на пол рядом с Бимолой, я положил руку ей на голову. В первую минуту она словно окаменела, а затем разразилась бурным потоком слез.

Трудно представить себе, сколько слез хранится в человеческом сердце.

Я ласково провел рукой по ее волосам. Неожиданно она обхватила мои ноги и прижала к своей груди с такой силой, что, казалось, хотела раздавить ее.

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Сегодня утром Омулло должен вернуться из Калькутты. Слуге приказано немедленно сообщить о его приходе. Не находя себе места в ожидании его, я отправилась в гостиную.

Посылая Омулло в Калькутту продавать свои драгоценности, я думала только о себе. Мне и в голову не приходило, что юноша, который продает такие ценные украшения, неминуемо вызовет подозрение. Мы, женщины, настолько беспомощны, что норовим переложить на плечи другого бремя опасности, угрожающей нам, а вступая на путь гибели, обязательно тащим за собой близких.

Я с гордостью заявила, что спасу Омулло. Но может ли спасти другого тот, кто сам идет ко дну? Увы!.. Вместо того чтобы спасти, я послала его навстречу гибели. Нечего сказать, хорошей сестрой оказалась я для тебя, братик мой дорогой. Как, наверно, смеялся бог смерти в тот день, когда тебе дала благословение я — несчастная женщина!

Сейчас мне представляется, что зло нападает на человека, как чума. Неизвестно откуда занесенный микроб начинает действовать, и в одну ночь — смерть оказывается у порога. Почему же больного не отделяют от всех остальных? Я-то знаю, как опасна эта зараза. Такой человек подобен пылающему факелу, который может поджечь весь мир.

Пробило девять часов. Мысль о том, что Омулло попал в беду, что его схватила полиция, не переставала мучить меня. Можно себе представить, какой переполох поднялся в полицейском участке из-за моих драгоценностей: чья это шкатулка, откуда она у него? На все эти вопросы ответ в конце концов придется дать мне — дать

публично. О меджо-рани, сколько времени я презирала тебя! Сегодня пришел и твой черед. Ты будешь отомщена за все. О боже, спаси меня на этот раз, и я сложу свою гордыню к ее ногам.

Не в силах долее оставаться одна, я отправилась во внутренние покои, к меджо-рани. Она сидела в тени на веранде и приготавлила бетель. Увидев рядом с ней Тхако, я на мгновение смутилась, но потом овладела собой, склонилась перед невесткой и взяла прах от ее ног.

— Вот те на! Чхото-рани, что это на тебя нашло? — воскликнула она. — Откуда вдруг такая почтительность?

— Диди, сегодня день моего рождения, — сказала я. — Я часто причиняла тебе зло. Благослови меня, диди, чтобы это больше никогда не повторялось. Я очень глупа.

Я распростерлась у ее ног, поспешно встала и пошла к двери, но она окликнула меня:

— Чхуту, ты никогда не говорила мне, когда день твоего рождения. Приглашаю тебя на обед. Смотри не забудь, дорогая моя, приходи обязательно.

О всевышний, сделай сегодняшней день действительно днем моего рождения! Неужели я не могу снова появиться на свет? О владыка, очисти меня от скверны, испытай меня еще раз!

Я вошла в гостиную почти одновременно с Шондипом. При виде его волна отвращения поднялась в моей душе. Сейчас, в лучах утреннего солнца, лицо его, казалось, потеряло свое волшебное обаяние.

— Уходите отсюда, — не сдержавшись, сказала я.

— Раз уж Омулло нет, — улыбнувшись, возразил Шондип, — полагаю, что вы можете уделить время и мне для тайнственного разговора.

О несчастная! Вот где подстерегала меня гибель! Как отнять у него право, которое я сама же ему дала?

— Я хочу побыть одна...

— Царица, — ответил он, — мое присутствие не может нарушить вашего одиночества. Не смешивайте меня с толпой. Я, Шондип, всегда одинок, даже когда меня окружают тысячи людей.

— Прошу вас, приходите в другое время, сегодня утром я...

— Ждете Омулло?

Едва владея собой, я повернулась, чтобы выйти из комнаты, но в эту минуту Шондип вынул из-под шарфа мою шкатулку с драгоценностями и с шумом поставил ее на мраморный столик.

Я вздрогнула.

— Значит, Омулло не поехал?

— Куда?

— В Калькутту.

— Нет, — ответил Шондип, рассмеявшись.

Спасена! Несмотря ни на что, мое благословение сделало свое дело! Я воровка — пусть я и понесу наказание, какое всевышнему будет угодно послать мне. Лишь бы он пощадил Омулло!

Облегчение, отразившееся на моем лице, не понравилось Шондипу.

— Вы так довольны, Царица? — с ехидной усмешкой заметил он. — Эти украшения так дороги вам? Как же вы хотели принести их в дар богине? Собственно говоря, вы уже сделали это. Неужели вы хотите отнять их теперь?

Гордость не покидает человека даже в самые критические минуты. Я понимала — нужно показать Шондипу, что я ни во что не ставлю эти драгоценности.

— Если они возбуждают вашу жадность — берите их, — сказала я.

— Да, я жаден: я хочу владеть всеми богатствами Бенгалии, — ответил Шондип. — Есть ли на свете сила более мощная, чем алчность? Алчность сильных мира сего так же движет миром, как Айравата — Индрой. Значит, эти драгоценности мои?

Но не успел Шондип завернуть шкатулку в шарф, как в комнату ворвался Омулло. Под глазами у него были синяки, губы пересохли, волосы взлохмачены. Казалось, в один день он утратил все очарование и свежесть юности. У меня сжалось сердце.

Даже не взглянув на меня, Омулло кинулся к Шондипу.

— Так это вы вынули из чемодана мою шкатулку с драгоценностями? — воскликнул он.

— Разве она твоя?

— Нет, но чемодан мой.

Шондип разразился смехом.

— Дорогой Омулло, ты слишком четко разграничиваешь понятия — твое и мое. Сомнений быть не может — ты умрешь религиозным проповедником.

Бросившись в кресло, Омулло закрыл лицо руками.

Я подошла и, положив руку ему на голову, спросила:

— В чем дело, Омулло?

— Диди, мне так хотелось самому вручить вам вашу шкатулку! — сказал он, вставая. — Шондип-бабу знал о моем намерении и потому поспешил...

— Не нужны мне эти драгоценности! Пусть пропадают, какая в том беда?

— То есть как пропадают? — спросил пораженный Омулло. — Почему?

— Драгоценности мои, — вмешался Шондип. — Они — дар, полученный мною от моей Царицы.

— Нет, нет, — как безумный воскликнул Омулло. — Никогда, диди! Я возвращаю их вам, и вы не должны отдавать их никому другому.

— Я принимаю твой дар, брат мой, — сказала я, — а теперь пусть заберет их тот, чья жадность ненасытна.

Омулло взглянул на Шондипа так, словно хотел растерзать его.

— Вы знаете, Шондип-бабу, — едва сдерживаясь, произнес он, — что виселицы я не боюсь. Если вы возьмете шкатулку...

— И тебе, Омулло, пора бы знать, что я не из тех, кого можно запугать, — с деланным смешком сказал Шондип. — Царица Пчела, я пришел сегодня не для того, чтобы взять эти драгоценности, а для того, чтобы вернуть их вам. Я не хотел, чтобы вещь, принадлежащую мне, вы получили из рук Омулло. Чтобы не допустить этого, я решил сперва удостовериться в том, что они действительно мои. Теперь я дарю их вам. Улаживайте свои отношения с этим юношей, а я уйду. Последние дни у вас все время происходят какие-то чрезвычайно важные совещания, участия в которых я не принимаю, так и не пеняйте же на меня, если на вас обрушатся события чрезвычайной важности. Омулло, — продолжал он, — чемодан, книги и другие вещи, которые были у меня, я отправил к тебе домой. В будущем прошу тебя не оставлять ничего у меня в комнате.

И с этими словами Шондип торопливо вышел из комнаты.

— Я не знала покоя, Омулло, — сказала я, — с тех пор как поручила тебе продать драгоценности.

— Почему, диди?

— Я боялась, чтобы ты из-за них не попал в беду, чтобы тебя не заподозрили в краже. Я обойдусь и без шести тысяч. Ты же, Омулло, должен сделать для меня еще одну вещь: отправляйся сейчас же домой, к своей матери.

Омулло вынул из-под чадора сверток и протянул его мне.

— Диди, но ведь я принес шесть тысяч рупий.

— Где ты их взял?

— Я старался достать гинеи, — продолжал он, не отвечая на мой вопрос, — но мне не удалось, я принес банкноты.

— Омулло, поклянись моей жизнью, что скажешь правду — говори, где ты взял деньги?

— Нет, я не скажу вам.

У меня потемнело в глазах.

— Что ты сделал, Омулло? Эти деньги...

— Я знаю, вы скажете, что я добыл эти деньги нехорошим путем. Да, это так. Однако чем страшнее преступление, тем дороже плата за него. Я полной мерой заплатил за свой поступок, и теперь деньги мои.

У меня пропало желание слышать дальнейшие подробности. Кровь застыла в моих жилах, и я вся похолодела.

— Возьми эти деньги, Омулло, — молила я, — и отнеси их туда, откуда взял.

— Это слишком трудно.

— Нет, нетрудно, братик ты мой милый. В недобрый час привела тебя судьба ко мне! Даже Шондип не смог причинить тебе столько зла, сколько причинила я.

Слово «Шондип» словно укололо его.

— Шондип! — воскликнул он. — Только вы показали мне, что он в действительности представляет собой. Знаете, диди, получив тогда от вас шесть тысяч рупий, он не истратил из них ни пайсы. Он вернулся в свою комнату, заперся, высыпал все гинеи из платка на пол, сложил в кучки и стал любоваться ими. «Это не деньги, —

говорил он, — это листья божественного дерева богатства, застывшие обрывки мелодий, которые несутся из флейты, поющей в столице Куберы. У меня не хватает духу обменять их на банкноты. Они должны ожерельем лежать вокруг шеи вечной Красоты, они мечтают об этом. Дорогой Омулло, не смотри на них с вожделением, ведь в этих золотых светится улыбка Лакшми, вся прелесть и очарование супруги Индры. Нет, нет, они не созданы для того, чтобы попасть в руки тупого и грубого управителя, я уверен, Омулло, что он все наврал и что полиции не удалось проследить, кто потопил лодку. Просто он сам хочет на этом поживиться. Надо отобрать у него наши письма». — «Каким образом?» — спросил я. «Силою или угрозой», — посоветовал Шондип. «Согласен, — отвечал я, — я сделаю это, но только при условии, что мы возвратим гиней Царице». — «Там видно будет», — сказал Шондип. Долго рассказывать о том, как мне удалось запугать управителя, отобрать у него письма и сжечь их. В ту же ночь я отправился к Шондипу и сказал: «Теперь мы в безопасности, отдайте гиней мне, завтра поутру я верну их диди». — «Что за фантазия пришла тебе в голову? — закричал он, — кажется, сари твоей драгоценной диди затмило тебе всю страну! Прочти «Банде Матарам!» — это изгонит злого духа из твоего сердца». Вы ведь знаете, диди, какой силой внушения владеет Шондип. Гиней остались у него, а я провел ночь на берегу пруда, повторяя «Банде Матарам».

После того как вы поручили мне продать драгоценности, я снова зашел к нему. Я видел, что Шондип злится на меня, хотя он и старался не показывать виду. «Если ты обнаружишь в каком-нибудь из ящиков золото — можешь забрать его», — сказал он и бросил мне прямо в лицо связку ключей. Нигде ничего не было. «Скажите, где вы спрятали их?» — спросил я. «Это я тебе скажу, когда увижу, что ты справился со своей дурацкой влюбленностью, не раньше».

Я убедился, что его ничем не поколеблешь и что надо искать другого выхода. Потом я пытался обменять у него на гиней свои банкноты. Он обманул меня, сказав, что идет за золотом, а сам сломал замок моего чемодана, вынул оттуда шкатулку с драгоценностями и

через другую дверь отправился прямо к вам. Он помешал мне самому отнести их вам и еще смеет утверждать, что драгоценности — его дар! Если бы вы знали, какой радости он меня лишил. Этого я ему никогда не прощу. Но зато, диди, теперь он потерял всякую власть надо мной. И этим я обязан вам.

— Если это правда, братик, значит, моя жизнь уж не совсем бессмысленна. Но это далеко еще не все. Мало того, что рассеяны чары, надо смыть позор, запятнавший нас. Не медли, Омулло, сейчас же отправляйся и возврати деньги туда, откуда ты взял их. Неужели ты не сможешь выполнить мою просьбу, дорогой брат?

— Если вы благословите меня, диди, я все смогу сделать.

— Помни, что, возвратив деньги, ты искупишь не только свою вину, но и мою. Я — женщина, и мне не полагается покидать свой дом, иначе я не пустила бы тебя, а пошла сама. Самое тяжкое наказание для меня — это то, что я должна взвалить на твои плечи бремя своего греха.

— Не говорите так, диди. Я по собственной воле вступил на путь, которым шел до сих пор, — меня он привлек своими опасностями и трудностями. Теперь, диди, вы зовете меня встать на ваш путь, и, хоть, может, он будет для меня во сто крат тяжелее, я избираю его. Взяв прах от ваших ног, я бесстрашно пойду вперед и достигну цели. Итак, вы приказываете мне вернуть деньги?

— Это не мой приказ, дорогой, а воля всевышнего.

— О! С меня достаточно, что я узнал об этой воле из ваших уст. Только вот что, диди, ведь вы, кажется, приглашали меня к себе. Я не хочу упускать такой случай. Вы должны дать мне прощад, прежде чем я отправлюсь туда. А я сделаю все, что в моих силах, чтобы сегодня же вечером исполнить свой долг.

На глазах у меня выступили слезы, но я все же попыталась улыбнуться и сказала:

— Да будет так!

Однако не успел Омулло уйти, как я пала духом. На какую опасность послала я его? Ведь он единственный сын у матери! Боже, зачем ты делаешь таким тяжким

искупление моего греха! Неужели недостаточно, чтобы страдала одна я? Зачем ты заставляешь стольких нести мой грех? Не допусти, чтобы жертвой твоего гнева пал этот невинный юноша.

— Омулло, — крикнула я, желая возвратить его.

Мой голос прозвучал очень слабо, и Омулло не услышал его. Подбежав к двери, я снова позвала:

— Омулло!

Омулло не было.

— Слуга, слуга!

— Что угодно, рани-ма?

— Позови Омулло-бабу.

Я так и не поняла, что, собственно, случилось — возможно, слуга не знал Омулло — во всяком случае, он вернулся почти сразу, с ним шел Шондип.

— Когда вы меня прогоняли, я знал, что вы снова позовете меня обратно, — сказал он, входя в комнату. — Одна и та же луна вызывает прилив и отлив. Я был настолько убежден, что вы позовете меня, что остался ждать на веранде. Как только из вашей комнаты появился слуга, я поспешно вскочил и, прежде чем он вымолвил слово, воскликнул: «Хорошо, хорошо, я иду, я сейчас же иду!» Этот чужак совершенно оторопел, решив, очевидно, что тут не обошлось без колдовства. О Царица Пчела, всякая борьба в этом мире — это, в сущности, столкновение сильных личностей. Чары против чар — и оружием при этом можно пользоваться явным и скрытым. Наконец-то я нашел себе достойного противника. В вашем колчане много стрел, о искусная воительница! Во всем мире вы одна могли решиться по своему усмотрению то высылать Шондипа из комнаты, то снова призывать его. Ну что ж, жертва лежит у ваших ног, скажите, что вы с ней намерены делать? Лишить жизни или посадить в клетку? Но разрешите мне предостеречь вас, Царица: дикого зверя одинаково трудно и убить, и запереть в клетку. Во всяком случае, советую вам не медлить и пустить в ход свое волшебное оружие.

Шондип, без сомнения, чувствовал, что надвигается момент, когда он должен будет признать окончательное

поражение, и, стараясь выиграть время, говорил без умолку. Он, конечно, слышал, что посланный мною слуга называл имя Омullo, и тем не менее счел возможным разыграть эту комедию. Поток слов он стремился помешать мне сказать, что я звала не его, а Омullo. Но все его хитрости были напрасны. Я отчетливо видела его слабость и решила не отступать ни на шаг от завоеванных мною позиций.

— Шондип-бабу, меня просто поражает, как вы можете столько времени говорить без всякой передышки. Вы что, выучиваете свои речи наизусть заранее?

Лицо Шондипа мгновенно покраснело от злости.

— Я слышала, что профессиональные ораторы всегда имеют при себе тетрадки с речами на все случаи жизни. У вас тоже есть такая тетрадка?

— Всевышний щедро наделил вас, женщин, кокетством, — процедил сквозь зубы Шондип. — Кроме того, в вашем распоряжении имеются портные, ювелиры и так далее. Однако не думайте, что и мы, мужчины, так уж беспомощны...

— Загляните-ка лучше в свою тетрадку, Шондип-бабу. По-моему, вы забыли слова и все перепутали. Это случается... когда вызубриваешь что-нибудь наизусть.

Шондип не выдержал:

— Вы, вы смеете меня оскорблять! — загремел он. — Да ведь я вижу вас насквозь! Вы...

Больше он ничего не мог вымолвить.

Шондип подобен чародею, который лишается сил в тот момент, когда перестают действовать его чары. Властелин превратился в неотесанного мужлана. О, сколь радостно быть свидетельницей его поражения! Чем грубее и резче становились его слова, тем сильнее заливала меня волна радости. Удав разжал свои кольца, и я получила свободу! Спасена! Будьте грубы, оскорбляйте меня, — в этом проявляется ваша подлинная натура, только прошу вас, не пойте мне хвалебных песнопений — в них ложь.

В эту минуту в комнату вошел муж. Шондип не сумел, как обычно, мгновенно овладеть собой, и несколько секунд муж в изумлении смотрел на него. Случись это несколько дней тому назад, я сгорела бы со стыда, сегодня

же я радовалась. Мне было все равно, что может подумать муж, — я хотела раз и навсегда покончить со своим ослабевшим противником.

Видя, что мы оба натянуто молчим, муж помедлил немного и сел в кресло.

— Я искал тебя, Шондип, — начал он, — и мне сказали, что ты здесь.

— Да, я здесь. Царица Пчела еще утром вызвала меня, — сказал Шондип, отчеканивая каждое слово. — И я, скромный труженик улья, по ее приказу бросил все и явился сюда.

— Завтра я еду в Калькутту. Ты поедешь со мной.

— Почему? — возразил Шондип. — Разве я вхожу в твою свиту?

— Ладно, будем считать, что в Калькутту едешь ты, а я сопровождаю тебя, — ответил муж.

— Мне нечего делать в Калькутте.

— Поэтому-то тебе и нужно ехать туда. Здесь у тебя слишком много дел.

— Я не двинусь с места.

— Тогда тебя сдвинут.

— Насильно?

— Да, насильно.

— Ладно, в таком случае придется ехать. Но ведь мир не исчерпывается Калькуттой и твоими поместьями. На карте есть и другие места.

— Судя по твоему поведению, трудно было поверить, что на свете есть иные места, кроме моих владений.

Шондип встал.

— Человек порой оказывается в таком положении, когда весь мир заключается для него в маленьком клочке земли, — сказал он. — Я, например, познал вселенную, не выходя из твоей гостиной, вот почему я так засиделся здесь. — Затем он повернулся ко мне: — Царица Пчела, никто, кроме вас, не поймет меня, возможно, не поймете и вы. Низко кланяюсь вам. Я уйду, унося в сердце преклонение перед вами. С тех пор как я увидел вас, мой лозунг изменился. Теперь уж я не говорю: «Привет матери», а «Привет возлюбленной» и «Привет волшебнице»! Мать охраняет нас от гибели, возлюбленная же толкает к ней, но и гибель от ее руки прекрасна. Это

вы заставили меня услышать звон запястий танцующей смерти. Это вы заставили меня, своего преданного слугу, новыми глазами взглянуть на нашу родину Бенгалию, «многоводную, плодородную, овеваемую прохладным ветерком». О, у вас нет жалости! Идите, волшебница, принесите чашу с ядом, и я осушу ее, для того ли, чтобы умереть мучительной смертью, для того ли, чтобы победить смерть и жить в веках.

— Да, — продолжал он, — времена царствования Матери миновали. Любимая! Истина, справедливость, само небо — ничто перед вами! Долг, обязанности превратились в пустой звук, оковы законов и правил упали с меня. Любимая! Я мог бы предать огню весь мир, кроме того клочка земли, на которой ступала ваша изящная ножка, и исполнить неистовый танец на пепле пожарища. Благородные люди, хорошие люди! Они хотят всем делать добро, словно это и есть истина. Нет, нет! Истиной владею лишь я один, эта истина в вас. Я склоняюсь перед вами. Страсть к вам сделала меня жестоким, а преклонение перед вами зажгло во мне огонь разрушения. Я не праведник! Я не верю ни во что! Для меня на земле нет ничего святого. Я почитаю лишь ее одну — ту, что стала для меня выше всего на свете!

Поразительно! Совсем недавно я ненавидела его всем сердцем. Но то, что казалось мне кучкой холодной золы, вспыхнуло вдруг ярким пламенем. Без всякого сомнения, огонь, пылающий в его душе, был истинным. О, зачем бог создал человека таким сложным? Разве лишь затем, чтобы показать свое сверхъестественное мастерство? Всего лишь несколько минут тому назад я считала, что Шондип, бывший когда-то в моих глазах властелином, годится теперь разве что в герои бродячей труппы. Но это не так, нет, не так! И под пышным театральным костюмом может биться сердце истинного владыки. Оно скрыто под бесчисленными покровами грубости, алчности, фальши. Но все же, все же... Мы не поняли его до конца, как, впрочем, не можем понять и самих себя. Человек — удивительное создание! Только Шива знает, для какой таинственной цели живет человек. Мы же сгораем от внутреннего огня. Разрушение! Шива — бог разрушения! Он — воплощение радости! Он и освободит нас от наших оков!

Снова и снова думаю я, что во мне живут два разных человека. Один из них в ужасе отшатывается от Шондипа, который представляется ему воплощением страшного бога разрушения, другой же в упоении тянется к нему. Тонущий корабль увлекает за собой на дно всех, кто находится поблизости от него. Шондип обладает той же губительной силой. Он — как водоворот, его притяжение неодолимо, он овладевает вами прежде, чем вы почувствуете спасительный страх, и в мгновение ока заставляет отбросить прочь повседневные заботы, твердо сложившиеся привычки, властно отрывает от неба, добра и света, от всего, что дорого и необходимо, и увлекает за собой на дно — туда, откуда нет спасения! Он прислан к нам из царства бедствий, он проходит по дорогам нашей страны, бормоча кощунственные мантры, и девушки и юноши со всех сторон стекаются к нему. Мать, обитающая в лотосе сердца Бенгалии, рыдает: они взломали двери кладовой, где хранился нектар, и пируют, наполняя чаши пьянящим напитком. Они льют на землю драгоценные вина, приготовленные ею для богов, и вдребезги разбивают древние сосуды. Я всей душой сочувствую ей, но у меня нет сил противостоять общему возбуждению — оно захватывает и меня.

Сама истина послала нам столь суровое испытание, чтобы проверить, по-прежнему ли мы преданы ее заветам. Драпируясь в божественные одежды, пляшет перед паломниками хмельная радость и говорит: «Безумцы, зачем вы вступили на бесплодный путь аскетизма! Этот путь длинен и долог. Меня послала к вам сама повелительница бога Индры. Я готова принять вас! Я прекрасна, я страстна, в моих мгновенных объятиях вы познаете радость исполнения желаний!»

Немного помолчав, Шондип снова обратился ко мне.

— Настало время мне покинуть вас, богиня. Так надо! Я выполнил свое назначение. Если задержусь здесь еще, все, чего мне удалось достичь, постепенно погибнет. Движимые алчностью, мы перестаем по-настоящему ценить то, что прекраснее и выше всего на свете, и в результате теряем все. Вечное может в один миг стать незначительным и пустым, если растянуть мгновение. Мы едва не погубили наше мгновение, в котором заключена вечность. Лишь сверкнувшая по вашей воле молния спасла нас от

этого. Вы решили вступить, чтобы сохранить чистоту и непорочность служения вам, — своим поступком вы спасли и того, кто преданно служил вам. Сейчас, в момент прощанья, я отчетливо вижу, что преклонение перед вами — самое святое, что есть у меня в жизни. Отныне и я возвращаю вам свободу, богиня! Мой скромный храм не может дольше вмещать мои чувства — он каждую секунду грозит развалиться. Теперь я помещу ваше изображение в просторном, прекрасном храме и там буду прославлять вас. Только когда между нами ляжет расстояние, я почувствую, что вы действительно принадлежите мне. Здесь я знал только вашу доброту, там я стану вашим избранником.

На столе стояла шкатулка с моими драгоценностями. Я подняла ее кверху и, протягивая Шондипу, сказала:

— Я вверяю свои драгоценности вам. Положите их к ногам той, кому я поклоняюсь, той, кому я обещала их в дар.

Муж молчал. Шондип вышел из комнаты.

Только я собралась делать пирожки для Омулло, как в комнату вошла меджо-рани.

— Что это, чхуту, — воскликнула она, — да ты, никак, решила сама себе угощение готовить в день своего рождения?

— Будто уж мне совсем некого угостить?

— Ну, сегодня тебе не полагается заботиться об угощении для других. Это наша обязанность. Я как раз собиралась взяться застряпню, а тут вдруг эти потрясающие новости! Я просто в панике — шайка в пятьсот или шестьсот разбойников напала на одну из наших контор и похитила шесть тысяч рупий. Все уверены, что теперь разбойники явятся грабить наш дом.

Я почувствовала большое облегчение. Так, значит, это были наши деньги. Надо сейчас же позвать Омулло, я скажу, чтобы он немедленно вернул шесть тысяч рупий мужу, предоставив мне давать необходимые объяснения.

— Не пойму я тебя, — удивленно сказала меджо-рани, заметив радостное выражение моего лица. — Ты что, правда, ничего не боишься?

— Я просто не верю этому, — ответила я. — Ну, зачем им понадобилось бы нападать на наш дом.

— Не веришь? А кто бы мог поверить, что ограбят нашу контору?

Не отвечая, я занялась начинкой пирожков. Меджорани долго смотрела на меня, потом сказала:

— Ну, я пошла. Разыщу братца и попрошу его вынуть наши шесть тысяч из сейфа и отправить их в Калькутту, пока не поздно.

Не успела меджорани удалиться, как я бросила свои пирожки на произвол судьбы и стремглав помчалась в комнату, где хранились деньги. Куртка мужа, в кармане которой лежали ключи, все еще висела там — он стал так рассеян. Я сдернула с кольца ключ от сейфа и спрятала его в складках своего сари.

Снаружи постучали.

— Я переодеваюсь, — крикнула я в ответ.

Меджорани рассуждала за дверью:

— Только что готовила пирожки, а сейчас уже переодевается! Что она еще готовится выкинуть, интересно знать! Опять, что ли, собрание этих «Банде Матарам» у них сегодня? Эй, Деби Чоудхурани! — закричала она мне через дверь, — ты что там — выручку от налета подсчитываешь, а?

Когда они ушли, я, сама не знаю зачем, осторожно открыла сейф. Возможно, в глубине души теплилась надежда, что все случившееся — сон и что, выдвинув внутренний ящичек, я найду там аккуратно сложенные столбики золотых. Увы! Ящик так же пуст, как истина в устах лжеца.

Мне пришлось завершить комедию переодевания и даже причесаться по-новому без всякой надобности. При виде меня меджорани фыркнула:

— Сколько раз ты еще намерена сегодня переодеваться?

— Но ведь сегодня день моего рождения, — ответила я.

— Ты это рада сделать по всякому поводу, — заметила невестка, рассмеявшись. — Видела я кокеток, но ты им всем сто очков вперед дашь!

Пока я собиралась послать слугу за Омулло, мне подали написанную карандашом записку от него.

«Диди, — писал он, — вы приглашали меня к себе, но я решил сперва выполнить ваш приказ, а затем уж принять угощение из ваших рук. Вернусь я, возможно, поздно».

Кому собирается он вернуть деньги? В какую еще ловушку может угодить этот бедный мальчик? О, несчастная, выпустить Омулло, как стрелу из лука, ты могла. Ну, а что, если стрела не попадет в цель, как ты вернешь ее обратно?

Я должна была сразу же признаться, что сама виновата во всем. Но ведь вся жизнь женщины основана на доверии к ней окружающих, на этом покоится ее мир. И если окажется, что она злоупотребила доверием, сохранить свое место в этом мире для нее уже невозможно. Препятствие разлетается вдребезги, и пол устилают осколки, по которым ей придется ходить отныне до конца дней своих. Грешить легко, но искупить грех невероятно трудно, особенно женщине.

Последнее время мне вообще стало трудно разговаривать о чем-либо с мужем. Как же я могла вдруг явиться к нему со своим потрясающим сообщением. Сегодня он пришел обедать с большим опозданием, около двух часов дня, и был настолько озабочен, что почти ничего не ел. А я утратила даже право уговаривать его есть побольше. Отвернувшись, я молча утирала глаза краем сари.

Мне так хотелось сказать ему: «Ты выглядишь очень усталым — пойд и отдохни в спальне». Но только я набралась духу заговорить с ним, как вошел слуга.

— Инспектор полиции привел стражника Касема, — доложил он.

Муж с расстроенным видом поспешно встал и вышел, так и не кончив обедать. Через несколько минут появилась меджо-рани.

— Почему ты не дала мне знать, когда пришел братец? Я решила искупаться, раз он задержался. Когда же он...

— А зачем он тебе?

— До меня дошли слухи, что вы оба завтра уезжаете в Калькутту. Так я тебе прямо скажу — я здесь не останусь. Боро-рани и не собирается расставаться со своим

Радхаваллабха Тхакуром. Ну, а я не намерена сидеть взаперти в пустом доме и прислушиваться к каждому шороху. Это окончательно решено, что вы уедете завтра?

— Окончательно, — ответила я.

Как знать, какой оборот примут события еще до наступления завтрашнего дня, — промелькнуло у меня в голове, — может быть, нам будет безразлично — ехать ли в Калькутту или оставаться. Я не могла себе представить, что станется с нашей семьей, жизнью, — будущее было зыбким и неясным, как сновидение. Через несколько часов решится моя судьба. Неужели никто не в состоянии остановить бег времени и дать мне возможность исправить все, что в моих силах, или хотя бы подготовить себя и близких к надвигающемуся удару.

Подобно семенам, лежащим глубоко в земле, таятся невидимые предвестники грядущих катастроф. Они никак не обнаруживают себя и ни у кого не вызывают страха. Но приходит день, и крошечный росток подымается над землей и начинает быстро тянуться вверх. И тогда его уже не закрыть ни краем сари, ни грудью, не заслонишь самой жизнью.

Я решила ни о чем больше не думать и молча ждать своей участи. Через два дня все будет позади: огласка, насмешки, слезы, вопросы и объяснения — все!

Но я не могу забыть прекрасного, светящегося преданностью лица Омупло. Уж он-то не ждал с покорным отчаянием своей судьбы, а с головой бросился в пучину опасности. Я — ничтожная женщина, склоняюсь к его ногам. О, юный бог, он решил спасти меня: шутя и смеясь, он взвалил на свои плечи тяжесть моего греха и уготованную мне кару. Но найду ли я в себе силы перенести столь суровое милосердие всевышнего?

Я благоговейно склоняюсь перед тобой, мой сын, мой брат! Ты чист, прекрасен и смел! Я благоговейно склоняюсь перед тобой и молю небеса, чтобы в следующем рождении я могла бы прижать тебя к груди, как свое родное дитя.

Слухи разрастаются с каждой минутой. В доме толчется полиция; слуги и служанки взбудоражены.

Ко мне пришла моя служанка Кхема и попросила спрятать в сейф ее золотые кольца и браслеты. И ни-

кому не скажешь, что сеть всех этих волнений и тревог сплетена руками чхото-рани, которая сама же в нее и попала. Пришлось играть в добрую покровительницу и прятать украшения Кхемы и сбережения Тхако. Наша молочница тоже принесла коробку, в которой лежали бенаресское сари и другие ценные вещи.

— Это сари, рани-ма, я получила в подарок на вашей свадьбе, — сказала она.

Когда завтра откроют сейф в нашей комнате, Кхема, Тхако, молочница... Ох, лучше не думать... Лучше представить себе, что будет в этот же день — в середине января — через год. Затянутся ли, заживут ли к тому времени раны моей семейной жизни?

Омулло обещал прийти ко мне вечером. Я не находила себе места от нетерпения и снова занялась пирогами. Я нажарила уже целую гору, но остановиться не могла. Кто будет их есть? Вечером я угощу ими всю прислугу. Сегодня еще мой день, мой последний день. Завтра уже не в моей власти.

Без устали жарила я один пирожок за другим. Иногда мне казалось, что сверху, из моей комнаты, доносится какой-то шум. Быть может, муж хочет открыть сейф и ищет ключ и меджо-рани созвала всех слуг помогать ему в поисках. Не надо обращать внимания. Лучше поплотнее закрыть дверь.

Вдруг в комнату влетела Тхако. Задыхаясь, она воскликнула:

— Чхото-рани-ма!

— Иди, иди, — сердито вскричала я, — не мешай мне!

— Меджо-рани послала за вами, — продолжала Тхако. — Какую машину привез из Калькутты ее племянник Нондо-бабу! Ну прямо как человек говорит. Вы только послушайте!

Плакать мне или смеяться? Не хватало еще тут гнусающего граммофона! Как ужасно, когда машина начинает подражать человеку!

Сумерки опустились на землю. Я не сомневалась, что Омулло непременно даст мне знать, как только вернется, и все же сгорала от нетерпения. Вызвав слугу, я приказала ему сходить за Омулло. Слуга скоро вернулся и сообщил: «Омулло-бабу нет!»

В ответе слуги не было ничего особенного, но он резанул меня по сердцу. Омулло-бабу нет! В сгущающемся вечернем полумраке слова эти прозвучали как сдавленное рыдание. Нет! Его нет! Словно золотой луч заходящего солнца, он появился и исчез! Сколько всяких несчастий представлялось мне. Это я послала его на смерть. Ну и что ж из того, что он смело отправился исполнять мое приказание, — это лишь доказывает его благородство. Но как же я буду жить после того, что случилось! Как?

У меня не осталось ничего, что напоминало бы мне об Омулло, разве что пистолет — его братский дар. В этом даре, возможно, был перст всевышнего. Мой бог, принявший облик мальчика, вручил мне, прежде чем исчезнуть навсегда, оружие, чтобы я могла покончить с преступлением, так исковеркавшим всю мою жизнь. О, дар любви! В нем заключались милость и спасение!

Открыв ящичек, я достала пистолет и благоговейно поднесла его к виску. В этот самый момент в нашем домашнем храме зазвучал гонг, и я распростерлась на полу, повторяя слова молитвы.

Вечером я угощала пирожками всех домашних.

— Пир ты устроила нам просто замечательный, — сказала меджо-рани, — и все сама, все сама! Но ничего — сейчас и мы тебе доставим удовольствие.

И она завела граммофон, из которого раздался пронзительный, дребезжащий голос певицы. Ее пение походило на радостное ржание, доносящееся из конюшен гандхарвов.

Пир продолжался далеко за полночь. Сильное желание взять прах от ног мужа овладело мною. Я вошла в спальню. Муж крепко спал после волнений и беспокойств минувшего дня. Тихонечко приподняв край полога, я опустила голову к его ногам. По всей вероятности, мои волосы коснулись и зашевелили его, он шевельнулся во сне и слегка задел меня ногой.

Я вышла и села на веранде с западной стороны дома. Поодаль росло тутовое дерево. Все его листья опали, и сейчас, в темноте, оно напоминало скелет. Позади него медленно плыл по направлению к горизонту молодой месяц. И вдруг мне показалось, что даже звезды страшатся

меня, что весь огромный ночной мир недоверчиво, с опаской смотрит на меня. Почему? Да потому, что я одна во всем мире. Одинокий человек — что может быть более противоестественного на свете? Одинок не тот, у кого один за другим умирают все родные, — его связь с ними остается, несмотря на преграду, воздвигнутую смертью. По-настоящему одинок тот, кто живет под одной крышей со своими родными, но далек от них, кто стал чужим в своей семье; на него из темноты даже звезды смотрят с содроганием. Я здесь — и меня нет здесь. Я бесконечно далека от всех, кто окружал меня, — нас разделяет пропасть, и над этой пропастью живу я, как капля росы на листе лотоса.

Почему, меняясь, человек не изменяется до конца? Заглянув в свое сердце, я нахожу там все прежние чувства и привязанности, только все они смешались и перепутались. Все, что было аккуратно разложено, сейчас перевернуто, и драгоценные камни моего ожерелья рассыпались в пыли. Мне очень тяжело.

Мне хочется умереть, а в сердце бьется жизнь. Кроме того, я не верю, что смерть принесет конец всему. Скорее всего, она принесет еще более тяжкие мучения. Нет, то, с чем суждено покончить, должно быть кончено при жизни — иного пути нет.

Боже, молила я, прости меня! Прости только на этот раз! Ты дал мне счастье, я же приняла его как жизненное бремя. Я больше не в состоянии его нести, но и сбросить не могу. Боже, сделай так, чтобы я еще раз услышала дивные звуки флейты — той, что пела мне в далекие дни, когда только начинали розоветь облака на заре моей юности. Сделай так, чтобы все трудное, сложное стало простым и ясным! Ничто, кроме звуков твоей флейты, не может скрепить разбитое, сделать чистым запятнанное. Так создай же сызнова мой очаг своей волшебной мелодией! Иного выхода я не знаю.

Я ничком упала на землю и горько зарыдала. Я молила бога о милосердии, о капле милосердия. Я молила о защите, о знаке прощения, о скромном луче надежды — надежды, что все еще в моей жизни может исправиться. «О создатель, — в исступлении шептала я, — день и ночь я буду лежать здесь, не принимая ни воды,

ни пищи, и ждать, пока ты не дашь мне своего благословения».

Вдруг я услышала шаги. Сердце забилося сильнее. Кто сказал, что бога нельзя увидеть? Я не решалась поднять глаза, чтобы не спугнуть его. Приди, о приди же ко мне! Коснись своей стопой моей головы, моего трепещущего сердца, владыка, и дай мне умереть в это мгновение!

Он подошел и опустился на землю рядом со мной. Мой муж! Мое «я» в его сердце, вероятно, содрогалось от слез. Мне показалось, что я теряю сознание. Затем страдание, скопившееся в душе, прорвалось и бурным потоком слез хлынуло наружу. Я прижала ноги мужа к своей груди, — как бы я хотела, чтобы их отпечаток сохранился навеки!

Настала минута открыться во всем. Но как? Слова застревали у меня в горле.

Муж ласково погладил меня по голове. Я приняла его благословение. Теперь у меня хватит сил вынести публичный позор, который ждет меня завтра, я смиренно приму заслуженную кару и с чистым сердцем сложу ее к стопам своего владыки.

Но одна мысль не перестает мучить меня — неужели никогда больше в этой жизни не зазвучит для меня мелодия флейты, сопровождавшая меня девять лет тому назад, когда я готовилась переступить порог дома мужа. Существует ли наказание достаточно суровое, чтобы искупить мою вину и дать мне возможность снова занять священное место невесты! Сколько потребуются дней, столетий, эпох, чтобы снова повторился день, который я пережила девять лет назад!

Всевышний создает новое, но в состоянии ли он восстановить разрушенное?

РАССКАЗ НИКХИЛЕША

Сегодня мы уезжаем в Калькутту. Жизнь становится тяжким бременем, если ее тревоги поглощают вас целиком. Не надо сидеть на одном месте, не надо накапливать тревоги в сердце. Впрочем, я ведь и не хозяин дома, а всего лишь случайный прохожий на дороге жизни. Не мне сно-

сильные удары судьбы и ждать, пока не грянет последний — смерть. Нет, наш союз с тобой, Бимола, — всего лишь союз двух путников. Пока у нас был один путь, все было хорошо, но, если мы будем стараться сохранять наш союз и впредь, он только стеснит нас. Сегодня мы сбрасываем его оковы и снова в путь. Вполне достаточно, если иногда мы сможем мимоходом обменяться взглядом или коснуться рукой руки другого. А дальше? Дальше нам откроется бесконечно широкая дорога, и вечный поток жизни подхватит и понесет нас. Разве ты можешь лишиться меня многого, любимая? Стоит мне прислушаться, и до моего слуха откуда-то издали доносится сладостная песня флейты. Божественный нектар Лакшми неиссякаем, — иногда она нарочно разбивает чаши жизни и с улыбкой смотрит на наши слезы. Но я не стану собирать осколки, а пойду вперед с неутоленной жаждой в сердце.

— Братец, — обратилась ко мне меджо-рани, — твои книги упакованы в ящики и готовы к отправке. Скажи, что это значит?

— Это значит, что я очень к ним привязан и не могу с ними расстаться.

— Я бы хотела, чтобы ты был привязан и к кое-чему другому. Неужели ты больше не вернешься сюда?

— Я буду приезжать, но оставаться здесь надолго больше не хочу.

— Правда? Знаешь что, пойдём ко мне, и я покажу тебе, к скольким вещам я привязана.

С этими словами меджо-рани повела меня к себе.

Ее комната была заставлена всевозможными сундуками, узлами и ящиками. Приоткрыв один из них, она показала мне все необходимое для приготовления бетеля.

— Вот бутылочка с ароматическим порошком, а здесь, в металлических коробочках, разные пряности. Вот карты. Я не забыла и шахматной доски: я найду себе партнеров, если вы оба будете там слишком заняты. Вот гребешок, ты помнишь его? Это один из гребней свадеши, который ты подарил мне, а это...

— Но в чем дело, меджо-рани? Зачем ты собрала эти вещи?

— Я еду в Калькутту вместе с вами.

— Как?

— Не бойся, братец, не бойся. Я не собираюсь ни соблазнять тебя, ни ссориться с чхото-рани. Рано или поздно всем приходится умирать, поэтому, пока есть время, лучше устроиться на берегу Ганги. При мысли о том, что меня могут сжечь под нашим старым баньяном, я испытываю настоящий ужас. Поэтому я и не хотела умирать до сих пор и раздражала вас своим присутствием.

Наконец-то я услышал настоящий голос своего домашнего очага. Меджо-рани вошла в наш дом невестой, когда ей было всего девять лет, а мне только что исполнилось шесть. В жаркий полдень, прячась в тени под высокой стеной, мы играли с ней в разные игры. В саду я взбирался на манговое дерево и срывал незрелые плоды, а она сидела на земле, крошила манго, приправляла их перцем, солью и душистыми травами, приготавливая совершенно несъедобное блюдо. Все обязанности по добыванию из кладовой продуктов, необходимых для празднования кукольной свадьбы, лежали на мне, так как бабушкин свод наказаний не предусматривал для меня никаких кар. Я же бегал с ее поручениями к старшему брату, когда меджо-рани нужно было выпросить у мужа что-нибудь из ряда вон выходящее, — я умел так пристать к нему, что в конце концов он соглашался на все. Как-то я заболел лихорадкой, и в течение трех дней врач разрешал мне только подогретую воду и засахаренные зерна кардамона. Меджо-рани не могла видеть моих лишений и несколько дней тайно доставляла мне всякие вкусные вещи. И досталось же ей, когда ее поймали как-то на месте преступления! А затем, когда мы подросли, наша дружба перешла в привязанность более нежную, более интимную, у нас бывали и ссоры — и какие! Случалось, что интересы наши сталкивались, вызывая подозрительность, ревность, порой даже вражду. С появлением в доме Бимолы разрыв, казалось, должен был стать неизбежным. Но целительные силы, дремавшие на дне души, легко затягивали трещинки,

образовавшиеся на поверхности. Отношения, сложившиеся с детства, окрепли и выросли, обвивая, словно плющ, весь дом, стены двора, крытые веранды, сад. И сейчас, когда я увидел, что меджо-рани собрала и уложила все свои пожитки и готовится покинуть наш дом, сердце мое больно зануло, словно кто-то до предела натянул нити, связывающие нас, желая оборвать их. Я хорошо понимал, почему решила устремиться навстречу неведомому меджорани, которая переступила порог нашего дома девятилетней девочкой и с тех пор ни разу не покидала его, свыклась с его укладом, сроднилась с ним и вряд ли представляет себе жизнь за его стенами. Но она, конечно, никогда не скажет мне истинной причины своего желания уехать и будет приводить всякие пустые доводы.

Во всем мире, кроме меня, у нее не осталось никого близкого. И эта обиженная судьбой, рано овдовевшая, бездетная женщина вкладывала в свое чувство ко мне всю нежность, накопившуюся в ее сердце. Только стоя в ее комнате, среди разбросанных ящиков и узлов, я по-настоящему понял всю глубину горя, которое причиняла ей самая мысль о возможности разлуки. Я отлично сознавал, что в основе ее мелочных ссор с Бимолой и столкновений из-за денег лежало вовсе не корыстолюбие — просто ей было трудно примириться с тем, что попираются ее права на единственного близкого ей человека, что слабеют узы их дружбы, и все это потому, что между ними встала неизвестно откуда взявшаяся женщина. Ее самолюбие страдало на каждом шагу, но она не могла и не должна была жаловаться.

Бимола тоже понимала, что права, которые предъявляет на меня меджо-рани, основываются не только на наших родственных отношениях, что корни их уходят гораздо глубже. Потому-то она так ревниво относилась к нашей дружбе, возникшей еще в детские годы.

На душе у меня было тяжело. Я опустил на сундук и сказал:

— Диди, как бы мне хотелось вернуть дни, когда мы впервые встретились здесь.

— Нет, брат, я не хотела бы снова пережить свою жизнь, — сказала она, глубоко вздохнув. — В облике

женщины — ни за что! Пусть уж те страдания, которые мне пришлось перенести, окончатся в этой жизни. Начать все снова у меня просто не хватило бы сил.

— Свобода, к которой приходят путем страданий, искупает их, — заметил я.

— Возможно, братец. Вы — мужчины, для вас и существует свобода. А мы, женщины, любим связывать других — для этого мы и сами можем надеть оковы. О, вам нелегко освободиться из наших сетей. Если вам непременно нужно расправить крылья и улететь, приходится брать с собой и нас — мы отказываемся сидеть на месте. Поэтому-то я и упаковала столько сундуков. Разве можно отпускать тебя в путь совсем налегке?

— Твою ношу легко унести, — улыбнулся я. — И если уж мужчины не жалуются на свое бремя, то, по всей вероятности, женщины, которые заставляют их нести тяжелую ношу, щедро вознаграждают их за это.

— Вы не жалуетесь на тяжесть, потому что наш груз складывается из всяких мелочей. Но если вы хотите отбросить хоть какую-нибудь из них, женщина начинает убеждать вас, что именно эта мелочь ничего не весит. Вот при помощи этих пустячков мы и угнетаем вас. Так когда же мы едем, братец?

— В половине двенадцатого ночи. У нас еще много времени.

— Вот что, братец, дорогой, послушай хоть раз в жизни моего совета: ляг отдохнуть сегодня после обеда и выспись хорошенько. Ведь ночью в поезде ты не поспишь как следует. Ты так скверно выглядишь, кажется — еще немного, и совсем свалишься. Пойдем, сначала тебе надо искупаться.

Мы пошли на мою половину, но по дороге нам встретилась Кхема. Она плотно укуталась в свое покрывало и умоляющим шепотом сообщила мне:

— Господин полицейский инспектор кого-то привез, он хочет видеть махараджа.

— Разве махарадж вор или разбойник, что инспектор от него не отстаёт? — вспылила меджорани. — Пойди скажи инспектору, что махарадж пошел купаться.

— Дай только схожу и узнаю, в чем там дело, — сказал я, — может быть, что-нибудь срочное.

— Не к чему! — решительно возразила она. — Вчера чхото-рани напекла целую гору пирожков, сейчас пошлю несколько инспектору, это поможет ему скоротать время, пока ты купаешься.

С этими словами она втокнула меня в ванную комнату и закрыла за мной дверь.

— Мое чистое платье! — взмолился я изнутри.

— Сейчас достану, ты пока купайся.

Я не нашел в себе сил противиться такому деспотизму, это не слишком частое явление на свете. Пусть так, пусть полицейский инспектор лакомится пирожками, с делом можно и повременить. Последние дни полиция усердствовала вовсю — не проходило и дня, чтобы ко мне не приводили какого-нибудь человека, подозреваемого в краже, который, к величайшему удовольствию окружающих, тут же доказывал свою непричастность к этому делу. По всей вероятности, приволокли еще одного несчастного. Но почему же угощаться пирожками будет один инспектор? Какая несправедливость!

Я начал колотить в дверь.

— Если у тебя начался приступ безумия, облей голову холодной водой, — крикнула мне с веранды меджорани, — это тебе поможет.

— Пошлите пирожков на двсих, — прокричал я через дверь, — наверно, тот, кого инспектор привел сюда как вора, больше их заслуживает. Скажите слуге, чтобы ему положили побольше.

Я поспешно вымылся и вышел из комнаты. У двери на полу сидела Бимола. Неужели это была моя Бимола — гордая, самолюбивая Бимола?! Что привело ее к моим дверям? Я резко остановился. Она встала и, не поднимая глаз, сказала:

— Я хотела с тобой поговорить.

— Так входи, — сказал я.

— Но ты же идешь по какому-то делу?

— Дело подождет, сперва я хочу выслушать...

— Нет, сначала кончай свои дела. Мы поговорим после обеда.

Инспектора я застал уже перед пустым блюдом. Тот же, кого он привел, еще был занят поглощением пирожков.

— Боже мой, — в удивлении воскликнул я, — да ведь это Омулло!

— Совершенно верно, — ответил он с набитым ртом. — Ну, я славно поел! Остальные пирожки, если вы позволите, я возьму с собой.

И он принялся складывать недоеденные пирожки в свой платок.

— В чем дело? — спросил я, глядя на инспектора.

— Махарадж, — ответил он, улыбаясь. — Мы несколько не приблизились к разгадке тайны этой кражи, напротив, мы еще больше запутались.

С этими словами он развязал грязную рваную тряпицу и протянул мне пачку банкнот.

— Вот, махарадж, ваши шесть тысяч рупий.

— Где вы их нашли?

— У Омулло-бабу. Вчера вечером он пришел к управляющему вашей конторы в Чокуйе и сказал: «Похищенные деньги найдены». Когда была совершена кража, управляющий испугался меньше, чем теперь, когда похищенное возвратили. Он боялся, как бы его не заподозрили в том, что он сам стащил деньги, а теперь решил пойти на попятную и выдумывает всякие небылицы, чтобы отвести от себя подозрение. Поэтому он предложил Омулло-бабу покушать, а сам дал знать в полицию. Я отправился туда верхом и вот с раннего утра вожусь с Омулло, который упорно отказывается говорить, откуда у него эти деньги. — «Не скажете — не отпустим вас», — сказал я. — «В таком случае, я придумаю что-нибудь». — «Ну что ж, придумывайте», — согласился я. — «Деньги эти я нашел под кустом». — «Лгать тоже не так-то просто, — сказал я. — Надо все сказать: где тот куст, почему вы оказались около него». — «Не беспокойтесь, — ответил он, — у меня будет достаточно времени все придумать».

— Хоричорон-бабу, — обратился я к инспектору, — а что, если вы зря задержали сына почтенного человека?

— Нибарон Гхошал — отец Омулло — не только весьма почтенный человек. Он мой школьный товарищ, махарадж. Позвольте, я расскажу вам, что, по моему мнению,

произошло. Омулло знает, кто украл, знает, что деньги предназначались для крикунов «Банде Матарам». Он хочет взять вину на себя и спасти другого человека. Это как раз в его духе.

— Вот что, сын мой, — обратился он к Омулло, — и мне было когда-то восемнадцать лет. Я учился в Рипон-колледже. Однажды я чуть не угодил в тюрьму, желая спасти извозчика от лап полицейского. Только случай помог мне избежать тюрьмы. Махарадж, — продолжал он, — настоящему вору, по-видимому, удастся скрыться, но, мне кажется, я знаю инициаторов всей этой истории.

— Кто же они?

— Ваш управляющий Тинкори Дотто и стражник Касем.

Высказав все доводы в пользу своей догадки, инспектор наконец ушел.

— Если ты скажешь мне, кто украл деньги, не страдает никто, — обратился я к Омулло. — Обещаю тебе это.

— Украл я, — ответил он.

— Как же так? А шайка бандитов?

— Я был один.

Омулло рассказал мне поистине удивительные вещи. После ужина управляющий полоскал во дворе рот. Было темно. Омулло имел при себе два пистолета — один с холостым зарядом, а другой с пулями. Лицо его наполовину прикрывала черная маска. Направив свет фонаря прямо в лицо управляющему, Омулло выстрелил в воздух. Управляющий вскрикнул и упал без чувств. Прибежало несколько стражников, но стоило раздаться второму холостому выстрелу, как все они рассыпались в разные стороны и исчезли в доме, заперев за собою двери. Тут прибежал главный стражник Касем с дубинкой в руках, и Омулло пришлось ранить его в ногу. Затем он заставил дрожащего управляющего, который тем временем пришел в себя, открыть сейф и достал оттуда шесть тысяч рупий. Вскочив на коня, он проскакал несколько миль. Потом отпустил коня на волю и к утру преспокойно добрался сюда.

— Зачем тебе понадобилось делать это? — спросил я.

— На это у меня была очень важная причина, — ответил он.

— Почему же ты потом возвратил деньги?

— Позовите ту, которая приказала мне вернуть деньги. При ней я все расскажу.

— Кто это?

— Чхото-рани-диди.

Я послал за Бимолой. Она медленно вошла в комнату, вся закутанная в белую шаль. Ноги ее были босы. Мне показалось, что я никогда не видел мою Бимолу такой. Как луна на заре, она словно вся была окутана прозрачной светлой дымкой.

Омулло повалился в ноги Бимоле и взял прах от ее ног.

— Я пришел, выполнив твое приказание, диди, — сказал он, поднявшись. — Деньги возвращены.

— Ты спас меня, братик, — ответила Бимола.

— Перед моим мысленным взором неотступно стоял твой образ, диди, поэтому я не произнес ни слова лжи, — продолжал Омулло. — Свой бывший девиз «Банде Матарам» я оставил у твоих ног — он мне больше не понадобится. И я даже получил, вернувшись, свою награду — твой прощад.

Бимола смотрела на него в недоумении, не понимая, что он хочет сказать. Омулло вытащил из кармана узелок и, развязав его, показал ей припрятанные пирожки.

— Я съел не все, часть пирожков я оставил, чтобы ты своими руками угостила меня.

Я понял, что я здесь лишний, и вышел из комнаты. Все, на что я способен, — это заниматься разглагольствованием, думал я, а в награду на мое соломенное чучело наденут изодранную гирлянду и сожгут его на берегу реки. Я никого еще не смог уберечь от гибели. Те же, кому дана такая сила, мановением руки достигают этого. В моих словах нет священного огня. Угли у меня в душе не пылают, они подернуты пеплом. Я не способен возжечь пламя светильника. Жизнь моя тому доказательство: мой светильник остался незажженным.

Медленно вернулся я в онтохпур. Возможно, меня тянуло к меджо-рани. Я обязательно должен был убедить себя в том, что и моя жизнь может еще будить ответный звук в струнах чьей-нибудь вины. Замкнувшись в себе, трудно осознать, что ты действительно живешь. Это сознание приходит только от соприкосновения с другой жизнью.

Не успел я подойти к комнате меджо-рани, как она вышла мне навстречу со словами:

— Ну, братец, я ведь говорила, что ты и сегодня удержишься. Не медли более, обед готов, и сейчас его подадут.

— Я пока достану твои деньги.

По дороге в спальню меджо-рани спросила, не сообщил ли инспектор чего-либо нового о краже. Мне почему-то не хотелось рассказывать ей о том, как были возвращены мне шесть тысяч рупий.

— Все вокруг да около, — сказал я довольно уклончиво.

Войдя в гардеробную, я вынул из кармана связку ключей — ключа от сейфа среди них не оказалось. Я стал удивительно рассеян! Сколько ящиков и шкафов отпирал я сегодня и ни разу не заметил отсутствия ключа от сейфа.

— Где же ключ? — спросила меджо-рани.

Не отвечая на вопрос, я тщетно шарил в карманах, по десять раз перетряхивал все вещи. Мы догадывались: ключ не потерян, а кем-то снят с кольца. Но кто мог взять его? В нашей комнате ведь, кроме нас...

— Не волнуйся ты так, — сказала меджо-рани, — пойди сперва поешь. Наверно, чхото-рани, заметив твою рассеянность, спрятала его в свою шкатулку.

Я страшно расстроился. Снять с кольца ключ и ничего не сказать мне было не похоже на Бимола. Сегодня она не присутствовала при моем обеде. Она сама принесла из кухни рис и сейчас у себя в комнате угощала Омулло. Меджо-рани хотела ее вызвать, но я запротестовал.

Не успел я встать из-за стола, как в комнату вошла Бимола. Мне не хотелось начинать разговор о пропавшем ключе при меджо-рани, но... не успела Бимола появиться, как невестка воскликнула:

— Ты не знаешь, где ключ от сейфа братца?

— У меня, — ответила Бимола.

— А я что говорила, — торжествующе воскликнула меджо-рани. — Чхото-рани делает вид, что не боится никаких грабителей, а сама потихоньку принимает кое-какие меры предосторожности!

Я взглянул Бимоле в лицо и сразу понял, что тут что-то неладно.

— Хорошо, пусть ключ останется у тебя, деньги я выну вечером, — заметил я как в ни чем не бывало.

— Зачем же откладывать, — вмешалась меджо-рани. — Вынь их сейчас да отправь в конторский сейф, пока не забыл опять.

— Деньги я уже вынула, — сказала Бимола.

Я остолбенел.

— Где же ты их спрячешь? — спросила меджо-рани.

— Я их истратила.

— О, ма, вы только ее послушайте! — воскликнула невестка. — Как же ты могла истратить столько денег?

Бимола ничего не ответила. Я стоял, прислонившись к двери, и молчал. Меджо-рани хотела как будто что-то еще сказать, но, взглянув на Бимолу, удержалась.

— Ну что ж, истратила так истратила, — сказала она наконец. — Когда мне попадались под руку деньги мужа, я делала то же самое — какой смысл был оставлять их ему, все равно они перекочевали бы в карманы прихлебателей, которые вечно толклись вокруг него. А думаешь, ты, братец, лучше? Каких только способов вы не изобретаете для того, чтобы побыстрее расправиться с деньгами! У нас нет других возможностей уберечь от вас ваши же деньги, как только украсть их у вас. Ну, а теперь пошли. Сейчас же ложись и отдыхай!

Меджо-рани повела меня в спальню, я шел как во сне.

Когда я лег, она села рядом и весело сказала Бимоле:

— Чхуту, угости меня, пожалуйста, бетелем. Что, у тебя нет бетеля? Ты что это — совсем англичанкой заделалась? В таком случае прикажи принести пакетик из моей комнаты.

— Меджо-рани, — вмешался я, — ты же до сих пор ничего не ела.

— Давно уже поела, — солгала она и глазом не моргнув.

Сидя возле меня, она болтала о всяких пустяках. Служанка из-за двери сообщила Бимоле, что обед ее стынет. Бимола не двинулась с места.

— Как, — воскликнула меджо-рани, — ты еще не ела? Это что еще за новости! Пошли, пошли, ведь уже очень поздно!

И она силой увела Бимолу за собой.

Я догадывался, что между похищенными шестью тысячами рупий и деньгами, вынутыми из сейфа, существует какая-то связь. Но меня вовсе не интересовало, что это за связь. И я не собирался об этом допытываться.

Творец лишь намечает контуры нашей жизни, предоставляя нам самим, по своему вкусу, подправлять его наброски и, положив последние мазки, придавать ей тот или иной облик. В своей жизни, очерченной всевышним, я все же мечтал воплотить какую-нибудь великую идею.

Я потратил много усилий. И лишь тот, кто умеет читать человеческие сердца, знает, как обуздывал я свои страсти, как сурово подавлял собственное «я».

Беда, однако, в том, что жизнь человека не принадлежит ему одному. Пытаясь создать ее по-своему желанию, человек обязан считаться со своими близкими, иначе его ждет неудача. Поэтому я всегда лелеял мечту привлечь Бимолу к этому сложному созидательному процессу. Я любил ее всей душой и ни на минуту не сомневался в том, что мне удастся зажечь ее своей мечтой и заручиться ее поддержкой. Однако скоро мне пришлось убедиться, что люди, которые умеют легко и естественно привлечь к процессу «самосозидания» окружающих, принадлежат совсем к иной категории, чем я. В моей душе дремлют таинственные силы, но я никому не могу передать их. Те, кому я предлагал себя и все мне принадлежащее, брали лишь все мне принадлежащее, но не то, что покоится в глубине моей души. Испытание, посланное мне, тяжело! В тот момент, когда мне особенно нужна была помощь и поддержка, я оказывался предоставленным самому себе. Но я верен своему обету — из этого испытания я выйду

победителем. Значит, мне суждено идти одному тернистой тропой, до самого конца своего жизненного пути...

Сегодня в душе моей зародилось сомнение: не сидит ли во мне тиран? Слишком уж настойчиво стремился я вылить наши отношения с Бимолой в какую-то совершенно определенную идеальную форму. Но жизнь человека нельзя отливать по шаблону. Стараясь придать определенную форму добру, как чему-то материальному, мы добиваемся лишь того, что оно гибнет, жестоко мстя нам за наши попытки.

До сих пор я не отдавал себе ясного отчета в том, что именно из-за этой бессознательной тирании мы все дальше и дальше отходили друг от друга. Под моим давлением Бимола не смогла проявить своего истинного «я» и вынуждена была искать потайной выход своим естественным стремлениям. Ей пришлось украсть шесть тысяч, потому что она не могла быть откровенна со мной, потому что знала мою непреклонность в тех вопросах, в которых я расходился с ней.

Люди, подобные мне, одержимые одной идеей, уживаются лишь с теми, кто с ними заодно. Тем же, кто с нами несогласен, волей-неволей приходится нас обманывать. Своим упрямством мы толкаем на извилистые пути жизни даже честных людей и калечим жену, стремясь сделать из нее единомышленника.

Если бы можно было начать все сначала! На этот раз я пошел бы прямой дорогой. Я не старался бы стеснять движения подруги моей жизни путами своих идей, я лишь наигрывал бы ей радостные мелодии на свирели любви и говорил ей: «Ты любишь меня? Так цвести же, верная себе, озаренная светом своей любви. Пусть смолкнут мои настояния, пусть восторжествует в тебе замысел творца, и пусть отступят в беспорядке мои фантазии».

Но в состоянии ли даже природа залечить зияющую рану, которая образовалась из-за наших несогласий, накапливавшихся так долго? Сорвана навсегда завеса, под покровом которой целительные силы природы незаметно делают свое дело. Раны перевязывают. Может быть, и мы сумеем наложить повязку любви на нашу рану, и со временем окажется, что она зарубцевалась и даже шрам исчез навсегда? Но не поздно ли? Сколько времени поте-

ряно в размолвках и недоразумениях — ведь только теперь мы наконец поняли друг друга. И сколько времени еще потребуется, чтобы окончательно изгладить все следы прошлого? А потом? Допустим, что рана затянется, но сможем ли мы восстановить все то, что было разрушено и исковеркано?

Послышался шорох. Я обернулся и увидел сквозь приоткрытую дверь удалявшуюся фигуру Бимолы. По всей вероятности, она долго молча стояла у двери, не решаясь войти в комнату.

— Бимола, — позвал я, поспешно вскочив.

Она вздрогнула и остановилась спиной ко мне. Я подошел, взял ее за руку и ввел в комнату.

Она кинулась лицом в подушку и зарыдала. Не выпуская ее руки из своей, я сидел рядом и молчал.

Когда бурный поток слез иссяк, она поднялась, и я попытался привлечь ее к себе. Но она слегка оттолкнула мою руку и, опустившись на колени, несколько раз склонилась к моим ногам в глубоком поклоне. Я попытался отодвинуться, но напрасно — крепко обхватив мои ноги руками, она прерывающимся голосом сказала:

— Нет, нет, не отодвигайся, дай совершить поклонение тебе.

Я не двинулся с места. Кто я такой, чтобы мешать ей? Там, где истинно поклонение, там истинно и божество, которому поклоняются. Но разве я тот бог, поклонение которому она совершает?

РАССКАЗ БИМОЛЫ

Пора! Настало время поднять все паруса и плыть туда, где река любви вливается в океан преклонения. В его прозрачных синих водах утонет и растворится без следа весь ил и вся грязь.

Я ничего больше не боюсь, я не боюсь ни себя, ни других. Я вышла из огня. Пеплом стало то, что должно было сгореть, то, что уцелело, бессмертно. В святом порыве сложила я к его ногам всю свою жизнь, и он принял и растворил мой грех в пучине своей собственной скорби.

Сегодня ночью мы уезжаем в Калькутту. Душевные тревоги мешали мне до сих пор заняться укладкой вещей. Теперь я взялась за дело. Немного погодя ко мне присоединился муж.

— Нет, нет, — запротестовала я, — ты ведь обещал немного поспать.

— Я-то обещал, да вот сон слова не давал и даже не появился, — ответил он.

— Нет, нет, — повторила я, — так не годится. Приляг хоть ненадолго.

— Ты же не справишься одна!

— Прекрасно справлюсь.

— Ты, кажется, очень гордишься тем, что можешь обойтись без меня, а я говорю открыто, что не могу без тебя. Даже уснуть не мог, пока был один в той комнате.

И он снова принялся за работу. Но тут вошел слуга и сказал: «Шондип-бабу просил доложить о себе». У меня не хватило духу спросить, кому он просил доложить. Свет небес мгновенно померк для меня, как мгновенно свертываются лепестки стыдливой мимозы.

— Пойдем, Бимола, — обратился ко мне муж. — Пойдем, узнаем, что угодно Шондипу-бабу. Наверно, он хочет сказать что-то важное, раз уж решил вернуться, после того как попрощался со всеми.

Я пошла с мужем. Остаться мне было бы еще труднее.

Шондип стоял, уставившись на картину, висевшую на стене.

— Вас, наверно, очень удивляет, что я вернулся? — сказал он, когда мы вошли. — Видите ли, дух не находит себе покоя, пока не закончены все церемонии погребального обряда.

С этими словами он вынул из-под чадора узелок, положил на стол и развязал. В нем были гиней.

— Прошу тебя, не заблуждайся на мой счет, Никхил. Не воображай, что честностью я заразился от тебя. Шондип не из тех, кто, пуская слезу раскаяния и хныкая, возвращает деньги, добытые нечестным путем, но...

Он не закончил фразы. Немного погодя он продолжал, обращаясь ко мне:

— Царица Пчела, наконец-то и безмятежную совесть Шондипа посетил призрак раскаяния. Поскольку мне при-

ходится бороться с ним каждую ночь, очевидно, это не плод моего воображения. По-видимому, я смогу избавиться от него, только выплатив ему свои долги сполна. Разрешите мне поэтому вернуть похищенное в руки этого призрака. Богиня! На всем свете только у вас одной я не смогу ничего взять. Вы не освободите меня от своих чар, пока не ввергнете в нищету.

Он поставил шкатулку с моими драгоценностями на стол и торопливо направился к выходу.

— Послушай, Шондип, — окликнул его муж.

— У меня нет времени, Никхил, — ответил он, останавливаясь в дверях. — По слухам, мусульмане видят во мне бесценную жемчужину, они решили похитить меня и запрятать на своем кладбище. Я же считаю, что мне необходимо жить. Через двадцать пять минут уходит поезд на Север. Поэтому приходится спешить. Когда-нибудь мы закончим наш разговор при более благоприятных обстоятельствах. Послушай меня и тоже не задерживайся. Царица Пчела, я приветствую вас, владычицу кровоточащих сердец, прекрасную Царицу гибели...

Шондип почти бегом направился к выходу. Я стояла неподвижно. Никогда прежде не сознавала я так ясно, насколько никчемны и презренны были все эти гиней и драгоценности. Несколько минут назад я была озабочена тем, что взять с собой, куда все уложить, теперь я чувствовала, что не нужно брать вообще ничего, — самым важным было уехать отсюда, и как можно скорее!

Муж поднялся с кресла и, взяв меня за руку, сказал:

— Уже поздно, у нас осталось совсем немного времени, чтобы собраться.

В эту минуту в комнату неожиданно вошел Чондронатх-бабу. Увидев меня, он в замешательстве помедлил немного, но затем обратился ко мне:

— Прости меня, ма, что я вошел без предупреждения... Никхил, мусульмане взбунтовались, грабят контору Хориша Кунду. Это бы еще полбеды, но они издеваются над женщинами, насилуют их.

— Я поеду туда, — сказал муж.

— Что ты сможешь сделать один? — воскликнула я, схватив его за руку. — Учитель, не позволяйте ему, скажите, чтобы он не ездил...

— Ма, — ответил он, — сейчас не время его останавливать.

— Не беспокойся обо мне, Бимола, — сказал муж, выходя из комнаты.

В окно я увидела, как он вскочил на лошадь и поскакал, в руках у него не было никакого оружия.

Минуту спустя в комнату вбежала меджо-рани.

— Что ты наделала, чхуту! Какое несчастье! Зачем ты его отпустила? Скорей зови управляющего, — крикнула она слуге.

Меджо-рани никогда не показывалась управляющему, но сегодня ей было не до правил приличия.

— Скорей пошлите гонца, чтобы вернуть махараджа, — сказала она управляющему, как только он появился в дверях.

— Мы все уговаривали его не ездить, — сказал управляющий, — но он не захотел нас слушать.

— Пусть ему скажут, что меджо-рани заболела холерой, что она при смерти, — иступленно кричала она.

Как только управляющий ушел, меджо-рани в бешенстве накинулась на меня:

— Ведьма, чудовище! Не могла сама умереть, нет, ей понадобилось его послать на гибель!

День догорал. За пышными ветвями цветущего дерева шаджана, что росло возле хлева, садилось солнце. Я, как сейчас, помню все оттенки того багрового закатного неба. По обе стороны раскаленного шара, словно распростертые крылья огромной птицы, раскинулись ярким пламенем горящие облака. И мне казалось, что это готовится подняться в воздух и пересечь океан тьмы минувший роковой день.

Сгустились сумерки. Подобно взлетающим к небу языкам пламени горящей деревни, время от времени из потревоженной тьмы до нас докатывался отдаленный гул и снова замирал.

Из домашнего храма доносились звуки гонга, призывающего к вечерней молитве. Я знала, что меджо-рани находится там, что, сложив молитвенно руки, она безмолвно просит всевышнего о милосердии. Я же не могла оторваться от окна, выходившего на дорогу. Постепенно дорога, деревья, скошенные поля, разбросанные повсюду

деревни исчезали во мгле. Как глаз слепца, глядел в небо огромный тусклый пруд. Башня с левой стороны дома, казалось, вытягивала шею, высматривая кого-то.

Ночные звуки так обманчивы! Хрустнет ветка — и чудится чей-то стремительный бег. Хлопнет дверь — и кажется, будто это глухой удар сердца потрясенного мира.

Иногда у края дороги вспыхнет огонек и сразу исчезнет.

Время от времени раздастся стук копыт, но каждый раз оказывается, что это всадники выезжают из ворот усадьбы.

А меня неотступно преследовала мысль, что только моя смерть может положить конец совершающейся трагедии. Пока я живу, проклятие моих грехов будет поражать все вокруг, нести гибель и разрушение всем. Я вспомнила о пистолете, но я не могла оторваться от окна и пойти за ним: ноги не слушались меня. Ведь я ждала свою судьбу!

Часы в вестибюле торжественно пробили десять. Вскоре вдалеке показалось множество огней, и я увидела толпу, которая, извиваясь, как огромная черная змея, медленно ползла к воротам.

Услыхав шум, управляющий бросился к воротам и взволнованным голосом спросил подскакавшего всадника:

— Какие новости, Джотадхор?

— Плохие, — последовал ответ.

Эти слова Джотадхора я хорошо слышала сверху. Затем он еще что-то прошептал — что именно, я не расслышала. В ворота внесли паланкин, за ним носилки. Рядом с паланкином шел доктор Моихур.

— Каково ваше мнение? — спросил управляющий.

— Ничего пока не известно, — ответил доктор. —

Серьезное ранение в голову.

— А Омullo-бабу?

— Пуля попала ему в сердце и убила наповал.



РАССКАЗЫ

1894—1907





ТЕТРАДЬ

После того как Ума научилась писать, с ней просто сладу никакого не стало: в доме на всех стенах она выводила углем кривые, неровные строчки: «дождь падает», «лист дрожит».

Обнаружив под подушкой у невестки «Секреты Хоридаша», она написала на полях книги: «черная вода», «красный цветок».

В новом календаре, которым обычно пользовались домашние, большинству важных звезд она подрисовала хвосты, так что буквы, в конце концов, проглотили звезды.

В расходной книге отца, среди всяких цифр и подсчетов Ума тоже оставила на память о себе изречение: «Кто пишет и читает, тот в карете разъезжает».

До поры до времени никто не мешал ее творческим порывам, но однажды с Умой случилась большая неприятность.

Старший брат ее, Гобиндолал, на вид человек весьма невзрачный, сотрудничал в газетах. После разговора с ним ни у кого из родных и знакомых не возникало подозрений относительно его мудрости. И действительно, в этом грехе его никак нельзя было обвинить. Но зато он писал в газетах, и его мнение полностью совпадало с мнением большинства бенгальских читателей.

Однажды, узнав, что в работах европейских ученых по анатомии имеются серьезные ошибки, Гобиндолал, не прибегая к помощи логики и пользуясь лишь могущественными

средствами бенгальского языка, сочинил замечательную статью, в которой разгромил всех ученых.

И вот в полдень, когда никого из домашних поблизости не было, Ума оставила над этой статьей такую надпись: «Гопал очень хороший мальчик, — что ему дают, то он и ест».

Я не уверен, что под Гопалом она подразумевала читателей Гобиндолала, но тем не менее ярости брата не было границ. Сначала он побил Уму, а потом отнял у нее все письменные принадлежности — ничем не замечательные, но приобретенные с огромным трудом: маленький огрызок карандаша и дешевенькую ручку, вымазанную чернилами. Обиженная девочка не поняла, за что ее так строго наказали, и горько плакала, сидя на полу в углу комнаты.

Насладившись мстостью, Гобиндолал возвратил Уме отобранные вещи. Более того, испытывая некоторое раскаяние и желая утешить девочку, он подарил ей превосходную разлинованную тетрадь.

Уме было тогда семь лет. С тех пор она бережно хранила свою тетрадь — ночью под подушкой, а днем — на коленях.

Когда ей впервые заплели маленькие косы и в сопровождении служанки отправили в деревенскую школу для девочек, кое-кто из девочек позавидовал ей, кое-кто удивился, а были и такие, что даже возмутились.

В первый же год Ума старательно записала в тетради: «Все птицы кричат, значит, ночь кончилась».

Сидя на полу в спальне, она писала, крепко держа тетрадь рукой, а потом громко, нараспев читала свое сочинение. Так родилось немало образцов поэзии и прозы.

На второй год в тетради стали появляться и произведения на свободные темы, очень краткие, очень содержательные, но — без начала и конца. Некоторые из них стоит привести здесь.

После рассказа о тигре и цапле была написана одна фраза, которую нельзя найти ни в «Котхамале», ни в каком-либо другом произведении современной бенгальской литературы:

«Я очень люблю Джоши».

Пусть никто не думает, что я собираюсь рассказать любовную историю. Джоши — не какой-нибудь одина-

дцатилетний мальчик. Это — старая служанка, которую зовут Джошода.

Однако по одной этой фразе не спешите судить об отношении девочки к Джоши. Тому, кто захочет доподлинно выяснить этот вопрос, я посоветую перевернуть две страницы — там он найдет утверждение, прямо противоположное этому.

И так далее! В сочинениях Умы на каждом шагу встречаются несоответствия. В одном месте вы можете прочесть: «Я поссорилась с Хори на всю жизнь» (не с Хорихороном, а с Хоридаши, школьной подругой). Однако несколько ниже следует запись, из которой вам станет совершенно ясно, что во всей вселенной нет подруги лучше Хори.

Ещё через год, когда девочке исполнилось девять лет, в одно прекрасное утро в доме запела флейта. День свадьбы Умы настал.

Жениха звали Перимохон, и он был помощником Гобиндолала в его литературных делах. Несмотря на молодость и на то, что он кое-чему учился, новые идеи совершенно не проникли в его голову. Поэтому соседи считали его в высшей степени достойным человеком. Гобиндодал пытался ему подражать, но полного успеха так и не достиг.

Надев бенаресское сари и спрятав под покрывалом свое маленькое личико, Ума, рыдая, ушла в дом свекра.

— Слушайся свекрови, дитя мое, — напутствовала ее мать. — Делай все по хозяйству, а главное — не читай и не пиши!

А Гобиндодал добавил:

— Смотри не вздумай пачкать у них стены, — там это не потерпят. И никогда не пиши в бумагах Перимохона.

Сердце девочки сжалось от этих слов. Она поняла, что в доме, куда она идет, ей ничего не простят, что ей придется выслушать немало попреков, прежде чем она узнает, что такое нельзя, невозможно и недопустимо.

Вечером в тот же день снова запела флейта, но сомневаюсь, понимал ли по-настоящему хоть один человек на свете, что творится в тревожно колотившемся сердечке

девчушки в бенаресском сари и драгоценностях, на лицо которой опущено покрывало.

Джоши тоже ушла с Умой. Было решено, что несколько дней она пробудет вместе с девочкой в доме свекра.

После долгих размышлений добрая Джоши взяла с собой и тетрадь. Эта тетрадь, исписанная кривыми, неровными буквами, — часть отцовского дома, радостное воспоминание о недолгом времени, проведенном в родной семье, коротенькая история тех дней, когда отец и мать баловали ее, — стала для Умы как бы маленькой частицей свободы, столь желанной детскому сердцу.

Первые дни в доме свекра Ума ничего не писала — для этого у нее не было времени. Но спустя неделю Джоши отправилась обратно домой, и в тот же день Ума закрыла дверь в спальню, достала тетрадь из жестяной коробки и, обливаясь слезами, записала: «Джоши ушла домой, я тоже уйду к маме».

Теперь она не могла переписывать целые истории из «Чарупатх» и «Бодхойой». Да я думаю, и не хотела. Зато краткие изречения следовали одно за другим. За первой строчкой шла другая: «Если дадá возьмет меня домой, я больше никогда не буду портить его бумаги».

Отец Умы хотел, чтобы время от времени девочка гостила у него, но, по слухам, этому воспротивились Гобиндолал и Перимохон.

Гобиндолал заявил, что Ума должна научиться уважать своего мужа и что родительская ласка и баловство только помешают ей. Он написал по этому поводу такую прекрасную статью, пересыпав ее практическими советами и шутками, что никто из его читателей-единомышленников не усомнился в непререкаемой мудрости автора.

Узнав об этом, Ума написала в своей тетради: «Дадá, припадаю к твоим ногам, возьми меня в свой дом, я больше никогда не буду сердить тебя».

Однажды Ума сидела у себя в комнате, плотно закрыв двери, и что-то писала в свою тетрадь. Сестра ее мужа, Тилокмонджори, девица весьма любопытная, ре-

шила: «Надо подсмотреть, зачем это боу-диди закрывает дверь? Что она там делает?»

Она посмотрела в дверную щелку и увидела, что Ума сидит и пишет. Тилокмонджори очень удивилась. Никогда прежде Сарасвати не прокрадывалась во внутренние покои их дома!

Ее младшая сестра, по имени Конокмоджори, тоже подошла к двери и тоже стала подглядывать.

За ней прибежала и самая младшая сестренка, которую звали Ононгомонджори. Приподнявшись на цыпочки и с трудом доставая до щелки, она тоже пыталась разгадать тайну закрытой двери.

Ума была совершенно поглощена своим занятием, как вдруг за дверью послышался шепот трех знакомых голосов и хихиканье. Она сразу поняла, в чем дело, торопливо сунула тетрадь в коробку и, замирая от стыда и страха, зарылась лицом в постель.

Узнав об этом происшествии, Перимохон серьезно задумался. Беда, если женщина принимается за ученье! Следующим номером в доме появятся статьи и романы, и кто тогда будет заниматься домашним хозяйством?

Кроме того, после глубоких размышлений, он пришел к весьма поучительным выводам. Священный супружеский союз — результат соединения энергии женской и энергии мужской. Но знания ослабляют женскую энергию и приводят к тому, что в женщине начинает преобладать энергия мужская. Дальше: столкновение двух мужских энергий может вызвать взрыв, который сделает супружеский союз бессмысленным, после чего женщина неминуемо останется вдовой.

Столь оригинальной теории до этого не выдвигал никто!

Вечером Перимохон пришел к Уме и как следует отчитал ее.

— Теперь тебе остается только заказать шамлу, — слегка иронизировал он. — А потом моя жена заткнет карандаш за ухо и отправится в контору!

Ума не совсем понимала, о чем он говорит. Она никогда не читала статей Перимохона, поэтому чувство юмора у нее было развито недостаточно. Но она смутилась до слез и готова была провалиться сквозь землю.

Долгое время после этого разговора Ума ничего не записывала.

Но как-то осенним утром нищенка запела под ее окном песню Агомони. Прижавшись лицом к решетке окна, Ума молча слушала. Она была одна, светило осеннее солнце, и ей вспомнилось детство. А тут еще песня Агомони, слушая которую Ума не могла удержаться от слез.

Петь Ума не умела, но, с тех пор как она научилась читать и писать, она привыкла записывать песни. И от этого ей не было так обидно, что она не может их спеть.

Нищенка под окном пела:

Говорит горожанин: «О мать Умы,
Вот пришла твоя потерянная звездочка!»
Царица — вне себя от радости:
«Где Ума? Где она?»
Говорит царица сквозь слезы:
«Иди ко мне, Ума, иди, дитя мое!
Иди, я обниму тебя!»
И тут протянула Ума руки, обняла мать за шею
И, горько рыдая, сказала царице:
«Когда же ты возьмешь свою дочку домой?»

Грустно стало на душе Умы, на глаза навернулись слезы. Она тихонько окликнула певицу, закрыла дверь и, старательно выводя буквы, стала записывать песню в тетрадь.

Но Тилокмонджори, Конокмонджори и Ононгомонджори все видели через щелку. Внезапно они захлопали в ладоши и закричали:

— Боу-диди, а мы видим, что ты там делаешь!

Ума поспешно открыла дверь, выбежала из комнаты и жалобным голосом стала упрашивать их:

— Не говорите никому об этом, умоляю вас! Я больше никогда не буду так делать, я больше никогда не буду писать!

И тут она заметила, что Тилокмонджори подкрадывается к ней. Тогда, прижав тетрадь к груди, Ума бросилась бежать.

Золовки хотели отнять тетрадь силой, но, сколько они ни старались, у них ничего не вышло. Пришлось Ононге звать на помощь своего умного брата. Явился Перимохон и с важным видом сел на кровать.

— Отдай тетрадку, — сказал он грозным голосом. Однако, видя, что приказание его не выполняется, он повысил голос еще на два тона: — Отдай, тебе говорят!

Девочка прижимала тетрадь к груди и умоляюще смотрела на мужа. Когда же она увидела, что Перимохон поднялся, чтобы отнять ее сокровище, она швырнула к его ногам тетрадь и сама тоже бросилась на пол, закрыв лицо руками.

Перимохон поднял тетрадь и начал громко читать все, что в ней было написано. С каждой фразой Ума все сильнее прижималась к полу, а три девочки-слушательницы все громче заливались смехом.

Больше Ума не видела своей тетради.

У Перимохона тоже была тетрадь, полная тонких, язвительных записей. Однако не нашлось добряка, который отнял бы ее у него и уничтожил.



Н О Ч Ь Ю

— Доктор, доктор!

— Опять не даст выспаться, — проворчал я и с трудом открыл глаза. Передо мной стоял наш заминдар Докхиначорон-бабу.

Часы показывали половину третьего. Вскочив с постели, я пододвинул ему стул со сломанной спинкой и, когда он сел, стал внимательно вглядываться ему в лицо.

Докхиначорон был очень бледен, в его расширенных глазах отражался страх.

— Сегодня ночью припадок повторился, — сказал он. — Ваше лекарство мне несколько не помогло.

— Может быть, вы снова выпили лишнего? — осторожно предположил я.

Докхиначорон возмутился:

— Вы глубоко заблуждаетесь. При чем тут вино? Выслушайте меня внимательно, и, может быть, вам наконец удастся определить причину моей болезни.

В стенной нише тускло горела маленькая керосиновая лампа. Я прибавил огня — стало немного светлее, но теперь лампа сильно коптила.

Я закутался в простыню, сел на ящик, прикрытый газетой, и приготовился слушать.

Докхиначорон-бабу начал свой рассказ.

— Моя первая жена была замечательной хозяйкой. Ну, а я в ту пору был молод и домашним очагом интересовался мало — я увлекался поэзией, сентименталь-

ными стихами и любил повторять про себя строки из Калидасы.

Хозяйка дома, спутница, подруга,
Милая сердцу ученица, любительница изящных искусств...

Однако изящные искусства явно не были стихией моей жены. Слушая мои высокопарные разглагольствования и поэтические излияния, она каждый раз начинала безудержно смеяться. Ну и, конечно, оставаться после этого настроенным на лирический лад мне было чрезвычайно трудно.

Едва раздавался ее звонкий смех, как поэтические строфы и нежные слова застывали у меня на устах, подобно слону Индры, замершему в страхе в тот момент, когда его взору представилась бурная Ганга. Способность смеяться у нее была поистине удивительная.

Несколько лет тому назад я очень тяжело болел злокачественной лихорадкой и был при смерти. Надежд на выздоровление было очень мало. Доктора махнули на меня рукой.

Вот тогда-то один из родственников привел брахмана, который стал лечить меня каким-то корнем, истолченным и растертым с маслом. Корень ли помог или так уж мне на роду было написано — не знаю, но я остался жив.

Пока я болел, жена не знала отдыха ни днем, ни ночью. Эта хрупкая женщина не щадила сил, стараясь отогнать от порога моей комнаты посланца Ямы. Всю свою любовь, нежность, заботливость она устремила на то, чтобы спасти мою недостойную жизнь.

Она нянчилась со мной, как с грудным младенцем, не спала, не ела, забыла буквально обо всем на свете.

Наконец Яма выпустил меня из когтей, но, разъяренный, как тигр, у которого вырвали из лап добычу, он, перед тем как удалиться, успел нанести жене страшный удар. Она была беременна. Ребенок родился мертвым, и после родов тяжелый недуг поразил ее.

Настал мой черед ухаживать за женой. Однако это вызывало у нее сильнейшее раздражение.

— Перестань бегать взад и вперед! — восклицала она. — Что скажут люди? Ну что ты день и ночь суе-
тишься?

Ночью, когда она горела в жару и я, делая вид, что обмахиваюсь сам, незаметно обмахивал веером ее, она начинала страшно волноваться и вырывала у меня веер. Если, ухаживая за ней, я хоть на десять минут пропускал время собственного обеда, начинались упреки, уговоры, просьбы. Любая моя попытка помочь ей вызывала протест.

— Мужчине не к лицу излишняя суетливость, — говорила она.

Вы ведь бывали в нашем бороногорском имении. Дом там, если вы помните, расположен в саду, который спускается к самой Ганге.

Под окнами снальни, выходящими на юг, жена разбила небольшой цветник по своему вкусу и обнесла его живой изгородью. Это был самый скромный и незатейливый уголок сада. Там краски не соперничали с ароматами и пышная листва не скрывала цветов. Из цветочных горшков там не торчали дощечки с витиеватыми латинскими названиями каких-то редких, ничем не примечательных растений. Зато там в изобилии росли разные сорта жасмина, олеандры и было очень много роз. Под огромным деревом бокул стояла белая мраморная скамейка, которую жена, пока была здорова, мыла по два раза в день. Летом, в свободное от домашних забот время, она любила отдыхать на этой скамейке. Отсюда она могла наблюдать Гангу, оставаясь в то же время невидимой для пассажиров пароходиков, бегавших взад и вперед по реке.

Как-то раз лунным весенним вечером, утомленная долгим лежанием в постели, она сказала мне:

— Мне так надоело лежать взаперти, пойдем посидим в моем садике.

Я осторожно взял ее на руки, отнес в сад и опустил на мраморную скамью под деревом. Мне очень хотелось положить ее голову себе на колени. Но вряд ли ей это понравилось бы, поэтому я ограничился тем, что подложил ей под голову подушку.

С дерева упало несколько распустившихся цветов. Лунные блики играли на истомленном лице больной. Кругом царило безмолвие...

Я сидел в полумраке, насыщенном ароматом цветов, смотрел на жену, и глаза мои были полны слез.

Я пододвинулся, взял обеими руками ее худую, горячую руку. Она не сопротивлялась.

Некоторое время я молчал, но затем, не в силах совладать с чувствами, переполнявшими мое сердце, воскликнул:

— Никогда-никогда не забуду я твоей любви!

Нет, не нужно было мне говорить этого — жена рассмеялась. К радостным ноткам, звучащим в ее смехе, примешивались и чуть недоверчивые, слышался в нем и сарказм... Она ничего не ответила мне, но смех ее яснее слов говорил: «Милый, такого не бывает, я не верю, что ты никогда меня не забудешь».

Именно из-за этого мелодичного, чуть язвительного смеха я и побаивался говорить жене о своих чувствах. В ее присутствии все тщательно продуманные речи начинали мне казаться банальными и пошлыми.

Я до сих пор не могу понять, почему так смешили ее слова, которые, встречаясь в книгах, неизменно вызывали у меня слезы.

Возражать можно, если вам что-то говорят, но как ответить на смех? Я промолчал.

Лунный свет становился все ярче. Где-то вдали с отчаянной настойчивостью куковал кокиль. «Неужели в такую ночь кукушка может оставаться глухой к его страстным призывам?» — думал я.

Несмотря на лечение, жене не становилось легче. Доктор посоветовал переменить климат, и мы уехали в Аллахабад...

Внезапно Докхиначорон прервал свой рассказ, как-то странно посмотрел на меня и задумался, подперев голову рукой. Молчал и я. Колебался язычок пламени в лампе, в ночной тиши отчетливо слышался писк комаров.

Так же внезапно Докхиначорон заговорил снова.

— В Аллахабаде лечить жену начал доктор Харан. Но время шло, а никаких улучшений в ее здоровье не замечалось. Наконец доктор подтвердил то, о чем мы с женой уже давно догадывались, а именно, что болезнь

ее неизлечима и что она обречена мучиться до конца своих дней.

И вот как-то раз жена сказала мне:

— Раз уж нет никакой надежды на то, что я поправлюсь или скоро умру, по-моему незачем тебе продолжать жить с живым трупом. Женись еще раз.

Сказала она это очень просто, без всякого надрыва и ложного пафоса. Казалось, она решила дать мне здравый, разумный совет, только и всего.

Тут бы следовало рассмеяться мне. Но разве я обладал ее талантом? Поэтому я возразил очень строго и серьезно, тоном, который сделал бы честь герою любого романа:

— Пока в этой груди бьется сердце...

— Хватит, хватит! — запротестовала жена. — Не нужно громких слов. Меня от них тошнит...

Но я не хотел признать себя побежденным и продолжал:

— Я никогда, никогда не полюблю больше в этой жизни...

Жена расхохоталась. Волей-неволей мне пришлось замолчать.

Не знаю, признавался ли я себе тогда в этом или нет, но теперь мне ясно: я невероятно устал от сознания, что должен ухаживать за безнадежной больной. Мне никогда в голову не приходило, что можно переложить заботы о ней на кого-то другого, но при мысли о том, что я обречен влечить такое существование всю жизнь, на душе у меня становилось тяжело.

В юности будущее представлялось мне чудесным садом, в котором цвели волшебная любовь, красота, счастье... Теперь же передо мной простиралась бесконечная пустыня — выжженная и безрадостная...

Жена, конечно, видела мое состояние. Сейчас мне совершенно ясно (чего в то время я, к сожалению, не понимал), что она видела меня насквозь, что я для нее был не более загадочен, чем, скажем, первоклассник, еще не овладевший полностью грамотой.

Очевидно, потому-то, слушая мои возвышенные декламации, она и смеялась ласково и вместе с тем насмеш-

ливо. Сейчас, — когда я знаю, что она — подобно господу богу — понимала меня куда лучше, чем понимал себя я сам, мне бывает мучительно стыдно при воспоминании об этом.

Доктор Харан был одной с нами касты. Он часто приглашал меня к себе, а затем и познакомил со своей дочерью. Ей шел пятнадцатый год, но она еще не была замужем. И доктор жаловался мне, что никак не может найти ей подходящего жениха. Правда, ходили слухи, что родословная семьи невесты не совсем безукоризненна. Во всех других отношениях невеста была безупречна, красота же ее равнялась воспитанности.

Иногда, заболтавшись с девушкой о том о сем, я возвращался домой поздно и даже опаздывал дать жене вовремя лекарство. Она знала, что я бываю в гостях у доктора, но никогда не спрашивала, что заставляет меня проводить у него столько времени.

В унылой пустыне возник мираж. Когда у меня уже не оставалось сил терпеть жажду, я вдруг увидел чистый, журчащий родник, и я не мог бы от него оторваться и повернуть обратно, даже собрав всю свою волю.

Комната больной стала казаться мне еще безотрадной. Я уже не исполнял регулярно своих обязанностей и перестал следить за тем, чтобы жена исполняла все предписания врачей.

— Лучше умереть, чем жить без надежды на выздоровление, — не раз говорил мне Харан-бабу. — Такие больные только сами мучаются и мучают близких.

В применении к кому-то другому это было, конечно, правильно. Но как можно было говорить так о моей жене? Доктора бывают удивительно черствы, когда речь заходит об их пациентах, они словно забывают, какое впечатление производят их слова на близких больного.

Как-то раз я случайно услышал из соседней комнаты разговор своей жены с Хараном-бабу.

— Доктор, вы же видите, сколько я ни принимаю лекарств, ни одно из них мне не помогает, только растет счет в аптеке. Поймите, мне очень тяжело... Я больше не могу, — говорила она. — Пропишите мне такое лекарство,

доктор, чтобы я могла спокойно умереть и больше не мучиться.

— Ну как вы можете так говорить, — с укоризной возразил доктор.

У меня защемило сердце. Проводив доктора, я вошел в комнату жены, присел на край постели и стал нежно гладить ее по голове.

— Тебе уже пора, пойдй пройдишь, — сказала жена. — Здесь так душно, опять вечером не будешь ничего есть.

«Пойди пройдишь» — означало: «Сходи в гости к доктору». Я и сам часто говорил, что прогулка перед ужином очень полезна.

Как легко разгадала она мою хитрость! Глупец, а я-то думал, что она ничего не понимает...

Докхиначорон умолк. Потом попросил воды. Сделав глоток, он продолжал свой рассказ.

— Монорома, дочь доктора, выразила желание навестить мою жену. Мне это почему-то не понравилось. Но я не знал, под каким предлогом отказать ей; и вот однажды вечером она пришла к нам.

Жена чувствовала себя в этот день хуже, чем обычно. Когда ей было совсем плохо, она лежала пластом, и только бледное, без кровинки лицо да сжатые кулаки говорили о том, как ей тяжело.

В комнате больной стояла напряженная тишина. Я сидел возле нее. Бедняжка, в тот день она даже не могла найти в себе сил послать меня пройтись. А может быть, она втайне желала, чтобы в трудную минуту я был с ней. Лампа стояла в углу, чтобы свет ее не падал в лицо больной. В комнате было темно и тихо. Лишь время от времени, когда боль затихала, слышно было, как жена тяжело переводила дыхание.

Неожиданно на пороге показалась Монорома. Лампа светила ей прямо в лицо; ничего не различая в темной комнате, она остановилась в нерешительности у порога.

Жена испуганно схватила меня за руку:

— Кто это?

Внезапное появление незнакомого человека напугало ее, и она несколько раз еле слышно повторила свой вопрос:

— Кто это, да кто же это?

Я растерялся и выпалил:

— Не знаю!

Когда я сказал это, меня будто ожгло, словно кто-то стегнул меня хлыстом.

— Ах, да ведь это дочь нашего доктора, — через мгновение спохватился я.

Жена взглянула на меня. Я не смог выдержать ее взгляда.

— Заходите, пожалуйста, — сказала она слабым голосом, обращаясь к госте, и попросила меня прибавить огня в лампе.

Монорома села около больной и заговорила с ней. Вскоре пришел доктор. Из своей аптеки он принес два флакона с лекарствами.

Вытащив их, доктор пояснил:

— В голубом флаконе лекарство для натирания, а в другом — внутреннее. Смотрите не перепутайте, в голубом — сильный яд.

Об этом же он предупредил и меня, а затем поставил флаконы на ночной столик.

Вскоре доктор собрался уходить и позвал с собой дочь.

— Можно, я останусь здесь, отец? — спросила девушка. — Ведь за больной некому как следует ухаживать.

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, — заволновалась жена. — В доме есть старая служанка, она смотрит за мной, как мать.

— Вы, словно Лакшми, сами всю жизнь заботитесь о других и ни за что не хотите, чтобы кто-то позаботился о вас, — улыбнулся доктор и стал прощаться.

— Муж целый день просидел в душной комнате, возьмите его с собой, доктор, пусть он хоть немного подышит свежим воздухом, — попросила больная.

Харан-бабу поддержал ее:

— Конечно, пойдемте с нами на реку, погуляем там.

Я запротестовал было, но скоро согласился. Доктор еще раз предупредил жену, чтобы она была осторожна с лекарствами, и мы ушли.

По обыкновению, я поужинал у доктора и вернулся домой поздно. Жена металась в постели.

— Тебе хуже? — с тревогой спросил я.

Но она уже не могла говорить и только молча смотрела на меня. Вскоре у нее начался приступ удушья.

Не теряя времени я послал за доктором. Он долго не мог понять, в чем дело. Наконец спросил меня: «Так... боли усилились. Да, а вы втирали ей лекарство, которое я принес?» — и взял со стола голубой флакон. Флакон был пуст.

Тогда он обратился к жене:

— Вы по ошибке выпили это лекарство?

Жена утвердительно покачала головой.

Доктор объявил, что надо срочно сделать промывание желудка, и немедленно поехал домой за всем необходимым.

Я в отчаянии бросился к жене. Она протянула руку и долго гладила меня по волосам, утешая и успокаивая, как малого ребенка, а потом прижала к груди мою голову. Ее руки словно говорили: «Не огорчайся, милый, все будет хорошо, ты будешь счастлив. И я умру счастливой».

Когда доктор вернулся, страдания уже отпустили ее. Пришел конец мучениям, а вместе с тем и ее жизни...

Докхиначорон выпил еще воды.

— О, как душно, — проговорил он, вышел на веранду и стал ходить из угла в угол, потом вернулся и сел.

Я понял, что ему не хотелось больше говорить. Но я, как гипнотизер, вытягивал из него слова, и он снова начал рассказывать.

— С благословения доктора я женился на Монороме и увез ее к себе домой.

Монорома не смеялась, она серьезно выслушивала мои признания в любви. И я не могу понять, когда и почему

она перестала верить мне. Вот тогда-то я и пристрастился к вину.

Однажды, ранней осенью, мы с Моноромой гуляли в саду, в нашем бораногорском имении. Вечерние сумерки опустились на землю. Умолкли птицы в своих гнездах. Только шелестели листья на деревьях, которые сводом сомкнулись над темной аллей. Монорома устала и прилегла на уже известную вам мраморную скамейку, заложив руки под голову. Я сел рядом с ней.

Под деревом было совсем темно, виднелся только клочок неба, густо усеянного звездами. В траве под деревьями, нарушив торжественное безмолвие, застрекотали цикады, и казалось, будто кто-то невидимый плетет в бескрайней тишине тонкую паутину звуков.

В тот вечер я выпил за ужином вина и сознание мое было слегка затуманено.

Когда глаза привыкли к темноте, передо мной вырисовался неясный силуэт женщины в свободном сари, лежавшей на скамье в усталой позе. Я почувствовал, как волнение подступает к сердцу. Мне показалось, что это — призрак, видение, удержать которое в руках невозможно.

Верхушки деревьев словно охватило пламя, и вслед за тем на небе медленно взошел узкий желтый серп луны. Теперь я ясно видел белую скамью и усталую женщину в белом сари, отдыхавшую на ней.

Я не выдержал — придвинулся ближе и, схватив жену за руку, воскликнул:

— Монорома, ты мне не веришь, но я очень тебя люблю. Я тебя никогда, никогда не забуду!..

Не успел я произнести эти слова, как неприятное чувство охватило меня: я вспомнил, что уже когда-то говорил их другой.

В тот же миг с противоположного берега Ганги донесся чей-то хохот — он прокатился по освещенным лунным светом верхушкам деревьев и рассыпался у меня над головой: «Ха-ха-ха!»

Что это было? Дьявольский хохот или душераздирающий вопль отчаяния — не знаю, я тут же потерял сознание и свалился со скамьи.

Очнувшись, я увидел, что лежу дома, у себя на постели.

— Что с тобой было? — спросила жена.

— Разве ты не слышала этого жуткого смеха? — весь дрожа, спросил я.

Жена улыбнулась.

— Никто не смеялся. Просто мимо нас пролетела большая стая птиц. Ты слышал шум их крыльев. Разве можно пугаться таких пустяков!

При свете дня я охотно соглашался с тем, что это были птицы. Действительно, в это время года с севера к берегам Ганги прилетают стаи диких гусей. Но по ночам страх снова начинал одолевать меня. Мне казалось, что где-то в вышине все время висит этот страшный хохот и что он может разразиться по малейшему поводу. Я дошел до того, что вечерами не осмеливался разговаривать с Моноромой.

Наконец мы покинули дом в Бораногоре и решили отправиться в путешествие по реке.

Свежий ветер разогнал мои страхи, и несколько дней я был счастлив. Красота окружающей природы как будто приоткрыла давно закрытые двери сердца Моноромы.

Мы проплыли по Ганге и наконец достигли Падмы. Грозная Падма была погружена в спячку, сейчас она напоминала тощую, сонную змею. На северном берегу до самого горизонта простиралась безлюдная, лишенная растительности пустыня, слышалось шуршание песков. Окруженные манговыми рощами деревушки на южном берегу, казалось, жили в вечном страхе перед этим свирепым чудовищем. Во сне Падма ворочалась с боку на бок — и тогда подмытые берега с шумом обрушивались в воду.

Мне захотелось побродить в этих местах, и я распорядился подойти к берегу.

Как-то мы с Моноромой, гуляя, зашли очень далеко. Солнце уже садилось, и свет его золотистых лучей смешивался с тусклым светом бледной луны. Скоро на небе осталась одна луна, и свет ее залил белую землю. Мне казалось, что мы идем по бескрайнему и безлюдному лунному царству.

Монорома с головой укуталась в красную шаль. Когда воцарилась тишина и мы оказались одни, окруженные лишь бескрайними белыми песками, она высвободила из-под платья руку и сжала мои пальцы. Прижавшись

ко мне, она словно хотела вверить мне всю себя, свою жизнь и молодость.

Нежность переполнила мое сердце. «Дома невозможно ощутить любовь по-настоящему, всем своим существом, — думал я. — Невозможно! Только открытое, бездонное, бескрайнее небо может соединить людей». Мне казалось, что у нас нет больше дома, что пали все преграды, что нам никуда не нужно возвращаться и что мы, взявшись за руки, так и будем идти куда-то вперед и вперед, по залитой лунным светом пустыне.

Довольно далеко от берега среди песков мы увидели водоем — напоминание о бурном разливе Падмы. По гладкой, спокойной воде, дремлющей в песчаной чаше, простлела неяркая полоса лунного света.

Мы остановились. Шаль упала с лица Моноромы, она смотрела на меня и о чем-то думала. Я нагнулся и поцеловал ее.

И вдруг в этой необитаемой, бескрайней пустыне кто-то отчетливо молвил:

«Кто это? Кто это? Да кто же это?»

Мы оба вздрогнули, но сразу же поняли, что это был не человек и не привидение — какая-то водяная птица, услышав в глубине ночи шаги возле своего гнезда, всполошилась и закричала от страха.

Нам тоже стало страшно, мы поспешили вернуться в лодку и скоро легли спать. Утомленная Монорома сразу же уснула.

И сразу же у моего изголовья встал призрак и, указывая длинным худым пальцем на Монорому, зашептал мне на ухо:

«Кто это? Кто это? Да кто же это?»

Я вскочил и зажег лампу. Призрак исчез, но в тот же миг, сотрясая полог и раскачивая лодку, в ночной тьме раздался хохот. Хохот, от которого кровь стыла в жилах и тело покрывалось холодным потом. Этот дикий хохот пересек Падму, пронесся над спящими городами и селами на противоположном берегу, охватил страны и континенты и умчался в бескрайнюю даль, туда, где нет уже ни жизни, ни смерти. Он становился все тоньше и тоньше, пока не превратился в кончик острой иглы, сверлившей мой усталый мозг.

Я никогда прежде не слышал ничего подобного. Мой мозг словно вмещал в себя все бескрайнее небо, и как бы далеко ни улетал этот хохот, он не мог покинуть его пределов...

Не в силах дольше терпеть, я погасил свет, — мне казалось, что так будет легче. Но стоило опуститься темноте, как сдавленным голосом снова кто-то начал шептать: «Кто это? Кто это? Да кто же это?»

И в такт ему в моих жилах пульсировала кровь: «Кто это? Кто это? Да кто же это?»

Даже карманные часы вдруг ожили в этой ночной тишине, и часовая стрелка, указывая на Монорому, зашептала с циферблата: «Кто это? Кто это? Да кто же это?!»

Докхиначорон страшно побледнел, у него перехватило дыхание.

— Выпейте воды, — посоветовал я и дотронулся до руки заминдара.

Керосиновая лампа стала сильно мигать и погасла. Только тут мы увидели, что на улице уже светло. Где-то кричала ворона. Запела малиновка. Мимо дома с грохотом проехала телега...

Выражение лица Докхиначорона вдруг резко изменилось: страх бесследно исчез из его глаз. Он, видимо, испытывал некоторую неловкость от того, что под влиянием ночного кошмара столько наговорил; у него как будто даже возникла какая-то неприязнь ко мне. Он встал и, не попрощавшись, быстро вышел из комнаты.

В тот же день, за полночь, в мою дверь снова постучали.

— Доктор, доктор! — слышался голос...



Б Е Д А

К концу дня буря разыгралась сильнее. Лил дождь, гремел гром, сверкали молнии — казалось, в небесах идет ожесточенная битва между богами и демонами. Словно знамена темных сил, несущих гибель миру, мчались черные тучи. Мятежные волны с глухим рокотом плясали по всей Ганге, а огромные деревья в садах отчаянно взмахивали ветвями и с жалобными стонами гнулись под напором ветра.

В это самое время в одном из домов Чандернагора, в комнате с плотно закрытыми окнами и освещенной горячей лампой, на циновке у кровати, сидели муж и жена и разговаривали.

— Вот поживем здесь еще немного, ты совсем поправишься, тогда и вернемся домой, — говорил Шорот-бабу.

— Да я и так уж совсем поправилась, — возражала Киронмойи. — Ничего не случится, если мы поедем домой теперь же.

Каждый женатый человек, конечно, поймет, что разговор этот не был так краток, как я его изложил, но, хотя проблема и не представляла особой сложности, спор ни на йоту не приближал ее разрешения. Разговор, подобно попавшей в водоворот неуправляемой лодке, вертелся на одном месте, и, в конце концов, возникла опасность, что его захлестнет поток слез.

— Доктор говорит, что тебе нужно пожить здесь еще некоторое время, — продолжал Шорот.

— Ну конечно, твой доктор все знает!

— Во всяком случае, он знает, что сейчас свирепствуют всякие эпидемии и что тебе было бы благоразумнее провести в Чандернагоре еще месяц-другой.

— А здесь, надо полагать, люди никогда не болеют! — отпарировала Кирон.

Предшествовало же всему этому вот что: Кирон была общей любимицей; не только домашние, но и соседи относились к ней с большой симпатией; ее любила даже свекровь. Поэтому, когда она серьезно заболела и доктор порекомендовал перемену климата, муж Кирон и ее свекровь безо всяких колебаний решили оставить дом и хозяйство и уехать в чужие края. По единодушному мнению деревенских философов, смешно было надеяться, что перемена климата может принести кому-то исцеление, считали они также, что ломать налаженную жизнь из-за здоровья жены могут только люди, дошедшие до последней степени бесстыдного женолюбия, столь модного в наши дни.

«Разве до сих пор ни у кого жена тяжело не болела? Неужели там, куда решил отправиться Шорот, люди бессмертны? Разве есть такая страна, где не исполняются предначертания судьбы?» — спрашивали они.

Но Шорот и его мать никого не слушали. В тот момент жизнь их дорогой Кирон была для них важнее всей деревенской мудрости. Подобного рода заблуждения свойственны людям в минуты грозной опасности, нависшей над их близкими.

В Чандернагоре они поселились в доме с большим садом, и скоро Кирон начала поправляться, хотя до сих пор она еще не вполне окрепла. Всякий видевший ее осунувшееся лицо и ввалившиеся глаза с невольным сочувствием думал: «Бедняжка! Как ей досталось!»

Характер у Кирон был общительный и веселый, и здесь в одиночестве, без привычных хлопот по хозяйству, без веселой болтовни с соседками, жизнь казалась ей пустой и неинтересной, думать же целый день о своих болезнях она не любила. Ей надоело по часам принимать лекарства, кутаться, соблюдать диету, и так далее.

Вот об этом-то и спорили муж с женой в тот бурный вечер, за плотно затворенными дверями и окнами своей комнаты.

До тех пор, пока Кирон возражала, это был словесный поединок между равными; но стоило ей отвести взгляд и молча пожать плечами, как несчастный супруг оказался безоружным. Он уже готов был признать свое поражение, но как раз в это время послышался крик слуги, звавшего хозяина.

Шорот встал и открыл дверь. Оказалось, что на реке потонула лодка и какой-то мальчик-брахман вплавь добрался до их сада.

При этом известии Кирон забыла о своем капризе. Она тотчас же достала для сына брахмана сухую одежду, согрела немного молока и велела позвать его.

У юноши были длинные волосы, огромные глаза и никаких признаков растительности на лице. Кирон покормила его, а затем спросила, кто он и откуда.

Мальчик рассказал, что он из труппы бродячих актеров и зовут его Нилоканто. Они были приглашены дать представление в доме Сингха-бабу, неподалеку отсюда. Что случилось с его товарищами после того, как их лодка перевернулась, он не знает; сам он хорошо плавает, и ему удалось спастись.

Нилоканто так и остался жить у них в доме. Каждый раз, когда Кирон вспоминала, что он едва не погиб, ее сердце переполнялось глубокой жалостью.

«Ну вот и хорошо, — решил про себя Шорот, — у Кирон появилось новое занятие; теперь можно будет остаться в Чандернагоре еще на некоторое время».

Свекровь тоже была довольна неожиданным происшествием, считая, что спасение сына брахмана дало им возможностьшний раз доказать богу свою готовность совершать благочестивые поступки. Что же касается Нилоканто, то, вырвавшись одним махом из лап хозяина труппы и из объятий смерти и попав в богатый дом, он испытывал поистине райское блаженство.

Однако постепенно Шорот и его мать несколько изменили свое отношение к юноше. «Дело свое он сделал, — думали они, — и, если мы не избавимся от него теперь, беды не миновать».

Нилоканто начал тайком курить. При этом он втягивал дым с таким же урчаньем и бульканьем, как это делал Шорот. В дождливую погоду он пристрастился бродить по улицам в поисках новых знакомств, держа над головой любимый шелковый зонт Шорота. Подобрал где-то беспризорную собачонку, Нилоканто вскоре так разбаловал ее, что она повадилась заходить без зова в блиставшую чистотой комнату Шорота, запечатлевая на память о своем посещении следы всех четырех грязных лап на чистом покрывале. Кроме того, Нилоканто собрал целую ораву мальчишек, в результате чего ни один плод манго так и не успел созреть в этом году в рощах Чандернагора.

Кирон, несомненно, слишком баловала Нилоканто. Шорот и его мать не раз упрекали ее в этом, но молодая женщина не обращала на их слова никакого внимания. Она отобрала у Шорота старую рубашку и носки, купила новые башмаки, дхоти и чадор и так нарядила мальчика, что его можно было принять теперь за юношу из богатого дома. Она часто звала его к себе, ища способ одновременно излить свою нежность и удовлетворить любопытство. Кирон беззаботно усаживалась на кровать, ставила рядом коробочку с бетелем, предоставляя служанке сушить и расчесывать свои влажные после купания волосы, а Нилоканто становился рядом и исполнял целые сцены из «Наля и Дамаянти», сопровождая пение выразительными жестами. Так незаметно пролетали долгие послеполуденные часы. Кирон пыталась включить в число зрителей и мужа. Шорот покорно садился рядом с ней, но лицо его выражало такое безразличие и скуку, что вдохновение Нилоканто быстро начинало угасать. Иногда к ним присоединялась и свекровь в надежде услышать святое имя творца, однако вскоре благочестие оказывалось побежденным давней привычкой к послеобеденному сну, и она уходила к себе спать.

Шорот часто драл Нилоканто за уши, награждал его пощечинами и пинками, но мальчик, воспитанный с ранних лет в условиях куда более сурового режима, не видел в этом ничего унижительного и обидного. Он был твердо убежден, что, подобно тому как земная поверхность состоит из суши и моря, жизнь человеческая состоит из

еды и побоев, причем последний элемент в ней преобладает.

Глядя на Нилоканто, трудно было сказать, сколько ему лет. Для четырнадцати — лицо его было не по годам взрослым, для семнадцати — не по возрасту мальчишеским. Он казался не то преждевременно повзрослевшим, не то запоздавшим в развитии.

Дело в том, что в труппу он попал еще маленьким мальчишкой и ему досталось исполнять роли Радхи, Дамаянти, Ситы и Бидды. Всевышний оказался настолько предупредителен к нуждам хозяина труппы, что дал Нилоканто вырасти лишь настолько, насколько это требовалось для исполнения таких ролей. Окружающие обращались с ним, как с ребенком, и сам он привык к этому. Никому и в голову не приходило, что он уже достиг возраста, заслуживающего некоторого уважения. В силу этих субъективных и объективных причин Нилоканто выглядел слишком юным для семнадцати лет и слишком взрослым для четырнадцати.

Эта несообразность увеличивалась еще более от того, что на верхней его губе до сих пор не было никаких признаков усов. Оттого ли, что он рано начал курить, или, может быть, потому, что говорил вещи, несвойственные детям, но около губ Нилоканто залегли старившие его складки. Зато большие, лучистые глаза сохранили детскую непосредственность и наивность. Мне кажется, что в душе Нилоканто был еще ребенком, но пребывание в труппе бродячих актеров придало его лицу некоторые черты преждевременной зрелости.

С тех пор как Нилоканто нашел приют у Шорота-бабу и поселился в Чандернагоре, законы природы, освободившись наконец от внешних помех, вступили в действие и принялись наверстывать упущенное. Неестественно долго затянувшийся период детства в какой-то момент неожиданно кончился, и его семнадцать лет полностью вступили в свои права.

Происшедшая в юноше перемена осталась никем не замеченной; несомненным ее признаком, однако, было чувство стыда и обиды, которые испытывал Нилоканто каждый раз, когда Кирон обращалась с ним, как с ребенком. Однажды Кирон ради шутки попросила его пере-

одеться в женское платье, чтобы изобразить ее подругу. Это предложение совершенно неожиданно показалось юноше очень оскорбительным; почему — он и сам бы не мог сказать. С этих пор он стал немедленно прятаться, как только к нему обращались с просьбой исполнить какую-нибудь из его старых ролей. При этом Нилоканто совершенно забывал, что он всего лишь несчастный подросток из труппы бродячих актеров.

Он даже решил выучиться у служащего Шорота читать и писать. Но так как Нилоканто был любимчиком хозяйки, служащий терпеть его не мог, да и сам Нилоканто, который никогда в жизни ничему не учился, совершенно не умел сосредоточиваться и часто, смотря в книгу, обнаруживал, что буквы так и прыгают у него перед глазами. Юноша подолгу просиживал на берегу Ганги с открытой книжкой на коленях, прислонившись к стволу чампы. Река, тихо всплескивая, катила свои волны, мимо проплывали лодки; спрятавшись в листве дерева, неугомонная пичужка самозабвенно звала кого-то, а Нилоканто смотрел в книжку и думал, — о чем, знал только он сам, а может быть, даже и он не знал. Мальчик подолгу застревал на каждом слове, но одно сознание того, что он читает, наполняло его гордостью. Когда же мимо проплывала лодка, он приосанивался, поднимал книгу к глазам и начинал бормотать, делая вид, что увлечен чтением. Однако лишь только зрители скрывались из вида, все его усердие как рукой снимало.

Нилоканто постоянно напевал. Но если раньше он делал это чисто механически, то теперь знакомые мелодии будили в его душе непонятное, еще не изведенное волнение. Смысл этих безыскусных, пересыпанных незатейливой аллитерацией песен был не всегда доступен его пониманию, тем не менее, когда мальчик пел:

О гусь, почему ты так жесток,
Будучи дважды рожденным?
Скажи, зачем ты губишь царевну
В этом дремучем лесу? —

окружающий мир, казалось, возникал перед ним в своем первозданном виде, а жалкая, убогая жизнь обретала совершенно иной облик. При упоминании о царевне Дама-

янти и золотом гусе перед взором юноши вставала какая-то удивительная картина. Трудно с уверенностью сказать, кем он казался себе в эти минуты, но, уж во всяком случае, не бедным сиротой, которого судьба забросила в труппу бродячих актеров.

Когда несчастный ребенок, ложась вечером спать в полутемном углу ветхого жилища, слушает сказку о царевиче, царевне и сокровищах семи царей, фантазия его, разорвав цепи нищеты и унижения, улетает в тот волшебный мир, где нет ничего невозможного, где он получает все, чего лишен в реальной жизни: новый прекрасный облик, великолепные одежды и неодолимую силу. Так и этот обездоленный мальчик своими песнями создавал иной мир и, переселяясь в него, преображался сам; мелодии его песен волшебным образом передавали и плеск воды у его ног, и шелест листьев, и щебет птиц, и образ приютившей его богини, ласковой и веселой, чьи руки обвивали золотые браслеты, а ступни изящных ног были нежны и розовы, как лепестки лотоса. Но в какой-то момент очарование песни вдруг исчезало; появлялся прежний взлохмаченный Нилоканто из труппы странствующих актеров; к нему подходил Шорот и закатывал несколько звонких пощечин — результат жалоб хозяина мангового сада, их соседа, и тогда Нилоканто снова становился предводителем окрестных мальчишек и вел их на новые подвиги — на земле, в воде и в ветвях деревьев.

Как раз в это время на каникулы из Калькутты приехал брат Шорота — Шютиш, студент колледжа. Кирон была очень рада его приезду: теперь у нее появилось новое занятие — дразнить Шютиша, который был, кстати сказать, одного с нею возраста, и всячески подшучивать над ним. То она окрашивала свои ладони суриком и, подкравшись, зажимала глаза молодому человеку, то писала у него на спине «обезьяна», то, с шумом захлопнув дверь, запирала ее снаружи и со звонким смехом убегала. Шютиш, не желая оставаться в долгу, мстил ей тем, что крал ее ключи, подсыпал красного перца в бетель или незаметно привязывал край сари к ножке кровати. Так проходили дни — в шутках, смехе и веселых проказах. Случались, конечно, и ссоры, и слезы, и мольбы о прощении, за которыми следовало примирение.

Непонятно, что за бес вселился с этих пор в Нилоканто. Кто его оскорбил и чем — неизвестно, только какая-то горечь разъедала ему душу. Он начал издеваться над преданными ему мальчишками, нередко доводил их до слез, стал ни за что ни про что бить свою любимую собачонку, не обращая внимания на ее жалобный визг. Он не щадил даже растений и, проходя по улице, палкой ломал ветки у деревьев и кустов.

Кирон очень любила угощать тех, кто ел с аппетитом. Что-что, а аппетит у Нилоканто был неплохой, и, когда бы его ни пригласили отведать чего-нибудь вкусного, он не отказывался. Поэтому Кирон частенько угощала его. Молодой женщине доставляло особенное удовольствие смотреть, как уплетает за обе щеки этот мальчик-брахман. Но, с тех пор как приехал Шотиш, Кирон часто не хватало времени присмотреть за тем, как ест Нилоканто. Раньше ее отсутствие несколько не влияло на его аппетит. Он выпивал молоко, наливал воды, чтобы выполоскать чашку, и не выходил из-за стола до тех пор, пока не высасывал из нее всю воду. Теперь же Нилоканто чувствовал себя несчастным, если Кирон не присутствовала при его трапезе. Еда казалась ему невкусной; он вставал, не доев, и, чувствуя, что комок подкатывается к горлу, сдавленным голосом говорил служанке:

— Мне не хочется есть.

Он надеялся, что Кирон, узнав об этом, заволнуется, пошлет за ним и станет упрашивать его покушать, и тогда он твердо скажет ей: «Мне не хочется есть». Однако Кирон ничего не узнавала, никого за ним не посылала, а то, что оставалось недоеденным, уничтожала служанка. После ужина мальчик гасил свет в своей комнате, бросался на кровать и горько-горько плакал в темноте, уткнувшись лицом в подушку. Но о чем он плакал, на кого жаловался? Кто мог прийти утешить его? Никто... Наконец являлась утешительница всех страждущих — фея сна и легкими прикосновениями нежных рук мало-помалу успокаивала бедного сироту.

Нилоканто был убежден, что Шотиш пытается очернить его в глазах Кирон. Когда Кирон почему-либо бывала не в духе, ему казалось, что она сердится на него потому, что Шотиш наговорил ей что-то. И мальчик начал

усердно и страстно молить бога о том, чтобы в следующем рождении он стал Шотишем, а Шотиш — Нилоканто.

Нилоканто верил, что страстное проклятие брахмана никогда не бывает бесплодным. И он сосредоточенно разил Шотиша тайным пламенем брахманского гнева, но огонь сжигал лишь его самого, а с верхнего этажа дома до его слуха по-прежнему доносились шутки и звонкий смех Шотиша и Киронмойи.

Нилоканто не осмеливался открыто проявлять свою ненависть к Шотишу, зато он отводил душу, устраивая ему при случае мелкие неприятности. Если Шотиш, купаясь в Ганге, оставлял на ступенях лесенки мыло, Нилоканто, дождавшись, чтобы студент нырнул, моментально похищал кусок, и Шотиш, вернувшись за мылом, не находил его. Однажды во время купания молодой человек вдруг заметил, что течением уносит его самую любимую, богато расшитую рубашку. Шотиш решил, что ее сдуло в воду ветром, но откуда подул этот ветер — так и осталось для всех загадкой.

Как-то раз, желая позабавить Шотиша, Кирон позвала мальчика и попросила его спеть песню, которую он исполнял в труппе, однако Нилоканто ответил на ее просьбу угрюмым молчанием.

— Что с тобой? — удивленно спросила Кирон.

Нилоканто продолжал молчать.

— Ну спой же свою песню, ту самую... — попросила она еще раз.

— Я ее забыл, — сказал мальчик, повернулся и ушел.

Наконец Кирон достаточно окрепла — настало время возвращаться домой. Все стали готовиться к отъезду. Вместе со всеми уезжал и Шотиш. Что же касается Нилоканто, то о нем никто и не вспоминал. Его дальнейшая судьба никого не заботила.

Правда, Кирон выразила желание взять мальчика с собой, но против этого решительно восстали все: муж, свекровь и Шотиш, и молодой женщине пришлось уступить. Дня за два до отъезда она позвала к себе мальчика и стала ласково уговаривать его вернуться в родную деревню.

Услышав после стольких дней невнимания слова ласки из уст Кирон, Нилоканто не выдержал и разрыдался.

Глаза женщины тоже наполнились слезами. С чувством глубокого раскаяния подумала Кирон, что ей не надо было уделять столько внимания мальчику и привязывать его к себе, если она собиралась расстаться с ним.

Вся эта сцена происходила на глазах у Шотиша, который возмутился при виде того, как плачет великовозрастный мальчишка.

— Что за болван! — с отвращением сказал он. — Слова не вымолвит — сразу реветь!

И когда Кирон стала упрекать его за эти жестокие слова, он возразил:

— Ты, диди, слишком доверяешь людям. Никто не знает, кто он такой и откуда, а жизнь ты ему устроила, как в раю. Ясное дело, льву не хочется снова стать мышью, вот он и пустил слезу, — знает, что тебя разжалобить нетрудно.

Нилоканто выбежал вон. В мыслях он то превращался в нож и резал воображаемого Шотиша на куски, то — в иглу и пронзал его, то становился огнем и жег молодого человека, однако живому Шотишу все это не приносило ни малейшего вреда, зато сердце самого Нилоканто истекало кровью.

Шотиш привез с собой из Калькутты великолепный чернильный прибор: на двух перламутровых лодках стояло по чернильнице, а между ними, сложив крылья, сидел серебряный гусь и держал перо в клюве. Шотиш очень любил этот прибор и тщательно обтирал его шелковой тряпочкой, а Кирон любила щелкнуть гуся по блестящему клюву и со смехом говорила:

О гусь, почему ты так жесток,
Будучи дважды рожденным? —

после чего обычно между нею и Шотишем завязывалась оживленная перепалка, полная шуток и смеха.

И вот утром, за день до отъезда, чернильный прибор бесследно исчез.

— Дорогой брат, твой гусь полетел искать твою Дамаянти! — со смехом сказала Кирон.

Однако Шотиш был вне себя от гнева. Он ни минуты не сомневался в том, что прибор украден Нилоканто, — накануне вечером молодой человек видел, как мальчик

бродил возле его комнаты, высматривая что-то; видели его там и другие.

Обвиняемого привели к Шотишу. Тут же в комнате была и Кирон. Шотиш сразу же набросился на Нилоканто:

— Это ты украл мой чернильный прибор! Куда ты его дел? Принеси сейчас же!

Шорот не раз бил Нилоканто — и заслуженно и незаслуженно — и мальчик всегда безропотно переносил побои. Но когда его в присутствии Кирон обвинили в краже чернильного прибора, большие глаза мальчика вспыхнули диким огнем, грудь стала порывисто вздыматься, и, если бы Шотиш произнес еще хоть одно слово, он бросился бы на него, как дикая кошка, и вонзил в него ногти всех своих десяти пальцев.

Кирон увела Нилоканто в соседнюю комнату и мягко сказала:

— Нилу, если ты взял эти чернильницы, отдай их потихоньку мне, и я обещаю, что никто тебе больше ничего не скажет!

Из широко раскрытых глаз Нилоканто закатали крупные слезы, потом он закрыл лицо руками и горько заплакал.

Кирон вышла из комнаты.

— Я уверена, — сказала она, — что Нилоканто не брал чернильного прибора.

— Кто, кроме Нилоканто, мог это сделать? Никто! — решительно, в один голос, возразили Шорот и Шотиш.

— Он его не брал! — резко повторила Кирон.

Шорот хотел снова позвать мальчика и продолжать допрос, но молодая женщина воспротивилась.

— В таком случае нужно обыскать его комнату и сундук, — предложил Шотиш.

— Если ты это сделаешь, мы станем врагами на всю жизнь, — воскликнула Кирон. — Я не позволю шпионить за несчастным, ни в чем не повинным мальчиком.

При этих словах на ее ресницах блеснули слезы, что и решило дело: никто больше не стал беспокоить Нилоканто.

Несправедливые нападки, которым пришлось подвергнуться беззащитному сироте, переполнили сердце Кирон

острой жалостью к нему. Она купила два дхоти, рубашки, чадор, пару новых башмаков и вечером, взяв все это и банкноту в десять рупий, отправилась в комнату к Нилоканто. Она хотела потихоньку положить подарки в его сундук. Этот сундучок из жести тоже был подарен ею.

Достав ключ из связки, привязанной к уголку сари, Кирон бесшумно открыла сундучок, но оказалось, что в нем нет места, — сваленные кучей катушки для запуска бумажного змея, побеги бамбука, полированные раковины для срезания незрелых плодов манго, донышко разбитого стакана и тому подобные предметы доверху заполняли его. Кирон решила, что если сложить все это в порядке, то можно освободить место и для своих подарков. Она вынула из сундука катушки, волчки и палочки и лежавшее вперемежку с ними грязное и чистое белье и вдруг на самом дне увидела злополучный чернильный прибор Шотиша с красующимся на нем гусем.

От неожиданности Кирон густо покраснела и застыла на месте с чернильным прибором в руках. Она не заметила, как в комнату вошел Нилоканто. Но он увидал все.

Мальчик подумал, что Кирон нарочно тайком пробралась в его комнату, чтобы уличить его в воровстве. И вот — улика у нее в руках! Как сможет он объяснить ей, что украл не из корысти, а ради мщения. Что он хотел бросить чернильный прибор в воды Ганги и лишь из-за минутной слабости не осуществил своего намерения сразу же, а спрятал вещь в сундук... Как объяснит он ей все это? Ведь он не вор, не вор! Но кто же он тогда? Что он скажет? Он украл, но он не вор, и со стороны Кирон жестоко и несправедливо подозревать его в воровстве. Нилоканто никогда не сможет объяснить ей этого, не сможет он и перенести такого подозрения.

Глубоко вздохнув, Кирон положила чернильный прибор обратно в сундук, тщательно прикрыла его грязными тряпками, сверху накидала катушки от бумажного змея, бамбуковые палочки, волчки, раковины, кусочки стекла и другие мальчишеские сокровища, а поверх всего положила свои подарки и десять рупий.

Однако на следующий день выяснилось, что мальчик-брахман исчез. Никто из местных жителей не видал его. Не могла найти его и полиция. Тогда Шорот предложил:

— Ну что ж, давайте посмотрим, что у него в сундуке.

Но Кирон решительно заявила:

— Незачем!

Она велела перенести сундук Нилоканто в свою комнату, достала чернильный прибор и, выйдя на берег Ганги, незаметно выбросила его в воду.

Шотиш и вся семья Шорота-бабу уехали. Сад опустел, и лишь прирученная Нилоканто собачонка, голодная, бродила по берегу реки и жалобно выла, тщетно разыскивая своего хозяина.



СТАРШАЯ СЕСТРА

I

Поведав во всех подробностях деревенским кумушкам о том, как мучает свою жену ее сосед, жестокий тиран, Тара кратко заключила:

— Чтоб он сгорел!

Услышав это, Шоши, жена Джойгопала, очень огорчилась.

Пристало ли женщине желать чьему бы то ни было мужу такие вещи? Пожелать ему зажженную сигару в рот — это еще куда ни шло.

Но когда она робко выразила свое несогласие с суровым приговором, жестокосердная Тара горячо воскликнула:

— Чем быть женой такого человека, лучше оставаться вдовой на веки вечные!

После чего кумушки разошлись.

Но Шоши, вернувшись домой, никак не могла успокоиться. «Я даже представить себе не могу, как должен был бы провиниться муж, чтобы жена так ожесточилась», — думала она, и сердце ее наполнялось нежностью к отсутствующему супругу. Она прилегла на постель и, обняв подушку, на которой обычно спал муж, начала целовать ее. Ей даже казалось, что она вдыхает знакомый запах... Затем, закрыв дверь спальни, достала из деревянной шкатулки письма мужа и его пожелтевшую от времени фотографию и долго сидела, не сводя с нее глаз.

Она не выходила из спальни, пока не начала спадать дневная жара. Нахлынувшие воспоминания томили ее, и время от времени по лицу текли слезы.

Джойгопал и Шошикола рано поженились и имели нескольких детей. Долгое супружество и привычка друг к другу сделали свое дело — их жизнь шла размеренно и спокойно, без бурных проявлений чувств и вспышек страсти с чьей бы то ни было стороны. Раньше они никогда не разлучались, но вот теперь, на шестнадцатом году совместной жизни, когда Джойгопалу пришлось внезапно уехать по делам службы, причем уехать надолго, страстная любовь к мужу вспыхнула вдруг в сердце Шоши, — точно нить, связывавшая их, напряглась и туго затянула петлю любви в ее душе, заставляя болезненно переживать чувство, о существовании которого она давно забыла.

Вот почему в этот чудесный весенний день ей — далеко не молоденькой женщине и матери семейства — снова после стольких лет грезилась на одиноком ложе видения, которые обычно тревожат покой юной невесты.

Родник любви, незаметно струившийся в потоке ее жизни, вдруг заиграл и зазвенел. Течение увлекало ее — она слышала нежную музыку, она видела золотые замки и сказочные рощи на берегах... Как ей хотелось бы вновь очутиться в той роще былого счастья.

— Пусть только он опять будет со мной, — шептала Шоши, — я не позволю, чтобы наша жизнь и дальше проходила так пусто и скучно, чтобы зря цвели весенние цветы. Ах, сколько раз я спорила с мужем по пустякам и огорчала его ненужными ссорами!

Исполненная раскаяния, Шоши поклялась себе никогда не раздражаться, не перечить мужу, покорно и ласково исполнять все его желания и приказания — какими бы они ни были, — ведь муж был для нее всем: божеством и предметом самой нежной любви.

Шошикола была единственной — и обожаемой — дочерью у своих родителей. Поэтому, хотя Джойгопал был небогат, особенно тревожиться о своем будущем ему не приходилось. Тесть его был человек состоятельный, и они, не зная забот, жили в поместье на его счет.

И надо же было случиться, чтобы на склоне лет у родителей Шоши вдруг родился сын. Сказать правду, это

событие — непредвиденное и неуместное — чрезвычайно огорчило Шоши. Муж ее тоже не выказал особой радости по этому поводу.

Вся любовь родителей сосредоточилась теперь на ребенке, посланном им в столь преклонном возрасте, и Джойгопал, видя, что новорожденный малыш, который только и знал, что сосать грудь и спать, своими крошечными, слабенькими ручонками разрушает все его надежды и чаяния, решил поступить на службу на чайные плантации в Ассаме.

Родные и знакомые настойчиво советовали Джойгопалу подыскать себе службу поближе. Но он никого не желал слушать — то ли потому, что, разобидевшись на всех, хотел уехать, то ли потому, что рассчитывал быстро продвинуться по службе на плантации.

Как бы то ни было, Джойгопал уехал в Ассам, оставив жену с детьми у тестя. Впервые после свадьбы супруги расстались.

Естественно, что такой поворот событий заставил Шоши гневаться в душе и на своего малютку-брата. Высказывать свои чувства она не могла, а, как известно, подавленная злость является причиной болезненной раздражительности. Поэтому, пока маленький человечек мирно спал, насосавшись всласть, его старшая сестра ссорилась со всеми по любому незначительному поводу — то молоко перегрето, то рис остыл, то дети опаздывают в школу...

Однако очень скоро мать Шоши умерла перед смертью поручив сына заботам старшей дочери.

Теперь уж маленькому сиротке не потребовалось большого труда, чтобы завоевать сердце своей сердитой сестры. Радостно агукая, он тянулся к ней и старался захватить своим беззубым ротиком ее губы или нос; цеплялся крошечной ручонкой за ее волосы и ни за что не хотел отпускать; просыпался до рассвета, переползал к сестре, будил ее ласковыми прикосновениями, что-то при этом громко воркуя. Мало-помалу он научился звать сестру, говоря вместо «диди» и «диди-ма» — «зизи» и «зизи-ма», он постоянно делал то, что нельзя, тащил себе в рот все, что нельзя, забирался, куда нельзя, и, не давая покоя, в конце концов, завладел ею всецело. Дальше проти-

виться Шоши не могла: она отдала свое сердце капризному маленькому деспоту. Он потерял мать, но зато приобрел безраздельную власть над сестрой.

II

Мальчика звали Нилмони. Когда ему исполнилось два года, отец его и Шоши, Калипрошонно, серьезно заболел. Джойгопалу послали письмо с просьбой немедленно приехать. Получив после больших хлопот отпуск и вернувшись домой, он застал Калипрошонно при смерти. Перед смертью Калипрошонно назначил зятя опекуном сына, а дочери оставил в наследство четверть своего состояния.

Джойгопал отказался от места и вступил в управление имуществом покойного тестя. После долгой разлуки супруги вновь соединились.

Когда ломается какая-нибудь вещь, разбитые куски можно составить вместе и склеить. С людьми, однако, дело обстоит иначе — невозможно соединить после долгой разлуки тех, кто прежде сливался воедино, — человеческая душа не неодушевленный предмет: она непрерывно меняется и обретает новые качества.

Возвращение мужа пробудило в Шоши необычное чувство, ей казалось, что она снова только что вышла замуж. Муж стал ей теперь как будто бы еще дороже. Ведь недаром же она поклялась: «Что бы ни случилось, никогда не допущу я, чтобы угасло волшебное пламя моей любви к мужу».

Джойгопал, однако, совсем по-иному воспринял встречу с женой. Раньше, когда они неразлучно были вместе, их связывали общие интересы и привычки. Шоши была неотъемлемой частью его самого — если бы вдруг ее не стало, в жизни Джойгопала — во всем, к чему он привык за долгие годы, образовалась бы зияющая пустота. Так и случилось с ним на чужбине — сначала Джойгопал все время ощущал какую-то пустоту, ему часто бывало не по себе. Но... время шло, и новые привычки постепенно вытеснили воспоминания о прошлом.

Дело, однако, было не только в этом. Раньше Джойгопал был ленив и беспечен. Но за эти последние два

года в нем пробудилось страстное желание добиться успеха в жизни, и теперь он уже ни о чем другом не мог думать. Это желание было настолько сильно, что по сравнению с ним поблекли и отступили в тень все его прежние чувства и привязанности. Женщину сильнее всего преображает любовь, а мужчину — честолюбие.

Вернувшись домой, Джойгопал обнаружил, что и Шошикола уже не совсем та, что была два года тому назад. Маленький брат внес свежую струю в ее жизнь, ставшую теперь совершенно незнакомой и чужой Джойгопалу. Шоши делала все, чтобы заставить мужа полюбить мальчика, но никак не могла решить, удастся ли ей это.

Радостно улыбаясь, она подходила к мужу с ребенком на руках, но Нилмони, не желая выказывать к нему никаких родственных чувств, обнимал сестру за шею и тыкался головкой ей в плечо. Шоши так хотелось, чтобы маленький братик показал себя в лучшем свете и покориł сердце Джойгопала, как покорял всех остальных. Но муж ее не проявлял к Нилмони никакого интереса, и трудно было ожидать, чтобы у мальчика это вызвало восторг. А Джойгопал никак не мог понять, почему все так носятся с этим большеголовым, серьезным, худым и смуглым мальчишкой, что в нем такого необыкновенного?

Женщины великолепно разбираются во всем, что касается человеческих чувств. Наконец Шоши поняла, что Джойгопал не любит ее брата. Поняв это, она стала еще заботливее, еще ласковее относиться к мальчику и смотрела за тем, чтобы он поменьше попадался на глаза мужу — на глаза холодные, а то и просто враждебные. Все это привело к тому, что Нилмони сделался сокровищем ее души, предметом неусыпных забот. Ведь ярче и сильнее разгорается то чувство, которое таится в глубине и не может выйти наружу. Джойгопал не переносил плача ребенка. Шоши прижимала мальчика к груди и делала все, чтобы его успокоить. Если же случалось, что Нилмони будил своим плачем Джойгопала среди ночи и тот злобно, чуть не с ненавистью кричал на него, Шоши страшно пугалась и смущалась, словно это была ее вина, поспешно хватала ребенка, уходила с ним подалее и, нежно лаская, умоляла успокоиться.

— Спи, усни, золотко мое, сокровище мое, гордость моя, — напевала она, баюкая его.

Дети постоянно ссорились между собой по всяким пустякам. Раньше порядок наводила Шоши, она, как правило, становилась на сторону брата — ведь у него не было матери — и наказывала своих детей. Сейчас судья сменился, а вместе с ним переменялся и кодекс наказаний. Нилмони строго наказывали, даже не узнав, виноват ли он. Несправедливость мужа до глубины души возмущала Шоши; она брала обиженного мальчика к себе в комнату, кормила его сладостями, дарила ему игрушки, ласкала, целовала и утешала как могла.

Но чем крепче привязывалась Шоши к брату, тем сильнее сердился на него Джойгопал, и, наоборот, чем больше злился Джойгопал на мальчика, тем горячее становились ласки, которыми осыпала Нилмони старшая сестра. Джойгопал хорошо относился к жене, и Шоши молча, смиренно и любовно предупреждала каждое его желание, тем не менее между ними ни на минуту не затихала ожесточенная скрытая война из-за Нилмони.

А, как известно, тайная вражда бывает куда тяжелее явной.

III

Голова Нилмони была несоразмерно велика. Казалось, что всевышний дунул через соломинку и на ее кончике повис большой мыльный пузырь. Доктора нередко выражали опасения, что болезненный мальчик будет так же недолговечен, как этот мыльный пузырь. Он не скоро научился ходить и говорить. И, глядя на его печальное серьезное личико, казалось, что родители оставили сыну в наследство все тяготы, всю грусть, накопившиеся за долгие годы их жизни.

Но благодаря умелому, заботливому уходу сестры трудные первые годы благополучно миновали. Мальчику исполнилось пять лет.

В конце октября, в день церемонии благословения брата, Шоши одела маленького Нилмони в новые одежды и уже готовилась нанести ему на лобик традиционный знак, как в комнату Шоши вошла уже знакомая нам

соседка Тара. На лице у нее было написано явное намерение затеять ссору.

Тара заявила, что не понимает, зачем это Шоши понадобилось ставить символ любви на лобик мальчика, если тайком она всячески старается погубить его.

Шоши была поражена как громом. Гнев и обида душили ее.

А Тара не унималась.

В деревне всем давно известно, кричала она, что Шоши и ее муж задумали отобрать у маленького мальчика имущество, доставшееся ему по наследству. Нарочно не платили арендную плату за его поместье, теперь оно с молотка пойдет, а они и приберут его к рукам: купят через подставное лицо — двоюродного брата Джойгопала.

— Пусть проклятие падет на того, кто смеет распространять такую гнусную клевету, пусть у него отвалится от проказы язык, — воскликнула в бешенстве Шоши. Плача, пошла она к мужу и рассказала ему о ходивших в деревне сплетнях.

— Видно, и правда теперь никому нельзя верить, — заявил Джойгопал. — Ведь Упен — мой двоюродный брат, я был совершенно спокоен, когда поручил ему управление имением. Мне и в голову не могло прийти, что он способен нарочно задерживать арендную плату за хашильпурское поместье, с тем чтобы купить его для себя.

— Но разве ты не подашь на него в суд? — спросила пораженная Шоши.

— Подавать в суд на собственного брата? Ну нет! Да и толку никакого не будет, зря только потрачу деньги.

Священная обязанность женщины — верить мужу, но на этот раз Шоши изменила своему долгу. Счастливый домашний очаг — прибежище ее любви — показался ей вдруг чудовищным. Семья — эта самая надежная опора в мире — перестала существовать. Она внезапно превратилась в страшную западню, которая захлопнулась за Шоши и ее братом.

Как могла она — женщина, без поддержки от кого бы то ни было, защитить беспомощного Нилмони? Шоши напряженно искала выхода и ничего не могла придумать.

И чем больше она думала, тем сильнее мучили ее страх и отвращение к мужу, и бесконечная нежность к брату, которому угрожала серьезная опасность, наполняла ее сердце. Если бы она только знала, как это сделать, она обратилась бы за помощью к вице-королю Индии или даже написала бы письмо самой английской королеве с просьбой спасти состояние брата. Королева никогда не позволила бы продать имение в Хашильпуре, приносящее Нилмони семьсот пятьдесят восемь рупий в год!

Пока Шошикола раздумывала над тем, как получить аудиенцию у королевы и добиться, чтобы призвали к ответу двоюродного брата мужа, Нилмони неожиданно заболел лихорадкой. Он бился в судорогах и часто терял сознание.

Джойгопал позвал местного деревенского врача. В ответ на просьбу Шоши пригласить хорошего врача Джойгопал сказал:

— А разве Мотилал плохо лечит?

Шоши упала к ногам Джойгопала, жизнью своей заклиная мужа исполнить ее просьбу.

— Ладно, я вызову врача из города, — ответил он наконец.

Шоши не спускала мальчика с рук, но ребенок и сам не отпускал ее от себя ни на шаг, прижимался к ней в страхе, что она оставит его одного, и даже во сне крепко сжимал в ручонке край ее сари.

Так прошел день. Вечером вернулся Джойгопал и сказал, что врача в городе он не застал, доктор уехал куда-то далеко к больному.

— Мне нужно поехать еще в одно место по судебным делам, — добавил он, — и я попросил Мотилала аккуратно навещать больного.

Ночью у Нилмони начался бред. Рано утром Шоши, больше не раздумывая, села на пароход и отвезла брата в город. Доктор был дома, выяснилось, что он никуда не уезжал. Он сразу понял, что имеет дело с женщиной из почтенной семьи, устроил Шоши с братом в доме одной старухи вдовы и стал лечить мальчика.

На следующий день появился Джойгопал. Он кипел от негодования и приказал жене немедленно ехать домой.

— Можешь убить меня, но сейчас я не вернусь, — ответила она. — Вы все хотите уморить моего Нилмони; у него нет ни отца, ни матери, никого, кроме меня. Но я спасу его.

— Тогда оставайся здесь и можешь в мой дом вообще не возвращаться! — в запальчивости воскликнул Джойгопал.

Шоши прорвало.

— Твой дом! — воскликнула она. — Это дом моего брата!

— Хорошо, посмотрим, — угрожающе сказал муж и ушел.

Происшествие взбудоражило всю деревню.

— Хочешь ссориться с мужем, ну и ссорься дома на здоровье, — заявила Тара. — Разве можно уходить из дому? Ведь это как-никак муж.

Шоши истратила все деньги, которые у нее были с собой, продала все украшения, но брата от смерти все-таки спасла. Скоро, однако, она узнала, что большой надел земли в Дариграме, где был их дом, приносивший в общей сложности почти тысячу пятисот рупий в год, Джойгопал с помощью заминдара перевел за это время на свое имя. Теперь уже все имущество принадлежало ему, а не ее брату.

Нилмони, оправившись от болезни, стал упрашивать сестру вернуться домой. Он соскучился по своим товарищам — детям Шоши.

— Поедем домой, диди, ну, поедем, — приставал он к сестре. Но она только плакала в ответ. «Да разве есть теперь у нас дом», — думала она.

Наконец Шоши взяла себя в руки. «Слезам делу не поможешь, а у Нилмони нет никого, кроме меня», — сказала она себе и пошла к жене помощника судьи.

Помощник судьи хорошо знал Джойгопала. Ему очень не понравилось, что женщина из приличного дома ушла от мужа и вдобавок хочет затеять с ним тяжбу из-за имущества. Он поговорил с Шоши и сказал, что подумает, а сам тут же написал письмо Джойгопалу. Джойгопал приехал с двоюродным братом, силой усадил жену на пароход и увез ее домой.

Снова встретились муж и жена после разлуки. Такова была воля божья!

Нилмони, возвратившись после продолжительного отсутствия домой и встретившись с товарищами своих игр, был вне себя от счастья. Глядя на то, как он беззаботно веселится, Шоши чувствовала, что сердце ее сжимается от боли.

IV

Объезжая зимой свой округ, судья остановился в деревне — он собирался поохотиться. Проходя по деревне, он повстречался с Нилмони. Остальные ребятишки, приняв сахиба за некую разновидность клыкастых, когтистых и рогатых существ, которых Чанакья настоятельно советует остерегаться, бросились врассыпную, но Нилмони спокойно, с любопытством смотрел на господина серьезными глазами. Сахиб заинтересовался мальчиком, подошел к нему и спросил:

— Ты ходишь в школу?

Нилмони покачал головой.

— Да.

— А какую книгу ты читаешь?

Мальчик, видимо, не понял вопроса судьи и продолжал внимательно смотреть ему прямо в лицо.

Вернувшись домой, Нилмони с торжеством описал сестре свое знакомство с англичанином.

После обеда Джойгопал надел тюрбан, праздничное платье и пошел приветствовать судью. День был жаркий, и судья приказал поставить стол в тени. Его плотным кольцом окружали истцы, ответчики и полицейские.

Судья усадил Джойгопала на стул и стал расспрашивать о деревенских делах. Джойгопал не помнил себя от гордости — он сидел на глазах у всего народа на таком почетном месте!

«Жаль только, что из семейств Чоккроборти или Нонди никого нет и никто не видит меня сейчас», — подумал он.

Но в эту минуту к судье подошла женщина под покрывалом, за руку она вела Нилмони.

— Сахиб, вашей заботе я поручаю этого беззащитного сироту, — сказала она. — Спасите его!

Англичанин узнал мальчика с большой головой и серьезными глазами, с которым он познакомился на улице. Сообразив, что перед ним женщина из почтенного семейства, судья встал и предложил ей пройти в палатку.

— Нет, все, что я хочу сказать, я скажу здесь, — ответила она.

Джойгопал побледнел и заерзал на стуле.

Любопытные деревенские жители, почувствовав, что сейчас они услышат что-то в высшей степени интересное, устремились вперед, но сахиб поднял трость, и они поспешно ретировались.

Так и не выпуская руки мальчика, Шоши рассказала судье всю историю своего брата. Джойгопал несколько раз пытался ее прервать, но судья с покрасневшим от гнева лицом прикрикнул на него.

— Молчать! — приказал он и тростью показал Джойгопалу, чтобы он встал со стула.

В душе Джойгопала бушевала ярость, но он не посмел возразить и стоял рядом молча. А Нилмони прижимался к сестре и с изумлением прислушивался к ее словам.

Когда Шошикола кончила свой рассказ, судья задал несколько вопросов Джойгопалу и, выслушав его, долго молчал. Затем он сказал, обращаясь к Шоши:

— Дитя мое, хотя разбор этого дела не входит в мою компетенцию, вам не надо беспокоиться: я выполню свой долг. Идите с братом домой и ничего не бойтесь.

— Сахиб, до тех пор пока дом не будет возвращен брату, я не могу отвести его туда. И если вы не возьмете Нилмони с собой, он погибнет — никто, кроме вас, не сможет защитить его.

— А куда пойдете вы?

— Мне нечего бояться, я вернусь к мужу.

Сахиб слегка улыбнулся. Ему больше ничего не оставалось, как взять с собой худенького и грязноватого бенгальского мальчика со спокойным, милым, серьезным личиком, на шее у которого висело целое ожерелье всяких талисманов.

Когда Шоши стала прощаться с судьей, мальчик схватил ее за край сари.

— Не надо бояться, малыш, — сказал ему сахиб, — пойдем!

Шоши незаметно вытерла слезы под покрывалом.

— Иди, милый братик, мы еще встретимся, — сказала она и, прижав Нилмони к себе, погладила его по голове. Потом она разжала его ручонку, освободила сари и быстро направилась к выходу.

Сахиб обнял плачущего мальчика, который отчаянно кричал: «Диди, диди!» Шоши еще раз обернулась к брату, молча протянула к нему руку, словно призывая успокоиться, и ушла, с сердцем полным горя.

Снова встретились муж и жена в своем старом, так хорошо знакомом доме. Такова была воля божья!

Но эта встреча была недолгой. Спустя некоторое время как-то утром жители деревни узнали, что накануне вечером Шоши умерла от холеры и что ночью тело ее было предано сожжению.

Все соседи хранили на этот счет молчание. Правда, Тара порывалась иногда что-то сказать, но ее всегда вовремя останавливали.

Прощаясь с братом, Шоши дала ему слово, что они еще встретятся. Но как сдержала она свое обещание, я не знаю.

1895



БАБУ ИЗ НОЙОНДЖОРА

Некогда род заминдаров из Нойонджора славился своей знатностью. В те времена добиться, чтобы род ваш приписали к «благородным», было не так-то просто. Чтобы получить право называться «бабу», следовало приложить невероятные усилия, — пожалуй, ничуть не менее невероятные, чем те, которые необходимы для сбора рекомендаций и устройства банкетов и балов, без чего в наши дни невозможно получить титул райбахадура.

Замашки у бабу из Нойонджора были поистине царские — они отпарывали даже кромку у шарфов из даккского муслина, утверждая, что она натирает их нежные шеи. Они способны были выбросить сотни тысяч рупий на свадьбу любимой кошечки и, как говорят, раз даже превратили по случаю какого-то праздника ночь в день, развесив великое множество сверкающих гирлянд и устроив дождь из нитей чистого серебра, которые должны были изображать лучи солнца.

Понятно, что столь роскошная жизнь не могла продолжаться долго. Подобно источнику света с чрезмерным количеством фитилей, богатство и слава заминдаров из Нойонджора, ярко вспыхнув, угасли навеки.

Наш сосед Койлаш Рай Чоудхури был последним отпрыском славного нойонджорского рода. Когда Койлаш родился, масло в светильнике благополучия их семьи уже выгорело, а после смерти отца, ослепительно вспыхнув невиданным великолепием похорон, исчезло без следа. Все иму-

щество было распродано за долги, и на оставшиеся крохи поддерживать былую славу предков было просто невыносимо.

Поэтому, покинув Нойонджор, Койлаш-бабу поселился с сыном в Калькутте. Однако сын его ненадолго задержался в мире, где уже не гремела слава их рода — простившись с единственной дочерью, он отправился путешествовать по миру загробному.

С Койлашем мы были соседями. Однако история нашего рода в корне отличалась от его. Мой отец собственными трудами сколотил свое состояние и хорошо знал цену деньгам. Он никогда не носил одежды ниже колен, и по рукам его было видно, что это человек рабочий. Он вовсе не стремился безрассудными тратами приобрести право именоваться «бабу», и за это я, его единственный сын, был только благодарен ему. Я очень гордился тем, что получил образование и вдобавок кое-какой капитал для поддержания души и тела. Ослепительной родословной с пустым сундуком я предпочитал хрустящие банкноты в отцовском сейфе.

Думаю, что потому-то я так и раздражался, видя непомерные претензии, которые предъявлял Койлаш-бабу к окружающим, не имея в активе ничего, кроме бывшего величия своего рода. Мне казалось, что Койлаш-бабу презирает меня за то, что мой отец заработал деньги собственным трудом. Это злило меня, и я постоянно размышлял над тем, кто же все-таки в данном случае заслуживает презрения. Неужели тот, кто, всю жизнь претерпевая суровые лишения, преодолевая соблазны, пренебрегая молвой, постепенно, шаг за шагом, неуклонно и неусыпно, где хитростью, где умом, расчищал себе дорогу и не упускал случая добавить крупицу серебра в мощную пирамиду благосостояния, возведенную собственными руками? Неужели он не заслуживает уважения только потому, что одевается по-другому?

Когда я был молод, все это злило и возмущало меня. Но с годами я понял, что злиться нечего: у меня огромное состояние и я ни в чем не нуждаюсь. Что мне за дело до нищих, которые ходят задрав нос? Пусть ходят, если это доставляет им удовольствие.

Следовало бы мне заметить, что, кроме меня, никто не испытывал антипатии к Койлашу-бабу.

Трудно было бы найти более безобидного человека. Он всегда принимал участие во всех религиозных обрядах и церемониях, происходивших в домах соседей, разделял все их радости и печали. Ко всем, от мала до велика, он обращался с ласковой улыбкой. Его живо интересовали малейшие подробности жизни его друзей, он осведомлялся о них с неутомимой любезностью. Стоило только встретить его на улице, и на вас обрушивался град вопросов: «Как у вас — все хорошо? А как Шоши — здорова?.. Как чувствует себя ваш уважаемый братец? Я слышал, что сын Модху заболел лихорадкой, — надеюсь, он поправляется?.. Давно уж я не видел Хоричорона-бабу, что-то он подделывает?.. Какие новости о вашем Ракхале? А как гм, тм... здоровье ваших дам?..» И так далее, и так далее.

У него всегда был очень опрятный вид, хотя гардероб его был невелик. Нужно было видеть, с каким старанием он сам проветривал свою куртку, чадор, рубашки, а также старенькое одеяло, наволочки и небольшой коврик, на котором всегда сидел. Все это он развешивал на веревке, а потом вытряхивал и долго чистил щеткой.

Он так умело расставил свою скудную мебель, что комната его выглядела вполне прилично и создавалось впечатление, что он просто не хочет загромождать ее лишними вещами. Если — что случалось нередко — у него не было слуги, он запирался, сам чистил и гладил свою одежду и делал другую домашнюю работу и, только приведя все в порядок, снова распахивал двери дома для друзей.

Все огромное состояние семьи было промотано, но старику удалось уберечь от ростовщиков несколько ценных фамильных вещей — серебряное кропило для разбрызгивания душистой воды, серебряный филигранный флакон для розового масла, золотое блюдо, серебряную трубку, драгоценную старинную шаль, пару старомодных рубашек да тюрбан. При всяком удобном случае Койлаш-бабу торжественно извлекал эти вещи из сундука, стараясь лишний раз утвердить с их помощью высокую честь рода бабу из Нойонджора.

Хотя сам по себе Койлаш-бабу был очень скромным человеком, он считал своим священным долгом давать

простор воображению, говоря о достоинствах предков. Справедливость требует отметить, что большинство соседей с удовольствием поощряли его в этом. Соседи величали его «господином учителем» и частенько захаживали к нему в гости. Зная бедственное положение старика и не желая вводить его в расходы на табак, гости, собираясь к Койлашу, обычно заранее покупали несколько серов табаку.

— Господин учитель, — говорили они, — попробуйте, как вам нравится этот табак? Сосед только сегодня утром получил его из Гаи.

Господин учитель затягивался несколько раз и восклицал:

— Прекрасный табак, просто великолеппый! — И тут же рассказывал, что сам обычно курит очень дорогой сорт табака по шестьдесят — шестьдесят пять рупий за бхори, и предлагал попробовать.

Но гости уже знали, что если кто-нибудь выразит согласие, то обязательно окажется, что ключ от шкафа куда-то задевался. Все это, без сомнения, было делом рук старого слуги, негодника Гонеша, который запрятал его и забыл. Настоящий растяпа! Ради чести семьи Гонеш безропотно сносил все упреки, а гости наперебой успокаивали хозяина:

— Не беспокойтесь, господин учитель, не беспокойтесь! Тот табак, наверное, очень крепкий, а этот — как раз хорош.

Койлаш-бабу улыбался с облегчением, и между ними снова завязывался непринужденный разговор. Когда наступало время прощаться, старик вдруг восклицал:

— Ах да, кстати, когда вы отобедаете у меня, друзья?

На что гости отвечали:

— Как-нибудь обязательно. Надо будет сговориться...

— Ну хорошо, вот пойдут дожди, тогда... Пожалуй, в такую жару парадный обед действительно может показаться тяжелым.

Наступал дождливый период, но никто не напоминал старику о его приглашении. Больше того, всякий раз, когда заходила об этом речь, друзья говорили:

— Ну что вы, ведь сейчас нос на улицу не высунешь... Пусть дожди кончатся, тогда уж...

Конечно, такому человеку, как Койлаш-бабу, не пристало жить в столь убогом и тесном домике, и друзья очень сочувствовали ему. Все они в один голос уверяли, что прекрасно понимают, как трудно — проще сказать невозможно — купить сейчас в Калькутте приличный дом. Снять — и то нет ничего подходящего.

— Что поделаешь, — говорил, вздыхая, Койлаш-бабу, — придется жить в этом, но зато я не расстанусь с вами. Мне даже трудно себе представить, как бы это я бросил вас и уехал. В Нойонджоре у меня остался огромный дом, да разве там есть такие люди, как вы?

Думаю, старик и сам понимал, что его положение ни для кого не секрет. Когда он делал вид, что и теперь богат, как прежде, а соседи поддакивали ему, он, вероятно, понимал, что слушают его просто из жалости.

Почему-то все это страшно раздражало меня. По всей вероятности, оттого, что в молодости люди бывают крайне нетерпимы ко всякой фальши и считают человеческую глупость тягчайшим пороком. Между тем Койлаш-бабу отнюдь не был глуп. У него нередко спрашивали совета в повседневных делах. Правда, если речь заходила о Нойонджоре, здравый смысл тотчас же покидал его, и поскольку соседи, любившие Койлаша-бабу, никогда ему не противоречили и с удовольствием слушали его рассказы, то и его фантазия разыгрывалась, переходя часто всякие границы. Если при нем начинали рассказывать о славном прошлом Нойонджора, приукрашивая рассказ самыми нелепыми выдумками, Койлаш-бабу принимал все это за чистую монету и даже мысли не допускал, что кто-нибудь может усомниться в правдивости таких историй.

Иногда мной овладевало непреодолимое желание взять да и выстрелить из пушки по этой фальшивой крепости, которая казалась старику незыблемой; выстрелить и сровнять ее с землей. Беспечно сидящая на ветке птица всегда вызывает у охотника желание пальнуть в нее. Если камень висит над пропастью, ни один мальчишка не пробежит мимо, чтобы не столкнуть его туда палкой. Всякая вещь, готовая вот-вот оторваться, но все еще цепляющаяся за что-то, вызывает немедленное желание ускорить этот процесс, словно такой поступок может по-

мочь человеку постичь истинную природу вещей. Ложь Койлаша-бабу была столь бесхитростна и оголена, так легко попадалась на мушку правды, что возникало немедленное желание подстрелить ее, и только невероятная лень и привычка не вылезать вперед других мешали мне сделать это.

Когда я пытаюсь разобраться в чувствах, которые испытывал в то время к Койлашу-бабу, мне становится ясно, что причина моей неприязни имела глубокие корни. Вот это-то я и хочу сейчас объяснить.

Богатство отца не помешало мне получить степень магистра искусств, а юность не привела меня в дурные компании. У меня была безукоризненная репутация, не пошатнувшаяся даже после смерти опекунов, когда я остался совсем один. К тому же я был так хорош собой, что, назвав себя красавцем, рисковал бы, в крайнем случае, получить упрек в нескромности, но никак не во лжи. Не могло быть сомнения, что я считаюсь завидной партией. Я великолепно понимал, что цена моя на брачной ярмарке Бенгалии должна стоять очень высоко, и твердо решил себя не продешевить. В воображении я уже давно нарисовал образ своей избранницы — единственной дочери богатого отца, умопомрачительной красавицы и прекрасно образованной.

Предложения сыпались на меня со всех сторон. Мне сулили до десяти тысяч рупий приданого, но, бесстрастно взвешивая достоинства девиц на чувствительных весах своих требований, я не находил среди них равной себе.

В конце концов, я согласился с поэтом Бхавабхути.

Готов достойную себя я очень долго ждать:
Ведь нет у времени границ и мира не объять.

Однако было весьма сомнительно, что в скромных пределах теперешнего мира, да еще на таком крошечном клочке земного шара, как Бенгалия, могло отыскаться существо столь редкостное и невероятное.

Тем временем родители, обремененные незамужними дочерьми, распевали мне дифирамбы. Они не скупились на похвалы и открывали во мне все новые и новые достоинства, независимо от того, нравились мне их дочери или нет. Из шаштр нам известно, что боги требуют покло-

нения даже в тех случаях, когда сами они не расточают милостей, и бывают весьма разгневаны, заметив, что не внушают кому-нибудь должного благоговения. Такое же чувство в душе испытывал и я.

Я уже говорил, что у Койлаша-бабу была внучка. Я видел ее не раз и нисколько не заблуждался относительно ее красоты. Мне даже в голову никогда не приходило, что я могу жениться на ней. Тем не менее я был твердо убежден, что настанет день, когда старик с должным благоговением выразит желание принести и эту жертву на мой алтарь. Надо признаться — и в этом-то и заключалась тайная причина моей неприязни, — что он этого не сделал. Мне передавали, что он даже сказал как-то одному из своих друзей:

— Бабу из Нойонджора никогда не добивались никаких милостей. Скорее я обреку внучку на вечную девственность, чем нарушу традиции своего рода.

Такая самонадеянность возмутила меня до глубины души, но, будучи юношей благонравным, я затаил негодование и промолчал. Как грозовая туча таит в себе и гром и молнии, так и у меня раздражение не исключало вспышек юмора. Я, конечно, никогда не позволил бы себе наказать старика просто так, чтобы дать выход своей злости, поэтому долгое время я ничего не предпринимал, но вдруг меня осенила мысль настолько забавная, что я уже не мог удержаться от искушения осуществить ее.

Я уже упоминал о том, что друзья без зазрения совести потакали тщеславию старика. Так вот один из его приятелей — правительственный чиновник в отставке — сказал как-то Койлашу-бабу, что вице-губернатор при каждой встрече спрашивает его о бабу из Нойонджора и что, по мнению вице-губернатора, в Бенгалии есть лишь два по-настоящему славных рода: раджи Бурдвана и бабу из Нойонджора.

Старик поверил дурацкой выдумке и с гордостью рассказывал об этом всем знакомым, а встречаясь с этим чиновником, неизменно забрасывал его вопросами:

— А как чувствуют себя вице-губернатор? Хорошо? А его супруга? Здоровы ли детки? и т. д.

Койлаш-бабу даже заявлял о своем намерении поехать как-нибудь с визитом к вице-губернатору. Однако можно

было с уверенностью сказать, что немало сменится вице-губернаторов и губернаторов, прежде чем бабу из Нойонджора сможет привести свою карету в надлежащий вид для посещения правительственной резиденции.

И вот в один прекрасный день я пришел к Койлашу-бабу рано утром и, отозвав его в сторону, сказал шепотом:

— Господин учитель, вчера я был на приеме у вице-губернатора. Случайно зашла речь о бабу из Нойонджора, и я сказал сахибу, что Койлаш-бабу находится в Калькутте. Он очень расстроился, что вы до сих пор не побывали у него. А затем сказал, что сегодня же после обеда сам придет к вам с неофициальным визитом.

Вряд ли мне удалось бы поймать на эту удочку кого-то еще, да и сам Койлаш-бабу сразу же понял бы, в чем дело, пожелай я сыграть эту шутку с кем-нибудь другим. Но после всего, что он слышал от своего приятеля-чиновника в отставке, визит вице-губернатора показался ему делом совершенно естественным. Однако вместе с радостью пришло и волнение — куда посадить почетного гостя, как все приготовить к его приходу, как приветствовать? Ведь тут было замешано доброе имя Нойонджора! Кроме того, Койлаш не знал английского языка. Как же он будет беседовать с гостем — это обстоятельство беспокоило старика больше всего.

— Не печальтесь, — утешал я Койлаша-бабу, — с ним приедет переводчик. Вице-губернатор подчеркивал, что визит будет совершенно неофициальным.

В полдень, когда большинство соседей находилось в конторах, а оставшиеся, закрыв двери, наслаждались послеобеденным сном, перед домом Койлаша-бабу остановился рикипаж, запряженный парой.

Слуга в ливрее поднялся по лестнице и доложил о прибытии вице-губернатора. Старик, облаченный в старинные праздничные одежды, уже ждал гостя. Рядом стоял его старый слуга Гонеш, принаряженный ради торжественного случая в лучший костюм хозяина. Когда ему доложили о приезде гостя, Койлаш-бабу, дрожа от волнения и тяжело дыша, поспешил к двери. Беспрестанно кланяясь, он провел гостя в комнаты. Одетый на английский манер, мнимый вице-губернатор, мой друг, вошел следом за ним.

В комнате стояло кресло, покрытое дорогой старинной шалью. Койлаш усадил в него гостя и обратился к нему с длинной, напыщенной речью на урду. Затем он поднес ему на золотом блюде ожерелье из старинных золотых монет. Рядом стоял старый Гонеш с розовой водой и флаконом розового масла в руках.

Койлаш-бабу то и дело повторял, что в своем родовом поместье в Нойонджоре он сумел бы принять почетного гостя с подобающей пышностью. Здесь же, в Калькутте, он живет временно, здесь он чужой. Да что там, просто рыба, выброшенная из воды...

Мой приятель сидел, не снимая цилиндра, и важно кивал головой. Правда, английский этикет предписывает снимать шляпу, входя в дом, но боязнь оказаться узнанным заставила его позволить себе эту вольность. А Койлаш-бабу и его старый слуга, вне себя от гордости и восторга, совершенно не замечали никакого нарушения этикета.

После десятиминутной беседы, в течение которой гость лишь кивал головой, он наконец собрался уходить. Подученные заранее лакеи сняли с кресла шаль, прихватили блюдо с ожерельем из золотых монет, забрали из рук Гонеша серебряное кропило, флакон с розовым маслом — и торжественно внесли все это в экипаж. Койлаш-бабу не остановил их, он решил, что таков, должно быть, обычай вице-губернаторов.

Спрятавшись в соседней комнате, я наблюдал за всем происходящим, помирая со смеху. Наконец, не в силах дольше сдерживаться, я хохоча выбежал в следующую комнату и вдруг обнаружил, что там кто-то есть. На постели лежала девушка и отчаянно рыдала. Мое неожиданное появление и громкий хохот заставили ее вскочить. Черные, полные слез глаза метали молнии, гневный голос прерывался от рыданий.

— Что вам сделал мой дедушка? — воскликнула она. — Зачем вам понадобилось обманывать его? Зачем вы пришли сюда? — Она не могла больше вымолвить ни слова и, прикрыв лицо покрывалом, расплакалась еще сильнее.

Смех замер у меня на губах. До этой минуты поступок мой казался мне презабавнейшей шуткой — ничем больше. Сейчас же я внезапно понял, как жестоко оби-

дел это нежное создание. Я увидел все безобразие, всю жестокость своей выходки и, пристыженный, вышел молча из комнаты, словно побитая собака. Действительно, что сделал мне этот несчастный старик? Ведь своим наивным бахвальством он не причинил вреда ни одному живому существу на свете. А вот моя нетерпимость обратилась в жестокость.

Это происшествие открыло мне глаза и на другое. До сих пор я смотрел на Кушум, внучку Койлаша, как на залежалый товар, ожидающий на брачном рынке благожелательного покупателя. Так как мне этот товар приходился не по вкусу, я полагал, что он должен лежать и ждать, пока не явится тот, кто захочет его купить. Но теперь я вдруг обнаружил, что под оболочкой брачного товара, лежащего в уголке старого дома, бьется человеческое сердце! Полное радостей и печалей, любви и ненависти, оно представлялось мне окутанным дымкой таинственности, влекущей в мир туманного прошлого и неизведанного будущего. Неужели человеческое сердце можно выменять на деньги или определить его ценность размером глаз и носа?

Я не спал всю ночь. На следующее утро, с восходом солнца, собрав похищенные вещи, я, словно вор, крадучись, пробрался в дом Койлаша-бабу. Мне хотелось тайком отдать их слуге старика.

Нигде не найдя Гонеша, я немного подумал и отправился наверх. И вот, проходя по коридору, я невольно подслушал разговор старика с внучкой.

— Дедушка, что тебе вчера сказал вице-губернатор? — спросила Кушум нежным и ласковым голосом. — Расскажи мне все-все, до последнего словечка.

Но его и не надо было уговаривать. Сияя от гордости, он передал ей во всех подробностях похвалы, которые любезно расточал вице-губернатор в адрес старинного рода бабу из Нойонджора. Кушум сидела перед стариком и, не отводя глаз, с большим вниманием слушала его. Любовь к старику заставила ее очень искусно играть роль, чтобы не дать ему заподозрить обман. Я был тронут, и слезы навернулись мне на глаза. Долго стоял я молча в коридоре. Когда же наконец старик закончил свое повествование о замечательном посещении вице-гу-

бернатора и вышел, я приблизился к девушке. Не сказав ни слова, я положил перед ней реликвии бабу из Нойонджора и удалился.

Под вечер я зашел снова. Прежде, следуя отвратительному современному обычаю, я никак не здоровался со стариком, входя в комнату, сегодня же я подошел к нему и, низко склонившись, взял прах от его ног. Койлаш-бабу, несомненно, решил, что причиной внезапно проснувшихся у меня хороших манер является вчерашний визит вице-губернатора. Это ему польстило, и он, гордый, как Индра, принялся рассказывать мне о сахибе. Я не перебивал его. Более того, я всячески поощрял старика. Да и соседи, прослышавшие о вчерашнем событии, с большим любопытством слушали этот рассказ, который, обрастая фантастическими подробностями, мало-помалу превращался в эпическое произведение и по объему, и по характеру повествования.

Когда наконец все ушли, я с красным от стыда лицом, смиренно попросил у старика руки его внуки. Я сказал, что, хотя честь моего рода не может сравниться с честью славного рода бабу из Нойонджора, тем не менее...

Едва я кончил, как Койлаш-бабу привлек меня к себе и в порыве радости воскликнул:

— Я беден! Я и не думал, дружок, что судьба пошлет мне такое счастье. У моей Кушум много достоинств — вот ты и берешь ее сегодня! — Из глаз его полились слезы.

В этот день первый — и последний — раз в жизни старик забыл о своем долге по отношению к великим предкам и признался в бедности. Он сказал, что мое вторжение в их семью не причинит никакого урона знатности бабу из рода Нойонджора.

Итак, моя злая шутка, имевшая целью развенчать старика, привела к тому, что он узнал и полюбил меня как достойного зятя.



ГОЛОДНЫЕ КАМНИ

Мы — один мой родственник и я — познакомились с ним в поезде, возвращаясь в Калькутту после праздника Пуджи, проведенного нами в странствиях по стране. По одежде мы сначала приняли его за мусульманина из западных провинций, однако его манера говорить окончательно поставила нас в тупик. Он так уверенно рассуждал буквально обо всем на свете, что казалось, будто Владыка мира, прежде чем решить что-то, обязательно советовался с ним. До сих пор мы жили в блаженном неведении относительно потрясающих событий, творящихся в мире, ничего не знали о том, что русские продвинулись далеко вперед, что англичане втайне вынашивают очень серьезные политические планы, что неурядицы среди местных шейхов достигли критической точки. Но наш новый знакомый сказал с проницательной усмешкой:

— На земле и в небесах есть много вещей, друг Горацио, о которых не сообщается в ваших газетах.

Мы редко встречались с людьми не своего круга, и потому эрудиция этого человека произвела на нас потрясающее впечатление. По малейшему поводу он ссылался на научные данные, цитировал веды или вдруг начинал читать персидские стихи, а так как мы не претендовали на ученость и не обладали достаточным знанием вед и персидского языка, то наше уважение к нему все возрастало. Мой родственник, теософ, даже пришел к убеждению, что наш спутник связан с потусторонним миром,

что «магические силы», или «царство духов», или «астральные тела», или еще что-то в этом роде тайно внушают ему мысли. Самое обыкновенное замечание этого необыкновенного человека он выслушивал с восхищением и глубоким почтением и записывал, стараясь сделать это незаметно. Мне кажется, однако, что таинственная личность все заметила и была весьма довольна впечатлением, которое ей удалось произвести.

Мы приехали на узловую станцию, где нам предстояла пересадка, и в ожидании поезда вошли в вокзал. Была половина одиннадцатого вечера. Нам сообщили, что на линии что-то произошло и поезд значительно опоздает. Я решил расстелить на столе одеяло и немного вздремнуть. Но в это время наш необыкновенный спутник снова начал рассказывать очередную историю. Сам собой разумеется, в ту ночь мне так и не удалось заснуть.

...Когда, не, поладив с администрацией, я оставил свою должность в Джунагоре и приехал на службу к низаму в Хайдерабад, я был молод, здоров, и поэтому меня назначили на должность сборщика хлопкового налога в Бариче.

Барич — очень красивое место. У подножья гор, среди густых лесов, извиваясь, словно искусная танцовщица, шумно и быстро течет по своему каменистому ложу река Шуста (исковерканное санскритское название Сваччхатойа). Полтораста ступеней ведут наверх к обрывистой площадке, и там, у подножья горы, одиноко стоит дворец из белого мрамора; поблизости нет никакого жилья; хлопковый рынок и сама деревня Барич отсюда далеко.

Приблизительно двести пятьдесят лет тому назад шах Махмуд Второй выстроил дворец в этом безлюдном месте для своих увеселений. Тогда в купальнях били фонтаны из розовой воды, в тихих залах, охлаждаемых водяными брызгами, на прохладных мраморных скамьях сидели молоденькие персианки, распустив перед купаньем волосы, подставляя под прозрачные струи фонтанов свои нежные, как лепестки цветов, ножки: под аккомпанемент ситар они пели газели о своих виноградниках.

Теперь эти фонтаны умолкли; не слышно больше песен; изящные ножки красавиц не ступают легко по белоснежному мрамору. Теперь этот большой и очень пустынный дом — пристанище таких, как я, томящихся в одиночестве холостяков, сборщиков налогов. Старый конторский служащий Керим Хан предостерегал меня от ночлега в этом дворце. Он сказал, что если я хочу, то могу проводить в нем хоть весь день, но ни в коем случае не оставаться на ночь. Я только рассмеялся в ответ. Слуги тоже заявили, что согласны работать здесь только до наступления темноты, но на ночь оставаться не будут. «Что ж, будь по-вашему», — ответил я. У этого дома была такая слава, что даже воры не решились бы войти в него ночью.

В первое время тишина, царившая в этом заброшенном мраморном дворце, угнетала меня, как ночной кошмар, и я старался по возможности не бывать там днем; возвращался поздно вечером усталый, ложился в постель и немедленно засыпал.

Но не прошло и недели, как неизъяснимое очарование этого места стало оказывать на меня свое действие. Мне трудно описать ощущение, которое я испытывал, еще труднее заставить поверить в него других, но мне казалось, что прекрасное здание — это живой организм, который медленно, но неотвратимо всасывает меня, стараясь растворить без остатка.

Вполне возможно, что этот процесс начался сразу же, как я поселился во дворце, но я отчетливо помню день, когда я впервые почувствовал, что творится со мной.

В начале лета крупных торговых сделок не бывает и мне было нечем занять себя. Как-то, незадолго до захода солнца, я сидел в кресле внизу, около дворцовой лестницы. Шуста обмелела, и широкая отмель у противоположного берега играла сейчас всеми оттенками закатных красок; у моих ног так и сверкали камешки, устилавшие дно прозрачной речки. Не было ни малейшего ветерка. Неподвижный воздух был пропитан крепким ароматом лесной базилики, мяты и аниса, доносившимся с ближайших холмов.

Но лишь только солнце скрылось за горными вершинами, над сценой дня словно опустилась большая темная

завеса, — обступившие со всех сторон горы не позволяли затянуться свиданию света и мрака. Мне захотелось покататься верхом, но едва я поднялся с кресла, как на лестнице послышались шаги. Я обернулся — никого!

Решив, что это обман чувств, я снова уселся на прежнее место, и тотчас же опять послышались шаги, — казалось, вниз по лестнице бежало несколько человек. Радостное возбуждение, к которому непонятным образом примешивался страх, охватило меня. На лестнице никого не было, но мне казалось, что я вижу толпу веселых девушек, бегущих вниз по лестнице купаться к Шусте. Торжественная тишина царила в долине, на реке, в пустынном дворце, и в то же время мне казалось, что я прекрасно слышу веселый, звонкий, похожий на журчание ручейка смех купальщиц, которые, обгоняя друг друга, пробегали мимо. Они словно не замечали меня, — я был для них так же невидим, как и они для меня. Река по-прежнему оставалась спокойной, но я отчетливо представлял себе, как волнуется прозрачная вода от девичьих рук, украшенных звенящими браслетами, как плещутся и обливают друг друга девушки, как высоко в небо миллионами жемчугов взлетают брызги под ударами ног купальщиц.

Меня охватило непонятное волнение: было ли это чувство страха, или радости, или любопытства — не знаю. Мне страстно захотелось увидеть все это воочию. Я напряженно всматривался в темноту, но ничего не видел. Мне казалось, стоит как следует прислушаться, и я пойму их разговор, но, сколько я ни напрягал слух, не слышал ничего, кроме стрекотанья лесных кузнечиков. Казалось, темная, веками сотканная завеса скрывала от меня происходящее, я со страхом приподнял уголок ее и заглянул внутрь — туда, где кипела какая-то другая жизнь, но густой мрак мешал мне ее увидеть.

Вдруг сильный порыв ветра всколыхнул душный, тяжелый воздух, по спокойной поверхности реки побежали, закурчавились, словно волосы русалки, легкие волны; и утонувший в вечерней мгле лес зашумел, как бы очнувшись от дурного сна. Я не знаю, что это было — сон или явь, но внезапно невидимый мираж, отразивший кусочек давным-давно исчезнувшей жизни, растаял как дым. При-

зрачные создания, которые, беззвучно хохоча, не касаясь мраморных ступенек, пробежали мимо меня купаться, не прошли обратно, на ходу выжимая воду из своей одежды. Подобно аромату цветка, они исчезли, подхваченные первым дуновением ветерка.

И тут на меня напал страх — не решила ли муза поэзии воспользоваться моим одиночеством и завладеть мной? Эта шаловливая богиня вознамерилась, очевидно, погубить меня — скромного труженика, зарабатывающего хлеб свой сбором хлопкового налога. Я решил, что мне необходимо хорошенько поесть, — ведь именно голодный желудок порождает все неизлечимые болезни. Я позвал повара и велел ему приготовить одно очень жирное и пряное могольское блюдо.

Наутро все происшедшее представилось мне чрезвычайно забавным. В веселом расположении духа надел я пробковый шлем, какие носят англичане, сел в коляску, взял в руки вожжи и тронул лошадей. Коляска с грохотом покатила по дороге — я отправился по своим делам. В тот день мне предстояло написать отчет о работе за три месяца, поэтому я думал вернуться поздно. Но не успел наступить вечер, как меня неудержимо потянуло домой. Почему? Я и сам не понимал, но чувствовал, что больше задерживаться нельзя, что меня ждут. Не закончив отчета, я нахлобучил шлем на голову и покати в своей громыхающей коляске по безлюдной, мрачной дороге, огражденной с обеих сторон темными купами деревьев. Вскоре я подъехал к величественному безмолвному дворцу у подножья горы.

На первом этаже находилась огромная зала. Три ряда массивных колонн поддерживали ее расписной сводчатый потолок. Изнывая от одиночества, она день и ночь издавала горестные стоны. Сумерки только-только опустились на землю, и лампы еще не были зажжены. Толкнув дверь, я вошел в залу и тотчас почувствовал, что здесь поднялась суматоха; словно я помешал какому-то собранию и множество людей поднялось с места и разбегается кто куда: в двери, в окна, на веранду.

Не видя ничего, я стоял охваченный смятением. Я был как в экстазе: словно невидимая рука приподнимала мои волосы и запахи давно исчезнувших духов и аромати-

ческих масел щекотали ноздри. Я стоял в огромной темной зале между античными колоннами и слушал: на белый мрамор с шумом падали струи фонтанов, кто-то наигрывал на ситаре неведомую мне мелодию; звенели золотые браслеты на руках и ногах, слышались удары в медный колокол, откуда-то издалека доносилась дробь барабана, чуть дребезжали хрустальные подвески, с веранды в окна лилось пение соловья, сидящего в клетке, в саду кричала ручная цапля — все эти звуки сливались и звучали в моих ушах чудесной, неземной музыкой.

И вдруг мне начало мерещиться, что именно эта призрачная жизнь — непостижимая, недоступная разуму, сверхъестественная — и была единственной правдой на земле, а все остальное — просто игра воображения. То, что я — это я, старший сын своего покойного отца, сборщик хлопкового налога, зарабатывающий четыреста пятьдесят рупий в месяц, что на мне пробковый шлем, короткая куртка и что я езжу в коляске — показалось мне такой смешной бессмыслицей, что я не выдержал и громко расхохотался в пустоту громадной безмолвной залы.

В это время в залу вошел мой слуга-мусульманин, неся зажженную лампу. Вполне возможно, он подумал, что я сошел с ума, не знаю, но я вдруг вспомнил, что я действительно некий «натх», старший сын некоего покойного «чондро», вспомнил я также, что дело поэтов решать, могут ли где-нибудь в этом или ином мире бить несуществующие фонтаны и звучать воображаемые ситары под невидимыми пальцами. Для меня же несомненно лишь то, что я собираю налог на хлопок в Бариче и зарабатываю четыреста пятьдесят рупий в месяц. Я весело рассмеялся, вспоминая странное наваждение, и уселся с газетой возле походного столика, на котором стояла керосиновая лампа.

Прочитав газету и поужинав, я лег на кровать в маленькой угловой комнате и погасил лампу. В открытое окно была видна яркая звездочка, мерцавшая высоко над темной, покрытой лесом, горой Орали. С высоты тысяч миллионов миль она пристально смотрела на уважаемого господина налогового сборщика, расположившегося на скверной походной кровати. Эта мысль позабавила меня,

и скоро я незаметно уснул. Не знаю, сколько времени я проспал, но вдруг проснулся, словно меня кто-то толкнул, хотя вокруг по-прежнему стояла тишина и никого постороннего в комнате не было. Звезда, упорно смотревшая на меня, скрылась за темной горой, и сейчас в комнату робко, словно извиняясь за свое самовольное вторжение, лился слабый свет ущербной луны.

Я никого не видел, но ясно чувствовал, что кто-то осторожно трясет меня. Увидев, что я проснулся, мне не сказали ни слова, но поманили за собой униженными кольцами пальчиками.

Я потихоньку встал. Хотя в этом громадном, пустом дворце, с замирающими звуками и оживающим эхом, не было ни одной человеческой души, кроме меня, я на каждом шагу замирал от страха, словно боялся разбудить кого-то. Большая часть комнат была всегда заперта, и я никогда не бывал в них.

Затаив дыхание, бесшумно ступая, шел я в ту ночь за своей невидимой проводницей, не зная, куда я иду. Сколько узких и темных переходов, торжественных молчаливых зал, сколько тесных потайных комнат миновали мы по пути!

Но хотя моя прекрасная провожатая оставалась невидимой, воображение ярко рисовало мне ее образ. Она была уроженкой Аравии, сквозь широкие воздушные рукава просвечивали ее крепкие, красивые, гладкие руки, тончайшая вуаль ниспадала с шапочки и закрывала лицо, а за поясом торчал изогнутый нож.

Мне казалось, что сегодня на землю спустилась одна из сказочных ночей «Тысячи и одной ночи» мне чудилось, что я иду по узким неосвещенным улицам спящего Багдада на какое-то свидание и что на каждом шагу меня подстерегает опасность.

Неожиданно моя спутница остановилась перед темно-синим занавесом и пальцем указала вниз. Я ничего не увидел, и тем не менее от ужаса кровь застыла у меня в жилах. Мне представилось, что на полу перед занавесом, вытянув ноги и положив на колени обнаженный меч, дремлет свирепый африканский евнух, в дорогом парчовом одеянии. Моя спутница легко перешагнула через его ноги и приподняла край занавеса.

Открылась часть комнаты, устланной персидским ковром. Я не видел ту, что сидела на тахте, только две изящные ножки в расшитых золотом туфельках, выглядывавшие из шальвар цвета шафрана, небрежно покоились на розовом бархате... На столе, на голубоватом хрустальном блюде, лежали яблоки, груши, апельсины и большая гроздь винограда, приготовленные, очевидно, для приема гостя, рядом стояли две пиалы и хрустальный графин с янтарным вином. От дурманящего аромата благовонных курений кружилась голова.

В ту минуту, когда я, трепеща от страха, собрался переступить через вытянутые ноги евнуха, он вздрогнул, и его меч со звоном упал на мраморный пол.

От страшного крика я подскочил и проснулся — оказалось, что я сижу на своей походной кровати, весь в холодном поту. Узкий серп месяца казался сейчас, в слабом свете занимающегося дня, совсем бледным, как измученный бессонной ночью больной, — а сумасшедший Мегер Али бегал, как всегда, по безлюдной утренней дороге и кричал: «Отойди, отойди!»

Так внезапно закончилась первая ночь моих арабских сказок, но их оставалась еще тысяча.

Между моими днями и ночами начался страшный разлад. Усталый, принимался я утром за работу, проклиная колдовские чары, опутывавшие мои ночи, но как только приходил вечер, дневные занятия и работа начинали казаться мне мелкими, фальшивыми и смешными.

С наступлением вечера я впадал в странное состояние. Я точно переносился на сотни лет назад и становился действующим лицом каких-то неведомых событий, — пиджак и узкие брюки делались совершенно неуместными, я надевал красную бархатную феску, широкую рубашку и расшитый шелком камзол, накидывал длинный шелковый плащ, вспрыскивал цветной платок духами, бросал сигарету, брал вместо нее длинный изогнутый кальян, наполненный розовой водой, и садился в высокое кресло. Я как будто готовился к какому-то необыкновенному любовному свиданию.

Сгущалась темнота, и начиналась ночная жизнь, насыщенная чудесными происшествиями, описать которые у меня не хватает ни слов, ни умения. Мне казалось, что

обрывки какой-то потрясающей романтической драмы, подхваченные порывом весеннего ветра, несутся по великолепным залам громадного дворца. Мне удавалось мельком взглянуть на некоторые из них, и в тщетной надежде соединить эти обрывки воедино, узнать эту драму я всю ночь метался из комнаты в комнату, из залы в залу.

В вихре неясных грез, среди ароматов курений, звуков ситар, в волнах воздуха, пропитанного душистой водяной пылью, словно всполох молнии, мелькал вдруг образ красавицы в широких шальварах шафранного цвета, в расшитых золотом туфлях с загнутыми кверху носками, в парчовой качули и красной шапочке с золотой бахромой, ниспадавшей на ее белый лоб.

Она сводила меня с ума. В поисках ее я каждую ночь бродил по сложному лабиринту переходов и комнат этого заколдованного призрачного царства — царства снов.

Иногда вечером, когда я, стоя перед большим зеркалом, освещенным двумя свечами, одевался так же тщательно, как Шах Джахан, рядом с моим отражением вдруг возникал образ молодой персианки. Быстрый поворот головки, нетерпеливый взгляд больших черных глаз, в котором таились с трудом сдерживаемая страсть и душевная боль, слова, трепещущие на красивых пунцовых губах; исполненные грации движения, вся ее фигура, тонкая, гибкая, как лиана, — ослепительная вспышка, в которой было все: и боль, и страсть, и восторг... улыбка, быстрый взгляд, сверканье драгоценных камней и шелка — и она исчезала. Порыв ветра, принесшего с гор лесные ароматы, гасил свечи, я бросал все, с наслаждением растягивался на кровати и закрывал глаза. Мне чудилось, что вместе с дуновением ветра, вместе со всеми запахами горы Орали пустынную темноту комнат наполняют ласки, поцелуи и прикосновения нежных рук; певучие голоса шептали что-то мне на ухо, чье-то благоуханное дыхание касалось моего лба, а у лица реяли, порой касаясь его, воздушные шарфы красавиц. Затем постепенно мне начинало казаться, что какая-то неведомая змея обвивает меня своими кольцами; кольца сжимались все сильнее и сильнее, я задыхался, сознание покидало меня и, наконец, я погружался в глубокий сон.

Однажды в полдень я решил проехаться верхом. Мне казалось, что кто-то умоляет меня не делать этого, но в тот день я не желал внимать никаким просьбам. Мой шлем и европейского покроя куртка висели на деревянной вешалке, я снял их и хотел было надеть, как вдруг, откуда ни возьмись, с гор налетел смерч, круживший речной песок и сухие ветки, вырвал одежду у меня из рук, подхватил и начал кружить по комнате. В эту минуту раздался взрыв хохота. Все громче и громче звучал веселый, переливчатый смех, а потом стал удаляться в ту сторону, где садилось солнце, и наконец затих.

Я так и не поехал верхом в тот день и с тех пор больше уже никогда не надевал свою смешную европейскую куртку и шлем.

В полночь я снова сидел на кровати и прислушивался: мне казалось, что я слышу отчаянные подавленные рыдания, как будто чей-то голос, доносившийся из-под кровати, из-под пола, из каменных подвалов огромного дворца, из самой черной сырой земли, жалобно умолял: «Спаси меня, разорви оковы глубоких снов и мучительных грез, посади меня на коня, прижми к своей груди и отвези через леса, горы и реки в свой солнечный дом! О, спаси меня!»

Кто я такой, чтобы сделать это? Как я могу спасти тебя? Кто эта гибнущая красавица, это воплощение любви и страсти, которую я должен вытащить из бешеного потока заколдованных снов? Откуда ты, небесное создание? На берегу какого прохладного ручья, в тени какой финиковой рощи ты родилась? К какому кочевому племени принадлежал твой отец? Какой разбойник-бедуин оторвал тебя от груди матери, как полураскрывшийся бутон от ветки лесной лианы, вскочил с тобой на коня и быстрее ветра исчез в жарком мареве пустыни? В чьи владения, на какой рынок невольниц привез он тебя? Слуга какого падишаха заметил твою юную стыдливую нераспустившуюся красоту и, отсыпав пригоршню золота, увез тебя за море, посадил в позолоченный паланкин и послал в подарок своему повелителю в гарем? А дальше? Музыка саранги, звон браслетов, янтарное вино Шираза, сверкающее, как кинжал, огнем яда разливающееся в жилах, словно острый прищур глаз, приковывающее к месту. Какая безграничная роскошь и какое страшное рабство!

С двух сторон невольницы машут опахалами, их запястья сверкают бриллиантами, у твоих ножек, обутых в расшитые жемчугом туфли, сам Шах-ин-Шах; у дверей с обнаженным мечом в руках, как посланец Ямы, стоит стражник-абиссинец. А что было с тобой потом, цветок пустыни? Куда унесли тебя окропленные кровью волны безудержной роскоши, пенящиеся завистью и интригами? Выбросили ли они тебя на берег, где царствовала жестокая смерть, или высадили в стране еще более пышной роскоши?

Но тут сумасшедший Мегер Али снова закричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!» Я открыл глаза и увидел, что уже утро; слуга принес мне почту, с почтительным поклоном вошел повар и осведомился, что приготовить сегодня.

Я решил, хватит! Больше здесь оставаться нельзя. И в тот же день со всеми своими пожитками перебрался в контору. Конторский служащий старик Керим Хан слегка улыбнулся при виде меня. Это меня раздражило, но я не сказал ни слова и сел за работу.

По мере того как надвигался вечер, я становился все рассеяннее. Я чувствовал, что мне надо куда-то идти, что меня ждут. Проверка счетов на хлопок представлялась мне совершенно ненужным делом, и даже служба у низама казалась совсем ничемным занятием. Все, что жило настоящим, что суенилось, волновалось, добывало себе кусок хлеба, было в моих глазах незначительным, бессмысленным, нелепым.

Отбросив ручку и захлопнув бухгалтерскую книгу, я сел в коляску и уехал. С удивлением я отметил, что лошади сами остановились у ворот мраморного дворца как раз в ту минуту, как солнце скрылось за горой. Я быстро взбежал по лестнице и вошел в залу.

Все было тихо. Мрачные комнаты, казалось, сердито хмурились. Сердце мое наполнилось раскаянием, но кому высказать его, у кого просить прощения — я не знал. Безразличный ко всему на свете, бродил я по темным комнатам. Мне хотелось взять какой-нибудь музыкальный инструмент и под аккомпанемент его спеть, обращаясь к кому-то неизвестному: «О огонь! Та бабочка, которая пыталась улететь от тебя, снова вернулась, чтобы умереть.

Прости ее на этот раз, опали ее крылья и прикажи своему пламени поглотить ее!»

Две слезы упали мне на лоб. Над вершиной Орали собрались грозные тучи. Темный лес и черная вода Шусты замерли в напряженном ожидании. И вот все содрогнулось: земля, вода, небо. Из далеких лесов с диким воем, ломая деревья и ощериваясь молниями, подобно безумцу, сорвавшемуся с цепи, налетел ураган. Захлопали двери в пустынных залах, и горестно застонала тишина...

Все слуги были в конторе, лампу некому было зажечь. И в этой крошечной тьме я почувствовал, что на ковре рядом с моей кроватью лежит женщина. Она судорожно рвала на себе волосы, по ее прекрасному белому лбу текла кровь, она то смеялась сухим, жутким смехом, то разражалась отчаянными, душераздирающими рыданиями, то начинала рвать на себе одежду и бить себя в обнаженную грудь. Ветер со свистом врвался в открытое окно, дождь захлестывал комнату и насквозь промочил ее одежду.

Всю ночь не утихала буря и не умолкали рыдания. С сердцем разрывающимся от горя бродил я по темным комнатам. Где та, которую я должен утешить? Кто она, кого постигло столь тяжелое горе? Что за причина такого безумного отчаяния?

— Отойди, отойди! — раздался крик сумасшедшего. — Все ложь, все ложь!

Уже рассвело, Мегер Али и в это страшное бурное утро, как всегда, бегал вокруг дворца, выкрикивая все те же слова. И вдруг меня осенила мысль — наверное, когда-то Мегер Али, как и я, жил во дворце, и даже теперь, сойдя с ума, он по-прежнему находится во власти чар этого каменного чудовища и не может не являться сюда каждое утро.

Не обращая внимания на ливень, я кинулся к сумасшедшему.

— Мегер Али, о какой лжи ты говоришь?

Ничего не ответив, он оттолкнул меня и, дико завывая, стал кружить вокруг дворца, словно птица, притягиваемая неподвижным взглядом змеи. И как будто стараясь предостеречь себя, он снова и снова кричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!»

Под проливным дождем я побежал в контору и как вихрь ворвался в комнату Керима Хана.

— Расскажи мне, что все это значит? — закричал я.

И вот что рассказал мне старик.

Когда-то этот дворец был местом, где разыгрывались страшные человеческие драмы, — здесь бушевали страсти, пламя неудовлетворенных желаний жгло сердца и в зловещем огне непрестанных наслаждений сгорали человеческие души. Сколько проклятий слышали эти стены — проклятий тех, на чью долю выпали страдания, чьи надежды были разбиты, чья страстная любовь осталась безответной. Камни дворца впитали эти проклятия, и теперь, голодные и жаждущие, как чудовище, которому долго не давали есть, они жадно бросаются на каждого, осмелившегося приблизиться к ним. Из всех тех, кто пробыл здесь три ночи, уцелел лишь Мегер Али, но и ему пришлось поплатиться за это рассудком.

— Неужели и мне нет спасения? — спросил я.

— Спасение есть, — ответил старик, — только достичь его нелегко. Я расскажу тебе, как это сделать, но прежде тебе надо узнать историю персидской рабыни, жившей когда-то в этом дворце наслаждений. Нет в мире истории более удивительной и более печальной...

Но тут пришли носильщики и сообщили, что поезд сейчас подойдет. Так скоро? Пока мы спешно собирали свои вещи, поезд подошел. Какой-то заспанный англичанин высунулся из окна вагона первого класса, пытаясь прочесть название станции. Увидев нашего знакомого, он тотчас же пригласил его к себе в купе. У нас были билеты во второй класс, и мы оказались лишенными возможности выяснить, кто был наш спутник, и услышать конец этой истории.

Я предположил, что он принял нас за дураков и решил посмеяться над нами и что все, что он рассказал, чистейший вымысел от начала до конца.

Мой родственник-теософ оказался другого мнения по этому вопросу, и в результате мы с ним поссорились на всю жизнь.



СКИТАЛЕЦ

I

Мотилал-бабу, заминдар деревни Кантхалии, возвращался со своим семейством домой. В полдень его лодка, как обычно, подошла к берегу и остановилась неподалеку от сельского рынка. В это время к ним подошел юноша-брахман, на вид лет шестнадцати.

— Куда вы едете, бабу? — спросил он.

— В Кантхалию, — ответил помещик.

— Не могли бы вы подвезти меня до деревни Нонди? Мотилал-бабу согласился.

— Как тебя зовут? — спросил он незнакомца.

— Тараподо, — ответил брахман.

Это был красивый юноша со светлой кожей. Его большие глаза и улыбка светились нежностью. Он был одет в грязное дхоти, но это не мешало видеть, что сложен он безупречно. При взгляде на него казалось, что перед вами творение неизвестного ваятеля. Можно было подумать, что в прежнем рождении Тараподо был аскетом, что жизнью, полной воздержания, он приобрел такую изумительную чистоту линий и стал воплощением священной красоты брахмана.

— Иди, сын мой, выкупайся и поешь с нами, — ласково сказал ему хозяин лодки.

— Одну минутку, — ответил юноша и тотчас же без всякого смущения принялся помогать готовить обед.

Повар Мотилала-бабу родился в центральной Индии и в приготовлении рыбных блюд не был искусен. Тараподо пришел ему на помощь и великолепно справился со своей задачей. Кроме того, он приготовил два отменно вкусных овощных блюда. Окончив стряпню, юноша выкупался в реке, достал из своего узелка ослепительно белое дхоти и облачился в него. Расчесав длинные волосы деревянным гребешком, от откинул их со лба на затылок, надел священный брахманский шнур и предстал перед Мотилалом-бабу, который ввел его в каюту и познакомил с женой и девятилетней дочерью.

Оннопурне красивый юноша очень понравился.

«Откуда он? Кто его родители? — думала добрая женщина. — Бедняжка! Как, наверное, скучает по нему мать!»

За обедом Тараподо посадили рядом с хозяином. Юноша ел мало. Оннопурна, решив, что гость стесняется, усердно угощала его. Однако Тараподо вежливо, но твердо отказывался. Видимо, он привык всегда поступать, как ему хочется, но делал это так тактично, что вовсе не казался упрямым или своевольным. В то же время он отнюдь не производил впечатления застенчивого.

После обеда хозяйка усадила гостя рядом с собой и стала расспрашивать его. Удалось ей узнать очень немного, но все же она выяснила, что он убежал из дому, когда ему было семь лет.

— У тебя что, нет матери? — спросила Оннопурна.

— Есть.

— Она тебя не любит?

— Почему не любит? — рассмеялся Тараподо. По всей вероятности, вопрос этот показался ему забавным.

— Отчего же ты убежал?

— Да у нее, кроме меня, еще четыре сына и три дочери.

— Боже, что ты говоришь! — воскликнула потрясенная Оннопурна. — Если у тебя пять пальцев на руке, разве легко потерять хоть один?

Тараподо был очень юн, и история его жизни была небогата событиями. При всем этом сразу же было видно, что человек он незаурядный. Четвертый сын в многодетной семье, рано потерявший отца, он тем не менее был всеобщим любимцем. Мальчика баловали все: мать, сестры,

братья и соседи. Даже школьный учитель редко наказывал его, и если ему все же случалось прибегнуть к розге, наказанными чувствовали себя все. Следовательно, никаких причин для побега, казалось, не было. Ни один уличный мальчишка, забравшийся в чужой сад и подвергнутый за это отчаянной порке, не покинет родного дома и суровой матери, а этот всеобщий любимец и баловень со спокойной душой бросил всех и вся, пристроился к труппе бродячих актеров и сбежал из деревни.

Поднялась тревога, за актерами кинулась погоня, и беглеца вернули домой. Мать, обливаясь слезами, прижала его к своей груди, сестры рыдали. Старший брат, исполняя тяжелый долг главы семьи, героически пытался наказать его, но, в конце концов, раскаялся в своей жестокости, обласкал и подарил мальчика. Соседки зазывали Тараподо к себе в гости и осыпали ласками, желая удержать его в родной деревне. Но любые оковы — даже оковы любви — раздражали Тараподо. Очевидно, ему на роду было написано стать бездомным скитальцем. Когда он видел чужую лодку, плывущую по реке, или саньсяи, пришедшего из далеких мест и присевшего отдохнуть у подножья фигового дерева, или цыган, разбивших свой табор на прибрежном лугу и плетущих небольшие циновки из пальмовых листьев и корзинки из молодого бамбука, сердце его начинало беспокойно биться: таинственный вольный мир непреодолимо тянул его к себе.

После нескольких побегов Тараподо родные и соседи махнули на него рукой.

Первый раз мальчик убежал с труппой бродячих актеров. Но стоило хозяину труппы привязаться к нему, как к родному сыну, стоило всем актерам от мала до велика полюбить его, стоило ему заметить, что зрители — в особенности женщины — выделяют его из всей труппы и осыпают знаками благоволения, и Тараподо бесследно исчез.

Подобно молодому оленю, Тараподо не терпел ни малейшего ограничения своей свободы. И так же, подобно оленю, он чрезвычайно любил музыку. Именно песни актеров заставили его покинуть родной дом и последовать за труппой. Каждым нервом, каждой частицей своего существа мальчик воспринимал мелодии. Еще ребенком, слу-

шая музыку, он забывал обо всем на свете, и когда он с серьезным видом раскачивался в такт мелодии, окружающим стоило больших усилий удержаться от смеха, глядя на него. Но не только музыка волновала мальчика. Шум летнего дождя в густой листве деревьев, раскаты грома, завывание ветра в лесу, похожее на плач гигантского ребенка, брошенного матерью, крик коршуна, высоко парящего в полуденном небе, кваканье лягушек в дождливый вечер, вой шакалов глубокой ночью — все находило отклик в его душе.

Страсть к музыке привела, в конце концов, мальчика в труппу бродячих певцов. Главный солист труппы не жалел труда, чтобы научить его петь и декламировать старинные баллады. Он привязался к Тараподо, как к любимой певчей птице. Но птичка научилась нескольким песням и в одно прекрасное утро упорхнула.

Последнее время Тараподо странствовал в компании акробатов. С середины июня до середины июля в этих краях то в одной, то в другой деревне устраивались ярмарки, и группы актеров, певцов, поэтов и танцовщиц вслед за мелкими торговцами, возившими по ярмаркам самый разнообразный товар, путешествовали на лодках с места на место по многочисленным рекам и речушкам. Вот уже год, как к ним присоединилась небольшая труппа акробатов из Калькутты. Покинув певцов, Тараподо сначала нанялся к одному торговцу и помогал ему торговать бетелем. Затем удивительное искусство мальчиков-акробатов очаровало юношу, и он решил связать свою судьбу с ними. Еще раньше он сам научился игре на флейте, и во время исполнения акробатического номера должен был как можно быстрее исполнять на ней какую-нибудь не слишком мудреную мелодию. Но затем Тараподо покинул и эту труппу.

Прослышав, что заминдары из Нонди собираются поставить у себя в деревне пышные спектакли, он связал свои вещи в узелок и решил отправиться туда. Вот по пути в Нонди он и повстречался с семьей Мотилала-бабу.

Во время своих скитаний Тараподо жил бок о бок с разными людьми, но благодаря богатому воображению, которым его наделила природа, общение с ними не наложило на него никакого впечатления. Он по-прежнему

оставался свободным и беспристрастным. Много скверного пришлось ему увидеть и услышать, но все это совершенно не коснулось его души. Он не знал власти привязанности и власти привычки. Неслышно скользил он по грязным волнам этого мира, точно белоснежный лебедь, чьи перья остаются ослепительно белыми и гладкими, сколько бы раз, одолеваемый любопытством, он ни нырял на дно, затянутое илом. Вот почему лицо этого бездомного скитальца светилось такой непорочной юностью, что даже пожилой, умудренный опытом Мотилал-бабу, увидев Тараподо, безо всяких колебаний и сомнений принял его в свои распростертые объятия.

II

После обеда лодка снова тронулась в путь. Оннипурна продолжала ласково расспрашивать Тараподо о его доме и родных. Юноша отвечал очень сдержанно, а затем, чтобы избежать дальнейших расспросов, вышел на палубу.

От дождей река разлилась — она бурлила и волновалась, чем, по-видимому, немало смущала природу-мать.

Прорвав тучи, яркие лучи солнца осветили высокие стебли камыша, гордо подымавшиеся из воды, яркую зелень плантаций сахарного тростника, раскинувшегося чуть повыше на берегу, и лес на противоположной стороне, будто окутанный синеватой дымкой. Вся природа расцвела под безмолвным ласковым взором голубого неба; будто юная красавица, пробудившаяся от сна по мановению волшебной золотой палочки, прекрасная своей молодостью, безграничная в своей щедрости, она жила, трепетала, сверкала.

Тараподо устроился на палубе в тени паруса. Перед его глазами проплывали спускающиеся к реке изумрудные пастбища, полузатопленные поля, засеянные джутом, зеленые волнующиеся нивы риса; узкие тропинки вились от берега реки к деревням, приютившимся в тени лесов. Вода, земля и небо, жизнь, движение, небесные и речные глубины, красочные привольные дали — словом, весь огромный, извечно существующий бессловесный мир притягивал к себе юношу, но никогда не делал поползновений

заклучить его мятежную душу в свои требовательные, ревнивые объятия.

Теленок, бегущий по берегу, задрал хвост, стреноженный жеребёнок, прыгающий на лугу, баклан, усевшийся на шесте для просушки сетей или стремительно ныряющий в реку за рыбой, дети, резвящиеся в воде, веселая болтовня и звонкий смех девушек, стирающих белье на реке, перебранка торговков рыбой с рыбаками — за всем этим Тараподо следил с ненасытным любопытством, словно видел впервые.

Он заговаривал с гребцами, брал шест и помогал им отталкивать лодку от берега, когда ее прибывало течением. Если рулевой решал покурить, за руль вставал Тараподо, а в случае надобности очень ловко переставлял парус.

— Что ты ешь по вечерам? — спросила юношу Оннопурна, когда солнце стало клониться к западу.

— Что придется, — ответил он, — чаще всего ничего.

Оннопурну слегка обидело равнодушие, с каким красивый юноша отнесся к ее заботам о нем. Доброй женщине хотелось накормить, одеть, как-то пригреть этого бездомного скитальца, хотелось доставить ему радость, но как это сделать, она не знала. Когда лодка причалила к берегу, Оннопурна послала слуг на берег купить для него всяких лакомств и молока. Но Тараподо еле дотронулся до еды и от молока наотрез отказался. Даже обычно молчаливый Мотилал попытался было уговорить его выпить немного, но он коротко ответил:

— Я не люблю молока.

Прошло несколько дней. Тараподо с большой охотой и ловкостью выполнял любую работу, начиная с покупок на рынке и приготовления еды и кончая управлением лодкой.

Ничто не ускользало от его внимательного взора, и всякая работа, за которую он брался, увлекала его. Его глаза, руки и ум всегда были чем-то заняты. Как вечно живая природа, Тараподо не знал состояния покоя, вместе с тем он был сдержан и ровен. Каждый человек на земле имеет свое определенное место, но этот юноша был только радостной, искрящейся светом струей в бесконечном лазурном потоке мира. Он не задумывался ни о прошлом,

ни о будущем, и единственной целью его было неуклонное движение вперед.

Жизнь среди людей различных профессий научила Тараподо многим занимательным вещам. Его не обремененный беспокойными мыслями ум был поразительно восприимчив; он безо всякого труда запоминал наизусть народные баллады и легенды, религиозные гимны и длинные песни из джатр.

Однажды вечером Мотилал, как обычно, читал вслух жене и дочери «Рамаяну». Когда он дошел до рассказа о Куше и Лаве, Тараподо не выдержал, спустился с палубы вниз и сказал:

— Отложите книгу, бабу, позвольте, я сам спою вам о Куше и Лаве.

И он запел. Нежно лилась песня, мелодичная и ласковая, подобная звукам флейты. Гребцы и рулевые столпились у дверей каюты. Радость и печаль слышались в этих звуках, и чудесные потоки музыки неслись к вечернему небу. Безмолвные берега реки ожили, и люди, плывущие мимо на лодках, с волнением внимали обрывкам мелодии, долетавшей до них, а когда юноша замолчал, все с грустью вздохнули, сожалея, что песня окончилась так скоро.

Оннопурна прослезилась, ей хотелось обнять юношу, прижать к своей груди, приласкать его. А Мотилал-бабу подумал о том, что, если бы он сумел удержать Тараподо в семье, юноша заменил бы ему сына. И только сердце маленькой Чарушоши наполнилось завистью и злобой.

III

Чарушоши была единственной дочерью и безраздельно владела любовью своих родителей. Ее капризам и упрямству не было границ. О чем бы ни зашла речь: о еде, прическе или одежде, у нее всегда было свое особое мнение, но и оно не было постоянным.

Каждый раз, когда их приглашали в гости, Оннопурна была как на иголках, со страхом ожидая, что еще взбредет в голову ее взбалмошной дочери. Если Чарушоши не нравилась прическа, она заставляла переделывать ее бесконечное число раз и, в конце концов, раздражалась рыда-

ниями. Так обстояло дело почти со всем. Даже в те редкие часы, когда девочка была весела и всем довольна, она не давала покоя матери: осыпала поцелуями, без конца обнимала ее, смеялась и болтала без умолку. В общем, это был не ребенок, а неразрешимая загадка.

И вот эта девочка всем сердцем возненавидела Тараподо, немало огорчив этим своих родителей. Во время еды Чарушоши хныкала, швыряла тарелки и находила все невкусным. Она была свою служанку и постоянно жаловалась на нее безо всякой на то причины. По мере того как Тараподо завоевывал своими талантами всеобщее расположение, ненависть Чарушоши к нему все возрастала. Она никак не хотела признать, что юноша обладает какими-то достоинствами, и любое свидетельство в его пользу только разжигало в ней злость.

В тот вечер, когда Тараподо пел о Куше и Лаве, Оннопурна с надеждой подумала, что мелодия, которая умиротворила и растрогала хищников, населяющих леса, не может не смягчить сердца ее своенравной дочери.

— Тебе нравится, Чару? — спросила она.

Но девочка в ответ только отрицательно затрясла головой, давая понять, что пение Тараподо ей не нравится и никогда не понравится.

Поняв, что дочь ее завидует юноше, Оннопурна перестала при ней восхищаться Тараподо. Вечерами же, когда Чару ложилась спать, Оннопурна садилась у дверей каюты, а Мотилал-бабу и Тараподо устраивались на палубе. По просьбе Оннопурны юноша начинал петь. Шумные деревни, лежащие по берегам окутанной ночным мраком реки, затихали, внимая песням мальчика, а нежное сердце Оннопурны наполнялось восторгом.

Но в этот момент Чару быстро вскакивала с постели и, всхлиывая, злобно говорила:

— Ма, почему вы так шумите? Я не могу спать.

Она не могла примириться с тем, что родители, отослав ее спать, слушают пение Тараподо.

Что же касается Тараподо, то его очень забавляли и эта девочка сомышленными черными глазами, и неожиданные вспышки ее гнева. Он делал все, чтобы завоевать расположение Чарушоши: рассказывал ей сказки, пел песни, играл на флейте, но ничего не менялось.

Лишь в полдень, когда Тараподо купался, когда он, гибкий и светлокожий, всем своим обликом напоминающий сказочного обитателя рек, плавал взад и вперед, властно рассекая воду сильными руками, девочка не могла сдержать любопытства. Она с нетерпением ждала заветного часа, стараясь, однако, не подать вида, как сильно привлекает ее это зрелище. Она садилась у окна каюты с вязанием в руках и очень искусно притворялась, что все ее внимание поглощено рукоделием, — лишь время от времени она бросала на резвящегося в реке юношу взгляд, который, по ее мнению, должен был выражать презрение.

IV

Тараподо даже не заметил, как они проехали деревню Нонди. Лодка медленно шла под парусом, иногда ее приходилось тянуть на бечеве по реке и протокам. Дни ее обитателей мало чем отличались один от другого и были похожи на легкое, плавное журчание рек, прокладывавших путь в разнообразный мир красоты и покоя. Никто никуда не торопился. Все подолгу купались и просиживали за едой. Лишь только начинало смеркаться, лодка подходила к причалу у какой-нибудь большой деревни неподалеку от леса, наполненного стрекотом цикад и мерцанием светлячков.

Через десять дней лодка наконец достигла Кантхалии. Для встречи заминдара из дома прибыли вооруженные охранники, паланкин и верховые лошади. Охранники дали залп холостыми патронами, насмерть перепугав деревенских ворон, которые начали отчаянно каркать.

Торжественная встреча заняла немало времени, и Тараподо, воспользовавшись этим, быстро обежал всю деревню. За два-три часа он подружился со всеми жителями и стал называть кого братом, кого дядей, а кого сестрой или тетей. Вполне возможно, что он так легко сходилась с людьми именно потому, что сам не признавал никаких уз. Как бы то ни было, не прошло и нескольких дней, как Тараподо завоевал сердца всех без исключения крестьян.

Одна из причин столь легкой победы крылась в том, что Тараподо умел освоиться в любой среде и моментально проникнуться заботами людей, с которыми сталкивала его жизнь. Он был человеком без предрассудков и очень быстро привыкал к любому положению, к любой работе. С мальчишками он был мальчишкой, разве только чуть умнее и самостоятельнее их; со старшими он сам становился взрослым, однако без тени самодовольства; с пастухами он был пастухом, оставаясь в то же время брахманом. Он готов был с каждым разделить его труд или забаву и делал это с охотой и умением. Если посреди разговора лавочник просил Тараподо заменить его на некоторое время в лавке, он охотно брал пальмовый лист и принимался отгонять мух от сладостей. Он знал секреты приготовления многих лакомств, умел работать на ручном ткацком станке и был знаком с гончарным делом.

Однако, пользуясь любовью всей деревни, Тараподо так и не мог победить зависть, поселившуюся в сердце одной маленькой девочки. Возможно, он только потому и задержался на столь долгое время в Кантхалии, что чувствовал, как страстно желает его изгнания из родных ей мест этот комочек женственности.

Вскоре, однако, маленькая Чару представила свежее доказательство того, что сердце женщины — загадка.

У нее была закадычная подруга Шонамони, овдовевшая, когда ей минуло всего пять лет. Вернувшись домой, Чарушоши узнала, что Шонамони лежит больная, и первые дни подруги не видалась. Когда же наконец Шонамони выздоровела, при первой же встрече девочки чуть не поссорились на всю жизнь.

Чару стала во всех подробностях описывать путешествие по реке. Она, не без основания, рассчитывала, что столь волнующий эпизод, как приобретение ее семьей новой драгоценности, именуемой Тараподо, должен до последнего предела возбудить любопытство подруги. Но когда Чару услышала, что Шона не только хорошо знает Тараподо, но что он называет ее мать тетей, а сама Шона зовет его дадой, что он не только развлекает их игрой на флейте и пением, но, по просьбе Шоны, сделал ей бамбуковую флейту и рвет для нее плоды с высоких деревьев

и цветы с колючих кустарников, Чару показалось, что раскаленное копье вонзилось в ее сердце.

Чару считала, что Тараподо их собственность и его жизнь должна быть окутана тайной, а жителям деревни полагается лишь издали любоваться его красотой, наслаждаться его талантами и благодарить за это их семью. Какое же право имеет это драгоценное сокровище быть столь доступным Шонамони! Ведь это ее семья сберегла его, а иначе такие, как Шонамони, и в глаза бы его не видали! Дада Шонамони! От одного этого можно выйти из себя!

Но кто в силах понять, почему та самая Чару, которая недавно была готова испепелить своей ненавистью Тараподо, сейчас так взволновалась и разгорячилась?

В тот же день, придравшись к чему-то, никакого отношения к Тараподо не имеющему, Чару насмерть рассорилась с подругой, после чего она отправилась в комнату юноши, схватила его флейту, бросила на пол и стала безжалостно ломать ее на куски и топтать ногами.

Чару была всецело поглощена этим занятием, когда в комнату вошел Тараподо. Он чрезвычайно удивился, увидев такое олицетворение разрушительной силы.

— Чару, зачем ты ломаешь мою флейту? — спросил он.

— Так ей и надо! — закричала девочка с горящими ненавистью глазами.

Она еще несколько раз топнула ногой по обломкам флейты, громко разрыдалась и выбежала из комнаты.

Тараподо поднял несколько обломков и убедился, что починить флейту невозможно. Но он почему-то не мог удержаться от смеха, думая о неожиданной каре, постигшей его старую, ни в чем не повинную флейту. С каждым днем Чарушоши интересовала его все больше и больше.

Но и помимо ее, в доме оказались вещи, вызывавшие у него живейший интерес. Это были английские иллюстрированные книги в библиотеке Мотилала-бабу. Тараподо великолепно знал окружающий его мир, а вот мир, изображенный на этих картинках, был ему непонятен и чужд. Он давал волю воображению, но душа его не принимала в этом никакого участия.

Увидев, как внимательно рассматривает юноша иллюстрации, Мотилал-бабу предложил ему:

— А почему бы тебе не заняться английским языком? Тогда и эти картины станут тебе понятны.

Тараподо охотно согласился. Заминдар обрадовался и пригласил Рамротона-бабу, директора сельской школы, давать юноше уроки английского языка.

V

Прекрасная память и предельное внимание способствовали успехам Тараподо в изучении английского языка.

Ему казалось, что перед ним открылся новый мир. Пустившись в смелое, рискованное путешествие по неизвестным странам, он порвал со всем, что составляло его жизнь прежде. Тараподо больше не навещал соседей, и под вечер, когда он быстро шагал по пустынному берегу реки, повторяя урок, мальчишки, составлявшие раньше его свиту, с печалью и уважением поглядывали издали, не осмеливаясь мешать его занятиям.

Теперь и Чару видела его редко. Раньше Тараподо ел на женской половине дома и подолгу засиживался там, согретый заботой и лаской Оннопурны. Но теперь ему стало казаться, что он теряет на это слишком много времени, и он попросил у Мотилала-бабу разрешения обедать у себя. Оннопурна была огорчена и возражала, но муж ее одобрял усердие юноши и дал свое согласие.

И вдруг Чару заявила им, что тоже желает учить английский язык. Родители решили сначала, что это очередной каприз взбалмошной девочки, и от души посмеялись над ее словами, но хлынувший поток слез быстро привел их в серьезное настроение, и в конце концов, не в силах противиться желанию обожаемой дочери, они пошли на уступки, и Чару вместе с Тараподо стала посещать уроки английского языка.

Однако прилежание не входило в число достоинств этой ветреной молодой особы. Она не только ничего не учила сама, но и всеми силами мешала учиться Тараподо. Она не готовила уроков и не двигалась вперед, однако, когда Тараподо задавали следующий урок, она неизменно впадала в ярость. Если взамен старой книги ему покупали новую, Чару немедленно требовала такую же и себе.

Ревнивая девочка не могла примириться с тем, что Тараподо все свободное время проводит в своей комнате за занятиями. Она прокрадывалась туда, обливала чернилами его тетрадки, прятала перья, выдирала из учебников именно те страницы, которые учитель задал выучить. Тараподо сдерживался и безропотно сносил ее выходки, с любопытством наблюдая за ней, но бывало, что и его терпению наступал конец, и тогда он даже бил свою мучительницу. Однако пользы это приносило мало.

Выручил его случай.

Как-то раз, заглянув в комнату, Чару увидела Тараподо, с удрученным видом рассматривавшего залитую чернилами страницу, которую он только что вырвал из тетради. «Ну, сейчас он мне даст!» — подумала она. Но на этот раз девочка ошиблась. Тараподо сидел молча, не обращая на нее никакого внимания. Она бегала взад и вперед, нарочно пробегая совсем близко от Тараподо, так что при желании он мог шлепнуть ее, не вставая с места. Но он по-прежнему сидел без движения с серьезным, печальным лицом.

Девочка не знала, что делать. Она не привыкла просить прощения, но сейчас раскаяние мучило ее, и ей хотелось во что бы то ни стало помириться со своим товарищем. Не придумав ничего лучшего, она взяла вырванную из тетрадки страницу и написала на ней крупными буквами: «Я никогда больше не буду обливать чернилами твою тетрадь». Затем она предприняла ряд маневров, стараясь привлечь внимание юноши к записке. Не в состоянии сохранять дольше серьезный вид, Тараподо прочел то, что она написала, и расхохотался. Дрожа от негодования, сгорая от стыда, Чару выбежала из комнаты. Злополучный клочок бумаги должен бесследно исчезнуть с лица земли, — иного способа смыть свой позор она не знала!

Иногда в комнату, где занимался Тараподо, робко заглядывала Шонамони. Подруги уже давно помирились и по-прежнему были очень дружны, но там, где дело касалось Тараподо, Шона сразу же становилась настороженной и боязливой. Поэтому к дверям комнаты Тараподо она подходила, только зная, что Чару находится на женской половине дома. Как-то раз Тараподо поднял глаза от книги и заметил девочку.

— Что нового, Шона? Как здоровье тети? — ласково спросил он.

— Ты давно не приходил к нам, — пугливо озираясь, сказала Шонамони, — ма просит тебя зайти. У нее болит поясница, и она не может прийти сама...

В это время неожиданно появилась Чару. Шона почувствовала себя так, словно ее уличили в тайной попытке украсть собственность подруги. Она хотела незаметно уйти, но Чару злобно округлила глаза и стала пронзительно кричать:

— Вот оно что! Ты приходишь мешать ему! Я сейчас же пожалуюсь отцу.

Можно было подумать, что она специально приставлена к Тараподо, чтобы день и ночь следить за его занятиями. Что привело ее сюда в эту минуту, возможно и не было тайной для всевышнего, но Тараподо не имел об этом никакого представления.

Бедняжка Шонамони совсем растерялась и, пытаясь оправдаться, сказала впопыхах первое, что пришло ей в голову. Но взбешенная Чару назвала ее лгуньей, и, признав свое поражение, униженная и оскорбленная Шона тихо выскользнула из комнаты.

— Шона, — сочувственно крикнул Тараподо ей вслед, — сегодня вечером я приду к вам.

— Никуда ты не пойдешь! — как злая змея, шипела Чару. — Тебе что, не надо учить уроки? Вот я скажу господину учителю...

Не обращая внимания на ее угрозы, Тараподо отправился вечером в гости к матери Шонамони. Пошел он к ней и на следующий день. Тогда Чару решила перейти от угроз к действиям. Когда наступил вечер, она осторожно наложила засов на дверь комнаты Тараподо и заперла ее на замок, снятый с материнского сундука с пряностями. Девочка продержала Тараподо узником в его комнате до самого ужина и только тогда открыла дверь. Юноша был настолько рассержен, что, не сказав ни слова, не поев, хотел тут же уйти из дому. Чарушоши — воплощенное раскаяние, умоляла простить ее.

— Клянусь тебе, я не буду больше так поступать, — говорила она, в отчаянии прижав руки к груди, — прошу тебя, поужинай.

Сначала Тараподо не желал ничего слушать, но когда девочка начала горько рыдать, он не выдержал и остался ужинать.

Сколько раз Чару давала себе клятву не мучить и не сердить Тараподо, быть с ним всегда хорошей и ласковой, но стоило появиться Шонамони или кому-то еще, и все ее добрые намерения шли прахом. Если в течение нескольких дней она вела себя хорошо, Тараподо настороженно ждал нового взрыва. Откуда налетят тучи, что вызовет бурю, предугадать он не мог, но гроза разражалась, за ней следовал ливень слез, а затем выходило солнышко и наступал благословенный и светлый покой.

VI

Так прошло два года. Еще нигде Тараподо не задерживался так долго. Быть может, его захватило учение или с годами изменился характер, и он научился ценить те блага и удобства, которые дает тихая, спокойная жизнь в семье. А может быть, невидимыми сетями опутала его сердце расцветающая красота маленькой мучительницы.

Чару исполнилось одиннадцать лет. Мотилал-бабу нашел ей несколько достойных женихов. Сообразив, что его дочь достигла брачного возраста, он запретил ей брать уроки английского языка и выходить на улицу. Когда Чарушоши узнала об этом неожиданном ограничении ее свободы, она перевернула весь дом вверх ногами.

— Не понимаю, зачем тебе понадобилось искать жениха? — сказала Оннопурна мужу. — Тараподо — прекрасный юноша, и девочка его любит.

Мотилал-бабу даже растерялся от неожиданности.

— Ну что ты говоришь, — воскликнул он. — Ведь мы ничего не знаем о нем. Кто он и откуда? У нас одна дочь, и я хочу отдать ее в хороший дом.

Однажды на смотрины невесты приехали сваты от заминдара Райданги. Домашние хотели принарядить Чарушоши и вывести к гостям. Но не тут-то было! Она заперлась на ключ у себя в спальне, и выманить ее оттуда не было никакой возможности. Мотилал-бабу, стоя под дверью, умолял, угрожал, но тщетно. В конце концов,

пришлось сказать гостям, что девушка внезапно заболела и не может выйти. Посланцы из Райданги решили, что у невесты какой-то скрытый физический изъян, и сватовство не возобновлялось.

Этот случай заставил Мотилала-бабу призадуматься. Тараподо нравился ему. После свадьбы он по-прежнему жил бы у них, и необходимость отдавать единственную дочь в чужой дом отпала бы. Мотилал-бабу хорошо понимал, что снисходительно прощать капризы беспокойной и своенравной девочки могут только любящие родители, в доме же свекра терпеть их не станут.

После долгих разговоров с женой Мотилал-бабу отправил человека в деревню, откуда был родом Тараподо, разузнать о его семье. Оказалось, что юноша происходит из знатного, но обедневшего рода. Мотилал-бабу решил не теряя времени получить согласие на брак от матери и брата Тараподо, которые не замедлили дать его с большой радостью.

Супруги принялись обсуждать, на какой день назначить свадьбу, но скрытный и осторожный от природы Мотилал-бабу держал все приготовления в тайне.

С Чарушоши не было сладу. Время от времени она совершала буйные набеги на комнату юноши — то злая, то ласковая, то надменная, врывалась она, нарушая покой и тишину его занятий, и тогда неясные чувства тревожили безмятежную душу молодого брахмана, подобно далеким зарницам, полыхающим в чистом и ясном небе. Его не отягощенное ничем сердце, долго с невозмутимым спокойствием плывшее по волнам бегущего времени, вдруг, словно по рассеянности, запуталось в сетях мечты. Иногда Тараподо сам бросал занятия, шел в библиотеку Мотилала и перелистывал книги с иллюстрациями, и теперь воображение рисовало ему совсем другие картины, чем прежде, — он видел совсем новый мир, гораздо более яркий и интересный. Юноша не шутил, как прежде, над странным поведением Чарушоши, и ему уже не приходило в голову шлепнуть девочку, когда она выводила его из терпения. Его самого удивляла перемена, происшедшая в нем, он чувствовал себя скованным, словно кто-то загипнотизировал его, и все происходящее казалось ему сном.

Тараподо не знал, что установлен и благоприятный день, что свадьба назначена на конец июля и что Мотилал-бабу уже послал приглашение его матери и братьям. Не знал он также, что поверенному семьи в Калькутте дано распоряжение пригласить музыкантов и послан длинный список необходимых для столь торжественного случая покупок.

На небе появились первые дождевые тучи. Деревенская речушка к тому времени совсем пересохла, тяжелые, запряженные быками телеги избородили глубокими колеями все ее дно, и только кое-где в омуты еще оставалось немного воды. Вытащенные на берег лодчонки лежали, полузатонув в густой грязи.

И вот в один прекрасный день, резвясь и играя, будто Парвати, возвратившаяся в родительский дом, откуда ни возмись набежала бурливая радостная волна и хлынула на иссохшую грудь деревни. Голые ребятишки с громкими криками танцевали на берегу реки, с радостными возгласами бросались они в воду, словно стараясь заключить реку в свои объятия. Женщины бросали домашнюю работу и выбегали из хижин приветствовать благодетельницу, несущую им щедрые дары. Могучий поток живой водой вспрыснул зачахнувшие, истомленные жаждой деревни.

На реке появились лодки — гребные и парусные, большие и маленькие, — они везли товары из дальних мест, и по вечерам на пристани у рынка слышались нездешние песни.

Весь год деревни, раскинувшиеся по берегам реки, жили тихой, уединенной жизнью, заполненной домашними делами и мелкими заботами, но вот наступал период дождей, и к ним в гости, восседая на золотой плавучей колеснице, нагруженной дарами, являлась сама вселенная, и в веселой праздничной суете этих дней забывались досадные мелочи, обиды и неприятности. Вокруг кипела настоящая жизнь. Все было полно движения, смеха, и веселый шум, стоящий над этим отдаленным уголком погруженной в спячку страны, долетал до самого неба.

В этом году в округе Курулока готовились большие празднества в честь бога Вишну и должна была состояться грандиозная ярмарка. Как-то раз лунным вечером Тара-

подо отправился на берег реки. По возрожденной реке мимо него проплывали спешившие на ярмарку плавучие театры, лодки с качелями. Музыканты из Калькутты громко играли веселые мелодии, певцы пели под аккомпанемент скрипок и шумно выкрикивали приветствия. Гребцы из западных провинций просто били в барабаны и гремели кимвалами, раздирая небо диким грохотом. Суета и радостное волнение царили вокруг.

Плотные массы облаков, распустив огромные потемневшие паруса, приплыли с востока и закрыли луну. Подул порывистый ветер, высокие волны побежали по реке; тьма спустилась на потревоженные прибрежные леса, заквакали лягушки, и стрекот цикад разорвал ночную тьму. Казалось, что весь мир мчится вперед, как колесница Вишну: вертятся колеса, развеваются знамена, дрожит земля, несутся облака, дует ветер, течет река, плывут лодки, звучат песни... Загрохотал гром, в небе блеснула молния, из темной дали повеяло свежестью надвигающегося ливня, и только деревня Кантхалия, где-то на краю света, безмятежно спала, заперев двери своих хижин и погасив огонь в очагах.

На следующий день в Кантхалию прибыли мать и братья Тараподо. К берегу у конторы заминдара причалили три большие лодки, нагруженные свадебными покупками из Калькутты. В тот же день, на рассвете, Шонамони, взяв плоды манго и сплетенную из листьев корзиночку с пряностями, робко подошла к дверям комнаты Тараподо. Но его там не оказалось!

Прежде чем коварные цепи любви и сердечной привязанности окончательно сковали его, юный брахман с вольной душой скрылся темной дождливой ночью, унося с собой сердце приютившей его деревни, — он бежал в объятия матери-вселенной, безмятежной и беспристрастной.



ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

Когда я приехал в Дарджилинг, горы были окутаны густой пеленой дождя. Выходить на улицу не хотелось, но сидеть в помещении хотелось еще меньше.

В конце концов, пообедав в гостинице, я надел непромокаемые ботинки и макинтош и пошел пройтись.

Дождь чуть накрапывал, и, куда ни посмотри, ничего не было видно, кроме лохмотьев тумана, — словно всевышний собрался стереть с лица земли весь ландшафт заодно с Гималаями. Я брел по опустевшей Калькуттароуд, и мне определенно не по душе было это призрачное царство. Хотелось снова попасть на шумную землю с ее игрой красок и звуков, прильнуть к ней, ощутить всеми своими чувствами.

Вдруг откуда-то донесся неясный звук. Почудился женский плач. В мире, полном горя и слез, ничего удивительного в этом не было. Вероятно, в другом месте я спокойно прошел бы мимо. Но здесь, в бескрайнем царстве облаков, этот плач, казалось, воплощал всю скорбь потонувшего в тумане мира, и пройти мимо было нельзя.

Я пошел на звук и скоро увидал женщину. На ней было золотистое одеяние отшельницы. Ее выцветшие на солнце, сбившиеся волосы были стянуты узлом на затылке. Она сидела на придорожном камне и всхлипывала.

Так не плачут, когда горе свежо. Нет, это скорее была глубокая тоска усталой души, прорвавшаяся наконец наружу, потому что кругом было так мрачно и пустынно.

«Прямо как в романе, — подумал я, — мог ли я предполагать, что когда-нибудь своими глазами у подножья Гималаев увижу плачущую отшельницу». Я так и не смог разобрать, кто она и откуда родом. Поэтому, прибегнув к спасительному хинди, я участливо спросил: «Кто вы? Что с вами случилось?»

Она взглянула на меня сквозь туман мокрыми от слез глазами, но ничего не ответила.

— Не бойся меня, — заверил я ее, — я тебе ничего плохого не сделаю.

На что она с улыбкой ответила на чистейшем хиндустани:

— У меня давно уже пропал не только страх, но и стыд. Да, бабу, было время, когда даже мой брат не смел войти ко мне без разрешения. А теперь я сижу без покрывала на глазах у всего света.

Ответ мне не понравился. В конце концов, я носил европейское платье и всем походил на сахиба, а эта жалкая особа не колеблясь назвала меня бабу! С какой стати? Кажется, пора кончать, подумал я и решил удалиться с видом оскорбленного достоинства, дымя сигаретой, величественный, как английский паровоз.

Но любопытство победило. Снисходительно, но несколько свысока я спросил:

— Откуда ты? Может, я могу тебе чем-нибудь помочь?

Женщина спокойно посмотрела мне в глаза, потом объявила:

— Я дочь Голамканд-хана, наваба Бодраона.

Никогда я не слышал ни о княжестве Бодраон, ни о навабе по имени Голамканд-хан; и какое несчастье могло привести дочь уважаемого наваба на улицу Дарджилинга, чтобы плакать там в наряде отшельницы, я понятия не имел — да, признаться, и не поверил ей. Но, подумал я, зачем портить хороший сюжет. Становится интересно!

Отвесив почтительный поклон, я произнес с должной серьезностью:

— Прости меня, бибисахеб, и как это я не признал тебя, просто не понимаю.

Разумеется, существовала тысяча и одна причина, способная объяснить мою оплошность. Начать с того, что я в жизни ее не видал, и к тому же в этом проклятом тумане можно было даже своих не признать. Во всяком случае, явно смягчившись, она решила простить меня на этот раз и, указав на соседний камень, сказала: «Садитесь, прошу вас!»

Очевидно, эта женщина умела повелевать. И признаюсь, милостивое разрешение занять место на сыром, твердом, скользком камне в августейшем присутствии дочери бодраонского наваба я воспринял как высокую честь. Когда, нарядившись в макинтош, я выходил из гостиницы, такое счастье не представлялось мне даже в самых смелых мечтах.

Таинственный разговор двух путников, из которых один был мужчина, а другой женщина, в полном уединении расположившихся на камнях у подножья Гималайских гор, безусловно, должен сразу насторожить читателя как излишне романтический. Он может вызвать, правда, ассоциации с удивительной музыкой «Облака-вестника» и «Кумарасамбхавы», навеять мелодию отдаленного шума горного водопада в пустынной пещере. Но все же, согласитесь, что трудно найти в наше время бенгальца, который почел бы за честь посидеть в макинтоше и европейских ботинках на твердом камне рядом с какой-то странной женщиной, говорящей на хиндустани. Но в тот день все кругом утопало в густом тумане, и не было нужды прятаться от нескромных глаз — в бескрайнем призрачном царстве, как два обломка мировой катастрофы, остались только дочь Голамканд-хана из Бодраона и я — современный бенгальский сахиб. Глубокая ирония этой удивительной встречи была понятна только силам, управляющим нашими судьбами, от остальных же была сокрыта.

Усевшись на камень, я возобновил свои расспросы:

— Бибисахеб, кто же тебя довел до такого состояния?

Женщина из рода бодраонских навабов ладонью хлопнула себя по лбу.

— Откуда я знаю? — сказала она. — Пути всевышнего неисповедимы. Кто допустил, чтобы какой-то ничтожный пар стер могущественные Гималаи.

— Вот именно, вот именно, — не ввязываясь в философский спор, поддакнул я, — куда нам, жалким червям, пытаться постичь тайны судьбы.

Если бы не мои затруднения с хинди, который я освоил главным образом с помощью слуг и носильщиков и который, следовательно, мало соответствовал философским рассуждениям на тему «Рок и свободная воля», требовавшим стиля ясного и отточенного, достойного ушей дочери наваба, я бы, конечно, не отступил.

Бибисахеб продолжала:

— Удивительная история моей жизни закончилась сегодня. Если есть на то твое желание, я расскажу ее тебе.

— Мое желание! — воскликнул я. — Если бы вы пожелали снизойти до такого слушателя, ваш покорный слуга был бы безмерно счастлив.

Не следует заблуждаться и думать, что именно так и прозвучали мои слова. Нет, все это я только тщетно пытался выразить. Когда говорила дочь наваба, то казалось, будто легкий утренний ветерок колышет умытые росой золотистые нивы — так плавно лилась ее речь. Я никогда не слышал раньше такой плавной и изысканной речи, и сейчас, по мере того как она говорила, мне становилось все более стыдно за свое поведение. А я, как настоящий дикарь, отвечал ей бессвязно, какими-то топорными фразами, лишенными всякого изящества.

Бибисахеб начала свой рассказ.

«В жилах моих предков текла кровь делийских императоров. Наша семья ревниво берегла фамильную честь, и, когда пришло время выдавать меня замуж, оказалось, что найти мне достойного жениха очень трудно. Отец уже почти решил отдать меня в жены навабу Лакнау, но в это время вспыхнуло восстание сипаев против англичан, и весь Хиндустан потонул в пороховом дыму...»

Впервые мне приходилось слышать хиндустани из уст образованной женщины, и тут я понял, что это поистине язык, достойный вельмож прошлого, хотя едва ли пригодный в наш век железных дорог, телеграфа, бойкой

торговли и исчезновения аристократизма, унесшего былое великолепие и оскудившего жизнь.

Я слушал бибисахерб, и в воображении вставляли роскошные мраморные дворцы Великих Моголов, гарцевали с развевающимися гривами кони в богатой сбруе, проходили величавые слоны, несущие на спине нарядные паланкины. Я видел городские улицы, пестревшие разноцветными тюрбанами горожан, их расшитые золотом туфли с загнутыми кверху носками, кривые сабли ратников, горящие на солнце, развевающиеся одежды, торжественные, медлительные церемонии, изысканные манеры...

Дочь наваба продолжала рассказывать.

«Наш замок стоял на берегу Джамуны. Начальником гарнизона крепости был брахман. Звали его Кешорлал...»

Кажется, всю музыку, на какую способен женский голос, она вложила в одно это имя — Кешорлал! Я весь обратился в слух. Я сидел на своем каменном сидалище выпрямившись. Я даже забыл про свою трость, и она выскользнула у меня из рук и упала на землю.

«...Кешорлал был ревностным индусом. Каждое утро я наблюдала из своего окошка, как он совершает омовение, стоя по грудь в водах Джамуны, и как протягивает руки к востоку, приветствуя восходящее солнце. Окончив молитву, он садился в мокрой одежде на верхней ступеньке лестницы, спускающейся к реке, и сосредоточенно читал мантры. Затем, распевая красивым, чистым голосом песни бойраги, которые исполняются перед трапезой, возвращался во дворец. Я воспитывалась в мусульманской семье, но никогда ни слова не слышала о своей религии и не знала ее обрядов, потому что среди наших мужчин царили праздность, распушенность и пьянство, да и во внутренних покоях дворца больше думали о развлечениях, чем о благочестии. То ли творец внушил мне с рождения религиозное чувство, то ли по каким-то другим, мне самой непонятным причинам, богослужение, которое совершал каждое утро Кешорлал на белых мраморных ступенях, спускающихся к безмятежной голубой Джамуне, освещенной лучами восходящего солнца, переполняли мою пробуждающуюся душу чувством безграничного благоговения.

Мне казалось, что стройное, светлокожее тело Кешорлала озарено сияющим нимбом; целомудрие, религиозный пыл юноши-брахмана поражали доверчивое сердце мусльманской девушки и вызывали в ней чувство восторженного преклонения.

Чтобы я не скучала, ко мне приставили индусскую девушку-рабыню. Мы были ровесницами. Каждый день она подходила к Кешорлалу, когда, окончив молитву, он шел во дворец, и, склонившись, брала прах от его ног. При виде этого я испытывала одновременно и радость и зависть. В индуистские праздники эта девушка приносила предусмотренные обрядами подарки брахманам.

Однажды я попросила ее пригласить Кешорлала, предложив дать денег на подарок, который был бы достоин его. Но она прикусила кончик языка, показав этим всю неуместность моего предложения: «Кешорлал-тхакур ни от кого не принимает подарков», — сказала она.

Невозможность так или иначе выказать Кешорлалу свое преклонение заставляла меня вечно испытывать чувство какой-то неудовлетворенности.

Рассказывали, будто один из наших предков силой взял себе в жены индуску из касты брахманов. Уединившись на женской половине, я прислушивалась к себе, и мне начинало казаться, что священная кровь этой индуски течет в моих жилах, — я воображала, что это приближает меня к Кешорлалу, и у меня становилось легче на душе.

От служанки я старалась узнать побольше об индуизме — его богах и богинях, его нравах и обычаях, и постоянно заставляла ее рассказывать мне чудесные истории из «Рамаяны» и «Махабхараты», пока наконец в моем уме не сложилась картина блистательного индуистского мира. Его великолепные идолы, храмы, украшенные золотыми шпилями, пышность и разнообразие богослужений с раковинами, трубными звуками возвещающих время, цветами и курениями, магическая сила йогов и саньяси, сверхчеловеческий аскетизм брахманов, чудесные подвиги сошедших на землю богов — этот мир представлялся моему девичьему воображению волшебной сказкой, и с наступлением сумерек моя душа начинала

метаться в поисках его по покоям огромного старинного замка, как маленькая птичка, потерявшая гнездо.

В это время вспыхнуло восстание сипаев, и его тревожные отголоски докатились и до нашего маленького замка Бодраон, проникнув даже к нам, на женскую половину.

— Настало время выкинуть из Индии белых, не гнушающихся есть говядину, — сказал Кешорлал, — и тогда уж мы — индусы и мусульмане — решим между собой, кто возьмет в свои руки власть в Хиндустане.

Однако мой отец, Голамканд-хан, был человеком очень осторожным. Своим приближенным он заявил:

— Для англичан нет ничего невозможного. Нам с ними не справиться. Я не желаю ставить на карту свое маленькое владение и примыкать к повстанцам из-за каких-то несбыточных надежд.

В то время когда по всему Хиндустану у людей кипела кровь, такая торгашеская расчетливость показалась всем нам отвратительной. Негодовали даже обитательницы отцовского гарема. А Кешорлал явился к отцу во главе войска и заявил:

— Послушайте, наваб-сахиб, если вы отказываетесь быть с нами, мне придется наложить на вас домашний арест до конца войны. А пока что я беру командование в ваших владениях на себя.

— Вот глупости, — засмеялся отец. — К чему такие крутые меры! Будьте уверены — я с вами.

— Мне понадобятся деньги из казны, — сказал Кешорлал.

Отец дал ему какую-то ничтожную сумму и пообещал:

— В случае острой необходимости выдам еще.

У меня была тьма ценных безделушек, которыми я могла увесить себя с головы до пят. Я связала их в узел и через служанку отослала Кешорлалу. Он принял мой дар, я же, лишившись всех своих украшений, трепетала от радости. Кешорлал занялся чисткой ржавых мечей и огнестрельного оружия, хранившегося в арсенале крепости, но тут в один прекрасный день на нас, вздымая тучи пыли, нагрянули английские солдаты под водительством командующего округом. Мой отец оказался предателем.

Кешорлал был так популярен среди своих воинов, что они не колеблясь откликнулись на его призыв сражаться до последней капли крови и стоять насмерть.

Жить под крышей предателя-отца было бы для меня сущим адом. Мое сердце разрывалось от горя, стыда и гнева. Но я не проронила ни слезинки. Переодевшись в платье моего брата, оказавшегося жалким трусом, я покинула замок. В общем переполохе никто не обратил на меня внимания.

Пыль улеглась, пороховой дым рассеялся, выстрелы и крики солдат смолкли. На смену им пришла гробовая тишина. Солнце, окрасив воды Джамуны в кровавый цвет, закатилось, и теперь над землей светила почти полная луна. В другое время сердце мое обливалось бы кровью при виде страшных картин, на которые я натыкалась на каждом шагу, но тогда я, как лунатик, кружила по полю битвы в поисках Кешорлала — все остальное не имело для меня никакого значения.

Я не переставая искала и наконец, уже ближе к полуночи, увидела вдруг в ярком свете луны два тела, лежавшие рядом в манговой роще на берегу Джамуны. Это были Кешорлал и его преданный друг Деокинондон. Вероятно, смертельно раненные, они дотащились до рощи, чтобы здесь, вдали от всех, испустить последний вздох.

Наконец я могла дать волю давно томившим меня чувствам. Я распустила до колен волосы и отерла ими ноги Кешорлала, потом я прижалась разгоряченным лбом к его холодным стопам и целовала, целовала их; из глаз моих хлынули слезы, которые я так долго сдерживала.

И тут по телу Кешорлала прошла вдруг дрожь и слабый стон вырвался из его уст. Вздвогнув, я отпрянула. Не открывая глаз, он силился сказать что-то. «Воды!» — наконец разобрала я.

Я тут же бросилась к реке, намочила свое покрывало и, вернувшись, стала выжимать воду в его полуоткрытый рот. Потом я промыла и перевязала зиявшую над его левым глазом рану. Еще раз пришлось мне бежать за водой. Неутомимо обтирала я его лицо и шею, пока наконец Кешорлал не пришел в себя.

— Принести еще воды? — спросила я.

— Кто ты? — спросил он.

— Ваша верная раба, — ответила я и, не удержавшись, добавила: — Дочь наваба Голамканд-хана.

Я надеялась, что, отправляясь в последний путь, Кешорлал унесет с собой память о той, которая его боготворила, и сознание этого будет согревать меня всю жизнь.

Но он, сделав отчаянное усилие, сел и зарычал на меня:

— Отойди от меня, неверная, дочь предателя! Как смела ты в мой смертный час заставить меня нарушить законы моей религии, окропив водой, которую ты осквернила своим прикосновением!..

И он ударил меня по лицу, да так, что в глазах у меня потемнело, и я чуть не лишилась сознания.

Мне было в ту пору шестнадцать лет, и я первый раз в жизни вышла из онтохпура. Жадные, палящие лучи солнца, светившего в мире, еще не согнали тогда с моих ланит очарования юности, — но стоило мне перешагнуть порог, и вот как приветствовал меня владыка этого мира!»

Зажатая в моих пальцах сигарета осталась незакуренной. Я слушал как зачарованный, не проронив ни слова. Но тут я не вытерпел.

— Скотина! — выпалил я.

— То есть кто скотина? — заметила дочь наваба. — Разве скотина, умирая, отворачивается от воды?

— Простите! — извинился я. — Я хотел сказать божество.

— Какое божество! — воскликнула она. — Разве божество отворачивается от жертвы?

— Вот именно, вот именно, — пробормотал я и умолк. Бибисахеб продолжала рассказ.

«Сначала я почувствовала горькую обиду. Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Но тут же опомнилась, отошла в сторону и издали поклонилась этому суровому и бесстрастному воплощению брахманства, говоря про себя: «О святой брахман! Ты ничего не приемлешь — ни преданности бедняка, ни пищи ближнего, ни дара богов, ни свежести девушки, ни любви женщины; ты недоступен и непогрешим, ты выше всех, и ты бесконечно далек. Я недостойна стать жертвой на твоём алтаре».

Мне неизвестно, что подумал Кешорлал, увидев смиренно преклоненную дочь наваба; на лице его не отразилось ничего. Он только равнодушно посмотрел на меня и попытался встать. Я поспешно сделала шаг вперед и протянула руку, чтобы помочь ему, но он пренебрег ею. Кое-как, без посторонней помощи он заковылял к ступенькам набережной, где стоял небольшой паром. Вокруг не было ни души. Кешорлал с трудом забрался на него, отвязал веревку, оттолкнулся; паром подхватило течением и понесло вниз по реке. Вскоре он скрылся из вида, унося с собой Кешорлала. О, как рвалась я всем своим существом послать ему вслед свое сердце, молодость свою, свои отвергнутые чувства, а затем в тишине этой неповторимой ночи броситься в прозрачные воды Джамуны, искрящейся в лунном свете, погибнуть, как цветок, который не успел раскрыться...

Но нет! Пусть небесные светила, лесные дали, тихие воды, шпили дворца за манговой рощей беззвучной песней влекут меня к смерти, пусть вся вселенная, словно сговорившись во мраке ночи, твердит мне о смерти. Нет! Тот утлый паром, незримо скользивший по водной глади, звал меня из широких объятий смерти, распростертых над затихшей прекрасной вселенной, на дорогу жизни. Как сомнамбула, брела я по берегу Джамуны через рощу, мимо песчаных отмелей, оврагов, каменистого берега...

На этом месте рассказ ее оборвался, и она погрузилась в раздумье. Я не мешал ей. Немного погодя дочь наваба снова заговорила.

«Вслед за этим в моей жизни все смешалось. Мне самой трудно разобраться в том, что произошло. Я шла дремучим лесом, и как мне было запомнить все тропинки, на которые мне приходилось ступать? Я не знаю, с чего начать и чем кончить, что пропустить и что оставить, как сделать свой рассказ правдоподобным.

За те несколько дней я поняла — для человека нет ничего невозможного, нет ничего, на что человек оказался бы не способен. Возможно вы, бабу-джи, думаете, что девушке, никогда не покидавшей онтохпура, жизнь вне дома была не под силу. Но тут вы заблуждаетесь. Трудно только переступить порог, а там путь всегда найдется, не такой, конечно, к какому привыкла я, а тот, которым

идут люди испокон веков. Он тернист и извилист, сложен и труден, прегражден многочисленными препятствиями, среди которых и наши горести и радости. И как этим путем самостоятельно шла дочь наваба, какие обиды, удары судьбы и горький труд выпадали на ее долю, как она пронесла через все это огонь своей души, — не слишком приятная история. Да и рассказывать ее нет у меня никакого желания. Одно только могу сказать: я была в постоянном горении. Как ракету, меня несло тем дальше, чем ярче я горела. И, несясь вперед, я не чувствовала, что сгораю. Сегодня это яркое пламя высоких стремлений, с его безднами отчаяния и вершинами счастья, погасло во мне раз и навсегда, душа моя умерла и упала в придорожную пыль. Мой путь окончен, а с ним и мой рассказ».

Тут она снова умолкла. Но я отнюдь не был удовлетворен. Нет, подумал я, какой же это конец! Поэтому, дав ей перевести дух, я отважился сказать:

— Не считите за навязчивость, бибисахеб, но ваш покорный слуга был бы вам низжайше благодарен, благоволи вы поведать ему конец вашей истории несколько яснее.

Дочь наваба засмеялась. Очевидно, тут сыграл роль мой ломаный хинди. Владей я им по-настоящему, вряд ли она открыла бы мне свою сокровенную тайну. Мое же незнание ее родного языка послужило как бы ширмой, за которой она могла укрыться.

Она снова начала рассказывать.

«До меня часто доходили вести о Кешорлале, но встретиться с ним мне не удавалось. Он сражался в рядах повстанцев Тантия Топи. Он был вездесущ: как буря, обрушивался на врага и исчезал, как вспышка молнии».

Я надела одежду, какую носят новообращенные индусы, и примкнула к ученицам Шибанондо Свами из Бенареса. К нему поступали вести со всех концов страны, и я, благоговейно изучая шастры, в то же время с трепетом прислушивалась к разговорам о ходе событий, пока наконец не узнала, что пламя восстания было затоптано грубым сапогом англичан. Герои, слухами о чьих подвигах еще недавно полнилась земля, уходили в тень. И ничего больше не было слышно о Кешорлале.

У меня не оставалось сил терпеть. Я покинула гуру и в облачении отшельницы вновь пустилась в странствия. Я бродила от монастыря к монастырю, из храма в храм — Кешорлала нигде не было. Некоторые из знавших его говорили, что он, наверное, погиб на поле битвы или в тюрьме. Но сердце подсказывало мне: «Нет, этого не может быть. Кешорлал жив! Светоч индуизма не может погаснуть! Не знаю где, может, в какой-нибудь тайной обители, но он ждет часа, когда я буду готова принести себя в жертву всю до конца».

Согласно священным книгам, и шудры, изнуряя себя молитвами и постом, иногда становились брахманами. Правда, про мусульман, ставших брахманами, там ничего не сказано, но это оттого, что в те далекие времена мусульман вообще не было. Я знала, что много воды утечет, прежде чем я могу встретиться с Кешорлалом, потому что сначала я должна стать брахманкой, и это сделалось целью моей жизни. Так год за годом прошло тридцать лет. Наконец в своих словах, делах и помышлениях, внутренне и внешне я стала брахманкой. Теперь я могла сделать честь своей прародительнице, чья кровь текла у меня в жилах. Я стала достойна его, моего первого, моего последнего, моего единственного брахмана. Я сияла от счастья. О, как велика была радость достижения! Сколько раз, затаив дыхание, слушала я рассказы о беспримерных подвигах Кешорлала на поле брани, но ярче всего запечатлелась в моей памяти та лунная ночь, когда он уплывал от меня — крошечный паром, бесшумно уносимый течением Джамуны, и на пароме он. Какая-то великая тайна неодолимо влечет паром в неведомое; нет у него ни спутника, ни верного слуги — да и не нужны они ему; он один, внутренний свет озаряет ему путь, и луна и звезды следят за ним в молчаливом восхищении.

И вот до меня дошла весть, что Кешорлалу удалось уйти от карающей руки англичан и скрыться в Непале. Само собой разумеется, я тотчас же устремилась в Непал, но после долгих поисков узнала, что он уже давно ушел через горы на восток — куда именно, не мог сказать никто.

С тех пор начались мои скитания здесь, в Гималаях. Нужно ли говорить, что индушке здесь совершенно не

место, потому что весь район этот кишит бутанцами — малоцивилизованным племенем, чьи боги и обряды, нравы и обычаи совершенно чужды нам. Я не на шутку испугалась, как бы не пропал зря весь труд моей жизни. Я стала принимать самые суровые меры, чтобы оградить себя от скверны и остаться непогрешимой брахманкой. Ибо я чувствовала, что скоро мой корабль прибудет в порт, что исполнение мечты всей моей жизни не за горами.

Что же сказать вам о конце? Последняя часть моего рассказа будет самой короткой. Достаточно дунуть один раз, чтобы загасить светильник! Что же тут долго говорить? На закате лучших дней своей жизни я приехала сюда, в Дарджилинг, и сегодня утром увидела Кешорлала».

Она замолчала.

Забыв о церемониях, я выпалил:

— Где? Как это случилось?

— Я нашла его в деревне, где живут бутанцы, в засаленной одежде, дряхлого, опустившегося. Он сидел в грязном дворике, окруженный неумытыми ребятишками, и лущил горох. Рядом стояла его жена-бутанка.

Теперь рассказ был действительно окончен.

Несколько слов утешения были бы только уместны, поэтому я позволил себе заметить:

— Да, но нельзя не сделать скидку на то, что человек этот столько лет прожил в бегах, скрываясь от преследований победителей. Трудно ожидать, чтобы в таких условиях он мог поддерживать традиции брахманов.

— Это я и сама понимаю, — обрезала меня дочь наваба. — В данном случае я думаю о непостижимой иллюзии, которая, как тень, преследовала меня, не давая ни минуты покоя. Разве знала я, разве подозревала, что брахманство на самом деле не что иное, как слепая традиция, привычка. Я приняла его как Дхарму, вечную непреложную истину. Иначе разве восприняла бы я как божественное откровение столь жестокую обиду, которую нанес мне мой брахман, когда я с трепетом принесла к его ногам свои расцветающие душу и тело? Эх, брахман, брахман, ты вот смог сменить старые привычки на новые... Но мне-то кто даст новую жизнь и новую юность вместо тех, которые я загубила?

Женщина встала. «Номошкар, бабу-джи», — сказала она по индуистскому обычаю. А затем быстро поправилась: «Салам, бабу-сахиб», как бы перечеркнув этим свое столь жестоко растоптанное брахманство. И не успел я и слова сказать, как она исчезла, будто растворилась в гималайском тумане.

А я так и остался на камне. Закрыв глаза, я все думал и думал, и перед мысленным взором моим одна за другой проходили картины. Я видел груды золотых парчовых подушек у оконца, выходявшего на Джамуну, и возлежащую на них прелестную девушку-подростка, дочь наваба, которая зачарованным взглядом провожала своего кумира. А затем ее сменила отчаявшаяся, немолодая отшельница, с разбитым сердцем и рухнувшими надеждами, сидящая на придорожном камне на Калькуттароуд в Дарджилинге. И в моих ушах еще долго-долго звучала мелодичная, изысканная речь — музыка крови брахманов и мусульман, смешавшейся в жилах чуткой и нежной женщины.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Открыв глаза, я увидел, что тучи рассеялись и солнце сияет в бездонной синеве горного неба. Англичане и англичанки на рикшах и верхом, закутанные с головы до ног бенгальцы, казалось, с любопытством посматривали на меня.

Я торопливо поднялся. В этом обнаженном мире, где солнце не оставило места тени, фантастическая история перестала казаться правдоподобной. Быть может, все это просто плод моего воображения, рожденный туманом с хорошей примесью сигаретного дыма, — и замок на берегу Джамуны, и прелестная мусульманка-брахманка, и непогрешимый брахман — он же безрассудно-храбрый повстанец? Я ни за что не поручусь.



ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Бойдонатх слыл в деревне первым мудрецом. Как и подобает мудрецу, что бы он ни делал, все помыслы его были устремлены в грядущее. Даже во время свадьбы он видел лик будущего наследника отчетливее, чем лицо невесты. Такое ясновидение не часто встречается в разгар свадебных торжеств. Но Бойдонатх был уже в том возрасте, когда любовь отходит на второй план, и жертвоприношения в честь усопших предков представляются делом куда более важным. Его женитьба на Бинодини была вызвана исключительно необходимостью иметь сына.

Однако в этом мире ошибаются даже мудрецы. И когда Бинодини, достигнув совершеннолетия, не выполнила своего главного назначения в жизни, Бойдонатх сильно встревожился, ибо увидал перед собой врата ада, который уготован мужчинам, не имеющим сыновей. Кроме того, мысль о том, кто унаследует все его огромные богатства после смерти, мешала ему пользоваться ими как следует при жизни. Как я уже говорил, будущее для него имело гораздо больше значения, чем настоящее.

Разумеется, от юной Бинодини нельзя было ожидать подобной рассудительности. Бедняжка горько сожалела о том, что ее бесценное настоящее, ее молодость проходят без радости и любви. Земной огонек сердечных желаний заставлял ее забывать о мире потустороннем. И ни свод законов Ману, ни духовные наставления Бойдонатха не могли утолить жажду ее сердца.

Как там ни рассуждай, а самое важное для женщины в юности — это любить и быть любимой. Перед этим отступает все остальное.

Однако на долю Бинодини вместо весеннего ливня первой любви достался каменный град воркотни и упреков, сыпавшихся на нее с высоты тех небес, где обитали муж, свекровь, тетки и другие столь же важные особы. Все они упрекали ее за то, что у нее нет детей. Обманутая молодость Бинодини напоминала нераспустившийся цветок, увядающий в темной, душной комнате.

Бинодини любила поиграть в карты в доме своей подружки Кушум, куда она убегала от вечных попреков и придирок. Здесь перед ней не маячила страшная тень ада, куда ввергают бездетных, здесь никто не мешал веселым шуткам и разговорам.

Если партнеров не хватало, Кушум приглашала Ногендро — брата ее мужа, составить им компанию. Бинодини пробовала протестовать, возражал и молодой человек, однако Кушум только смеялась над ними. Юность не хочет верить, что в жизни один поступок зачастую влечет за собой другой, крайне неожиданный, и что такая невинная забава, как карты, может, в конце концов, привести к последствиям, отнюдь не забавным.

Как бы то ни было, ни Бинодини, ни Ногендро не проявили тут должной твердости. Когда дело касалось карт, ни того, ни другого не нужно было долго упрашивать.

Итак, Ногендро стал встречаться с Бинодини за карточным столом. Он нередко проигрывал, потому что внимание его занимали вовсе не карты, а некий более одушевленный предмет. От Кушум не укрылась истинная причина проигрышей Ногендро. Да и от Бинодини тоже.

Я уже говорил, что юность часто не сознает значения своих поступков. Кушум все происходившее казалось удивительно милым, и она с нетерпением ждала развязки. Молодости свойственно холить нежные побеги чужой расцветающей любви.

Бинодини тоже не видела в этом ничего плохого: желание испытать свои чары на мужском сердце, может быть, дурно, но вполне естественно.

Случилось так, что в какой-то момент карточной игры, когда шестерки били пятерки, двое игроков поняли друг друга. Кроме всевышнего, это заметил еще и третий игрок и порадовался от души.

Однажды днем Бинодини, Кушум и Ногендро играли в карты. Услышав плач больного ребенка, Кушум вышла. Ногендро попытался заговорить с Бинодини. Но он сам не понимал, о чем говорит: сердце его учащенно билось, в висках стучало.

На какой-то миг всепобеждающая молодость взяла свое — Ногендро схватил Бинодини за руки, с силой привлек ее к себе и поцеловал.

Его поступок заставил Бинодини вспыхнуть от гнева и стыда. Она попыталась высвободить руки, но... в этот момент в комнате появилось третье лицо. Их заметили! Не смея поднять глаз, Ногендро направился к выходу.

— Госпожа, вас зовет тетка, — проговорила служанка бесстрастным голосом. Бинодини едва сдерживала слезы, но, овладев собой и сверкнув глазами вслед Ногендро, пошла за служанкой.

Служанка, преуменьшив то, что видела, стократно преувеличила то, чего не видела, и вызвала своим рассказом страшное возмущение на женской половине дома Бойдонатха. Можно себе представить, какая буря обрушилась на голову Бинодини — описать это значительно труднее. Склонив голову долу, она вынесла все, не пытаясь даже оправдываться. В конце концов Бойдонатх, решив, что вряд ли дождется появления на свет того, кто позволил бы ему выполнить долг перед предками, приказал: «Прочь из моего дома, грязная тварь!»

Бинодини заперлась в спальне и бросилась на кровать. Ее глаза были сухи, но они горели, как раскаленный песок в пустыне. Когда сгустились сумерки и в саду угомонились вороны, она вышла из дому. Звезды сверкали над ее головой. Она вспомнила о своей матери, об отце, и слезы ручьями потекли по ее щекам.

Той же ночью Бинодини оставила дом мужа. С тех пор никто ее не видал.

В ту ночь она еще не знала, что исполнила свой долг и уже носила под сердцем того, кто мог открыть ее мужу, путь к райскому блаженству.

Десять лет прошло после описанных выше событий. За это время благополучие Бойдонатха еще более упрочилось. Он оставил деревню, купил большой дом в Калькутте и теперь жил в городе.

Чем больше возрастало его богатство, тем больше он беспокоился о наследнике. За десять лет он сменил двух жен, но оба брака принесли ему не наследников, а одни лишь неприятности. В доме Бойдонатха вечно толпились астрологи, знахари, саньяси и брахманы. В ход было пущено бесконечное количество амулетов, целебных корней и патентованных средств. Из костей козлят, принесенных в жертву на Калигхате, вырос холм, перед которым показалась бы жалкой пирамида из черепов, сложенная Тамерланом. Но все это не могло создать хрупких косточек и живой плоти крошечного человечка, который должен был занять главное место в огромном дворце Бойдонатха. И когда Бойдонатх думал о том, что не родной сын, а кто-то неизвестный будет есть его хлеб, кусок не шел ему в горло.

Бойдонатх взял еще одну жену — нет предела людской вере и нет числа невестам на выданье!

Астрологи, изучив гороскоп новобрачной, объявили, что благоприятное сочетание звезд говорит о скором появлении в доме Бойдонатха наследника. Однако прошло еще шесть лет, а благоприятное сочетание звезд так ничего и не изменило в этом доме.

Бойдонатх начал приходить в отчаяние. Наконец, по совету пандитов, хорошо знавших шастры, он решил совершить особое жертвоприношение, требовавшее огромных затрат, которые, однако, его не останавливали, и вскоре по меньшей мере сто брахманов начали в его доме свои бесконечные богослужения.

В те дни страшный голод поразил Бихар, Бенгалию и Ориссу, превратив жителей этих местностей в ходячие скелеты. И в то время как кладовые Бойдонатха ломились от хлеба, а все помыслы его сосредоточились на наследнике, голодающие с отчаянием глядели в пустые миски и тщетно мечтали о горстке риса.

Четыре месяца подряд четвертая жена Бойдонатха пила святую воду, в которой омывали ноги сто брахманов. Затем все сто брахманов плотно завтракали рисом.

В полдень они закусывали еще плотнее. Для того чтобы вывезти опустошенные ими горшочки из-под творога и масла, приходилось вызывать муниципальных мусорщиков. Голодающие, которых привлекал запах пищи, собирались у дома Бойдонатха, и ему приходилось нанимать несколько лишних привратников, чтобы отогнать голодных людей от ворот.

И все-таки однажды утром случилось вот что.

Толстобрюхий саньяси, расположившись на мраморной террасе дома Бойдонатха, трудился над полной миской сладкой манной каши, запивая ее молоком. Бойдонатх, накинув на плечи чадор и молитвенно сложив руки, скромно сидел на полу, наблюдая за священной трапезой. В этот момент измученная, истощенная женщина с худым подростком, проскользнув как-то мимо бдительного ока привратника, появилась на террасе и промолвила слабым голосом:

— Бабу, дай нам немного еды.

— Гурудоял! — закричал потревоженный Бойдонатх. — Эй, где ты, Гурудоял!

Видя, что хозяин сердится, женщина тихонько попросила:

— Мне не надо. Дай поесть хоть мальчику. А мне ничего не надо...

Но тут появился Гурудоял и выгнал мать, а с нею и мальчика — истощенного, голодного мальчика — единственного сына Бойдонатха.

А тем временем сто жирных брахманов и трое здоровенных саньяси, в который раз внушив Бойдонатху тщетную надежду на рождение наследника, снова принялись за еду.



К О Р О Н А Ц И Я

Когда Нобендушекхор венчался с Орунлекхой, владыка человеческих судеб Праджапати лукаво усмехнулся, прячась за клубами дыма жертвенного огня. Увы, что для богов забава, для нас, смертных, совсем не игрушки.

Пурнендушекхор, отец жениха, был хорошо известен в кругах высокопоставленных английских чиновников. Он плыл по житейскому морю, бодро работая веслом «салам», и, в конце концов, пристал к крутому берегу, куда пускали далеко не всякого, — иными словами получил звание райбахадура.

У него были все данные для дальнейшего продвижения. Но пятидесяти пяти лет от роду, страстно лелея мечту достигнуть уже видневшейся в тумане вершины и присоединиться к обитающим там раджам, он неожиданно для себя оказался перемещенным в мир, где земные почести и награды ничего не стоят, и его уставшая от частых поклонов шея обрела наконец вечный покой на погребальном костре.

Однако, согласно данным современной науки, энергия не исчезает, а лишь меняет форму и точку приложения. Не исключается из этого правила и энергия, расходуемая на поклоны, — эта исполнительная девчонка, состоящая на побегушках у капризной богини судьбы Лакшми. Достойный сын подхватил эстафету отца, и пошла кланяться молодая головушка Нобендушекхора у дверей англичан, как качающаяся на волнах тыква.

В семье, из которой Нобенду взял себе свою вторую жену (первая жена его умерла, не оставив детей), на жизнь смотрели совсем иначе.

Старший сын Промотхонатх был всеобщим любимцем и снискал расположение всех, кто его знал. Родные и соседи считали его идеалом во всех отношениях. Он получил степень бакалавра искусств и вдобавок к этому от природы был наделен здравым смыслом. Однако высоких постов он не занимал, крупных окладов не получал и славы пером себе не приобрел; не было среди сильных мира сего никого, кто оказал бы ему протекцию, потому что он предпочитал держаться подальше от англичан — как, впрочем, и они от него. Вот так и получилось, что блистал он только в кругу родных и друзей.

Тем не менее этот самый Промотхонатх прожил однажды в Англии около трех лет. Любезность, с какой все там обращались с ним, произвела на него такое впечатление, что он забыл горе и унижение своей страны и явился назад домой в европейском платье.

Это обстоятельство сначала слегка озадачило его братьев и сестер, но уже через несколько дней они заметили, что Промотхонатху необыкновенно идет европейское платье, а постепенно и сами увлеклись иноземными модами.

По возвращении из Англии Промотхонатх решил показать всему свету, как держать себя на равной ноге с англичанами.

— Те из наших соотечественников, которые считают, что перед англичанами нужно обязательно гнуть спину, доказывают лишь полное отсутствие у себя чувства собственного достоинства и справедливости по отношению к англичанам, — заявил он.

Промотхонатх привез с собой из Англии рекомендательные письма от влиятельных лиц и таким образом получил доступ в местное английское общество. Его с женой даже стали приглашать время от времени то на чай и обед, то на спортивные состязания и другие развлечения. Такой успех опьянил Промотхонатха и настроил его весьма легкомысленно.

В это время должна была открыться новая линия железной дороги, и лица, пользовавшиеся благорасположе-

нием англичан, получили приглашения от самого губернатора провинции принять участие в первом пробеге. Промотхонатх был в их числе. На обратном пути полицейский инспектор бесцеремонно взял да ссадил с поезда, без всяких разговоров, нескольких почтенных индийцев. Одетый по-европейски Промотхонатх находился тут же. Он было тоже собрался сойти, но инспектор сказал:

— Вам выходить не нужно, сэр! Сидите, пожалуйста.

В первый момент Промотхонатх почувствовал себя даже польщенным от того, что к нему было проявлено такое почтение.

Когда, однако, поезд тронулся, ему стало казаться, что неяркие лучи солнца, садившегося где-то за полями, теперь перепаханными и лишенными всякой зелени, за видневшимися вдали лесами, заливают землю краской стыда. Сидя у окна в пустом вагоне, Промотхонатх пристально смотрел вдаль, и ему казалось, что за кучами деревьев он видит всю свою родину — униженную и опечаленную Бенгалию. Глубокое раздумье охватило Промотхонатха, жгучие слезы катились по его щекам, и в сердце кипело возмущение.

Он вспомнил анекдот про осла, который вез по улице колесницу с идолом. Прохожие кланялись идолу, ударяясь лбами в пыльную землю, а глупый осел принимал все эти почести на свой счет.

«Только та и есть разница между мной и ослом, — сказал себе Промотхонатх, — что сегодня я все же понял: уважение, которым я пользуюсь, относится не ко мне, а к вьюку, который я тащу на спине».

Вернувшись домой, Промотхонатх созвал всех имевшихся в доме детей, развел большой костер и побросал в него один за другим все свои европейские наряды. Дети весело плясали у костра, и чем выше взлетало пламя, тем безудержнее становилось веселье. После этого Промотхонатх отказался от чаепития в английских домах и снова засел в четырех стенах, недоступный для внешнего мира, в то время как остальные его спутники, проглотив обиду, продолжали шествовать от одной английской двери к другой, по-прежнему почтительно склоняя украшенные тюрбанами головы.

И вот по злой иронии судьбы незадачливый Нобендусхекхор женился на средней сестре Промотхонатха. Нобенду сперва считал, что ему повезло: все девушки из этого дома были прекрасно образованы, хороши собой. Но и со своей стороны он всячески старался подчеркнуть, что и семья жены не проиграла, породнившись с ним. Словно ненароком, он постоянно совал свояченицам деловые письма, которые в свое время отец получал от сановных англичан. И только когда на вишневых губках этих юных особ стала появляться саркастическая усмешка, будто сверкающее острие кинжала высывалось из краснобархатных ножен, бедняга наконец понимал, что делал.

«Я неправильно вел себя», — говорил он себе.

Старшая сестра, Лабоннолекха, превосходила всех красотой и умом. Как-то раз именно она, вместе с Орунлекхой, поставила на полку в спальне Нобенду две пары английских ботинок, размалеванных киноварью, разместила вокруг них цветы, сандаловую пасту и два зажженных светильника — все, как требовал обряд.

Как только Нобенду вошел в комнату, сестры взяли его за уши и произнесли с притворной серьезностью:

— Кланяйся своим богам, и да пошлют они тебе процветание.

Третья сестра, Киронлекха, много дней трудилась не покладая рук, вышивая красным шелком по чадору сто распространеннейших английских фамилий, вроде Джонса, Смита, Брауна, Томсона и т. п. Когда работа была готова, она торжественно вручила свой подарок Нобенду.

Четвертая сестра, Шошонлекха, которая, собственно, за малолетством в счет и не шла, сказала:

— Братик, давай я сделаю тебе четки — на каждого сахиба по бусинке.

Но старшие сестры на нее прикрикнули:

— Пойди прочь, дерзкая девчонка!

Чувства стыда и раздражения попеременно терзали Нобенду. Все же он никак не мог отказаться от общества своячениц, тем более что старшая была так хороша собой! Трудно сказать, чего в ней было больше — меду или желчи, и Нобенду в ее присутствии всегда испытывал и сладость и горечь. Он походил на мотылька с поло-

манными крыльями, который в слепой ярости кружит вокруг цветка, не в силах отлететь прочь.

Общество своячениц так околдовало его, что он стал тщательно скрывать свою жажду втереться в милость к англичанам. «Я вовсе не стремлюсь добиваться расположения сахибов», — заверял он. Отправляясь на поклон к губернатору, он говорил свояченицам, что идет послушать речь Сурендранатха Банерджи. Уезжая на вокзал засвидетельствовать почтение вице-губернатору, возвращавшемуся из Дарджилинга, Нобенду притворялся, что едет встречать дядю.

Бедняге было очень трудно сохранять равновесие, стоя одной ногой в лодке сахибов, а другой в лодке своячениц. Сестры, однако, поклялись, что не сложат оружия, пока сахибы не будут повергнуты в прах и они перетащат зятя в свою лодку.

Приблизительно в это время разнесся слух, что имя Нобенду будет включено в список лиц, представленных к награде по случаю дня рождения королевы Виктории, и что он, таким образом, получив титул райбахадура, сделает первый шаг по лестнице, ведущей в рай. Однако бедняга не решался поделиться радостной новостью со свояченицами, и лишь однажды вечером, когда яркая осенняя луна заливала землю коварным обманчивым светом, сердце Нобенду не выдержало и он открылся жене.

На следующий день Орунлекха отправилась в паланкине в дом старшей сестры и прерывающимся от слез голосом стала жаловаться на свою судьбу.

— Подумаешь, — сказала Лабонно, — хвост у него, что ли, вырастет, если он станет райбахадуром. Не понимаю, что тут такого обидного.

Но Орунлекха упорствовала.

— Нет, нет, диди, — говорила она, — я согласна стать кем угодно, только не райбахадуршей.

Дело в том, что среди ее знакомых был некто Бхутонатх-бабу, носивший титул райбахадура. Этого, по-видимому, было достаточно, чтобы она испытывала к титулу настоящее отвращение.

Лабонно долго убеждала сестру согласиться стать райбахадуршей. Но ничто не помогало, и она наконец сказала:

— Не горюй так, милочка. Посмотрим, может быть, я еще смогу как-то предотвратить это.

Муж Лабонно, Нилротон, занимался адвокатской практикой в Боксаре. В конце осени Нобенду получил от Лабонно приглашение погостить у них и весьма этим довольный отправился в Боксар. Причем, когда он садился в вагон, левая рука у него нисколько не дрожала. Из этого следует, что дрожание левой руки перед бедой, — всего лишь слепой предрассудок.

Осенний воздух западных провинций разругянил щеки Лабонно и вообще пошел ей на пользу, — ее красота расцвела еще больше. Веселая улыбка не сходила с уст. Перед очарованным взором Нобенду она предстала как тоненький тростник в цвету, усыпанный прохладными капельками росы, переливающейся на заре всеми цветами радуги.

Никогда в жизни Нобенду не чувствовал себя так хорошо. Он прямо парил в облаках от ощущения собственного цветущего здоровья и волнующего присутствия свояченицы, и ему казалось, что протекающая перед садом Ганга мчит свои бурные воды куда-то в незнакомое, олицетворяя его безумие и дерзость.

Гуляя каждое утро по берегу реки, он ощущал ласку осеннего солнца, и от этого по всему телу его разливался горячий трепет, как от объятий любимой. Дома его ждала обычно в это время свояченица, она развлекалась тем, что готовила какое-нибудь блюдо. В таких случаях он вызывался помогать, но неумение его сказывалось во всем. Нобенду, однако, отнюдь не рвался исправиться. Напротив, он от души наслаждался нотациями, которые ему приходилось выслушивать от свояченицы. Он просто из кожи лез вон, чтобы доказать свою прямо-таки детскую беспомощность и убедить всех, что он совершенно неспособен ни специи смешать, ни сковородку нагреть, ни за огнем в плите досмотреть, чтобы рис не пригорел, и чувствовал себя вполне вознагражденным, поймав укоризненный взгляд свояченицы или выслушав ее выговор.

За обедом, поскольку аппетит у него был хороший, еда обильная и отменно приготовленная, хозяйка обворожительная, а родственники радушные, сохранить чувство

меры в количестве поглощаемых блюд было просто невозможно. Позже он садился за карты — здесь он тоже проявлял полное отсутствие способностей. Он жульничал, заглядывал в карты к соседу, ссорился, но ни разу не выиграл ни единой партии и, что того хуже, никогда не признавал себя побежденным. За это ему ежедневно попадало, но он оставался неисправимым.

В одном, однако, Нобенду исправился. Может, на время, но он совершенно позабыл, что главное в жизни — это угождать сахибам. Он начал понимать, сколько радости и гордости может испытать человек, завоевавший любовь и уважение тех, кто ему близок и дорог. Кроме того, в этом доме царили совершенно незнакомые ему прежде нравы. Мужу Лабонно, видному адвокату, часто приходилось выслушивать упреки в том, что он не желает ходить на поклон к английским правительственным чиновникам. На все подобные выпады он отвечал:

— Благодарю покорно! Если они не настолько вежливы, чтобы возвратить мне визит, моя вежливость окажется лишь невозместимой потерей. Пески в пустыне очень белы и блестящи, но я лично предпочитаю чернозем, где можно, по крайней мере, рассчитывать на урожай.

Нобенду тоже начал набираться подобных идей, тем более что на будущем его они нисколько не отражались. Насчет получения титула райбахадур можно было не волноваться — его покойный отец оказался добрым пахарем, да и сам он в свое время немало потрудился на своей ниве, так что теперь можно было сидеть сложа руки и ждать всходов. Не он ли, не жалея средств, выстроил в городе ипподром, который охотно посещали европейцы?

Как раз в это время, когда Нобенду гостил в Боксаре, создавался Конгресс, и партия обратилась к Нилротону с просьбой принять участие в сборе средств. Нобенду, не чуя беды, играл с Лабонно в карты, когда Нилротон с подписным листом в руках вошел в комнату и сказал:

— Будь добр, распишись.

По старой привычке Нобенду в страхе отшатнулся. С видом глубокого беспокойства Лабонно сказала:

— Не вздумай этого делать! А то конец твоему ипподрому.

Нобенду выпятил грудь.

— Ты, может, думаешь, что я из-за этого сна лишусь, — выпалил он.

— Не бойся, твое имя не появится ни в одной газете, — успокаивал его Нилротон.

Как бы в раздумье Лабонно возразила:

— Все-таки опасно. Пойдут разговоры, знаешь, как это все быстро делается...

Нобенду закусил удила:

— Мое имя не пострадает, если появится в газете. — И с этими словами он выхватил лист из рук Нилротона и одним махом подписался на тысячу рупий. В душе он разумеется, надеялся, что в газеты его имя не попадет.

— Что ты наделал! — схватила за голову Лабонно.

— Ничего особенного, — сказал Нобенду, приосанившись.

— Но... но... — от волнения Лабонно с трудом выговаривала слова, — что скажут железнодорожный кондуктор, приказчик в европейском магазине или грум на ипподроме?.. Вдруг все эти почтенные господа рассердятся на тебя, не примут твое приглашение на праздник Дурги и не станут пить твое шампанское? Подумай только, ведь когда ты их встретишь в следующий раз, они могут даже не хлопнуть тебя по плечу!

— Ну, это я как-нибудь переживу, — высокомерно ответил Нобенду.

Через несколько дней, просматривая за утренним чаем газету, Нобенду наткнулся на письмо, подписанное неким Иксом. Автор рассыпался в благодарностях Нобенду за пожертвование в фонд Конгресса и дошел до того, что объявил, будто вступление Нобенду в ряды партии «неизмеримо увеличило силы Конгресса».

Увеличивать силы Конгресса! Горе тебе, добрый сеятель Пурнендушекхор! Для этого ли ты родил на свет своего злосчастливого Нобенду?

Однако нет худа без добра. Значит он чего-нибудь да стоит, если англичане, с одной стороны, и конгресси-сты — с другой, сидят и терпеливо ждут, на чью же удочку он клюнет.

Итак, Нобенду, сияя от удовольствия, понес газету Лабонно и показал ей письмо. Она изобразила на лице крайнее изумление:

— Ах, как обидно! Все всплыло наружу. Кто же мог подложить тебе такую свинью? Чтоб его перо изъели черви, чтоб песок набился в его чернильницу, чтоб сгнила бумага, на которой он пишет.

Нобенду рассмеялся:

— Ну, ну, брось, Лабонно! Лично я прощаю и благословляю автора этого письма, и да станут золотыми его перо и чернильница.

Через два дня Нобенду получил по почте издававшуюся англичанами газету, враждебную Конгрессу. В ней за подписью «One who knows»¹ было дано опровержение заметки, напечатанной в конгрессиистской газете. Автор опровержения писал, что «тот, кто имеет удовольствие быть лично знакомым с Нобенду, никогда не поверит клеветническим измышлениям по его адресу. Как леопард не может освободиться от черных пятен, так не может и человек, подобный Нобенду, стать конгрессиистом. Нобенду-бабу для этого слишком состоятельный человек, он не какой-нибудь отчаявшийся кандидат в чиновники и не безработный адвокат. Он не из тех, кто, после короткого пребывания в Англии, возвращается в Индию и начинает бессмысленно подражать всему европейскому, нахально пытается втереться в английское общество и, потерпев неудачу, в озлоблении отворачивается. Так что у Нобенду-бабу нет абсолютно никаких причин и т. д. и т. д.».

О покойный отец, Пурнендушекхор! Какое же имя ты успел создать себе при жизни среди англичан!

И этим письмом можно было щегольнуть перед Лабонно — разве не доказывало оно совершенно неопровержимо, что он, Нобендушекхор — человек с весом, а не какая-нибудь пешка.

Лабонно снова притворилась крайне изумленной:

— Кто из твоих друзей это написал? Наверное, твой знакомый билетер, или коммивояжер, или, может, там-бурмажор из духового оркестра.

¹ «Тот, кто знает» (англ.).

— По-моему, тебе нужно написать опровержение, — сказал Нилротон.

— Нужно ли? — напыжился Нобенду. — Мало ли что про меня пишут, неужели я должен каждый пустяк опровергать.

Лабонно громко расхохоталась. Нобенду это слегка озадачило.

— В чем дело, почему ты смеешься? — спросил он.

Но она продолжала хохотать, не в силах остановиться. Ее тонкая фигурка, как лиана на ветру, трепетала от смеха.

Этот поток веселья окончательно сбил Нобенду с толку. Жалобным тоном он спросил:

— Ты, наверное, думаешь, что я боюсь написать опровержение?

— О господи, да нет же, — сказала Лабонно, — я просто подумала, что ты все еще не потерял надежды спасти свой ипподром. Шутка ли: от такого клада отказаться! Знаешь, говорят, не надо отчаиваться до последнего.

— Ах, значит, по-твоему, я этого испугался? Ну так смотри! — в сердцах воскликнул бедняга и уселся писать опровержение.

Когда он кончил, Лабонно и Нилротон прочли написанное и сказали: «Надо бы покрепче, уж писать, так писать!» И они великодушно взяли на себя труд исправить и дополнить то, что написал Нобенду.

Казалось, они пекли лепешки. Стремясь сделать тесто нежнее, Нобенду подливал воду и масло и старательно приминал тесто сверху, а оба помощника в это же самое время подбавляли огня и взбивали пышную массу, чтобы она пучилась и лезла во все стороны.

В конце концов, после тщательной обработки у них получилось нижеследующее: «Когда человек, связанный с нами кровными узами, становится врагом, он делается куда опаснее любого другого врага. Англо-индийцы страшнее нам, чем русские или даже патаны. Они становятся непреодолимым барьером на пути сближения правительства с народом. Нельзя не отдать должного Конгрессу в том, что он открыл широкий путь для лучшего взаимопонимания между правителями и подданными. Газеты же

англо-индийцев взяли на себя в данном случае роль шлагбаума, преграждающего нам путь к взаимопониманию».

В душе Нобенду побаивался, что ничего путного из этой затеи не выйдет, но в то же время упивался стилем, считая, что сам-то уж он никогда в жизни так бы не написал.

Опровержение, как и следовало ожидать, было опубликовано, и в течение последующих нескольких дней газеты пестрели комментариями, отчетами и возражениями, а воздух гудел от слухов о вступлении Нобенду в партию Индийский национальный конгресс и о размере его вступительного взноса.

Теперь Нобенду с храбростью отчаяния разговаривал, как самый бесстрашный патриот; а Лабонно смеялась в душе: «Испытание огнем у тебя еще впереди!» — говорила она про себя.

Однажды утром, только Нобенду, умастив перед купаньем грудь благовонными маслами, занялся спиной (что было далеко не так просто), к нему вошел слуга и вручил визитную карточку самого господина окружного судьи.

Скрытая занавеской, Лабонно с любопытством наблюдала за Нобенду.

Бог мой! Что же делать? Ведь не мог же он в самом деле выйти к господину судье в таком виде!

Нобенду вертелся, как уж на сковородке. Он кое-как закончил купанье, судорожно натянул на себя одежду и, запыхавшись, выбежал в гостиную.

Но слуга сообщил, что сахиб только что, не дождав-шись, ушел.

Слуга слугой, но и без Лабонно тут, конечно, тоже не обошлось, и для того, чтобы разрешить вопрос, кто из них двоих внес большую лепту в эту сфабрикованную из несуществующих обстоятельств историю, потребовалось бы вмешательство самого тонкого знатока этики.

Бедное сердце Нобенду билось в груди, как только что сброшенный ящерицей хвост. Весь день он сидел сычом.

Лабонно разбирал смех, но она то и дело справлялась голосом, полным тревоги:

— Что с тобой, уж не болен ли ты?

Нобенду через силу улыбался и пытался острить:

— Разве возможны болезни в сфере влияния божественного лекаря.

Но улыбка быстро гасла. Вот какие мысли одолевали его: «Начал я с того, что сделал взнос в фонд Конгресса. Этого мне показалось мало, и я опубликовал в газете скандальное письмо и, в довершение ко всему, заставил ждать самого сахиба-судью, когда он осчастливил меня своим посещением. Что он теперь подумает обо мне! О отец, о Пурнендушекхор! По какой-то злой иронии судьбы я все время оказываюсь совсем не таким, каким являюсь на самом деле».

На следующий день Нобенду принарядился, надел огромный тюрбан, а в карман положил часы с цепочкой.

— Ты куда? — спросила Лабонно.

— Да у меня тут одно дело... — ответил Нобенду.

Лабонно больше не стала спрашивать.

Подойдя к воротам дома судьи, Нобенду стал вытаскивать визитную карточку, но привратник ледяным тоном заявил:

— Не принимают!

Нобенду достал из кармана две рупии. Привратник поспешно поклонился.

— Я не один, сэр, — сказал он.

Нобенду не долго думая вытащил бумажку в десять рупий и сунул ему. Через несколько минут его пригласили к сахибу.

Судья в халате и шлепанцах сидел и читал газету. Он пальцем указал Нобенду на стул и, даже не взглянув на него, спросил:

— Чем могу быть полезен, бабу?

Судорожно теребя цепочку часов, Нобенду проговорил дрожащим голосом:

— Вчера... вы были настолько любезны... что зашли ко мне, но...

Сахиб грозно нахмурил брови и искоса взглянул на него:

— Зашел к вам! Babu, what nonsense are you talking! ¹

¹ Что это за чепуху вы городите, бабу! (англ.)

Взмокший от испуга, Нобенду, лепеча: «Beg your pardon¹, умоляю, простите... вышла какая-то ошибка... какое-то недоразумение», — кое-как, пятясь, выбрался из кабинета сахиба.

В ту ночь, беспокойно ворочаясь в постели, он то и дело слышал какой-то потусторонний голос, с неодолимым упорством нашептывавший ему в ухо: «Babu, you are a howling idiot!»²

Пока Нобенду плелся обратно, он пришел к заключению, что судья не признался в своем посещении потому, что был глубоко оскорблен. «О мать-земля, разверзись и поглоти меня!» Но просьба Нобенду не была услышана, и он беспрепятственно вернулся домой.

Лабонно он сказал, что ходил покупать розовую воду, — из дома прислали письмо, просили достать. Не успел он вымолвить эти слова, как с полдюжины констеблей ввалились в дом и, поклонившись Нобенду, ухмыляясь, встали в дверях.

— Уж не пришли ли они арестовывать тебя за то, что ты сделал пожертвование в пользу Конгресса? — с улыбкой прошептала Лабонно.

Шесть констеблей показали двенадцать рядов зубов: — Бакшиш, бабу-сахиб.

— Бакшиш? Какой еще бакшиш? — нелюбезно спросил вышедший из соседней комнаты Нилротон.

По-прежнему ухмыляясь, констебли ответили:

— Господин был сегодня у сахиба-судьи. Как же тут можно без бакшиша.

— Я и не знала, — сказала со смехом Лабонно, — что судья теперь торгует розовой водой. Раньше он никогда не занимался столь безобидными делами.

Пытаясь согласовать версию покупки розовой воды с посещением судьи, Нобенду залепетал что-то такое бессвязное, что никто его так и не понял.

— Не за что давать вам бакшиш, — сказал Нилротон. — Ничего вы не получите.

Растерявшись, Нобенду смущенно вытащил из кармана банкноту, говоря:

¹ Простите (англ.).

² Ну и идиот же вы, бабу! (англ.)

— Да что там — они ведь люди бедные... отчего же не дать им немножко?..

Но Нилротон выхватил банкноту из его рук со словами:

— Есть люди и победнее, я отдам им деньги от твоего имени.

Нобенду был очень расстроен тем, что ему не позволили хоть немного умиловить земных заместителей грозного всемогущего творца. Когда констебли, мечая глазами молнии, удалялись, Нобенду провожал их жалобным взглядом, без слов говорившим: «Сами понимаете — я тут ни при чем».

Съезд партии Конгресса должен был состояться в Калькутте. Нилротон с женой поехал в столицу, чтобы присутствовать на заседаниях. С ними приехал и Нобенду. Уже на вокзале представители Конгресса окружили его и исполнили перед ним воинственный танец Шивы. Сотрясая воздух восторженными возгласами, они старались оказывать ему всевозможные почести и превозносили его до небес.

— Страна ничего не добьется, если такие люди, как вы, не отдадут свои силы на ее благо, — дружно утверждали все.

Нобенду трудно было с этим не согласиться. Так в суматохе и неразберихе он выскочил в лидеры страны.

Когда он появился на первом заседании Конгресса, все встали и прокричали ему на европейский манер трехкратное ура громкими голосами. И, услышав это, Родина от стыда покраснела до ушей.

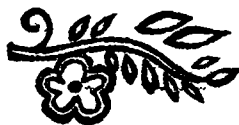
Наступил день рождения королевы Виктории, но имени Нобенду не оказалось в списке удостоенных титула райбахадура — звание, казавшееся таким близким, исчезло, как мираж.

Вечер этого знаменательного дня он был приглашен провести у Лабонно. Как только он появился в дверях, Лабонно торжественно поднесла ему почетную мантию и собственноручно красной сандаловой краской поставила ему на лоб тилак. Остальные свояченицы по очереди надели ему на шею гирлянды цветов, сплетенные своими руками. В розовом сари, в ослепительных драгоценностях его жена Орунлекха пряталась за занавеской. Щеки ее

пылали, и на губах играла улыбка радости смущения. Сестры кинулись к ней и стали требовать, чтобы она тоже шла принимать участие в торжествах, но она об этом даже слышать не хотела. Ее гирлянда, самая ценная, которой не терпелось обвиться вокруг шеи Нобенду, предпочитала дожидаться покрова ночи.

— Сегодня мы тебя коронуем, — заявили свояченицы. — Во всей Индии такой чести будешь удостоен ты один!

Лишь сердце Нобенду да всевышний знали, послужило ли это ему достаточным утешением. Мы питаем на этот счет большие сомнения. Мало того, мы почти уверены, что Нобенду еще когда-нибудь станет райба-хадуром и что «Englishman» и «Pioneer» еще отзовутся душераздирающими некрологами на его безвременную кончину. А пока слава Пурнендушекхору! Ура! Ура! Ура!



И С Ч Е З Н У В Ш Е Е С О К Р О В И Щ Е

Моя лодка стояла у старой, полуразрушенной пристани. Солнце садилось.

На палубе совершал намаз лодочник. Его молчаливая, застывшая фигура на фоне закатного огненного небосклона казалась нарисованной на холсте. По неподвижной, спокойной глади реки разливались бесчисленные неуловимые краски, незаметно переходящие от едва различимой до совсем темной, от ярко-рыжей до свинцово-серой.

Я сидел один на ступеньках набережной, развороченной корнями фигового дерева, в вечерней тишине, наполненной звоном цикад, на виду у огромного ветхого дома с выбитыми стеклами и готовой вот-вот обрушиться верандой и чувствовал, что мои глаза наполняются слезами. Вдруг рядом раздался голос, заставивший меня вздрогнуть:

— Откуда изволили пожаловать, милостивый государь?

Я поднял голову и увидел исхудалого человека, вероятно немало испытавшего на своем веку. Как у большинства бенгальцев, покинувших в поисках заработка родные места, вид у него был потрепанный и неряшливый. Помимо дхоти, на нем был расстегнутый грязный и засаленный китель форменного покроя. По-видимому, трудовой день бедняги только что кончился, и теперь он

отправился побродить на берег реки в надежде, что свежий вечерний воздух заменит ему ужин.

Незнакомец присел рядом со мной.

— Я приехал из Ранчи, — ответил я на его вопрос.

— Чем занимаетесь?

— Коммерсант.

— Чем торгуете?

— Овощами, шелковыми коконами и лесом.

— Как вас зовут?

Немного помедлив, я назвал вымышленное имя.

Но любопытство пришельца все еще не было удовлетворено. Последовал новый вопрос:

— Ради чего изволили прибыть сюда?

— Для перемены климата.

Мой собеседник, казалось, был несколько озадачен.

— Милостивый государь, — повернулся он ко мне, — вот уже почти шесть лет, как я непрестанно пользуюсь благами здешнего климата да еще принимаю ежедневно в общей сложности по пятнадцати гран хинина, а толку что-то не видно.

— Все же вам придется признать, — возразил я, — что климат здесь значительно лучше, чем в Ранчи.

— И-да, пожалуй, вы правы, — проговорил незнакомец. — А где думаете остановиться?

Я указал на старый дом у каменной лестницы и ответил:

— Вот здесь.

Мне показалось, что в душе моего нового знакомого шевельнулось подозрение, уж не хочу ли я заняться поисками клада в этом покинутом доме. Однако подозрения этого он никак не выказал, зато поведал мне во всех подробностях то, что пришло в этом доме пятнадцать лет назад.

Мой собеседник оказался местным школьным учителем. Он был совершенно лыс, на иссушенном голодом и болезнями лице неестественно сверкали огромные, глубоко посаженные глаза. Когда я смотрел на него, мне невольно приходил на память старый моряк из поэмы Колриджа.

Лодочник закончил намаз и занялся приготовлением ужина. Последние лучи заката осветили безлюдное,

угрюмое строение, поднимавшееся за нами, как мрачный призрак былого великоления.

Итак, учитель начал свой рассказ.

«Примерно за десять лет до того, как я приехал сюда, в этом доме жил некто Фонибхушон Саха. После смерти своего дяди Дургамохона Саха — человека бездетного — он унаследовал все его немалое состояние и торговое дело.

Но Фонибхушон Саха получил хорошее образование и был воспитан в современном духе. Он входил в кабинет англичан — своих коллег, — не снимая обуви, и разговаривал с ними на безукоризненном английском языке. К тому же Фонибхушон носил бороду. Словом, достаточно было взглянуть на него, чтобы убедиться: перед вами — бенгалец нового склада. Само собой разумеется, что расположением англичан он не пользовался.

Дома у него тоже было не все благополучно. Сами посудите: современное образование и в придачу к этому красивая жена! Совершенно очевидно, что при подобном сочетании добрые старые обычаи быстро пошли на убыль. Дело доходило до того, что, если он или его жена заболевали, на дом вызывали помощника местного хирурга! Не менее расточителен был Фонибхушон, когда дело касалось лакомств, одежды и украшений для жены.

Вы, сударь, несомненно, человек женатый, поэтому нет нужды вам объяснять, что женщины любят незрелые плоды манго, жгучий красный перец и крутых мужей. При этом если мужчина уродлив или беден, это еще не означает, что жена его не будет любить, но уж если он слишком мягок, — песенка его спета.

Вы спросите: почему? Сейчас я вам объясню. Я много думал над этим и пришел к выводу, что человек не может быть счастлив, если не отдает себе полного отчета, к чему он от природы склонен и на что способен. Олень, чтобы подточить рога, выбирает ствол твердого дерева, мягкая древесина его не устраивает. Так же и женщины. С тех самых пор, как появились мужчины и женщины, женщина начала изобретать всякие уловки и хитрости, чтобы обмануть и подчинить себе неподатливого мужчину. И она весьма преуспела в этом деле. Желю уступ-

чивого мужа можно только пожалеть — бедняжку ждст скучная, праздная жизнь. Великолепное, тысячелетиями отточенное оружие, унаследованное ею от бабушек и прабабушек — все эти огненные стрелы, метательные копья и дротики оказываются ненужными и бесполезными. Добиваться любви мужчины, пустив в ход всю ловкость, все свое искусство, — вот чего хочет женщина. И горе тому мужу, который своей кротостью и добротой лишает ее такой возможности. Но горе — да еще какое! — и его жене.

Под влиянием современной цивилизации мужчина утратил свои исконные, богом данные ему грубость и жестокость, в результате чего в нынешнем обществе заметно ослабли супружеские узы. Что же касается несчастного Фонибхушона, то цивилизация потрудились над ним столь успешно, что выпустила его в жизнь человеком совершенно безупречным — поэтому ни в делах, ни в семейной жизни удачи ему не было.

Жену Фонибхушона звали Монималика. Обожание доставалось ей без труда, даккские сари — без слез, а новые браслеты — по первому требованию. В результате все, что было женского в ее натуре, притупилось, а вместе с тем зачахла и ее любовь к мужу. Она лишь принимала, но ничего не давала взамен. Кроткий, доверчивый супруг воображал, что даяние — лучший способ добиться воздаяния. В действительности же, мы знаем, дело обстоит как раз наоборот!

Мало-помалу Монималика стала смотреть на Фонибхушона лишь как на машину, единственным назначением которой было доставать ей новые сари и браслеты; причем машина эта была так превосходно сконструирована, что ее не надо было даже смазывать.

Родился Фонибхушон в Фулбере, однако торговые дела заставляли его проводить большую часть времени здесь. Матери у него не было, и в фулберском доме проживало множество теток и прочих родственников. Но Фонибхушон привел в дом красавицу жену не для того, чтобы она прислуживала его родным. Он счел за лучшее увезти ее и поселить вот в этом самом доме, чтобы никто им не мешал. Впрочем, жена, в отличие от прочего движимого имущества, может не оказаться на месте, даже

если отделить ее от родственников и иметь исключительно в своем распоряжении.

Жена Фонибхушона была молчалива, с соседками судачить не любила, не было случая, чтобы она, хотя бы из благочестия, угостила проходившего мимо брахмана или подала несколько пайс нищей вишнуитке. Она была чрезвычайно бережлива и тщательно собирала и хранила все, что получала, кроме... обожания мужа. Но удивительнее всего было то, что Монималика умудрилась не растратить ни крупицы своей молодости и чудесной красоты. Говорят, в двадцать шесть лет она выглядела столь же юной, как и в четырнадцать. У кого вместо сердца — кусок льда, кому неведомы муки любви, могут, я полагаю, очень долго сохранять краски молодости — они, как скряги, стерегут свою душу и тело.

Подобно пышно разросшейся, густолистой лозе, Монималика была бесплодна. Творец не дал ей детей — единственного, что могло бы стать для нее дорожкой всех сокровищ, хранящихся в ее сейфе, что могло бы, как солнце весеннего утра, растопить своим мягким теплом лед ее сердца и превратить этот лед в источник любви и нежности.

Жена Фонибхушона искусно управлялась с домашними делами и никогда не держала лишних слуг: Монималика не могла допустить, чтобы кто-то получал деньги за работу, которую она в состоянии была выполнить сама. Она никого не любила, ни о ком не заботилась, лишь исполняла свои обязанности и копила; она не знала ни болезней, ни печалей, ни страданий. Пышущая здоровьем и невозмутимо спокойная, Монималика полновластно правила в своем царстве несметных сокровищ.

Такая жена вполне устроила бы большинство мужей, более того — они были бы весьма довольны ею. Человек не замечает, что у него есть поясница, покуда не получит прострела; так вот, если мужчине на каждом шагу, все двадцать четыре часа в сутки, дают понять, что у него есть оплот домашнего очага — обожающая, преданная жена, то для семейной жизни это тот же прострел! Чрезмерная привязанность к мужу, хоть и является предметом гордости женщин, приносит супругу одно лишь бес-

покойство — таково по крайней мере мое твердое убеждение.

Посудите сами, мужское ли это дело ломать каждый день голову — одарила тебя жена должной мерой любви или нет? Настоящий мужчина рассуждает иначе: «Жена пусть себе занимается своим делом, а я буду заниматься своим». Создатель не счел нужным награждать мужчину способностью тонко чувствовать, искать скрытое в явном, копаться в мелочах и придавать значение всяким пустякам. Другое дело — женщина. Она тщательнейшим образом взвешивает малейший знак внимания или невнимания со стороны мужа, пытается уловить значение каждого его слова, каждого жеста. Да, это и понятно, ведь могущество женщины, вся ценность ее жизни заключаются в любви мужа. Для женщины любовь мужа все равно что изменчивый ветер: лишь правильно определив его направление, она сможет вовремя поднять парус и направить свою лодку к берегу заветных желаний. Поэтому-то господь посчитал, что лучшее место для компаса любви — это сердце женщины, мужчине же он вовсе не нужен.

Но в наше время мужчина стремится завладеть и тем, что ему совсем не принадлежало. Поэты обошли самого всевышнего и бездумно передали в руки всех и каждого эту прежде недоступную вещь. На бога я не ропщу — творец создал мужчину и женщину достаточно разными; вся беда в том, что при нынешней цивилизации эта разница скоро совсем ступается: женщина запросто превращается в мужчину, мужчина — в женщину, а в результате — из дома уходят покой и порядок. Дело дошло до того, что нынче уж жених и невеста перед свадьбой замирают в страхе, не зная, с кем же, собственно, они вступают в брак — с мужчиной или с женщиной?

Вам не надоела моя болтовня? Видите ли, жить я вынужден один — жена моя отсюда далеко. Ну а со стороны многие скрытые пружинки семейной жизни гораздо виднее. К сожалению, с учениками своими наблюдениями не поделишься... Вы уже имеете кое-какое представление о том, что я думаю на этот счет. Послушайте дальше, и вы увидите, насколько я прав.

Словом, дело обстояло так. Несмотря на то, что в пищу Фонибхушона всегда было положено достаточно соли, а в его бетель никогда не было переложено извести, он постоянно чувствовал, что в его жизни не все обстоит «как надо». И это сознание непрестанно растравляло его сердце. Он не мог сказать, что жена в чем-то виновата перед ним, не мог упрекнуть ее в невнимании, и, тем не менее, счастлив он не был. Бриллиантами и жемчугом пытался он привязать сердце Монималики, но драгоценные камни попадали в сейф, а сердце по-прежнему оставалось свободным. Покойный дядя Дургамохон не испытывал к жене столь возвышенных чувств, да и отнюдь не расточал любовь так обильно, зато супруга его всегда возвращала ему эту любовь сторицей. Одним словом, если уж ты стал купцом, то отбрось всякое джентльменство, а если ты муж, то будь мужчиной, — иначе попадешь впросак. А в том, что это верно, можете не сомневаться...»

В этот момент в соседней роще громко залаяли шакалы, на несколько минут прервав рассказ школьного учителя. И мне показалось, что они хохочут от души над философскими рассуждениями на тему о супружеской жизни моего нового знакомого. А быть может, они потешались над поведением несчастного Фонибхушона — жертвы новой цивилизации?

После того как шакалы, нахохотавшись вволю, умолкли и мир снова погрузился в тишину, учитель, уставившись широко раскрытыми, горящими глазами во мрак ночи, возобновил свой рассказ.

«Неожиданно перед Фонибхушом в его большом и сложном деле возникли серьезные трудности. В чем эти трудности заключались — мне, не коммерсанту, понять и объяснить вам нелегко. Но как бы там ни было, на него вдруг надвинулась угроза лишиться кредита. Если бы ему удалось всего лишь дней на пять раздобыть сто — полтораста тысяч рупий и выбросить их на рынок, кризис был бы тут же преодолен и дело понеслось бы вперед на всех парусах. Но достать необходимые деньги ему было нелегко — он не мог сделать заем у местных ростовщиков, хорошо знавших его, ибо это обязательно породило бы не-

благоприятные слухи, от чего дело могло бы пострадать вдвойне. Нужно было сделать заем где-то в другом месте, где его никто бы не знал. Однако в этом случае нельзя было обойтись без крупного залога. Самым лучшим обеспечением ссуды были бы драгоценности: внеся их в качестве залога, можно было обойтись без составления сложных документов, — на чем терялось много времени, — и уладить все быстро и просто.

И вот Фонибхушон пошел к жене. Но для него войти в комнату супруги было далеко не так легко, как для большинства мужей. К несчастью, он любил Монималику так, как только герой какой-нибудь любовной поэмы может любить свою героиню. Такая любовь заставляет человека обдумывать каждый шаг, не позволяет ему прямо высказывать все, что у него на уме; такая любовь подобна притяжению солнца и земли, которое, несмотря на всю свою мощь, держит планеты на огромном расстоянии друг от друга.

Тем не менее даже герой поэмы, попав в беду, бывает порой вынужден коснуться в разговоре с возлюбленной таких тем, как векселя, закладные и расписки, даже если при этом голос его дрожит, речь судорожно прерывается и в чисто деловой разговор вторгаются нотки страдания и трепет волнения. Таков был бедняга Фонибхушон; он не мог заставить себя сказать жене прямо: «Послушай-ка, мне нужны твои украшения, неси-ка их сюда!»

В конце концов, он чрезвычайно робко и даже нерешительно изложил суть дела. Когда же Монималика насупилась и не произнесла в ответ ни слова, он не захотел ответить ударом на постигший его тяжелый удар, потому что в нем не было ни крупницы грубости и жестокости, свойственных мужчине. Вместо того, чтобы просто отнять требуемое силой, он не сказал ни слова и обиду свою затаил глубоко в сердце. Даже перед лицом полного разорения Фонибхушон не мог допустить насилия в той области, где, по его мнению, господствовало одно-единственное право — право любви. И если бы кто-нибудь стал порицать его за это, он, по всей вероятности, привел бы в свое оправдание доводы очень тонкие, вроде, например, следующего: «Если меня несправедливо лишили

коммерческого доверия, это еще не дает мне права ограбить на этом основании рынок; и если жена не доверяет мне и не желает добровольно отдавать свои драгоценности, отнять их у нее я не могу. Любовь в семье — то же, что кредит на рынке; а физической силе место лишь на поле битвы». Ну для того ли создал всевышний мужчину таким прямодушным, таким большим и сильным, чтобы он изощрялся в столь заумных рассуждениях? К лицу ли ему копаться в тонкостях настроений и чувств и тратить на это свое драгоценное время!

Как бы то ни было, возвышенные эмоции Фонибхушона не позволили ему прикоснуться к драгоценностям жены, и добывать необходимые средства он отправился в Калькутту.

Как правило, жена знает своего мужа гораздо лучше, чем муж ее. Однако в тех случаях, когда муж оказывается натурой сложной и утонченной, жена не в состоянии проникнуть в сокровенные глубины его души. Так случилось и с супругой нашего Фонибхушона — Монималика плохо знала мужа. Благородство духа ультрасовременных мужчин совершенно не вмещается в рамки нехитрых женских представлений и инстинктов, корни которых уходят в глубь веков. Эти мужчины — существа особенные, загадочные и непонятные, как сами женщины. Обычных мужчин можно разделить на несколько категорий: одни из них — варвары, другие — дураки, третьи — слепцы. Но ни одно из этих определений нельзя полностью отнести к новейшим продуктам цивилизации.

Поэтому Монималика решила призвать на помощь советника. Это был ее земляк или дальний родственник, который служил помощником управляющего в фирме Фонибхушона. Упорным трудом добиваться повышения по службе было отнюдь не в его правилах: ссылаясь на какого-то общего с хозяином предка, он ухитрялся получать не только свое жалование, но и еще кое-какие блага.

Монималика пригласила его и, рассказав о случившемся, спросила:

— Ну, что ты посоветуешь?

Модху, глубокомысленно покачав головой, видимо давая понять, что положение дел ему очень не нравится

(мудрецам никогда не нравится положение дел),
изрек:

— Бабу никогда не сможет раздобыть денег и в конце концов отнимет у тебя драгоценности, вот увидишь!

Монималика согласилась, что такой оборот дела не только возможен, но и весьма вероятен. И беспокойство ее возросло — ведь детей у нее не было, муж не занимал прочного места в ее сердце. Единственно, что было для нее близко и дорого — это сокровища, которые росли из года в год, как мог бы расти ребенок. В ее сундуке лежало не только серебро, там было и чистое золото и бриллианты. Все эти драгоценности стали как бы частицей самой Монималики, они заполнили ее сердце, они завладели ее думами. Поэтому при одной мысли о том, что все это годами накопленное богатство в мгновение ока может исчезнуть в бездонной пропасти торговых махинаций, молодая женщина холодела от ужаса.

— Что же делать? — спросила она в тревоге.

— Сегодня же собери все украшения и отправляйся в дом своего отца! — ответил Модхушудон.

Тем временем в душе мудрого Модху уже созрел некий план, благодаря которому часть, а то и все драгоценности Монималики должны были очутиться у него в руках.

Монималика тотчас же согласилась с этим предложением.

И вот вечерней порой, в начале июля, к этой самой пристани, где мы сейчас сидим, причалила лодка. А ранним утром следующего дня, когда небо было обложено тяжелыми тучами и тишина нарушалась лишь кваканьем лягушек, на борт лодки поднялась Монималика. С головы до ног она была закутана в покрывало из грубой материи. Спавший в лодке Модхушудон проснулся и сказал:

— Давай сюда шкатулку.

— Потом, потом, — ответила Мони. — Поехали.

Лодка отчалила и, с легким плеском рассекая воду, быстро поплыла вниз по течению.

Всю ночь перед отъездом Монималика увешивала себя украшениями; когда она надела на себя все, что имела, на теле не осталось ни одного свободного места,

Монималика опасалась, что если она повезет свои сокровища в шкатулке, то легко может лишиться всего. Если же драгоценности будут на ней, рассуждала она, то пока она жива, никто не сможет завладеть ими.

Заметив, что хозяйка не принесла с собой шкатулки, Модхушудон слерка растерялся. Он и не предполагал, что под грубой тканью, скрывающей тело и душу этой женщины, находилось именно то, что было для нее дороже и тела и души. О, Монималика, не понимавшая Фонибхушона, прекрасно разбиралась в таких людях, как Модхушудон.

Модхушудон оставил управляющему письмо, в котором сообщал, что уезжает сопровождать хозяйку в дом ее отца. Управляющий был человеком старой закалки, и это известие возмутило его. Он тотчас же отправил своему патрону письмо, полное орфографических ошибок (ознакомиться с правилами бенгальского правописания он так и не удосужился), но ясно выражавшее мысль, что давать слишком много воли жене — недостойно мужчины.

Фонибхушон догадался о причине, побудившей жену уехать от него. И это было для него еще более страшным ударом. «Неужели она так-таки и не поняла меня!» — думал он с горечью. А ведь он отказался даже от мысли о закладе ее драгоценностей и, рискуя полным разорением, прилагал сейчас отчаянные усилия к тому, чтобы раздобыть как-то необходимую сумму. И все же она ему не доверяет!

Но вместо того чтобы зажечь в душе Фонибхушона гнев, столь вопиющая несправедливость лишь обидела его! Мужчина — это карающий божественный жезл; творец вложил в его душу пламя молнии, и позор тому, кто не обрушивает это пламя на голову человека, творящего несправедливость! Пламя гнева разгорается в сердце мужчины от малейшей искры, как пожар в лесу, зато женщина похожа на тучу в дождливую пору, когда она беспричинно льет на землю потоки дождя, — вот какой порядок установил создатель в древние времена, только теперь этот порядок больше уже не существует.

А Фонибхушон? Тот самый Фонибхушон, который, мысленно обращаясь к преступной Монималике, говорил:

«Ну что ж, пусть будет по-твоему; что же касается меня, то я по-прежнему буду выполнять свой долг». Это был человек грядущего, которому следовало появиться на свет пятью-шестью столетиями позже, когда миром будут управлять лишь духовные силы. Он имел несчастье родиться в девятнадцатом веке и вступить в брак с женщиной первобытной эпохи, с женщиной, которой в шашках дано название «отнимающая разум». Фонибхушон не написал жене ни строчки и про себя поклялся, что никогда, ни единым словом не напомним ей о ее поступке. Какое страшное наказание!

Дней через десять, раздобыв нужную сумму и ликвидировав висевшую над ним опасность, Фонибхушон возвратился домой. Он полагал, что к этому времени Мони-малика тоже вернется, спрятав у отца свои драгоценности. В воображении он уже видел себя не робким просителем, как в тот несчастный день, а человеком дела, который знает, что его ждет, и умеет добиться своего; он представлял себе даже стыд и раскаяние жены...

Сдерживая волнение, Фонибхушон направился на женскую половину дома. Но спальня оказалась запертой. Фонибхушон взломал замок и распахнул дверь — комната была пуста. В углу стоял открытый сейф, в котором Мони хранила обычно свои украшения. Фонибхушон почувствовал, как в груди у него что-то оборвалось. Жизнь, любовь, дела — все показалось ему бессмысленным и бесцельным. «За каждый прут железной клетки бытия мы готовы пожертвовать всем, — думал он. — Но птицы-то в клетке нет, и, если даже и посадить ее туда, она все равно скоро исчезнет... Так зачем же мы украшаем эту клетку кровавыми рубинами своего сердца и жемчужными ожерельями своих слез?» И Фонибхушон мысленно отбросил прочь пустую и ненужную клетку, которую когда-то сам осыпал драгоценностями.

Что же касается жены, то Фонибхушон решил ничего не предпринимать. «Захочет — вернется», — думал он.

Но к нему пришел старый брахман-управляющий.

— Нельзя сидеть сложа руки и ждать — это к добру не приведет, — сказал он. — Нужно же в конце концов узнать, что случилось с госпожой. — И он направил слуг

в дом отца Монималики. Однако они вскоре вернулись с вестью о том, что ни Мони, ни Модху до сих пор туда не прибыли.

Тогда пропавших начали искать. По обоим берегам реки были посланы люди, которые расспрашивали каждого встречного, в полицию были переданы сведения для розыска Модху; но все оказалось напрасным. Не удалось выяснить ни личности нанятого ими лодочника, ни на какой лодке и куда они направились.

Однажды вечером, когда все надежды были, казалось, потеряны, Фонибхушон вошел в опустевшую спальню. В этот день по случаю праздника джонмаштоми на окраине села под большим навесом бродячие актеры разыгрывали перед многочисленными зрителями сцены из жизни Кришны. До слуха Фонибхушона доносились музыка и пение, приглушенные шумом дождя, который лил непрерывно с самого утра. Не зажигая света, он сел у окна, разбухшая рама которого не закрывалась плотно. Но Фонибхушон не замечал, что в комнату проникает тяжелый влажный воздух, не прислушивался к дробному перестуку дождевых капель и к отдаленным голосам певцов. Стены комнаты украшали картины, написанные известными художниками. Они изображали богинь Лакшми и Сарасвати. На крючке висели чистые полотенца и платки, блузки и сари из полосатой ткани. В углу, на маленьком трехногом столике, стояла круглая бронзовая коробка с затвердевшим бетелем, собственноручно приготовленным еще Монималикой. На полках стеклянного шкафчика были аккуратно расставлены фарфоровые статуэтки, флаконы, графины из цветного стекла, лежала великолепная колода карт, большие морские раковины и даже коробки из-под мыла. Все эти предметы Мони собирала с детских лет и очень берегла. Та самая маленькая, изящная керосиновая лампа с крошечным круглым стеклом, которую она сама каждый день зажигала и ставила в стенную нишу, находилась и теперь на своем месте, только темная и потускневшая; эта лампа была единственным немым свидетелем последних минут, проведенных Монималикой в своей спальне. Хозяйка ушла, и вместе с ней, казалось, улетела душа комнаты, но сколько говорящих предметов оставила она

здесь, каждый из них хранил нежную теплоту ее сердца. Приди же, Монималика, приди! Своими руками зажги свою лампу и освети свою комнату! Встань перед зеркалом и надень свое осиротевшее сари! Твои вещи ждут тебя! Ни одна из них ничего от тебя не потребует, только приди и своею вечной юностью и неувядающей красотой возроди утраченное единение души своей с этой грудой покинутых тобою, разбросанных повсюду вещей! Вдохни жизнь в эти безжизненные, неподвижные предметы!.. Беззвучный, горестный вопль неодушевленных, немых вещей, казалось, наполнял комнату и делал ее похожей на место сожжения умерших, оглашаемое рыданиями близких.

В глубине ночи настал момент, когда ливень вдруг прекратился, а голоса певцов смолкли. Фонибхушон все в той же позе сидел у окна и глядел в непроглядную тьму, точно окутавшую весь мир. Ему представилось, будто перед ним распахнулись уходящие в небо врата царства смерти; нужно только встать во весь рост, закричать, позвать — и взору вновь предстанет то, что было потеряно навсегда. Разве не может на этой черной завесе вечности, на этом бесчувственном пробном камне блеснуть золотой след исчезнувшего сокровища?.. Неожиданно размышления Фонибхушона прервал какой-то сухой, мерный стук, сопровождаемый позвякиванием металлических украшений. Казалось, этот звук поднимается по ступеням береговой лестницы.

Едва владея собой, Фонибхушон попытался пронзить тьму нетерпеливым взглядом — он вглядывался во мрак до боли в тяжело бьющемся сердце и полных страстного желания глазах, но ничего не мог различить. И чем больше он напрягал зрение, тем грознее сгущалась тьма, тем призрачнее становился мир. Природа, увидев незваного пришельца у входа в обитель смерти, торопливою рукой опустила еще один занавес перед его взором.

Шаг за шагом подымался звук по лестнице. Дойдя до верхней ступеньки, он двинулся по направлению к дому и только перед самым домом остановился и замер. Сторож запер наружную дверь и ушел слушать бродячих певцов, и сейчас на эту дверь обрушился град уда-

ров, слышался звон женских украшений и какое-то постукивание... Фонибхушон дольше не мог сидеть на месте. Пробежав через неосвещенные комнаты, он спустился по темной лестнице вниз и подошел к двери. Она была заперта снаружи на замок. Фонибхушон начал что было силы колотить в дверь и — от боли и от грохота — проснулся. Оказалось, что он во сне спустился сюда с верхнего этажа. Тело его было покрыто испариной, руки и ноги холодны как лед, а сердце трепетало, подобно готовому угаснуть светильнику. Снаружи не доносилось ни одного постороннего звука, только лил дождь да сквозь его шум слышались голоса деревенских певцов, затянувших утреннюю песню.

И хотя все происшедшее было только сном, Фонибхушону оно представлялось удивительно близким и реальным; ему казалось, что он вплотную подошел к чуду осуществления несбыточной мечты... А в далекой мелодии песни и в монотонном стуке падающих дождевых капель ему чудился шепот: «Само пробуждение — лишь сон, этот мир — иллюзия».

На следующий день празднества продолжались, и бродячая труппа опять давала представление. Сторож был отпущен, как и накануне, но Фонибхушон приказал, чтобы наружная дверь была оставлена на всю ночь открытой.

— Из-за праздника здесь собралось много чужого народа, — возразил сторож, — я не решусь оставить дверь открытой и уйти.

Но Фонибхушон приказал ему слушаться.

— Тогда я останусь на всю ночь и буду охранять дом, — заявил сторож.

— Нет, нет, — перебил его хозяин. — Не выдумывай и отправляйся, пожалуйста, на праздник.

Крайне удивленный, сторож повиновался.

Вечером, потушив в спальне свет, Фонибхушон снова сел у окна. Хмурые тучи, готовые обрушить на землю потоки дождя, закрывали небо. Безмолвие, наполненное ожиданием чего-то надвигающегося и неопределенного, окутало мир. В напряженной тишине слышалось лишь неугомонное кваканье лягушек да далекое пение. Ка-

залось, сам воздух был напоен странной таинственностью.

Поздней ночью умолкли лягушки и цикады, затихли голоса мальчиков-певцов, и на ночную землю опустилась завеса еще более густого мрака. «Время пришло», — подумал Фонибхушон.

Как и в первый раз, со стороны береговой лестницы слышался сухой стук и позвякивание. Но Фонибхушон не смотрел в ту сторону: он боялся, как бы его жадное нетерпение и беспокойство не умчали прочь все его чаяния и надежды, чтобы страстный порыв не заставил его совершить непоправимое. Из всех сил сдерживая себя, Фонибхушон неподвижно, словно деревянное изваяние, застыл у окна.

Сегодня звук побрякивающих украшений, шаг за шагом пройдя расстояние, отделяющее его от дома, проник в незапертую дверь. Затем стало слышно, как он поднимается, делая круг за кругом по винтовой лестнице, ведущей во внутренние покои. Фонибхушон едва владел собой; грудь его вздымалась и падала, как застигнутый бурей челн, горло свела судорога. Звук, поднявшись по лестнице, медленно двинулся вдоль веранды и стал приближаться к комнатам. Наконец, когда он достиг как раз той двери, за которой находился замерший в томительном ожидании Фонибхушон, постукивание и позвякивание прекратилось. Теперь осталось лишь пересечь порог...

Фонибхушон не мог больше сдерживаться. Неистовое возбуждение, кипевшее в нем, мгновенно со страшной силой прорвалось наружу, исторгнув из груди рыдающий вопль:

— Мони!

С быстротой молнии вскочил он со стула и... проснулся. Оконные стекла еще дрожали от вырвавшегося у него крика. А снаружи доносилось все то же кваканье лягушек да самозабвенное пение мальчиков из актерской труппы.

Фонибхушон с силой ударил себя по лбу.

На следующий день праздничное гулянье окончилось. Бродячие актеры и ярмарочные торговцы покинули де-

ревню. Но Фонибхушон приказал, чтобы и на этот раз с наступлением вечера в доме, кроме него самого, никто не оставался. Весь день он ничего не ел, и слуги решили, что их хозяин собирается совершать какие-то таинственные обряды.

Вечером Фонибхушон снова сидел у окна. На этот раз облака кое-где прорвались, и в прозрачном, омытом дождем небе необычно ярко сияли звезды. Луны не было — на десятый день после полнолуния она всходит поздно. Празднества окончились, и на поднявшейся после дождя реке не видно было ни одной лодки. Усталые крестьяне, бодрствовавшие в течение двух праздничных ночей, погрузились в глубокий сон.

Фонибхушон сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на звезды. Он вспоминал то время, когда ему было девятнадцать лет и он учился в одном из колледжей Калькутты. Однажды он лежал на траве, на берегу Голдигхи, заложив руки под голову, и так же, как сейчас, смотрел на вечерние звезды; он думал о том, что в доме свекра — в этом самом доме у реки, — одна в своей комнате его ждет Мони. И перед ним вставало тогда ее юное, нежное лицо девочки, которой не исполнилось еще и четырнадцати лет. Как сладостна была тогда даже разлука! Даже звезды мерцали в такт радостному трепету юного влюбленного сердца, создавали удивительную «гармонию красок и ритма весны». А сегодня те же самые звезды казались Фонибхушону стихами из Махамудгары», начертанными пламенем по небосводу. Они словно говорили: «Как призрачен этот мир».

Постепенно, одна за другой, звезды стали гаснуть и в конце концов исчезли совсем. Непроглядная тьма спустилась с небес, навстречу ей с земли поднялась другая тьма, — они сближались медленно и постепенно, пока наконец не сомкнулись, будто веки гигантского глаза.

Сегодня Фонибхушон был спокоен. Он не сомневался, что на этот раз достигнет наконец желанной цели и смерть раскроет свою тайну тому, кто ее так страстно жаждет.

Тот же самый звук, что и накануне, поднялся из

реки и пошел по ступеням береговой лестницы. Фонибхушон сидел с закрытыми глазами, погруженный в глубокое раздумье, — он был тверд и спокоен. Звук проник через открытую дверь в переднюю, потом, круг за кругом, поднялся по винтовой лестнице, прошел вдоль длинной веранды и, подойдя к двери спальни, на мгновение остановился.

Сердце Фонибхушона тревожно забилося. Он задрожал, но глаз не открыл. Тем временем звук переступил порог и проник внутрь неосвещенной комнаты. Затем он стал передвигаться вдоль стен, задерживаясь около каждого из находившихся в спальне предметов: около крючка, на котором висело аккуратно сложенное сари, возле ниши, где стояла керосиновая лампа, у края трехногого столика, на котором лежала коробка с затвердевшим бетелем, около стеклянного шкафчика, заставленного всякими безделушками; наконец, он подошел очень близко к Фонибхушону и замер на месте.

Фонибхушон открыл глаза, в комнату лился бледный свет ущербной луны, прямо перед ним застыл скелет. Все его пальцы были унижены перстнями, на руках от плеч до кистей — висели браслеты, с шеи на грудь свисали ожерелья, на лбу красовалась диадема — словом, на всех без исключения костях скелета болтались, не соскальзывая, сверкавшие золотом и бриллиантами украшения. Однако самым страшным было то, что в черепе скелета горело два живых глаза — тот же влажный блеск черных зрачков, те же густые длинные ресницы, тот же невозмутимый, неподвижный взгляд. Вот уже восемнадцать лет прошло с того дня, когда в залитой светом комнате, под торжественный гром праздничных барабанов, Фонибхушон увидел в момент «благоприятного взгляда» эти продолговатые, черные, блестящие глаза. Сейчас, глубокой июльской ночью, в неясном свете ущербной луны он снова увидел их — и кровь застыла у него в жилах. Фонибхушон напряг все свои силы, стараясь закрыть глаза, и не мог: они оставались открытыми и смотрели, не мигая, как у мертвеца.

Скелет вперил свой неподвижный взор в лицо окаменевшего Фонибхушона, протянул правую руку и молча

поманил; при этом на кистях его пальцев ослепительно засверкали бриллиантовые перстни.

Фонибхушон, как зачарованный, поднялся со стула. Скелет двинулся по направлению к двери — забряцали его кости, зазвякали украшения. Фонибхушон, как заводная кукла, послушно последовал за ним. Они прошли веранду и стали спускаться по винтовой лестнице — их шаги и бренчание украшений гулко разносились во тьме ночи. Они миновали нижнюю веранду, пустую, неосвещенную прихожую и, наконец, выйдя наружу, двинулись по выложенной битым кирпичом садовой дорожке. Под костяными стопами скелета хрустел кирпич. Скудный лунный свет не мог пробиться сквозь чащу ветвей, и до самого берега они шли в темноте, напоенной густым ароматом цветов, по дорожке, которую освещали лишь зеленые огоньки светлячков.

Увешанный драгоценностями скелет стал медленно спускаться вниз по той самой лестнице, по которой раньше звук поднимался из воды; он шел совершенно прямо, не делая ни одного лишнего движения, и в ночной тишине был слышен костяной стук его шагов по каменным ступеням. А на поверхности бурной, вздувшейся после дождей реки играла длинная полоса лунного света.

Скелет вошел в реку за ним последовал Фонибхушон. Но едва его ноги ощутили воду, и он проснулся... Спутник его куда-то исчез — лишь на том берегу неподвижно высились деревья, да месяц с небесной вышины безмолвно взирал на землю. Фонибхушон задрожал всем телом, ноги его подкосились, и он рухнул в воду. Он умел плавать, но сейчас руки отказались повиноваться ему. На один миг вернулся он из забытья в мир реальности лишь затем, чтобы в следующее мгновение погрузиться в лоно вечного сна».

Закончив свой рассказ, учитель замолчал. И сразу же с новой остротой я почувствовал весь покой, всю тишину окружающей природы. Я тоже некоторое время не произносил ни слова, а выражения моего лица учитель различить в темноте не мог.

Наконец он спросил меня:

— Вы что же, не верите этой истории?

— А вы верите? — задал я встречный вопрос.

— Нет, — ответил он. — И вот почему: во-первых, мать-природа не нищет романов — у нее и без того дел достаточно...

— А во-вторых, — перебил я его, — Фонибхушон Са-ха — это я.

Учитель ничуть не смутился и сказал:

— Я так и думал. А как звали вашу жену?

Я ответил:

— Нриттокали.

1898



О П Л О Ш Н О С Т Ь

Я оказался вынужденным покинуть отчий дом. Не буду объяснять, как и почему это случилось — все должно стать вам ясно после того, как вы прочтете до конца этот рассказ.

Сам я — сельский врач. И дом мой стоит как раз напротив полицейского участка. А это значит, что с полицейскими я знаком ничуть не меньше, чем с богом смерти, и потому муки, испытываемые человеком на земле от бога и его наместников, мне очень хорошо известны. Подобно тому как цена ожерелья складывается из жемчужин, а прелесть жемчуга видна в ожерелье, мое посредничество питало полицейского, а его посредничество увеличивало мои доходы.

Закономерное развитие этих прочных связей привело к тому, что мы с полицейским инспектором Чоккроборти стали закадычными друзьями. Причем он так навязывал мне в жены одну свою мыкающуюся родственницу, что превратил мою жизнь в сущее мытарство.

Дело в том, что от первого брака у меня осталась дочь Шоши. Как я мог вверить мачехе ее судьбу? Из года в год один за другим проходили осенние дни, отмеченные календарем как благоприятные для свадьбы. Всякие женихи, достойные и недостойные, входили на моих глазах в свадебный паланкин. Лишь я по-прежнему вкушала яства на чужих пирах в свите жениха и уныло возвращалась домой один.

Шоши скоро должно было исполниться тринадцать лет. Я рассчитывал найти ей жениха из хорошего дома, — все, что было нужно, это накопить побольше денег. А тогда уж я мог бы заняться и еще одним благим делом — подысканием невесты себе самому.

Я как раз сидел и ломал голову над тем, как бы мне раздобыть денег, когда в комнату ввалился Хоринатх Мозумдар из деревни Тулси и кинулся мне в ноги. Выяснилось, что вчера вечером внезапно скончалась его дочь-вдова. Недруги Хоринатха послали инспектору анонимное письмо, в котором утверждали, что умерла она якобы от аборта. Сейчас полиция хочет забрать труп для расследования. Хоринатх сказал, что не переживет такого чудовищного оскорбления памяти своей дочери. Поскольку я доктор и, кроме того, близкий друг инспектора, я должен как-то вмешаться в это дело и прекратить его.

Поистине, пути Лакшми неисповедимы — если ей вздумается, она может избрать для своего появления не только парадный, но иной раз и черный ход.

Выслушав старика, я пожал плечами и глубокомысленно изрек: «Дело сложное», — и даже привел ему несколько наспех придуманных примеров, отчего старик затрясся всем телом и зарыдал, как ребенок.

Короче говоря, разрешение на похороны, а также сам погребальный обряд разорял его вконец.

Во время нашего разговора в комнату вошла моя дочка Шоши.

— Папа, а почему этот старик обхватил твои ноги и плачет? — спросила она нежным голосом.

— Занимайся, пожалуйста, своими делами, а это тебя не касается, — сердито ответил я.

Этот случай убрал последнее препятствие на пути невесты к достойному жениху. День свадьбы был назначен, и приготовления шли полным ходом. А как же иначе? Ведь в дом свекра уходила единственная дочь!

Хозяйки в моем доме не было, но сердобольные соседки охотно помогали мне. Помогал и благодарный, дотла разорившийся Хоринатх.

Накануне того дня, когда Шоши по обряду полагалось натирать имбирем, обнаружилось, что она заболела холерой. Болезнь развивалась быстро. Увидев, как тщетны

мои усилия помочь ей, я швырнул на пол склянки с бесполезными лекарствами, побежал к Хоринатху и припал к его стопам.

— Прости, дада, прости меня, грешника! Ведь Шоши моя единственная дочь, больше у меня нет никого.

— Что вы делаете, доктор? — воскликнул растерявшийся Хоринатх. — Это я ваш вечный должник. Встаньте, пожалуйста, прошу вас.

— Я согрешил, разорил тебя, и теперь меня постигло возмездие — моя дочь умирает!

Я стал громко кричать:

— Я погубил несчастного старика, и вот она кара! О боже, спаси мою дочь!

Я сорвал с Хоринатха тряпичные туфли и стал бить себя ими по голове. Старик поспешно отнял их у меня.

В девять часов утра Шоши вдруг совсем пожелтела, словно ее уже натерли имбирем, и навсегда ушла из этого мира.

А на следующий день ко мне явился инспектор:

— Ну вот, больше медлить нечего, нужно жениться. Будешь посылать сватов?

Даже шайтана не украсила бы такая вопиющая бестактность к человеческому горю, но гуманность полицейского инспектора была слишком хорошо знакома мне из собственного опыта, потому я предпочел промолчать. Его дружеское участие в такой момент было равносильно для меня удару плетью.

Сердце может страдать, но жизнь идет своим чередом. Я должен был хлопотать о продуктах, об одежде, даже о дровах для погребального костра и ленточке для туфель.

Но стоило мне остаться наедине с собой, и в ушах немедленно начинал звучать нежный голосок:

— Папа, а почему этот старик обхватил твои ноги и горько плачет?

Я за свой счет покрыл соломой убогую хижину Хоринатха, выкупил у ростовщика его скарб, отдал ему свою молочную корову.

Но успокоиться я не мог. Одинокими сумерками и бессонными ночами невыносимая боль сжимала мое сердце: мне все казалось, что дочь моя не находит себе ме-

ста на том свете из-за жестокости отца. Я словно слышал ее тоскующий голос:

— Па, па, зачем ты это сделал?

Я перестал брать деньги с бедняков за лечение. В каждой больной девушке в деревне я видел страдания собственной дочери...

Начался сезон дождей. Деревню затопило. Из дома в дом и на рисовые поля ездили в лодках. Дождь не прекращался ни днем, ни ночью.

Как-то раз меня вызвали к больному в усадьбу заминдара. Лодочник, присланный господами, не хотел ждать ни минуты, его терпение готово было лопнуть в любой момент.

Горькие мысли одолевали меня. Раньше, когда я выезжал к больным, меня всегда провожала Шоши, она проверяла, цел ли мой старый зонтик, заботливо убеждала меня кутать горло и стараться не промокнуть. А сегодня мне пришлось самому искать свой зонтик...

Я помедлил, прежде чем выйти из пустого, безмолвного дома. Перед глазами стояло милое, нежное личико дочери. Я еще издали бросил взгляд на запертую дверь ее спальни и подумал, разве станет бог заботиться о счастье человека, которому нет никакого дела до других. И когда я проходил мимо ее пустой комнаты, сердце мое тоскливо ныло. Но с улицы донесся нетерпеливый крик господского лакея, и я поспешно вышел из дома, вспомнив о своих обязанностях.

Садясь в лодку, я увидел привязанную у веранды полицейского участка лодчонку. В ней сидел крестьянин в набедренной повязке и мок под дождем.

— Что у тебя случилось? — спросил я.

Оказалось, что от укуса змеи у несчастного прошлой ночью умерла дочь. Полиция вызвала его сюда из дальней деревни для дачи показаний. Он прикрыл труп дочери своим единственным покрывалом, а сам остался в одной только набедренной повязке.

Но тут потерявший терпение слуга заминдара оттолкнул лодку, и мы поехали.

Когда я вернулся домой, крестьянин по-прежнему сидел, скрючившись, в своей лодке. Я послал ему кое-что из еды. Но он не притронулся к ней.

Я наскоро поел и снова уехал к больному.

Вечером я снова увидел крестьянина — он был похож на привидение. Разговаривать он уже не мог и только молча смотрел на меня. Видимо, несчастный уже не сознавал, где он находится, и думал, что и река, и деревня, и полицейский участок — словом, весь этот туманный, мокрый, грязный мир — привиделись ему в кошмаре.

Все же, после настойчивых расспросов, мне удалось узнать, что один раз полицейский выходил к нему. Он поинтересовался, нет ли у крестьянина денег. Узнав, что тот очень беден и что у него нет ни гроша, полицейский сказал:

— Ну что ж, в таком случае посиди пока тут.

Я и прежде не раз наблюдал такие сцены, но они меня не трогали. Теперь же безмолвное горе осиротевшего крестьянина потрясло меня до глубины души. Мне казалось, что сверху, с затянутого свинцовыми тучами неба до меня доносится нежный голосок моей Шоши, что она о чем-то просит меня.

Вихрем ворвался я к инспектору. Он сидел, удобно устроившись на камышовой циновке, и попыхивал трубкой. Напротив него разместился обладатель свободной невесты — муж тетки, приехавший издалека с целью заполучить меня в родственники, и что-то рассказывал.

— Люди вы или чудовища? — заорал я и со звоном швырнул им свой дневной заработок. — Вам нужны деньги? Берите их и подавитесь! Но отпустите этого несчастного и дайте ему похоронить свою дочь!

И тут дружбе доктора с инспектором, впоенной слезами несчастных, пришел конец. Ворвавшийся со мной вихрь разметал ее в клочья.

Сколько я потом ни валялся в ногах у инспектора, ни взывал к его доброте и ни проклинал свою оплошность, все было бесполезно — родовое гнездо, в конце концов, я вынужден был покинуть.



СЧАСТЛИВЫЕ СМОТРИНЫ

Кантичондро был еще молод, однако после смерти жены другой супруги искать не стал и целиком отдался охоте на дикого зверя. Высокий и стройный, сильный и проворный, он обладал острым глазом и твердой рукой; одевался Кантичондро по обычаю жителей западных провинций, и приятелями его были борец Хира Синг, певец Чхокконлал и музыканты-мусульмане Кхан и Миан. Толпа всяких бездельников вечно окружала Кантичондро.

В начале декабря Кантичондро с несколькими приятелями отправился поохотиться на болото Найдигхи. Прибыв на место, господа заняли две большие лодки, а сопровождавшие их слуги расположились прямо на берегу, лишив таким образом деревенских женщин возможности купаться в речке и брать из нее воду. Целый день воздух оглашался выстрелами, а по вечерам музыка и пение веселых охотников не давали никому спать.

Как-то раз рано утром Кантичондро сидел в лодке и сосредоточенно чистил свое ружье. Вдруг до него донеслось криканье утки. Взглянув на берег, молодой человек увидел деревенскую девушку — она шла к реке, прижимая к груди двух утят. Вода в этом заросшем водорослями ручейке была почти неподвижна. Девушка спустила утят на воду, но не ушла и продолжала внимательно наблюдать за ними с берега. Вероятно, обычно она оставляла утят на реке одних, но сейчас ее смущало присутствие охотников.

Девушка была молода и необычайно красива, казалось, будто она только что вышла из мастерской Создателя. Определить ее возраст было нелегко: фигура девушки почти сложилась, но лицо сохраняло детски наивное выражение, и можно было с уверенностью сказать, что трудности жизни еще неведомы ей. Казалось, девушка и сама не знает, что находится уже на пороге юности.

Кантичондро даже забыл на время о своем ружье и сидел словно зачарованный. Он никак не ожидал встретить такую красавицу в этой глуши. Хотя и то сказать, красота девушки больше гармонировала с чудесной природой ее родных мест, на фоне роскошной обстановки дворца раджи, она, наверное, сильно проиграла бы. Ведь цветку больше подходит куст, чем золотая ваза! Очарованный Кантичондро смотрел на освещенный осенним утренним солнцем цветущий тростник, росший по берегам реки и осыпанный сейчас сверкающими каплями росы, на прелестное девичье лицо, и ему грезилась радостная картина возвращения Парвати в отцовский дом. Калидаса забыл воспеть, как спускалась порой на берег Мандакини юная Парвати, прижимая таких же утят к груди.

Вдруг девушка испуганно отшатнулась и, выкрикивая какие-то непонятные слова, подхватила своих утят и поспешно скрылась. Недоумевающий Кантичондро вылез из лодки и огляделся: один из его веселых спутников, решив, по-видимому, подшутить над девушкой, целился из незаряженного ружья в ее уток. Подскочив к приятелю, Кантичондро вырвал у него ружье и с треском влепил ему такую здоровенную пощечину, что тот свалился, надолго утратив, по всей вероятности, всякую охоту к шуткам. А Канти вернулся к себе в лодку и снова взялся за чистку ружья.

Спустя несколько часов группа охотников двинулась через деревню в поле. По дороге кто-то из них выстрелил. Ненюдалеку в бамбуковой роще вскрикнула раненая птица, взметнулась, захлопала крыльями и скрылась в чаще.

В поисках птицы любопытный Кантичондро углубился в рощу и, пройдя немного, увидел зажиточный крестьянский дом, во дворе — ряд амбаров, большой опрятный коровник, а за ним дерево, под которым сидела та самая девушка, которую он видел сегодня утром у реки. Она горь-

ко плакала над раненым голубем. В желтый клюв птицы девушка пыталась влить хоть несколько капель воды, выжимая мокрый конец своего сари. А рядом с ней, вытянув морду и опершись лапами о ее колени, стояла кошка и с большим любопытством смотрела на голубя. Когда кошка оказывалась чересчур близко, девушка щелкала ее по носу, что слегка охлаждало чрезмерный пыл маленькой хищницы.

Эта трогательная картинка на фоне погруженного в полуденный сон крестьянского двора произвела глубокое впечатление на чувствительного Кантичондро. Лучи солнца пронзали непышную крону дерева, под которым сидела девушка, и солнечные блики играли на ее коленях. Неподалеку лежала корова; степенно пережевывая жвачку, она лениво отмахивалась хвостом от мух и неторопливо поводила головой. Свежий северный ветерок, словно что-то нашептывая, шелестел листьями бамбуков. Молодая девушка, показавшаяся ему на рассвете на берегу реки лесной феей, сейчас, в полуденной тишине, предстала перед ним нежной, ласковой Лакшми.

И Кантичондро, внезапно появившийся перед этой девушкой с ружьем в руках, смутился, точно вор, пойманный с поличным. Ему захотелось сказать ей, что это не он ранил ее голубя. Но пока он раздумывал, с чего начать, кто-то в доме позвал: «Шудха!»¹

Девушка встрепенулась.

«Шудха!» — повторил тот же голос, и девушка с голубем в руках поспешила в дом.

«Шудха, — подумал Кантичондро, — как удивительно подходит ей это имя».

Он вернулся к лодке, отдал ружье слуге и снова подошел к дому, но теперь уже с парадного хода. Перед домом на скамеечке сидел средних лет брахман с гладко выбритым добродушным лицом и читал духовную книгу. Канти показалось, что нежность, светившаяся в лице девушки, нашла отражение и на его добродушно-серьезном лице.

Охотник вежливо поклонился и сказал: «Господин, меня мучает жажда. Не могу ли я попросить у вас на-

¹ Шудха — буквально: нектар.

питься». Брахман радушно поздоровался, попросил гостя присесть и ушел в дом; вскоре он вернулся, неся небольшую оловянную тарелку со сладостями и медный кувшин, наполненный водой.

Когда Канти напился, брахман спросил его имя. Охотник назвал себя и добавил: «Если я могу быть чем-нибудь полезен вам, я весь к вашим услугам».

— Ну, что вы, помощи мне не надо, — ответил Нобин Бондопадхай. — Забота у меня сейчас только одна — дочь моя, Шудха, выросла, и, если бы мне удалось выдать ее хорошо замуж, я бы считал себя свободным от всех земных обязанностей. Здесь поблизости подходящего для нее жениха нет, но разве могу я оставить статую Кришны в доме, а самому отправиться на поиски?

— Если вы навестите меня в моей лодке, — сказал Канти, — мы поговорим с вами о замужестве вашей дочери. — С этими словами он поклонился брахману и пошел обратно.

Вернувшись к себе, Кантичондро послал слуг в деревню разузнать о дочери Бондопадхая. Все в один голос превозносили красоту девушки и утверждали, что у нее характер Лакшми.

На следующий день, когда брахман пришел к нему с визитом, Канти встретил его чрезвычайно почтительно и сразу же попросил руки его дочери.

Нобин Бондопадхай был так поражен неожиданно привалившим ему счастьем, что некоторое время не мог вымолвить ни слова.

Предполагая, что он чего-нибудь не понял, Бондопадхай даже переспросил Кантичондро:

— Вы хотите жениться на моей дочери?

— Да! Я готов, если вы согласны.

— На Шудхе? — снова задал вопрос брахман.

— Да, — подтвердил Канти.

— Но разве вы не хотите сначала встретиться и поговорить с ней? — спросил Нобин, придя немного в себя.

— О, это я сделаю в день «счастливых смотрин», — ответил молодой человек, решив скрыть, что уже видел ее.

— Моя Шудха очень хорошая девушка, — промолвил Нобин со слезами в голосе. — Она прекрасно готовит,

домашняя работа у нее просто горит в руках. Раз уж решили жениться на ней, не повидав ее, на веру приняв все ее достоинства, то примите же мое благословение — пусть моя дочь всегда будет покорна мужу, добродетельна, как Лакшми, и да не принесет она ему никогда ни малейшего огорчения!

Так как Канти ни за что не хотел откладывать свадьбы, ее назначили на конец января. Для свадебных торжеств сняли старинный дом Мозумдаров. В назначенный день под музыку и горохот барабанов к дому приблизилось пышное шествие. Впереди на слоне ехал жених, за ним шли люди с горящими факелами в руках.

Когда наступил момент «счастливых смотринок», Кантичондро взглянул на невесту, но Шудха сидела низко склонив головку под тяжестью свадебного венца, лицо ее было разрисовано сандаловой пастой, и Канти трудно было узнать в ней так полюбившуюся ему девушку. К тому же охватившее его волнение легким туманом застилало ему глаза.

Жена деревенского старосты потребовала, чтобы жених сам снял покрывало с головы невесты. Канти повиновался и отшатнулся в страхе.

Словно черная молния вырвалась вдруг из его груди и пронзила мозг. В одно мгновение потускнели все лампы, освещавшие комнату новобрачных, и густая тень легла на лицо молодой супруги. Перед ним была совсем другая девушка!

Кантичондро когда-то дал обет не жениться во второй раз. Неужели же судьба решила посмеяться над ним за то, что он так легко и быстро нарушил свою клятву? Сколько прекрасных партий отверг он! Он пренебрег всем: знатностью, богатством, прекрасным воспитанием затем лишь, чтобы в каком-то бедном домишке в глухой деревушке, расположенной у болота, найти себе спутницу жизни? «О, несчастье! Как покажусь я на глаза людям», — думал он.

В первый момент он обрушил весь свой гнев на тестя. Старый обманщик показал ему одну девушку, а женил на другой! Но тут же вспомнил, что Нобин вовсе не показывал ему своей дочери перед свадьбой — он сам не согласился посмотреть на нее. Сообразив, что разум-

нее будет скрыть от окружающих, что он попал впросак и оказался таким дураком, Канти взял себя в руки и снова занял место рядом с молодой женой.

Пилюлю-то Кантичондро проглотил, но горький вкус во рту остался. Он с трудом переносил царившее вокруг веселье и шутки гостей, злился на весь мир и на самого себя.

Вдруг невеста, сидевшая рядом с Канти, испуганно вскрикнула: с ее колен спрыгнул неизвестно откуда взявшийся зайчонок и бросился наутек. Вслед за зверьком в комнате появилась та самая девушка, которую Канти видел на берегу реки. Она поймала перепуганного зайчонка, прижалась к нему щекой и начала бормотать что-то успокоительное.

— Блаженная пришла! — закричали женщины и замахали на нее, чтобы она уходила. Но девушка и бровью не повела. Более этого, она подошла поближе, уселась напротив жениха и невесты и стала с детским любопытством разглядывать их.

В комнату вошла служанка и, взяв девушку за руку, хотела увести ее, но Канти запротестовал:

— Не надо, — сказал он, — оставь! Как тебя зовут? — обратился он к девушке.

Не отвечая на его вопрос, девушка начала раскачиваться из стороны в сторону. В кругу женщин послышались смешки. Канти задал другой вопрос:

— Ну, как твои утята — выросли?

Девушка упорно молчала и продолжала разглядывать жениха. Окончательно растерявшийся Канти собрал последние силы и спросил:

— А голубь раненый — поправился или нет?

Все напрасно. Женщины весело смеялись над незадачливым женихом.

Наконец ему объяснили, что эта девушка — глухонемая и что она покровительствует всем животным и птицам вокруг. По всей вероятности, она случайно поднялась со своего места, когда в тот день кто-то позвал Шудху.

Канти внутренне содрогнулся. Счастливый случай помог ему избежать жребия, который, казалось, уготовила ему судьба! «Если бы я отправился к отцу этой девуш-

ки, — подумал Кантичондро, — он постарался бы любым способом избавиться от несчастной и спихнуть ее мне!»

Пока мысли молодого человека были заняты очаровавшей его крестьянкой, нигде и ни в чем не находил он себе покоя и даже не смотрел на жену, но, после того как он узнал, что пленившая его девушка — глухонемая, черная завеса, скрывшая от него мир, вдруг упала. Призрачное рассеялось, а реальное громко заявило о себе. Со вздохом облегчения, вырвавшимся из глубины души, Канти ласково взглянул на смущенную жену. И это были по-настоящему «счастливые смотрины»! Казалось, пламя, вспыхнувшее в сердце Канти, усилило свет бесчисленных ламп, горевших в комнате, и как-то по-новому озарило очаровательное личико девушки. И, увидев, сколько подлинной прелести таилось в нем, Канти почувствовал уверенность, что благословение Нобина исполнится.



НЕСЧАСТЬЕ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

На женскую половину дома найба Гириша Бошу взяли новую служанку, по имени Пэри. Молодая девушка приехала издалека. Через несколько дней, заметив устремленные на нее недвусмысленные взгляды старика хозяина, она в слезах прибежала к хозяйке.

Жена управляющего посоветовала ей уйти от них.

— Дитя мое, — сказала она, — ты — хорошая девушка, и здесь тебе оставаться не стоит.

Тайком от мужа она дала Пэри немного денег и распрощалась с ней.

Но уехать оказалось не так-то просто: денег у Пэри на обратный путь не хватало, и ей пришлось устроиться здесь же в деревне, в доме брахмана Хорихора Бхоттачарджо.

Рассудительные сыновья брахмана не одобрили поступка отца.

— Отец, зачем ты навлекаешь беду на наш дом? — говорили они.

— Беда сама постучалась к нам, — отвечал Хорихор, — не мог же я не впустить ее.

Вскоре найб Гириш Бошу сам явился к брахману с низким поклоном.

— Почтенный Бхоттачарджо, — сказал он, — зачем ты сманил у меня служанку? Нам без нее очень трудно.

Хорихор сердито высказал ему в ответ все, что думал по этому поводу. Он уважал себя и не имел обыкновения кривить душой.

Наиб, мысленно сравнив его с хорохорившимся муравьем, ушел, церемонно взяв прах от ног брахмана.

Несколько дней спустя в дом Хорихора явилась полиция. Под подушкой жены Хорихора нашли серьги супруги управляющего. Служанку Пэри обвинили в воровстве и увезли в тюрьму. Что же касается Бхоттачарджо, то он пользовался слишком большим уважением в деревне, чтобы его можно было обвинить в укрывательстве краденого.

И опять, прощаясь, наиб церемонно взял прах от ног брахмана.

Брахман понял, что несчастная девушка пострадала из-за того, что он приютил ее. Сердце его обливалось кровью. А сыновья твердили, что нужно скорее продавать землю и уезжать в Калькутту.

— Здесь нам теперь не житье, — убеждали они отца.

Но Хорихор ответил:

— Как я могу бросить землю, доставшуюся мне в наследство? А беда настигнет везде: от судьбы не уйдешь.

Вскоре наиб попытался повысить и без того непомерно высокую арендную плату. Арендаторы запротестовали. Тогда управляющий доложил своему господину, что арендаторов подстрекает Хорихор. Разгневанный заминдар приказал расправиться с Бхоттачарджо любым способом.

И тогда управляющий снова появился в доме Хорихора и, снова взяв прах от его ног, заявил, что участок Хорихора вклинивается во владения заминдара и что ему придется оставить эту землю. Хорихор ответил, что земля эта — храмовый надел и принадлежит их семье испокон веков.

Тем не менее вскоре в суд поступило заявление о том, что участок, прилегающий к дому Хорихора, является собственностью заминдара. Узнав об этом, Хорихор заявил, что, видно, от земли ему придется отказаться.

— Я стар, — говорил он, — мне ли таскаться по судам.

Но теперь запротестовали сыновья:

— Если мы отдадим землю, то как же мы станем жить в нашем доме?

И вот, в надежде спасти дорогой сердцу дом предков, Хорихору пришлось пойти в суд. С трудом передвигая дрожащие ноги, поднялся брахман на свидетельскую трибуну.

Судья Нобогопал-бабу счел доводы старика основательными и прекратил дело. По этому случаю арендаторы Хорихора собрались было устроить в деревне праздник, но Хорихор поспешил отговорить их.

А немного погодя снова пришел наиб, с подчеркнутой почтительностью взял прах от ног Бхоттачарджо и... подал в суд апелляцию.

Адвокаты не хотели зря брать у Хорихора деньги. Они заверяли брахмана, что у него все шансы выиграть процесс. «Разве день может превратиться в ночь?!» — восклицали они. Хорихор успокоился и стал ждать, что будет. В один прекрасный день из конторы заминдара донесся барабанный бой. В доме управляющего заклали козла и началось празднование в честь богини Кали.

Что же произошло?

Бхоттачарджо сообщили, что во время пересмотра дела тяжбу выиграл заминдар.

Хорихор в отчаянии бросился к адвокату.

— Как же это случилось, Бошонто-бабу? Что теперь со мной будет?

Бошонто-бабу поведал Хорихору тайну превращения дня в ночь. Судья, который возглавляет сейчас апелляционный суд, когда-то враждовал с судьей Нобогопалом. В то время оба они занимали одинаковое положение, и этот судья ничем не мог насолить Нобогопалу. Но теперь, сделавшись старшим судьей, первое, что он сделал, это отменил решение Нобогопала и вынес совсем другой приговор. «Поэтому вы и проиграли», — закончил адвокат.

— А нельзя ли подать апелляцию в Верховный суд? — спросил подавленный Хорихор. Но Бошонто-бабу сказал, что судья поставил под сомнение показания свидетелей Хорихора и признал истинными показания сви-

детелей заминдара. А в Верховном суде не станут разбираться в свидетельских показаниях.

— Что же мне теперь делать? — спросил старик со слезами на глазах.

— Делать нечего, — ответил адвокат.

На следующий день Гириш Бошу явился к брахману в сопровождении целой свиты и почтительно взял прах от его ног. Прощаясь, управляющий тяжело вздохнул и сказал:

— На все воля божья!

1901



РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО

I

У Бхупоти не было никакой необходимости работать — денег у него хватало и без того. Но по воле планет появился он на этот свет отнюдь не за тем, чтобы предаваться безделью. И ничего нет удивительного в том, что еще в юные годы он увлекся изданием газеты на английском языке. Он с головой отдался этому занятию, хоть и любил пожаловаться окружающим, что оно не оставляет ему времени буквально ни на что.

Английским языком Бхупоти увлекался с детства. Еще в школе, он по всякому поводу писал письма в газеты и не упускал случая произнести речь на собрании, даже когда в этом никакой надобности не было.

Естественно, что когда Бхупоти стал постарше, на него обратили внимание некие политические деятели, привыкшие охотиться за состоятельными людьми и не гнушавшиеся самой беззастенчивой лестью, дабы привлечь их на свою сторону. Они сумели вскружить юноше голову, и очень скоро он твердо уверовал в свои блестящие способности.

Окончательно толкнул его на эту стезю брат жены, Умапотти, незадачливый адвокат.

— Послушай, Бхупоти, — сказал он как-то. — Почему бы тебе не взяться за издание собственной газеты? У тебя ведь необыкновенный... и т. д. и т. п.

Бхупоти пришел в восторг. Действительно, что толку писать в чужие газеты. Надо иметь свою — вот когда можно по-настоящему развернуться.

Итак, Бхупоти еще в ранней молодости стал редактором, а Умапотти его помощником. Удивляться тут не приходится — в этом возрасте молодые люди нередко увлекаются политикой и сочинительством, особенно если их подзадоривают и подталкивают к этому люди опытные.

Шло время, газетная работа настолько поглотила молодого редактора, что он и не заметил, как его жена, Чарулота, которую выдали за него замуж ребенком, вступила в пору юности. Правда, то, что он проглядел столь важное событие, можно в какой-то мере отнести за счет политики англо-индийского правительства, в вопросе о границах, которая в ту пору стала явно неблагоприятной — крайне заносчивой и невыдержанной.

Дом мужа был полная чаша, и к услугам Чарулоты было все, что душе угодно. Но жизнь ее протекала в праздности — она изнывала от безделья и, казалось, была обречена оставаться пустоцветом. Мысли молоденькой, ничем не занятой женщины, невольно сосредоточиваются на муже, и достаточно ему проявить к ней хоть какое-то внимание, как жизнь ее оказывается заполненной тысячами милых пустяков, которые несет с собой брак. Порой она настолько увлекается этой игрой, что проявляет свои чувства кстати и некстати, нисколько не заботясь о том, как это выглядит.

Но Чарулоте не дано было испытать такого счастья. Как она ни старалась, ей не удалось перебраться через баррикады из газет, преграждавших путь к сердцу Бхупоти.

Один из родственников даже как-то раз упрекнул его: — Знаешь, Бхупоти, не годится забрасывать молодую жену.

На что редактор, по-своему поняв его слова, ответил: — Да, да, ты прав. Конечно, Чару скучает без подруг. Бедняжка! Ей совершенно нечем занять себя.

Он не забыл об этом разговоре и при случае сказал Умапотти:

— Попросил бы ты свою жену переехать к нам. Уж очень Чару тоскливо одной.

Вскоре в доме появилась жена Умапотти Мондакини, и Бхупоти, решив, что теперь-то уж Чару не придется скучать, снова забыл о ней.

Не заметил редактор, как из его жизни ушло расцвеченное золотисто-розовыми лучами медленно разгорающейся зари небывало прекрасное, вечно свежее утро любви. Оно ушло незаметно, и отношения супругов, так и не познавших радостей первого чувства, стали привычными, ровными и скучными.

Чарулоте очень хотелось учиться, и это помогло ей в конце концов найти себе занятие. Она уговорила младшего брата мужа, Омолу, студента третьего курса колледжа, давать ей уроки. Правда, прежде чем он согласился, Чару пришлось оплатить не один ресторанный счет новоявленного учителя, покупать ему учебники, угощать его приятелей и всячески потакать капризам, которым — особенно после того, как прошло несколько уроков, — казалось, не будет конца. Разумеется, Чарулота часто ворчала на него и даже сердилась, но негодование ее было явно притворным. Странное дело, в душе она была даже довольна: Бхупоти никогда ничего не требовал, а ей так хотелось заботиться о ком-то, быть кому-то полезной. Между тем исполнять прихоти Омолы было нелегко.

— Чару, дорогая, — сказал он как-то, — у нас в колледже сынок одного раджи шеголяет в туфлях ручной работы. Их, наверно, шила какая-нибудь принцесса. Они не дают мне покоя. Я себе места не найду, пока у меня не будет таких же.

— Вот еще! Только мне и дела, что шить тебе туфли. На, возьми деньги, сходи на базар и купи.

— Неужели ты думаешь, что такие вещи покупаются на базаре?

Шить туфли Чару, конечно, не умела, но признаться в этом Омолу ей совсем не хотелось. Кроме того, она просто не могла отказать ему — наконец-то к ней кто-то обратился с серьезной просьбой. Поэтому, пока Омол сидел на лекциях в колледже, она усердно училась шить туфли.

И вот как-то вечером, когда Омол совсем уже забыл о своей просьбе, Чару пригласила его к себе. Было лето,

и ужин, как обычно, подали на верхней веранде. Блюдо Омола было прикрыто медной крышечкой — видимо, от пыли.

Омол умылся после занятий, прифрантился и вышел ужинать. Когда он снял крышку, оказалось, что на блюде лежит пара вышитых туфель. Чарулота громко смеялась в восторге от своей выдумки.

Но, как говорится — аппетит приходит во время еды. Теперь Омолу обязательно нужен был то шарф, то вышивка на носовом платке, то чехол: на кресло в его комнате кто-то посадил жирное пятно.

Чарулота протестовала, негодовала... и с увлечением хваталась за работу, чтобы как можно скорее исполнить желание своего капризного и требовательного педагога.

— Ну, как подвигаются мои дела? — осведомлялся Омол.

— С чего ты взял, что я занята твоими делами? — пожимала плечами Чарулота, — я даже не помню, о чем ты меня просил.

Но Омол был не из тех, от кого легко отвязаться, он надоедал каждый день. Чару делала вид, что сердится, что она просто в отчаянии от его назойливости и вдруг неожиданно вручала подарок, любуясь впечатлением, которое он произвел.

Так постепенно Омол занял главное место в мыслях Чару. Заботы о нем поглощали все — без остатка — ее внимание и доставляли ей немалую радость.

Вскоре Чару и Омол решили заняться садоводством. К внутренней — женской — половине дома прилегал небольшой участок земли, именовавшийся весьма пышно — садом. Самым большим деревом в этом саду была слива, привезенная откуда-то издалека.

На специальном совещании был создан комитет в составе Омола и Чару, которому и было поручено заняться вопросом реконструкции сада. Несколько дней члены комитета трудились в поте лица — рисовали эскизы, набрасывали планы, одним словом, с превеликим энтузиазмом готовили проект предполагаемого парка. Вот как протекали заседания вновь созданного комитета.

— Дорогая, — говорил Омол, — имей в виду, что тебе, как принцессам в древности, придется самой поливать цветы.

— В левом углу мы построим домик и поселим в нем олененка, — не слушая Омола, заявляла Чару.

— Еще мы устроим пруд, в нем будут плавать лебеди. Это привело Чару в настоящий восторг.

— Замечательно! А в пруду у нас будут расти голубые лотосы, мне давно хотелось видеть, как они цветут.

— Через пруд мы перебросим мостик, а у берега привяжем маленькую лодку.

— Вдоль берега будет идти балюстрада из белого мрамора. Это будет изумительно!

Затем Омол взял карандаш, разлиновал бумагу, обозначил страны света и торжественно принялся чертить. Каждый день у обоих рождались новые идеи. Всего члены комитета выполнили и представили на рассмотрение по меньшей мере двадцать пять эскизов. В конце концов было решено разбить сад в японском стиле.

Когда разработка плана была вчерне закончена, перед членами комитета встал вопрос — во что же обойдется его осуществление. Рассчитывать они могли только на деньги, которые Чару получала ежемесячно от мужа на мелкие расходы. Бхупоти было решено пока ничего не говорить — сам же он никогда не замечал, что творится в доме. Чару мечтала поразить мужа своей выдумкой. Пусть думает, что дело обошлось не без помощи волшебной лампы Аладдина, что магические силы перенесли сюда их сад прямо из Японии, не поломав при этом ни одного кустика.

Но тут в работе комитета произошла заминка. После того как в план были внесены все необходимые коррективы, совершенно очевидно стало, что денег Чару не хватит. Омол снова взялся за карандаш.

— Придется, наверно, отказаться от пруда, — сказал он.

— Ни в коем случае. Где же будут цвести голубые лотосы?

— Тогда давай покроем домик для олененка не черепицей, а соломой...

Чару стала сердиться.

— Раз так, не надо мне никакого домика.

Раньше они хотели выписать гвоздичный куст из Ориссы, сандаловое дерево из Карнатика, сахарный трос-

тник с Цейлона. Теперь же Омол предложил заменить все это обыкновенными деревьями из Маниктола.

Чару надула губы:

— Ну тогда вся эта затея с садом вообще ни к чему.

Работа комитета окончательно зашла в тупик — сократить расходы не удавалось никак. Умерить пыл своей фантазии — а соответственно и траты — Чару отказывалась. Да и Омолу собственные предложения были отнюдь не по душе.

— Знаешь, что я тебе посоветую — попроси денег у Бхупоти. Ведь, конечно, он не откажет.

— Скажешь тоже! Все дело в том, чтобы он ничего не узнал раньше времени. Мы сами должны устроить наш сад. Кроме того, может статься, что он поручит все это какой-нибудь английской фирме, и они устроят тут, вместо японского садика, маленький Иден-гарден. А как же тогда наши планы?

Но хотя планы комитета безнадежно повисли в воздухе, обсуждение их по-прежнему доставляло его членам немало удовольствия.

Неожиданно с веранды донесся голос Монды, жены Умапотти:

— Чару, Омол, что вы делаете столько времени в саду?

— Собираем спелые сливы, — ответила Чару.

— Принесите и мне. — Мондакини любила полакомиться.

Чару и Омол одновременно рассмеялись. Как чудесно, что их намерения — тайна для всех остальных. У Монды, конечно, есть свои достоинства, но нет никакого воображения. Разве она в состоянии понять всю прелесть их планов? Потому-то ее и не допускали ни на одно заседание комитета.

Итак, фантазия членов комитета не желала признать себя побежденной, а расходы не желали сокращаться. Тем не менее заседания комитета продолжались еще несколько дней. Омол на всякий случай разметил значками места для пруда, для оленьего домика, не забыл он и о скамейке, где можно было бы отдохнуть после прогулки.

В последний день работы комитета, наблюдая за Омол, который исчертил лопаткой всю землю вокруг сли-

вового дерева, прикидывая, как бы лучше использовать это место, Чару, сидевшая тут же в тени, неожиданно сказала:

— Омол, как было бы чудесно, если бы ты умел писать повести.

— Почему?

— Тогда бы все это осталось с нами. Ты написал бы повесть, в которой были бы и домик для оленя, и сливовое дерево, и пруд, и все, что мне хочется. И вдобавок, никто, кроме нас, ничего бы не понял. Вот было бы интересно! Омол, ну постарайся, ведь ты сможешь.

— А если я напишу такую повесть, что мне за это будет?

— А что ты хочешь?

— Знаешь, я нарисую на москитнике лианы, а ты их вышишь шелком.

— Всегда ты что-нибудь придумаешь! Кто же вышивает москитники.

Омол на чем свет стоит изругал существующие москитники, заявив, что они начисто лишены изящества и что, вдобавок ко всему, под ними чувствуешь себя, как в тюремной камере. Существование их лишний раз доказывает, что подавляющее большинство людей — серая посредственность и что вкуса у них ни на грош. Человек, обладающий изысканным вкусом, ни за что на свете не купит такого уroda.

Чару тотчас согласилась. Она не без удовольствия отметила, что уж кого-кого, а членов комитета не причислишь к разряду посредственных.

— Хорошо, я вышию тебе москитник, а ты попробуешь сочинить повесть.

И вдруг Омол с загадочным видом спросил:

— А ты уверена, что я никогда не пробовал сочинять?

— Нет, конечно, нет, — взволнованно сказала Чару. — Покажи мне что-нибудь из того, что ты написал.

— Только не сегодня.

— То есть как не сегодня! Сию же минуту неси сюда свои сочинения! Только попробуй не принести.

Омола не пришлось долго уговаривать — его уже давно подмывало показать Чару свои опусы, но он все не решался — а вдруг они ей не понравятся или она что-

нибудь не поймет. Теперь он быстро сбегал за тетрадкой и, покрасневшись от волнения и откашлявшись, начал читать.

Чару молча сидела на траве, прислонившись к дереву и скрестив ноги, и внимательно слушала.

Произведение называлось «Моя тетрадь». Вот что писал Омол:

«О вы, белые листы этой тетради! Вам неведома сила моей фантазии. Вы чисты и загадочны, как лобик новорожденного, к которому еще не постучалась судьба. Мраком неизвестности покрыт тот день, когда я напишу на последней странице последние строки. О тетрадь, твои белые листы, подобно младенцам, не знают, не ведают своего будущего, им и во сне не снится, какие слова я навеки запечатлею на них чернилами...» и т. д. и т. п.

Чтение длилось долго. Чару слушала, затаив дыхание. Когда Омол умолк, она некоторое время сохраняла задумчивость и лишь потом сказала:

— И ты говоришь, что не умеешь писать!

В тот день, в тени сливового дерева, Омол впервые отведал пьянящего нектара литературной славы. И виночерный и дегустатор были молоды, а окружающий мир — включая длинную тень от дерева — казалось, нашептывал им загадочные, волнующие слова.

Наконец Чару прервала молчание.

— Давай, Омол, наберем слив, — сказала она, — а то, что мы скажем Мондакини.

Само собой разумеется, недалекой Монде было совершенно ни к чему знать об их разговорах. Они принялись собирать сливы.

II

Омол и Чару даже не заметили, как проект преобразования сада разделил участь их прочих планов и безвозвратно затерялся в ворохе всяких неосуществленных замыслов.

Теперь все их мысли были поглощены литературой — точнее творческой дискуссией по произведениям Омола. Каждое утро Омол заглядывал на женскую половину.

— Ты знаешь, Чару, — говорил он, — какая замечательная мысль пришла мне сегодня в голову.

— Давай, Омол, пойдем лучше на веранду — знаешь, на ту, что выходит на юг. А то сюда сейчас придет Монда — готовить бетель и помешает нам. Идем скорее!

И они выходили на веранду. Чару устраивалась в старом, плетеном кресле. Омол садился на перила и ставил ноги на нижнюю перекладину.

Дискуссия открывалась. Произведения Омола, как правило, были туманны и расплывчаты — вряд ли кто-нибудь сумел бы уловить их смысл. Не отличались четкостью и его пылкие пояснения. Сказать правду, и сам новоявленный автор не раз признавался своей слушательнице:

— Знаешь, объяснить это невозможно.

Но Чару протестовала:

— Напрасно ты так думаешь. Я почти все поняла. И пожалуйста, не откладывай в долгий ящик, иди к себе и запиши все, что мне сейчас рассказал.

Иногда Чару действительно казалось, что она понимает Омола, иногда ей приходилось обращаться к помощи собственного воображения. Действовал же на нее больше всего жар, с которым он говорил о своих будущих произведениях. Никогда еще в жизни ей не было так интересно и радостно.

Вечером Чару допытывалась у Омола:

— Ну, сколько ты уже написал?

— Не кончил еще.

А на следующее утро она уже с некоторым раздражением спрашивала:

— Ты все еще не кончил?

— Потерпи, Чару, мне нужно кое-что еще доделать.

К вечеру настроение Чару окончательно портилось, она даже начинала отворачиваться от не выполняющего своих обязательств автора, и тут он, словно нечаянно, вытаскивал из кармана вместе с носовым платком испи-

санный листок бумаги. Обет молчания мгновенно нарушался. Чару бросалась к нему.

— Ты написал?! Так что же ты меня обманывал? Сию же минуту покажи!

— Я еще не кончил, вот допишу, тогда и покажу.

— Нет, нет, сейчас же прочти!

Омолу, разумеется, очень хотелось показать Чару свои наброски, но в то же время он не мог удержаться от соблазна подразнить нетерпеливую слушательницу. Он долго усаживался, не торопясь разворачивал листки, делал какие-то пометки на полях, и только когда душа Чару, полная трепетного восторга, устремлялась к этим листкам, словно грозовая туча, готовая вот-вот разразиться ливнем, он прочитывал ей те несколько абзацев, которые успел написать. Бурные дебаты, следовавшие за чтением, естественно, посвящались главной — ненаписанной — части произведения.

Так, странствуя по беспредельному царству фантазии, путники забрели в волшебный край поэзии и надолго остались там, забыв обо всем на свете.

И вот, как-то под вечер, Чару, как обычно, поджидала Омола. Наконец из окна онтохпура она увидела знакомую фигуру. Чем это, интересно, набиты его карманы? — подумала она. Чудеса продолжались. Обычно Омола переодевался и спешил на женскую половину. Сегодня же он куда-то пропал. Чару, не в состоянии дольше терпеть неизвестность, прошла в смежный с комнатой Омола покой онтохпура и стала громко хлопать в ладоши. Никто не шел. Тогда недоумевающая и сердитая, она ушла к себе на веранду и принялась — назло Омолу — читать новый роман модного писателя Монмотха Дотто «Колоконтхо».

Дело в том, что любимым занятием Омола было читать Чару вслух отрывки из произведений этого писателя в таком торжественном и напыщенном тоне, что Чару в конце концов не выдерживала, выхватывала у него книгу и швыряла ее в самый дальний угол. Надо сказать, что между манерой письма Монмотха Дотто и Омола существовало определенное сходство. В этом, очевидно, и надо было искать причину нелюбви Омола к нему. Вдруг слышались знакомые шаги. Чару поспешно склонилась

вад книгой, сделав вид, что она так поглощена чтением, что даже не заметила прихода долгожданного гостя.

— Чем это ты так увлечена?

Чару молчала. Тогда Омол подошел ближе и, став за стулом, прочел название.

— А, Монмотх Гологондо.

— Не мешай, видишь, я занята.

Заглядывая в книгу Омол начал:

— «Я — трава, ничтожная трава. О друг, о одетый в пурпурную королевскую мантию ашока, я трава, всего лишь ничтожная трава. Я не даю ни плодов, ни тени, я не могу устремить свой взор к небу. Весной кокиль не ищет пристанища в моих ветвях, чтобы очаровывать мир своим волшебным пением. И все же не пренебрегай мною с высоты своего величия брат ашока, шелестящий там в вышине пышной листвой, гордящийся осыпанными цветами ветками. Я, ничтожная трава, стелюсь у твоих ног, но ты не презирай меня».

Дальше Омол стал импровизировать:

— Я — гроздь бананов, гроздь зеленых бананов, о друг мой, тыква, домашняя тыква, я ничтожная гроздь зеленых бананов.

Чару больше была не в силах дуться. Она громко расхохоталась и, отшвырнув книгу, сказала:

— Ты страшный завистник, тебе ничего не нравится, кроме собственных сочинений.

— А ты чересчур великодушна, подсунут тебе траву, ты и ее проглотишь.

— Ладно, почтенный господин, хватит шутить, лучше покажите, что у вас в кармане.

— А ты сначала угадай.

Помучив как следует Чару, Омол с торжествующим видом извлек из кармана свежий номер популярного журнала «Шорорухо».

— Смотри!

В журнале был напечатан рассказ Омола «Тетрадь».

Чару молчала. А он-то думал, что она страшно обрадуется! Не видя, однако, никаких признаков восторга на ее лице, Омол счел нужным пояснить:

— Знаешь, не всякий может печататься в «Шорорухо».

Омол, разумеется, слегка преувеличивал. Редактор журнала не выпускал из рук любую мало-мальски сносную рукопись. Но Омол продолжал внушать Чару:

— Ты не думай — к редактору не так-то легко подступиться. Он бракует все направо и налево. Хорошо, если из сотни вещей напечатает одну.

Чару попыталась изобразить восхищение, но у нее почему-то ничего не вышло. Напротив, ей было больно до слез. Что-то оборвалось у нее в душе, но что именно — она никак не могла понять. Ведь никаких причин для огорчения, казалось, не было.

Только вот... До сих пор никто, кроме Чару, не знал, что Омол пишет. Деятельность литературного клуба, насчитывавшего всего лишь двух членов, протекала в глубокой тайне. Чару была единственной обладательницей столь важного секрета, и это переполняло ее радостью. А теперь тайна перестала существовать. Теперь всякий, кто захочет, сможет прочитать сочинения Омола и даже похвалить их. Навсегда исчезло сознание своей исключительности, и вот это-то и причиняло Чару боль.

Бедняжка не знала, что нет такого автора, который мог бы вечно довольствоваться одним-единственным читателем. Рано или поздно ему захочется расширить свою аудиторию. Не было исключением и Омол. Он добился своего, стал регулярно печататься. Начали приходить письма от почитателей — письма, которые он немедленно нес Чару. Они радовали ее и одновременно печалили — теперь уже не только она одна вдохновляла Омола!

А тут еще почта принесла анонимные письма от каких-то читательниц. Чару, разумеется, язвила по этому поводу, но легче ей от этого не становилось. Ей казалось, что толпа читателей взломала крепко запертые двери, ворвалась в помещение их тайного общества и совершенно заслонила ее от Омола.

Но однажды она выслушала похвалу Омола с большим удовольствием. Бхупоти, улучив минутку для беседы с женой, неожиданно сказал:

— А знаешь, Чару, я и не подозревал, что наш Омол так здорово пишет.

Наконец-то муж оценил Омола, понял, какой он необыкновенный. Разве похож он на других людей, кото-

рым Бхупоти покровительствует? Чару почувствовала прилив гордости. «Ага, теперь-то вы наконец поняли, почему я так заботилась о нем, — думала она. — А кто первый разглядел его талант? И как могли вы не обращать внимания на такого выдающегося человека?»

— А сам-то ты читал его произведения? — вдруг спросила она мужа.

— Да! То есть, собственно говоря, нет, но их очень хвалил Нишиканто-бабу. А он отлично разбирается в бенгальской литературе.

Теперь Чару страстно желала, чтобы муж по достоинству оценил своего талантливого брата.

III

Как-то раз Бхупоти обсуждал в кабинете со своим помощником редакционные дела. Умапотти говорил, что было бы выгодно высылать подписчикам вместе с газетой несколько приложений.

Он пытался убедить своего шефа в том, что затраты в конечном счете оправдаются и что они получат дополнительную прибыль.

В это время в кабинет заглянула Чару, но, увидев, что там сидит Умапотти, ушла. Нетерпеливо походив по комнатам, она снова открыла дверь. Мужчины по-прежнему что-то высчитывали и ожесточенно спорили.

Умапотти понял, что Чару нужно срочно поговорить о чем-то с мужем, и вскоре под благовидным предлогом удалился. Но и оставшись в одиночестве его патрон продолжал ломать голову над расчетами.

— Ты все еще не кончил работать? — сказала Чару, входя в комнату. — Я просто не понимаю, как ты можешь день и ночь корпеть над своей газетой!

Бхупоти поднял голову и отложил в сторону листок с вычислениями. «Да, действительно, скверно! Опять я забросил Чару. Что бы такое придумать — бедняжка совсем со скуки пропадает», — подумал он и нежно сказал жене:

— Разве у тебя нет урока сегодня? А, понимаю, — сбежал учитель. В вашей школе все шиворот-навыворот:

ученик сидит с книгами и ждет, а преподаватель где-то носится. Омол — я вижу — не пришел сегодня позаниматься с тобой?

— Только и дела Омолу, что учить меня. Чего это ради он должен убивать на меня свое время. Ты разве нанял его мне в репетиторы?

— В репетиторы? Да я бы за счастье почел иметь такую ученицу, как ты, — ответил Бхупоти. Он обнял жену и привлек ее к себе.

— Неужели? Значит, ты готов заниматься со мной? Верится с трудом. Я, например, не вполне уверена, есть ли у меня вообще муж или нет.

Бхупоти был слегка уязвлен.

— Ах, так? Ладно, с завтрашнего дня я, кажется, действительно начну заниматься с тобой. Принеси-ка мне свои учебники, я должен знать, что ты проходишь.

— Вот напугал! Так я тебе и поверила. Да мне совсем и не нужно, чтобы ты учил меня. Лучше скажи, можешь ты оставить хоть на одну минуту свою газету и заняться чем-то другим?

— Конечно, могу. Я сделаю все, что ты захочешь.

— Тогда вот что — посмотри-ка это сочинение Омол. От редактора одного журнала пришло письмо, в котором говорится, что рукопись прочитал сам Нобогопал-бабу. И ты знаешь, что он сказал? Что Омол пишет ничуть не хуже Раскина.

Бхупоти несколько неуверенно взял в руки тетрадку. На ней было выведено название: «Луна в месяце ашар». В мозгу Бхупоти продолжали назойливо копошиться цифры — почти две недели он кропотливо изучал бюджет англо-индийского правительства. Ему было явно не под силу сразу переключаться на художественное произведение с таким многообещающим названием. И к тому же тетрадь была весьма объемистой...

Все же он раскрыл ее. На первой странице он прочел: «Наступил месяц ашар. Почему же луна всю ночь прячется за тучами? Можно подумать, что она похитила что-то с неба и теперь никак не найдет места, где бы лучше спрятаться. Ведь в месяце фальгун, когда в небе ни облачка, она не стыдилась красоваться перед всем миром. Почему же сегодня ее смеющийся лик, напоминаю-

щий улыбку спящего ребенка, воспоминание о любимой, нить жемчуга, вплетенную в волосы Дурги, супруги Шивы...»

Бхупоти задумчиво поскреб в затылке.

— Да, здорово написано. Только зря ты мне все это притащила. Я ведь в поэзии ровным счетом ничего не смыслю.

Чару насупилась, выхватила тетрадку у него из рук и сердито сказала:

— А в чем ты вообще что-нибудь смыслишь?

— Я человек земной. Такие вещи не для меня. Вот в людской психологии я разбираюсь.

— В людской психологии? А разве не ею занимается литература?

— В книгах всегда пишут не то. Да и стоит ли волноваться из-за каких-то воображаемых людей, когда на каждом шагу приходится сталкиваться с живыми?

Бхупоти взял Чару за подбородок.

— Взять хотя бы тебя. Разве я тебя не изучил, как свои пять пальцев? И для этого мне отнюдь не понадобилось читать от корки до корки «Мегхнадбодх» или «Чондимонгол» Кобиконкона.

Бхупоти гордился тем, что не понимает поэзии. Тем не менее, даже не прочитав толком произведений Омола, он почувствовал к нему в глубине души некоторое уважение.

«Пусть все, что он пишет, не имеет большого смысла, но до чего же все-таки он ловко плетет слова. Хоть убей меня, никогда бы я так не написал. И кто бы мог подумать, что у нашего Омола откроются такие таланты», — думал Бхупоти.

Большого смысла в поэзии Бхупоти не видел, тем не менее считал, что поэтам нужно покровительствовать. Именно из этих соображений он охотно шел навстречу неимущим авторам, просившим денег на издание своих произведений, не забывая, однако, предупредить их при этом, что никаких посвящений ему делать не нужно. Он считал своим долгом покупать без разбора все, что выпускала в свет бенгальская печать, — любые книги, даже те, которые не мог одолеть никто, кроме автора, — все журналы — еженедельные и месячные.

— Меня и так вечно мучит совесть, что я ничего не читаю, — говорил он, — а если я еще и покупать перестану, мне и вовсе такого греха не замолить.

Не читая книг, Бхупоти, естественно, не мог ругать авторов посредственных произведений, и его библиотека все росла и росла.

Спор между супругами о назначении литературы был прерван появлением Омола, державшего в руке пачку бумаг. Он иногда помогал брату править корректуру и сейчас хотел что-то выяснить.

— Опол, ты очень кстати, — улыбаясь, сказал Бхупоти. — Я ничего не имею против — пуши сколько душе угодно о том, как красива луна в месяце ашар, или, скажем, плоды пальмиры в месяце бхадра, — я еще никогда не стеснял ничьей свободы. Но почему такое насилие над моей личностью? Почему твоя ученица задалась целью заставить меня прочесть все произведения своего учителя? И за что только меня так мучают?

— Ну знаешь, дорогая, в жизни бы я не стал заниматься сочинительством, если бы знал, что ты воспользуешься моими писаниями, чтобы изводить мужа, — смеясь, ответил Опол, однако в душе рассердился на Чару.

«И зачем только ей понадобилось тащить все это к Бхупоти, для которого поэзии просто не существует?» — с досадой думал он. Чару сразу же почувствовала недовольство Омола, и ей стало очень обидно. Она поспешила перевести разговор на другую тему.

— Что поделаешь, сам виноват, — сказала она, обращаясь к Бхупоти. — Надо поскорее женить брата, тогда не придется страдать от его поэтических излиятий.

— Знаешь, Чару, современные молодые люди — это не те неопытные юнцы, какими были мы в свое время, — возразил Бхупоти, — они пишут хорошие стихи, но — смею тебя заверить — в жизни они разбираются тоже неплохо. А вот почему ты сама до сих пор не уговорила своего родственника заняться подыскиванием невесты? Попробуй заставь его жениться!

Когда Чару ушла, Бхупоти уже серьезно сказал Ополу:

— Видишь ли, Омола, у меня столько времени отнимает газета, что я невольно оставляю бедняжку Чару все время одну. Она места себе не находит от скуки и праздности. Заглянет сюда в кабинет раз-другой, увидит, что я занят, и снова слоняется из комнаты в комнату. Посоветуй, что мне делать! Знаешь, мне кажется, было бы очень хорошо, если бы ты сумел выкроить немного времени и, совмещая приятное с полезным, почитал бы ей, например, переводы из английских поэтов и вообще занялся ее образованием. У нее, по моему, склонность к литературе и тонкий вкус — не то что у меня.

— Ты прав, дада. Мне даже кажется, что если она немного поупражняется, то сможет сама писать.

Бхупоти рассмеялся.

— Ну, таких смелых надежд я не питаю, но как бы там ни было, в бенгальской литературе Чару разбирается гораздо лучше меня.

— Она одарена воображением, а это не так уж часто встречается у женщин.

— Я — живой пример тому, что и мужчины далеко не все им обладают. Ну, ладно, если ты хорошо обучишь нашу Чару, можешь просить у меня все, что угодно.

— Нельзя ли точнее?

— Я найду вторую такую же Чару и подарю ее тебе.

— Ну это ты брось, дада! Ведь тогда мне придется заниматься и ее образованием. Неужели же я весь свой век так и буду кого-то учить?

Братья были современными молодыми людьми и могли говорить безо всякого стеснения на любую тему.

IV

Омола нельзя было узнать. Куда девался скромный, никому не известный студент. Вместо него по дому горделиво расхаживал молодой писатель, с мнением которого считались в обществе. Его посещали сотрудники издательств и редакторы, на него сыпались приглашения — на банкеты, вечера, встречи. Его постоянно просили присутствовать — а то и председательствовать — на раз-

ных собраниях и выступать публично с чтением своих произведений.

Совсем иначе относились к нему теперь родственники и прислуга. Раньше, например, Мондакини считала ниже своего достоинства обращать внимание на какого-то мальчишку и на его детскую болтовню с Чару. Не в пример этим бездельникам Мондакини была по горло занята делами и главной своей обязанностью считала приготовление бетеля.

А жевать бетель было, кстати сказать, любимым занятием Омола, и он истреблял его в несметных количествах. Рачительная Мондакини не могла равнодушно смотреть на ничем не оправданное расхищение столь ценного продукта, тем более что Омола при содействии Чару таскал у нее бетель самым бессовестным образом. Это бы еще куда ни шло, но они к тому же еще и потешались втихомолку над ней. Поэтому в проделках этих домашних расхитителей Мондакини не видела решительно ничего забавного. Убыль приходилось восполнять ей, и мысль о том, что она должна работать на какого-то безусого нахлебника, приводила ее в негодование. Но открыто выражать свои чувства она не решалась. Как-никак Чару была хозяйкой и явно благоволила к Омолу. Конечно, при всяком удобном случае Мондакини старалась показать Омолу, что она о нем думает, и не прочь была посплетничать о нем с прислугой, которая была всегда и всецело на ее стороне.

И ведь надо же — теперь все кругом хвалят Омола! Мондакини ничего не могла понять. И что с человеком стало! Мондакини, как впрочем и все остальные, его просто узнать не могла. Робкого и застенчивого мальчика как не бывало. Перед ней был знающий себе цену молодой человек, не без основания свысока посматривающий на окружающих. Если мужчина самоуверен и пользуется в обществе непререкаемым авторитетом, то успех ему у женщин обеспечен. И когда на Омола со всех сторон сыпались почести, Мондакини не могла не изменить своего к нему отношения. Ореол славы, окружавший его, заворожил ее. Омола так вырос в глазах Мондакини, что теперь она уже смотрела на него снизу вверх.

Но Чару возвышение Омола радовать не могло. Одна за другой уходили в небытие милые ее сердцу проказы и забавы. Как интересно, например, было красть бетель и потом вместе смеяться над глупой Мондакини. А теперь? Время веселых заговоров миновало. Теперь бетель нескончаемым потоком сам шел в руки Омола, так что таскать его не было никакой необходимости.

Но что хуже всего — все труднее и труднее становилось не подпускать Мондакини к их тайному клубу. С какой это стати Чару считается единственным другом и ценителем таланта Омола, думала Монда и старалась с лихвой искупить прежнее свое невнимание к блестящему молодому человеку.

Стоило Омолу подойти к Чару, как Мондакини была уже тут как тут, стараясь любыми средствами помешать им быть вдвоем. Теперь Чару очень редко удавалось даже посплетничать с Омолом по поводу столь радикальной перемены в Мондакини.

Нужно ли говорить, что Омол отнюдь не разделял взглядов Чару. Более того, в глубине души он чувствовал себя польщенным — ему было приятно, что женщина, раньше не желавшая его знать, вдруг так изменила к нему свое отношение.

И если Чару, завидев Монду, огорченно говорила: «Смотри, уже идет!» — Омол отвечал: «Ну и что? Тебя, я вижу, она очень раздражает».

Раньше оба дружно выражали свое неудовольствие, когда кто бы то ни было нарушал их уединение, теперь же Омол почему-то вел себя совсем иначе. Когда приходила Мондакини, он, делая над собой усилие, говорил, соблюдая старые традиции:

— Знаешь, Монда, кто-то опять опустошил блюдо с бетелем.

— Пожалуйста, милый, бери сколько хочешь. И зачем только ты берешь тайком?

— Так гораздо интереснее!

— Читайте, милые, читайте! Что же вы остановились? Я очень люблю слушать, когда читают.

Сказать правду, прежде Монда никогда не рвалась делить с Чару славу усердной слушательницы, но что делать — «времена меняются».

Чару очень не хотелось, чтобы Омол читал в присутствии Монды, ничего не смыслившей в литературе, но самому автору явно не терпелось расширить круг своих слушателей.

— Знаешь, Монда, ведь Омол собрался читать свой критический разбор «Комолаканто», и вряд ли это... — начала Чару, но Монда прервала ее:

— Я, конечно, глупая и темная, но неужели я так уж ничего и не пойму?..

Тут Омолу пришел на память один совсем еще недавний случай. Как-то раз придя к Чару, он застал ее и Монду за игрой в карты. Он сгорал от нетерпения, так ему хотелось поскорее прочесть то, что он написал, и его раздражало, что игра затягивается. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ну, вы играйте тут, а я пойду почитаю Окхилу-бабу.

— Нет, нет, посиди еще, мы сейчас кончим. — Чару уцепилась за чадор Омола и, поспешно поддавшись Монде, закончила игру.

— Очевидно, вы будете сейчас заниматься? Тогда я пойду, — сказала Монда.

Чару из вежливости предложила ей остаться:

— Зачем? Посиди послушай.

— Нет уж, я ничего не смыслю в этой вашей тарбарщине, она на меня только сон нагоняет, — и ушла, явно раздраженная тем, что игру пришлось прервать раньше времени.

И вот сегодня эта самая Монда пришла слушать критический разбор «Комолаканто»!

— Конечно, Монда, для меня большая честь, что ты пришла меня послушать. — И он перевернул назад несколько страниц, намереваясь начать все снова, — в начале было много удачных мест, и ему жаль было их опускать.

Тогда Чару поспешно попросила:

— Омол, миленький, ведь ты же обещал мне достать в библиотеке Джанноби комплект старых журналов...

— Но не сегодня.

— Нет, именно сегодня — ты, наверно, забыл.

— То есть как забыл! Ты же говорила...

Чару прервала его:

— Ладно, можешь не приносить. Читайте. А я пойду пошлю Пореша в библиотеку.

Омол понял, что назревает ссора. Ему не хотелось огорчать ни Чару, ни Монду, и он никак не мог решить, идти ли ему за Чару или остаться читать Монде. А Мондакини, оценив обстановку и немало разозлившись на Чару, сказала с ехидной улыбкой:

— Иди-ка ты, дружок, лучше за ней. Смотри: рассердится, тогда неприятностей не оберешься. А самолюбие спрячь в карман.

Теперь Омолу было уж совсем неудобно уйти.

— Какие еще там неприятности, о чем ты говоришь, Монда? Слушай лучше. — И, разложив свою тетрадку, он снова приготовился читать.

— Не надо! Не читай! — сказала Мондакини, закрыв своей рукой тетрадь, и, делая вид, что с трудом сдерживает слезы, удалилась.

V

Чару ушла в гости. Монда сидела одна в комнате и заплетала косу.

— Здравствуй, дорогая, — раздался голос Омола.

То, что Чару не было дома, ему было, конечно, известно — в этом Монда не сомневалась.

— Увы, Омол-бабу, перед тобой совсем не та, кого ты ищешь. Такая уж, видно, твоя горькая судьба, — сказала она, бросив на молодого человека лукавый взгляд.

— Знаешь, если справа и слева от дороги разбросать сено, одинаково свежее и соблазнительное, то осла будет равно тянуть в обе стороны, — пошутил Омол и уселся на кушетку. — Расскажи мне, Монда, лучше о себе, о том, как живут у вас в деревне.

С тех пор как Омол начал писать, он стал приглядываться к людям и жадно впитывал все, что ему рассказывали. Теперь его интересовала и Мондакини, и быт деревни, откуда она была родом, и ее детство, и как она вышла замуж. Он начал подробно расспрашивать ее обо всем. Никто никогда еще не проявлял такого интереса

к ничем не примечательной Мондакини, поэтому она с наслаждением рассказывала ему, изредка прерывая себя словами:

— Ну и болтушка же я! Нехорошо так трещать.

— Продолжай, продолжай, мне все интересно, — успокаивал ее Омола.

Монда рассказывала о сборщике налогов, служившем у ее отца, кривом старике, который, поссорившись однажды со своей второй женой, объявил, что не будет больше есть. Не выдержав, однако, мук голода, он стал таскать провизию из кладовки, пока его случайно не застала за этим занятием жена. Внимательно слушавший Омола от души смеялся. Вдруг в комнату неожиданно вошла Чару. Оба разом смолкли. Чару поняла, что своим появлением нарушила непринужденную беседу Монды и Омола.

— Ты что же это так рано вернулась, дорогая? — сказал Омола Чару.

— По-видимому, даже чересчур рано, — ответила Чару и повернулась, чтобы уйти.

— Стой, куда ты? Ты умница, что вернулась так рано. Я все ждал, когда ты придешь, — достал книгу Монмотха Дотто «Птица в сумерках» и хотел почитать тебе.

— Сейчас не могу, я занята.

— Скажи, что тебе нужно сделать, я помогу.

Чару была уверена, что Омола принесет сегодня эту книгу. Она нарочно долго восторгалась сочинениями Монмотха, чтобы раздражить Омола. Поэтому в гостях она сидела как на иголках, предвкушая удовольствие, ждавшее ее дома, и, несмотря на все уговоры, ушла рано, сославшись на головную боль. «Глупая я, глупая, — думала она, — оставалась бы уж лучше в гостях».

Но Монда-то какова! Сидит одна с Омолом и хохочет во все горло. Что скажут люди? Однако Чару было трудно придаться к Монде. Та могла ответить — и вполне резонно, — что дурные примеры заразительны. Да, но как можно их сравнивать? Чару вдохновляла Омола. Разве стал бы он писателем, если бы не она! А Монда? Что ей нужно от Омола? Каждому ясно, что она расставляет сети, чтобы завлечь неопытного юношу. Нет, Чару должна, она просто обязана спасти бедного, беспомощного Омола от

этой соблазнительницы. Но как дать понять Омолу, что он играет с огнем? Пожалуй, только хуже сделаешь, ведь запретный плод всегда сладок.

Бедный, бедный дада Умапотти! Он день и ночь, не щадя себя, сидит с Бхупоти, помогает издавать газету, а тем временем его жена — страшно сказать — собирается обворожить Омола! Дада слишком беспечен. Как он может так безгранично доверять Монде? Нет, Чару не должна оставаться равнодушной, когда на ее глазах происходят такие безобразия. Это было бы просто непорочно.

И как все это вышло? Раньше Омол никогда себе ничего подобного не позволял. Он начал портиться с тех пор, как имя его стало появляться в печати и он вошел в моду. А кто виноват? Конечно, она сама! В недобрый час толкнула она Омола на этот путь. А теперь он вышел из-под ее влияния. Он вкусил отравленного плода славы и забыл о Чару. У него столько поклонников и поклонниц. Большой беды для него не будет, если он потеряет одну из них.

Омол вышел из-под ее влияния, он попал под влияние толпы — ну конечно же, оттуда и все его несчастья.

Разве он сейчас смотрит на нее, на Чару, как на друга? Кто она? Одна из бесчисленных читательниц. А он? Известный писатель. Нет, что-то надо делать! Не может быть, чтобы ничего нельзя было исправить.

О, неопытный Омол, коварная Монда, несчастный Умапотти!

VI

Был месяц ашар. Небо затянули тяжелые тучи; в комнате было темно, и поэтому Чару сидела у открытого окна. Она что-то сочиняла. Рядом лежало несколько печатных работ Омола. По-видимому, она пользовалась ими как образцами.

Она и не заметила, как к ней подкрался Омол. В мягком сумеречном освещении он прочел то, что она успела написать.

— И ты смеешь утверждать, что не можешь писать!

Чару вздрогнула от неожиданности, услышав голос Омола, и поспешно захлопнула тетрадку.

— Фу, как ты меня напугал! Это что еще за штучки?

— О чем ты говоришь?

— Зачем ты подглядываешь? Как не стыдно!

— Но раз ты не хочешь показывать.

Чару схватила тетрадку, явно намереваясь ее порвать. Омол проворно вырвал тетрадь из ее рук.

— Посмей только прочесть, и я поссорюсь с тобой навеки.

— А если ты не дашь мне прочесть, я с тобой поссорюсь навеки.

— Омол, миленький, если хочешь, можешь убить меня, только не читай, пожалуйста.

В конце концов, Чару пришлось все-таки подчиниться. Ей, конечно, очень хотелось показать свои сочинения Омолу, но она не могла справиться с мучительной застенчивостью. Наконец когда после долгих уговоров Омол получил разрешение прочесть ее рассказ, у нее от смущения и ужаса похолодели руки и ноги.

— Я приготовлю тебе бетель, — воскликнула она и убежала в соседнюю комнату.

Омол дочитал до конца и пошел к Чару.

— Написано замечательно! — сказал он.

Чару так растерялась, что даже забыла добавить в бетель сок.

— Уходи. Не смей издеваться надо мной. Отдай тетрадку.

— Тетрадь я тебе отдам, но только после того как перепишу это и pošлю в газету.

— В газету? Ты с ума сошел! Посмей только!

Чару окончательно потеряла самообладание, но Омол слушать ничего не хотел.

Он без устали клялся, что рассказ Чару с радостью возьмет любой редактор. Наконец Чару обессилела и перестала сопротивляться.

— Тебя не переспоришь. Что тебе в руки попало, то пропало.

— Давай покажем даде! — сказал Омол.

Но тут Чару бросила свой бетель и как ужаленная вскочила со скамейки.

— Не смей этого делать. Если ты ему хоть словом обмолвишься, клянусь, что я больше никогда не возьму пера в руки.

— Чару, успокойся! Что бы дада не сказал, в душе он будет очень этим доволен — я уверен в этом.

— Пусть так, но почему тебя не интересует, буду ли довольна я?

История этой тетради такова: после долгих раздумий, Чару решила, что во что бы то ни стало должна научиться писать. Она покажет Омолу, что она собой представляет, какая бездонная пропасть отделяет ее от Мондакини.

Но вся беда в том, что все, что она писала, слишком сильно напоминало произведения Омола. Сравнивая, она нередко обнаруживала, что целые куски были почти дословно заимствованы из его сочинений. И именно эти куски оказывались удачными, тогда как все остальное было сырым и вялым.

Обнаружив это и представляя себе, как будет издеваться над ней в душе Омола, она начинала рвать написанное на мелкие клочки, которые и забрасывала потом подальше в пруд, — не дай бог, чтобы хоть одна строчка случайно попала в руки Омола!

Первое произведение ее называлось «Тучи в месяце срабон». Сперва в пылу творчества ей показалось, что она написала что-то новое, оригинальное. Но, перечитав, она поняла, что все это лишь перепев «Луны в месяце ашар» Омола.

«О друг луна, почему ты, как вор, прячешься в тучах?» — писал Омола. А Чару вторила:

«О подруга тучка, откуда ты появилась и куда бежишь, украв луну и спрягав ее в складках своего сари?»

Как ни билась Чару, ей никак не удавалось вырваться из плена творений Омола, и, в конце концов, она решила попробовать написать что-то совсем-совсем другое. Она перестала грезить о луне, тучах, цветах, птицах и вместо этого, обратившись к воспоминаниям детства, написала рассказик под названием «У подножья храма». В ее родной деревне на берегу тенистого пруда стоял храм бо-

гини Кали. В детстве вид этого храма внушал ей страх и любопытство, она любила слушать предания старины и легенды, в которых рассказывалось о грозной богине. Вот обо всем этом она и попробовала написать. Правда, ей не сразу удалось освободиться от влияния Омола, начало изобиловало пышными поэтическими сравнениями, но дальше повествование вдруг полилось просто и легко, появились яркие картинки деревенской жизни, были метко схвачены обороты речи и словечки.

Вот это-то сочинение и попало в руки Омола. Начало ему очень понравилось, а дальше, по его мнению, Чару не хватило поэтического настроения. Что ж, для первой работы сочинение, безусловно, заслуживало самой высокой оценки.

— Послушай, Омол, давай издавать журнал, — сказала вдруг Чару.

— Для такого дела нужна уйма денег.

— Наш журнал не потребует никаких расходов. Печатать его мы не будем, а перепишем от руки. В нем будут публиковаться только твои и мои сочинения. Читать его мы тоже никому не дадим. Издавать будем всего два экземпляра — один для тебя и один для меня.

Раньше Омол был бы восхищен таким предложением, но теперь вкус к секретам он утратил. Что за удовольствие писать, если знаешь, что читать тебя будет только один человек. Но он сделал вид, что в восторге от предложения Чару:

— Да, это было бы очень интересно.

— Дай мне слово, что, кроме нашего журнала, ты никуда не будешь давать свои сочинения.

— Тогда редакторы меня убьют.

— А ты думаешь, что я совсем уж безоружна?

Итак, была образована редколлегия в составе двух редакторов, двух писателей и двух читателей. Омол предложил назвать журнал «Чарупатх», Чару настаивала на названии «Омолá».

Новое увлечение заставило Чару позабыть неприятности прошлых дней. Ведь вход в редакцию будущего журнала всем, включая Монду, был категорически воспрещен.

Бхупоти вошел к жене.

— Вот уж никогда не думал, Чару, что ты станешь писательницей, — сказал он.

Чару вздрогнула. Лицо ее залилось краской.

— Я — писательница? Кто тебе сказал? Вот еще выдумал!

— Лучше уж признавайся сама. У меня есть неопровержимые улики. Смотри! — И Бхупоти вытащил из кармана свежий номер журнала «Шорорухо». Там за полной подписью были опубликованы произведения, которые она считала надежно спрятанными от посторонних глаз и предназначавшимися для их рукописного журнала. Чару испытала такое же чувство, как если бы кто-то выпустил из клетки самых ее любимых птиц. Смущение как рукой сняло — ее душил гнев. Как мог Омол совершить такой предательский поступок!

— Это еще не все. Прочти-ка эту статью, — прибавил Бхупоти и разложил перед ней номер газеты «Бишшобондху». В ней была отчеркнута статья, называвшаяся «О стилях в современной бенгальской литературе».

— Не желаю я ничего читать, — запальчиво воскликнула Чару, отталкивая газету.

Обида, гнев все сильнее сжимали ее сердце.

— Нет, ты все-таки прочти, — настаивал Бхупоти.

Чару была вынуждена уступить. Статья была написана в очень резких выражениях. Автор беспощадно критиковал напыщенность слога некоторых современных прозаиков. Особенно едким насмешкам подверглись сочинения Монмотха Дотто и Омола. Им автор противопоставлял начинающую писательницу госпожу Чарубалу. Он с большой похвалой отзывался о неподдельной простоте и ясности ее языка и вместе с тем выразительности стиля. Автор добавлял, что для Омола и компании не остается другого выхода, как только послушно следовать манере госпожи Чарубалы, иначе их ждет несомненный и полный провал.

— Это один из тех случаев, когда яйца курицу учат, — смеясь, сказал Бхупоти.

На какой-то момент Чару почувствовала гордость — ее похвалили! И где — в газете! Но тотчас опять заняло сердце — оно словно отказывалось радоваться. Едва пригубив манящий нектар славы, Чару почувствовала на губах осадок.

Сперва она подумала, что Омол решил сделать ей сюрприз и добился опубликования ее произведений. А когда они вышли в свет, он подумал, что надо еще дожидаться похвальной рецензии, чтобы подбодрить Чару и искупить свое самоуправство.

Но почему же Омол не пришел и, радуясь за нее, сам не показал ей этой рецензии, а спрятал газету подальше? Почему? Да, конечно же, потому, что его самого обругали в ней. Разумеется, он вовсе и не собирался показывать ее Чару. Смертельная опасность нависла над созданным ею убежищем — над уютным, непритязательным гнездышком, где так хорошо было, укрывшись от нескромных глаз, сочинять, спорить, читать. Похвалы чужих людей, как каменный град, грозили засыпать его и уничтожить.

Когда Бхупоти ушел, она опустилась на кушетку и долго о чем-то размышляла. Перед ней лежали раскрытые номера «Шорорухо» и «Бишшобондху». Затем она принялась внимательно читать статью.

В комнату с тетрадкой в руках вошел Омол и тихо подкрался к Чару — он хотел в шутку напугать ее. Но Чару была целиком поглощена чтением и ничего не заметила.

Все так же тихо ступая, Омол вышел из комнаты. «Чару вне себя от радости, потому что похвалили ее произведения и обругали мои, — с горечью подумал он. — Она прочитала эту дурацкую рецензию и, конечно, решила, что превзошла своего учителя». Он чувствовал, что в нем поднимается злость. «Она должна была изорвать газету в клочки и бросить ее в печку», — думал он.

В сердцах Омол пошел к Мондакини. Остановившись в дверях, он громко спросил:

— Монда, дорогая, ты дома?

— Входи, милый, входи. Вот уж кого целую вечность не видала. Чем я обязана такому счастью?

— Хочешь послушать мое новое сочинение?

— Сколько раз ты обещал почитать мне что-нибудь, да так до сих пор и не собрался. Не нужно лучше, а то опять кое-кто появится и будет скандал. Тебе попадет, а я...

Но Омол очень решительно возразил ей:

— Мне попадет? От кого это? Вот ерунда. Ну, слушай же!

Монда охотно согласилась. Омол торжественно, громким голосом, начал читать.

Сочинения Омола были совершенно непонятны Монде, она не могла уловить в них абсолютно никакого смысла. Поэтому, изобразив на лице неподдельный восторг, она стала слушать его с преувеличенным вниманием. А воодушевленный Омол читал все громче и громче.

— «Абхиманью еще в колыбели научился смело смотреть в глаза неизвестности, он не знал, что такое отступление. Так катит река свои воды сквозь каменные нагромождения ущелий и никогда не поворачивает вспять. О речной поток, о молодость, о время, о мир, вы устремлены в будущее и никогда не возвращаетесь на дорогу прошлого, щедро усыпанную золотыми осколками воспоминаний. Лишь одна человеческая душа способна окидывать взором прошлое, Вселенная же всегда движется только вперед!»

В это время мимо двери промелькнула чья-то тень, но Монда сделала вид, что ничего не заметила, так как была совершенно поглощена чтением Омола.

Тень тотчас исчезла.

Прочитав статью, Чару стала с нетерпением ждать Омола. Она собиралась в пух и прах разнести автора статьи в «Бишшобондху» и заодно как следует отругать Омола за его вероломство.

Время шло, но Омол не появлялся. Чару достала свое новое сочинение, которое она хотела прочитать ему сегодня.

Вдруг ей показалось, будто голос Омола доносится из комнаты Монды. Она вскочила как ужаленная. Стараясь не шуметь, она подкралась к двери комнаты Монды. Да, это был Омол. И он читал Монде произведение, которое она, Чару, никогда прежде не слышала!

Как раз в этот момент Омол декламировал:

— «Лишь одна человеческая душа способна окидывать взором прошлое, Вселенная же всегда движется только вперед!»

У Чару не хватило выдержки уйти так же бесшумно, как она пришла. Удары, один за другим обрушившиеся сегодня на нее, окончательно выбили ее из колеи. Ей хотелось кричать на весь дом, что Монда ни слова не понимает в сочинениях Омола, а Омола, набитый дурак, читает ей только затем, чтобы иметь лишнюю слушательницу. Но Чару ничего не сказала. Возмущенная до глубины души, она убежала в свою комнату, громко хлопнула дверью и заперлась.

Услышав стук, Омола на минуту остановился. Монда, усмехнувшись, сказала, что, по всей видимости, это была Чару. «Ну и капризный же тиран наша Чару, — подумал Омола. — Можно подумать, что я раб и без ее разрешения не имею права никому читать свои сочинения. Что за насилие над личностью!» И он стал читать еще громче. Окончив, он нарочно прошел мимо комнаты Чару. Дверь была плотно закрыта. Разумеется, Чару слышала его шаги. Он даже не подумал остановиться! От гнева и горя Чару не могла даже плакать. Она выхватила свое новое сочинение и изорвала тетрадь в клочья. Несчастен тот час, когда она позволила себе увлечься этой затеей!

VIII

Спустились сумерки. С балкона доносился нежный запах жасмина. В просветы облаков виднелись звезды. Сегодня Чару не причесалась и не переоделась к ужину. Она продолжала сидеть у окна в темной комнате. Легкий ветерок шевелил ее распущенные волосы, из глаз безудержно струились слезы. О, почему она должна так страдать?

Неожиданно в комнату вошел Бхупоти. Он был сумрачен, казалось, тяжелые заботы одолевают его. Обычно он до позднего вечера был занят редактированием статей и правкой корректуры и в это время никогда не заглядывал к Чару. Но сегодня ему захотелось отложить работу,

пойти к жене, забыть о неожиданно свалившихся на него неприятностях и снова стать самим собой — энергичным и бодрым.

Чару так и не зажгла лампу. Она сидела у окна, и ее фигурка неясно белела в полумраке. Бхупоти медленно подошел к ней. Чару даже не обернулась на звук его шагов, она сидела неподвижно, словно в глубоком обмороке. Встревоженный Бхупоти окликнул ее:

— Чару!

Услышав голос мужа, она вздрогнула и поспешно вскочила. Нежно погладив ее по голове, Бхупоти спросил:

— Почему ты сидишь тут одна в темноте? А где Монда?

То, о чем Чару промечтала весь день, так и не сбылось. Она до последней минуты надеялась, что Омол придет просить у нее прощения, и вместо него вдруг увидела мужа. От его неожиданной ласки она окончательно потеряла самообладание и громко разрыдалась.

Бхупоти охватила острая жалость.

— Чару, милая, — с тревогой спросил он, — что с тобой?

Но как могла она объяснить ему, что случилось. Пожаловаться, что Омол понес свое новое произведение не ей, а Монде? Муж только рассмеялся бы, услышав об этом. Но в чем же истинная причина ее страданий? Этого Чару, несмотря на все свои усилия, понять не могла. Ведь трудно предположить, что такое, в сущности, ничтожное происшествие могло заставить ее так мучиться. Она не понимала, что происходит с ней, и от этого терзалась еще больше.

— Ну, скажи же мне, Чару, что случилось? Может быть, я в чем-нибудь провинился перед тобой? Ты же знаешь, как страшно я занят все время с газетой. И если я чем-нибудь огорчил тебя, то, право, это случилось помимо моей воли, поверь.

Но Чару мучали совсем другие вопросы. Пусть бы уж лучше муж оставил ее одну, думала она.

А Бхупоти еще ласковее продолжал:

— Каюсь, я очень виноват перед тобой. Я должен был уделять тебе гораздо больше внимания. Не оставлять тебя одну. Теперь все будет по-иному. Хватит мне день и ночь

возиться с газетой. Я сделаю все, что ты захочешь, буду проводить с тобой столько времени, сколько ты захочешь.

— Да не в этом дело, — с легкой досадой сказала Чару.

— А в чем же? — спросил Бхупоти, сев на кушетку.

Чару больше не могла сдерживать раздражения.

— Оставь меня сейчас в покое, пожалуйста, я расскажу тебе обо всем позже, за ужином.

Бхупоти на минуту даже растерялся, но потом овладел собой.

— Ладно, пусть будет по-твоему, — сказал он и медленно вышел из комнаты. Ему так и не удалось поделиться с Чару своими неприятностями.

Чару поняла наконец, что муж был чем-то огорчен, а она к тому ж еще его и обидела. Надо вернуть его, подумала она. Ей было очень его жаль, но что могла она сказать ему в таком состоянии? Чем могла утешить?

Наступил вечер. Чару с особой тщательностью приготовила ужин для мужа и, обмахиваясь веером, поджидала его. И вдруг она услышала голос Монды, звавшей слугу:

— Бродж! Эй, Бродж!

Когда Бродж откликнулся, Монда спросила:

— Омол уже поужинал?

— Да.

— Почему же ты до сих пор не отнесешь ему бетель. — И Монда принялась громко бранить слугу.

Как раз в эту минуту и появился Бхупоти. Чару продолжала обмахиваться веером.

Она дала себе слово быть сегодня особенно приветливой и ласковой с мужем, заранее обдумала, что и как она ему скажет. Но разговор Монды со слугой нарушил все ее планы, и во время ужина она так и не смогла поговорить с мужем. Сам Бхупоти был угнетен и рассеян. Он едва притронулся к еде, так что Чару даже не выдержала:

— Ты почему ничего не ешь? — спросила она.

— Разве? — думая о чем-то своем, возразил Бхупоти. В спальне Бхупоти спросил Чару:

— Что же такое ты собиралась рассказать мне?

— Понимаешь, с некоторых пор мне очень не нравится поведение Монды, — ответила Чару, — Я просто не могу ее больше выносить.

— Почему? В чем она провинилась?

— Она так неприлично ведет себя с Омом, что просто стыдно смотреть.

Бхупоти рассмеялся.

— Ты с ума сошла! Омо ведь еще мальчик, да к тому же воспитанный в старых правилах.

— Ты следишь за тем, что делается за стенами дома, и совсем не замечаешь того, что творится в твоей семье. Во всяком случае, мне очень жаль даду Умапоти. Монде совершенно безразлично, голоден он или сыт. Но зато, если Омоу не хватило чуть-чуть бетеля, она кричит на слуг, ругает их.

— Я могу только сказать, что вы, женщины, слишком уж подозрительны.

Чару рассердилась.

— Ладно, пусть мы слишком подозрительны, но я тебя предупреждаю, я не потерплю, чтобы в нашем доме творились такие безобразия.

Страхи Чару вызвали у Бхупоти улыбку и даже радость. Вот как строго его верная супруга блюдет честь семьи, следит за тем, чтобы никакая — пусть даже воображаемая — грязь не коснулась ее. Ее недоверчивость очаровательна, она просто умиляет.

Бхупоти с нежностью и гордостью поцеловал жену в лоб.

— Не нужно затевать скандала, милая. Знаешь, Умапоти все равно скоро уедет в Моймоншингхо — он хочет заняться там адвокатской практикой. И жену он, конечно, не оставит здесь.

Чтобы окончательно прекратить этот неприятный разговор, Бхупоти взял лежавшую на столе тетрадку.

— Почитай мне, пожалуйста, что-нибудь свое, Чару.

Но Чару вырвала у него тетрадку.

— Ведь я знаю, то, что я пишу, никак не может тебе понравиться. Зачем же ты смеешься надо мной?

Бхупоти несколько уязвили эти слова. Но он не выдал своих чувств и, смеясь, сказал:

— Ладно, я больше не буду шутить. Я буду сидеть смирно-смирно и слушать; так что тебе может даже показаться, что я уснул, но на самом деле я — весь внимание.

Но Бхупоти так и не услышал ни слова, а тетрадка была запрятана в самый дальний уголок.

IX

Чару не узнала, что именно мучило Бхупоти в тот день. А дело было нешуточным; его ближайший помощник оказался мошенником — и этот мошенник был не кто иной, как Умапотти, старший брат Чару.

Умапотти ведал финансами газеты. Он собирал деньги с подписчиков, производил расчеты с типографией, выплачивал жалованье сотрудникам. Дела газеты шли гладко и не вызывали никаких опасений.

И вот однажды Бхупоти получил весьма странное письмо. Сперва он ничего не мог понять. Владельцы типографии требовали с него через суд немедленной уплаты огромного долга — 2700 рупий. Бхупоти тотчас же вызвал Умапотти.

— Как это могло случиться, Умапотти? Ведь ты же по моему распоряжению аккуратно переводил им деньги? Если и набежал долг — то рупий четыреста, от силы пятьсот.

— Тут какая-то ошибка, шеф, — ответил Умапотти.

Но Умапотти лгал. Очень скоро его махинации раскрылись. Как выяснилось, он уже давно строил себе в деревне каменный дом. Все расходы оплачивались деньгами Бхупоти, главным образом заимствованными из кассы газеты. Более того, он от имени своего патрона направо и налево раздавал долговые обязательства.

Припертый к стене, Умапотти грубо заявил:

— Что вы ко мне пристали? Я никуда не собираюсь убегать. Со временем я возьму из жалованья весь свой долг до последней пайсы. Даю честное слово...

Такая гарантия была, разумеется, слабым утешением. Словно земля разверзлась под ногами Бхупоти. Больше всего его потряс не самый факт растраты, а наглость и

безмерная подлость близкого человека, родственника, которому он столько лет верил, как самому себе.

В тот день он в неурочный час пошел на женскую половину. Он знал, что комната Чару была единственным местом в мире, где он мог бы успокоить свои взбаламученные чувства и вновь обрести утраченную веру в людей. Ему страстно захотелось убедиться в этом. Но он нашел Чару очень расстроенной. Грустно сидела она в потемках, подавленная каким-то своим, непонятным ему горем.

На следующий день Умапотти стал собираться в путь. Он хотел улизнуть прежде, чем объявятся остальные кредиторы. Бхупоти было противно с ним разговаривать, но Умапотти это нимало не огорчило — это было ему только на руку.

Мондакини спешно укладывала вещи, когда к ней в комнату вошел Омол.

— Что все это значит, Монда? Почему это вы вдруг собрались уезжать?

— Пора, милый. Не вечно же нам сидеть здесь.

— А куда вы направляетесь?

— Домой.

— Зачем? Разве здесь вам плохо?

— Плохо? Мне было здесь совсем не плохо. Но, видно, я кому-то пришлась не по нутру. — И она кивнула головой в сторону комнаты Чару.

Омол нахмурился и замолчал.

— Какой позор, — добавила Монда. — Что мог подумать бабу?

Омолу расхотелось выяснять дальнейшие подробности этой некрасивой истории. Ясно, что виновата во всем Чару. Интересно, что она могла наговорить мужу?

Омол вышел из дому и зашагал по улицам.

«Я больше не вернусь домой, — думал он, — раз так, раз дада поверил, что я в чем-то виноват, значит, у меня с Мондой одна дорога — прочь из этого дома!» Выгоняя ее, ему тоже дали понять: «Убирайся-ка, мол, и ты», — только что прямо об этом не сказали. Все ясно, и больше ни минуты он здесь не останется.

Но... разве так просто взять и уехать? Разве можно допустить, чтобы дада продолжал скверно думать о нем?

Нет, так не годится — ведь дада был к нему искренне привязан. Он не может отплатить черной неблагодарностью за всю его любовь и ласку, нанести ему незаслуженный удар. Нет, сначала он докажет даде, что он чист перед ним, как стеклышко. Докажет, а потом уж уедет.

А Бхупоти между тем сидел у себя в кабинете, погруженный в невеселые думы — о низкой неблагодарности родственников, о назойливых кредиторах, о запутанных делах и пустой кассе. И в такую минуту рядом не было никого, кто мог бы разделить с ним его беду. Что ж, он и один справится и со своим горем, и со своими долгами...

Вдруг в кабинет, как буря, ворвался Омо́л.

Бхупоти вздрогнул и очнулся от тяжелых мыслей.

— Что еще случилось, Омо́л? — Он решил, что Омо́л пришел к нему сообщить о какой-то новой серьезной неприятности.

— Дада, у тебя есть основание сомневаться во мне? Я в чем-нибудь не оправдал твоего доверия? — спросил Омо́л.

— Сомневаться? В тебе? — переспросил в изумлении Бхупоти. Но про себя подумал: «По-видимому, мир так устроен, что может настать день, когда я усомнюсь и в Омо́ле».

— Чару говорила тебе что-нибудь плохое про меня?

«Ах, так вот оно в чем дело, — подумал Бхупоти, и у него отлегло от сердца. — Омо́л обиделся на Чару. До чего же нелепо устроен мир. На человека одна за другой валятся всякие неприятности, а ему приходится тратить время на то, чтобы разбираться вот в такой ерунде».

В другое время Бхупоти только посмеялся бы над Омо́лом, но сегодня ему было не до шуток.

— Ты что, с ума сошел?

Омо́л упрямо твердил:

— Дада, я знаю, Чару что-то наговорила тебе.

— Ты ей дорог. Она от души волнуется за тебя, глупый, а ты обижаешься!

— Знаешь, дада, лучше я уеду и найду себе работу.

Бхупоти стал сердиться:

— Что за ребячество, Омо́л? Прежде всего тебе нужно окончить колледж. Работать всегда успеешь.

Расстроенный Омол ушел, так ничего и не добившись, а Бхупоти засел за бухгалтерские отчеты. Он начал проверять список поступлений от подписчиков и книгу расходов и приходов за последние три года.

Х

Омол задумался — что же делать? Ведь нельзя же вот так — взять да уехать! Ладно, для начала придется поговорить с Чару и дать ей хороший нагоняй. Ну и Чару — сколько бед натворила! И он стал сочинять в уме обвинительную речь, которую произнесет перед ней.

После отъезда Мондакини Чару немного успокоилась. Теперь ей очень хотелось помириться с Омолем. Но как? Не может же она просто пойти к нему. Нужен предлог. Проще всего, пожалуй, сочинить новый рассказ. Да, но он, конечно, будет недоволен, если рассказ будет написан в стиле ее прежних вещей. И вот тут-то и появился из-под ее пера «Свет молодого месяца».

Чару не могла удержаться, чтобы не упрекнуть индускзательно Омолу-бабу, — ведь он был так виноват перед ней! В своем рассказе она осуждала полную луну, которая заботится лишь о том, чтобы светить поярче, не думая, кому достанется ее свет. «Другое дело молодой месяц, — писала Чару, — он осторожно шлет свои лучи в бездонную тьму ночи, неустанно заботясь о том, чтобы ни один из них не пропал зря, а достался именно тому, кто ждет его. Вот потому-то слабый свет молодого месяца приносит гораздо больше пользы, чем яркий блеск полной луны». Своей аллегорией она хотела сказать, что она, Чару, не уподобляется Омолу, который готов читать свои произведения всем и каждому, — совсем как полная луна, светящая без разбору всем и не заботящаяся о том, достигают ли цели ее лучи или нет.

А Бхупоти тем временем метался в поисках денег, чтобы уплатить самые неотложные долги. Он надумал пойти к своему большому другу Мотилалу. Когда-то, в трудную минуту, Мотилал занял у него несколько тысяч рупий. Скрепя сердце, Бхупоти решил попросить друга вернуть ему эти деньги.

Мотилал был дома. Он сидел в кресле, отдыхая после купания, и неторопливо выписывал бисерным почерком на листе бумаги тысячу имен Дурги. Расплывшись в улыбке, Мотилал сердечно приветствовал друга:

— Заходи, заходи! Давно мы с тобой не видались!

Но как только речь зашла о деньгах, выражение лица его моментально изменилось.

— О каких это деньгах ты говоришь? Разве я тебе что-нибудь должен?

Бхупоти напомнил, при каких обстоятельствах он дал ему в долг.

— А... ты про те деньги. Но разве ты не знаешь, что срок давности этому долгу давным-давно миновал, — сказал Мотилал.

У Бхупоти потемнело в глазах. Знакомый с детства мир куда-то провалился, упала пелена, застилавшая сознание, и то, что открылось его взору, оказалось столь чудовищным и отвратительным, что Бхупоти охватила нервная дрожь. Скорее домой, к Чару, прочь из этого мерзкого мира! Как путник, застигнутый наводнением, бежит, спасаясь, к месту, которое ему кажется самым высоким, так и Бхупоти стремился как можно скорее добраться до женской половины своего дома.

Чару он застал за работой. Она сидела на тахте, подбрав под себя ноги. На коленях у нее лежала подушка, а на подушке — тетрадь. Она была так поглощена мыслью о том, как лучше закончить свой рассказ, что даже не сразу заметила, как в комнату вошел муж.

Застигнутая врасплох, она инстинктивно сунула тетрадь под подушку. Когда у нас тяжело на душе, малейшая бестактность — тем более со стороны человека близкого — причиняет нестерпимую боль. Бхупоти был уязвлен до глубины души. Неужели в представлении Чару он чужой человек, от которого нужно прятать свои сочинения, едва только он появится на горизонте?

Он устало опустился на тахту рядом с Чару. Чару совсем растерялась — в голове у нее все еще бродили обрывки фраз, ей было мучительно неловко от того, что муж застал ее за работой и что она с такой поспешностью спрятала от него тетрадь. Она не находила, что сказать ему.

Но Бхупоти и сам пришел к ней сегодня с пустыми руками, как проситель. Он и сам не знал, как начать разговор, и ему не под силу было разбираться сейчас в настроениях жены. Он ждал от нее каких-то, пусть самых незначительных, но согретых заботой и любовью слов — ведь они оказались бы живительным нектаром для его истстрадавшейся души.

Но слов этих он так и не услышал. Волшебный ключик, который мог отомкнуть дверь в сердце Чару, был давно им утерян. Супруги молчали, и напряженная тишина, воцарившаяся в комнате, тяготила обоих. Наконец Бхупоти глубоко вздохнул, поднялся с тахты и медленно вышел из комнаты.

По дороге в кабинет он встретил Омола, который спешил к Чару, чтобы произнести перед ней свою обвинительную речь. Омолу сразу же бросилось в глаза, как сильно изменился за эти дни старший брат, какой измученный и больной у него вид.

— Что с тобой, дада, ты заболел? — встревоженно спросил он.

От ласкового голоса Омола к горлу Бхупоти подкатил вдруг комок, и он не мог произнести ни слова в ответ. Наконец усилием воли он справился с собой и сдавленным голосом сказал:

— Ничего, ничего, Омол, все в порядке. А как твои сочинения? Вышло в свет что-нибудь новенькое?

Вся злость, скопившаяся в душе Омола, вдруг куда-то испарилась. Он вбежал в комнату Чару.

— Чару, что случилось с Бхупоти?

— Я сама ничего не понимаю. Наверное, его газету обругали в какой-нибудь другой газете.

Омол с сомнением кивнул головой.

Тяжесть, давившую сердце Чару, как рукой сняло. Омол сам пришел и как ни в чем не бывало заговорил с ней. Она сразу же решила приступить к делу и перевела разговор на свое последнее творение.

— Знаешь, Омол, сегодня я написала рассказ «Свет молодого месяца». Я уже показала его Бхупоти.

Чару, конечно, рассчитывала, что Омол станет упрашивать ее прочесть «Свет молодого месяца». Вопросы-

тельно поглядывая на него, она нетерпеливо мяла в руках тетрадку.

Но вместо этого Омола пристальным долгим взглядом посмотрел ей в глаза. Неизвестно, что он прочел в них, но внезапно он стал серьезным и встал с тахты. Так путник, пробирающийся в густом тумане по горным тропинкам, взирает в ужасе — после того, как рассеется много окружавшая его мгла — в бездонную пропасть, по краю которой он только что прошел.

Не сказав больше ни слова, Омола вышел из комнаты. Чару так и не поняла, зачем, собственно, он приходил и что хотел сказать ей.

XI

На следующий день Бхупоти опять появился на женской половине раньше обычного. Он прошел в спальню и попросил слугу поскорее позвать жену.

— Знаешь, Чару, есть возможность очень удачно женить Омола.

— Что удачно?.. — рассеянно спросила Чару.

— Женить Омола.

— Ну что ж, я не возражаю.

Бхупоти громко рассмеялся.

— Я еще не успел спросить Омола, как ты относишься к этому вопросу. Но имей в виду, Чару, что бы ни думала по этому поводу ты, свое мнение на этот счет есть и у меня, и так просто я от него не откажусь.

— О чем ты говоришь? Можно подумать, что речь идет о твоей собственной свадьбе, — покраснев, сказала Чару.

— Но разве тебя это совсем уж не интересует? Как ты думаешь, зачем же тогда я пришел с тобой советоваться. Неужели, чтобы получить бакшиш?

— Для Омола есть подходящая невеста? Ну, и прекрасно. За чем же остановка?

— Ладно уж, расскажу тебе все. Дело вот в чем: Рогхунатх-бабу, адвокат из Бурдвана, готов выдать за Омола свою дочь и послать его в Англию учиться.

Пораженная Чару переспросила:

— Куда? В Англию?

— Да, в Англию.

— Омо! поедет в Англию? Как странно... Да нет, конечно. Это изумительно, это чудесно. Только, мне кажется, не мешало бы тебе с ним посоветоваться прежде.

— А не лучше ли будет, если раньше с ним поговоришь ты?

— Да я уж тысячу раз с ним об этом говорила, а толку никакого. Вряд ли он сейчас вдруг возьмет да и послушается.

— Ты твердо уверена, что он откажется?

— Я же говорю, что без конца уговаривала его жениться, а он и слушать не хочет.

— Да?.. Ну знаешь, сейчас ему больше нельзя отказываться. Я по уши в долгах и в будущем уж не смогу помогать ему, как прежде.

Бхупоти распорядился позвать Омола.

— Вот что, Омо! — сказал он, — Рогхунатх, адвокат из Бурдвана, хочет выдать за тебя свою дочь. Он предлагает после свадьбы послать тебя в Англию учиться. Что ты думаешь по этому поводу?

— Дада, если ты считаешь, что так нужно, я согласен. У меня нет никаких возражений.

И Бхупоти и Чару были изумлены. Им и в голову не могло прийти, что Омо! согласится, едва выслушав предложение.

Опомнившись, Чару с ехидной усмешкой сказала:

— Ну и ну! Кто бы мог подумать, что ты станешь таким образцом послушания. Дада словечка вымолвить не успел, а ты уже готов стремглав лететь выполнять его просьбу. Меня-то ты не больно слушаешься, обожаемый младший братец! И как это ты умудрялся так искусно скрывать все это время свое благоговение перед дадой?

Омо! натянуто улыбнулся и ничего не ответил. Его молчание еще больше задело Чару, и, чтобы разозлить его, она сказала с издевкой:

— Я ошиблась. Мой братик давно мечтает жениться — спит и во сне видит невест. Но признайся, пожалуйста, зачем ты столько времени водил меня за нос. Разве так уж стыдно сказать, если ты действительно чего-то от души жаждешь?

Бхупоти не выдержал и расхохотался.

— Огол скрывал свою жажду, потому что боялся, как бы тебя не иссушила ревность к невесте.

Чару побагровела и, заикаясь, выкрикнула:

— Ревновать? Эт-то я ревновать? Ник-когда! Чт-то за чепуха! Как тебе не стыдно такую чушь городить?

— Вот еще! Нельзя уж и пошутить с собственной женой.

— Надо знать меру. Мне противно слушать такие шутки.

— Ладно, ладно! Я — чудовище! Прости, пожалуйста, больше не буду. Значит, можно считать вопрос с женьбой решенным?

— Да, — твердо ответил Огол.

— Что, невтерпеж? Я и не знала, что тебе так при-спичило жениться. Неужели и дня нельзя подождать, чтоб посмотреть, какая невеста на вид — приличная или, может, страшило какое-нибудь, — не унималась Чару.

— Огол, если ты хочешь посмотреть невесту, то это можно будет устроить, — прервал ее Бхупоти. — Но я слышал, что она очень мила.

— Не нужно мне никаких смотрин.

— Зачем ты его слушаешь, — сказала Чару мужу. — Как же можно жениться, в глаза не видав невесту? Ну хорошо, раз он не хочет, так мы-то с тобой можем посмотреть на нее?

— Нет, дада, не нужно никаких бессмысленных про-волочек.

— Ты прав, друг мой, тебе, действительно, кажется, надо спешить. Боюсь, что если потянуть с этим еще день, у тебя наверняка будет разрыв сердца. Ладно, надевай на голову свадебный убор, а то вдруг похитит еще кто-нибудь твоё сокровище! Что ты тогда будешь делать? — издевалась Чару.

Но все ее попытки вывести Огола из себя, казалось, разбивались о его непоколебимое спокойствие, и это еще больше распаляло ее.

— А, вот оно что? Ну, конечно, тебе не терпится попасть за границу? Эх, ты! Разве мы не предоставляли тебе свободы, разве стесняли тебя хоть в чем-нибудь? Ну и современная молодежь! Больше радости для них нет,

чем вырядиться в одежду сахибов, напялить на себя шляпу и пиджак. Скажи, дружок, ты не станешь, вернувшись, воротить нос от черномазых туземцев, вроде нас?

Наконец Омола как будто проняло.

— А для чего же еще и едут в Англию, — сказал он. Бхупоти засмеялся.

— За тридевять земель едут именно за тем, чтобы менять кожу, — ответил он. — Но ты не бойся, Чару, мы никуда не денемся, и когда он приедет обратно, ему все равно никуда не уйти от своих черномазых почитателей.

Довольный Бхупоти послал письмо в Бурдван. Скоро был назначен и день свадьбы.

XII

Тем временем газету пришлось совсем закрыть — у Бхупоти не осталось средств на ее издание.

В один миг пришлось пресечь служение некоему отвлеченному понятию — безграничному и бездушному нечто, которое именуется «обществом». Этому нечто Бхупоти отдавал всего себя без остатка, не зная ни минуты отдыха, все эти долгие двенадцать лет. Не покладая рук трудился он на ставшей уже привычной ему стезе, и вдруг плоды его трудов безвозвратно исчезли, словно канули в бездонную пучину.

Бхупоти был совершенно не подготовлен к такому повороту в своей жизни. Его кипучая энергия, натолкнувшись на непреодолимое препятствие, искала выхода. Словно живое существо, смотрела она ему в душу глазами осиротевшего голодного ребенка. И он принес ее — а куда же мог он нести ее еще — в онтохпур, туда, где обитала женщина, его жена и подруга, жаждавшая любить, жалеть и заботиться.

Но о чем же думала в тот момент эта женщина? Она говорила себе:

«Что удивительного в том, что Омола женится. Пусть себе женится. Это даже к лучшему. Но почему же ему ничуть, ни капельки не жаль расставаться с нашей семьей, с домом, где он так долго жил? Как же это так —

взять да уйти в чужой дом, уехать куда-то далеко, за границу? Неужели он так и побежит очертя голову прочь от людей, которые столько лет нянчились с ним, будто только и ждал удобного случая? А как сладки были речи! Сколько напускного чувства было в них. Как можно ошибиться в людях! Кто бы мог подумать, что человек, умеющий так красиво, проникновенно писать, лишен сердца?»

Вспоминая о том, сколько чувства она бесцельно потратила на Омола, Чару пыталась вызвать в себе презрение к этому бездушному юноше. Увы! Неутихающая боль, как раскаленная игла, сверлила ей сердце — ей становилось все более обидно за него и жаль себя.

«Омола все нет и нет! — твердил ей внутренний голос, — а ведь завтра он уезжает. Неужели же мы так и не помиримся?»

Она все время ждала, что Омола сам к ней придет. Не может же так нелепо оборваться их долгая дружба! Но день следовал за днем, а он не появлялся. Наконец, когда до его отъезда остались считанные дни, Чару не выдержала и решила сама позвать Омола.

— Хорошо, я зайду попозже, — коротко бросил он.

Еще с утра было пасмурно и душно. Чару, собрав в узел волосы, вышла на балкон — тот, где она так часто встречалась с Омолом, — и, усевшись в кресло, стала ждать. Она чувствовала себя совсем разбитой, ей было трудно даже обмахиваться веером. Время тянулось бесконечно долго. Наконец Чару так устала, что была уже не в состоянии пошевелить рукой. Она отложила веер. Гнев, горе, нетерпение душили ее. «Ну и что же такого, если он не придет! Ничего не случится», — пыталась она успокаивать себя, но каждый шорох за дверью заставлял ее вздрагивать, и сердце снова рвалось к Омолу.

Где-то далеко в храме часы пробили одиннадцать. Самое позднее через полчаса придет Бхупоти. В это время он купается, а потом будет ужинать. Уже почти не остается времени на разговор, а Омола все нет! Что же делать, что делать? Она не допускала мысли, что эта безмолвная ссора может навеки оттолкнуть их друг от друга. Неужели Омола забудет, что все эти годы они были все равно как брат с сестрой, что они росли вместе? Сколько душевных разговоров в уединенной, тенистой

беседке, сколько милых капризов, увлекательных споров связали их вместе прочной невидимой нитью! Неужели он растопчет старую, верную дружбу? Неужели в душе у него не останется ни капли сожаления о прошлом и он с легким сердцем надолго уедет в чужую, далекую страну? О, как это все жестоко!

Истекали последние полчаса. Чару распустила волосы и нервно перебирала пальцами одну прядь. Омола не было. И вдруг градом хлынули долго сдерживаемые слезы.

Вошел слуга:

— Госпожа, может, уже пора доставать кокос? Скоро хозяин придет ужинать.

Чару вытащила ключи от кладовой и швырнула их слуге. Со звоном упали они к его ногам. Он недоуменно покачал головой, поднял ключи и ушел.

Клубок подступил к горлу Чару, она задыхалась.

Наконец, точно в положенный час, пришел ужинать Бхуноти. Он был очень оживлен и весел. Вместе с ним пришел и Омола. Чару села за стол и, стараясь не смотреть на него, принялась обмахиваться веером.

— Ты, кажется, хотела видеть меня, Чару? — спросил Омола.

— Нет, сейчас ты мне уже не нужен.

— Тогда разреши мне идти, у меня еще не все уложено.

— Иди, конечно! Уходи! — Чару сверкнула глазами и наконец решилась посмотреть Омолу прямо в лицо. Она встретила его долгий внимательный взгляд. Затем он ушел. Они так ни о чем и не поговорили.

После ужина Бхупоти любил посидеть на тахте рядом с Чару. Но сегодня у него был особенно трудный и хлопотливый день. Пришлось разбираться в грудѣ приходных ордеров, и он далеко еще не закончил эту работу. Он знал, что нужно снова браться за дело, но ему так не хотелось уходить из уютной столовой!

— Сегодня у меня опять хлопот полон рот, — с сожалением сказал он жене, — боюсь, что я не смогу долго побыть с тобой.

— Ну что ж, иди, — отрывисто бросила Чару.

Бхупоти решил, что она обиделась.

— Пожалуй, немножко я все-таки посижу — уж очень

я устал сегодня, — сказал он и снова опустился на тахту. Ему бросилось в глаза, что Чару сегодня особенно печальна. Сердце его переполнилось жалостью и нежностью к ней. Но он не умел выражать своих чувств. Разговор у них не клеился. Наконец Бхупоти сказал:

— Омол завтра уезжает, тебе теперь, наверно, будет очень скучно.

Чару ничего не ответила и, сделав вид, что ей понадобилось что-то в соседней комнате, поспешно вышла. Бхупоти посидел еще немного и, не дождавшись Чару, ушел.

Впервые за последние дни столкнувшись с Омол лицом к лицу, Чару сразу заметила, что он осунулся и повзрослел. Лицо его было серьезно — от былой беспечности и легкомыслия не осталось и следа. Это и радовало и печалило. Сомнений быть не могло — мысль о предстоящей разлуке угнетала и его. Почему же тогда он так себя странно ведет? Почему он всячески избегает ее? Почему намеренно обостряет их ссору?

Ворочаясь на постели от бессонницы и нескончаемых дум, Чару вдруг вздрогнула. «А что, если из-за Монды? — пришло ей в голову. А что, если он ее любит? Монда уехала, и поэтому он так... Но нет... Этого не может быть! Неужели Омол такой ничтожный и грязный! Любить замужнюю женщину? Нет, это невозможно. Омол не таков». Она гнала от себя подозрения, но они все больше и больше жалили ее в самое сердце.

И вот наконец наступил момент расставания. Погода по-прежнему была скверной — не лучше, отметила про себя Чару, чем в тот день, когда она напрасно прождала его до вечера. Прощаясь, Омол дрожащим, срывающимся голосом сказал:

— Чару, мне пора ехать. Смотри хорошенько заботься о даде. Ему сейчас очень трудно, и у него никого нет, кроме тебя. Прощай!

Омол уже давно заметил, что брат его на себя не похож, что он ходит подавленный и грустный. Омол стал выяснять, что же такое с ним стряслось, и вскоре узнал все. Он был потрясен и вместе с тем восхищен: его дада, не ища ни у кого — даже у родственников, которые стольким были ему обязаны, — поддержки и сочувствия, один мужественно боролся со свалившимися на него невзго-

дами. Омол краснел до кончиков ушей, вспоминая, как день за днем он проводил с Чару, заставляя ее выбрасывать из головы все мысли о муже. «Хватит, пусть провалится в преисподнюю луна в месяце ашар, — в сердцах говорил он себе, — и совсем погаснет свег молодого месяца. Я стану адвокатом и буду помогать даде. Я на деле докажу, что я настоящий мужчина».

Всю ночь Чару не сомкнула глаз — она думала о том, что скажет Омолу напоследок. О, она будет весело улыбаться, с гордым безразличием цедить слова. На все лады оттачивала и шлифовала она свою прощальную речь. Но напрасно, в последнюю минуту перед расставанием все слова вылетели у нее из головы и она смогла только прошептать:

— Пиши, Омол!

Омол сделал глубокий пронам — опустился на колени и коснулся лбом земли, а Чару стремглав убежала в спальню и заперла дверь.

ХІІІ

Бхупоти съездил в Бурдван на свадьбу Омола, проводил его за границу и вернулся домой.

Он привык безоговорочно верить людям, и удары, сыпавшиеся теперь на него со всех сторон, воспринимал очень тяжело. Мало-помалу его охватило глубокое безразличие к тому, что происходило за стенами дома. Он совершенно перестал интересоваться тем, что творится на белом свете, и начал испытывать настоящее отвращение к разным комитетам и заседаниям.

«Сколько времени убил я на всякие пустяки, — думал он, — зря растрачивал, швырял в мусорную кучу самое дорогое, что имел — самые лучшие свои, самые счастливые годы, которые теперь уж не вернуть. И очень хорошо, что моя газета перестала существовать. Наконец-то я обрел свободу».

И как птица в сумерки возвращается к своему гнезду, так и Бхупоти, разочаровавшись в жизни, распроставшись с тем, что столько времени поглощало все его внимание и время, пришел в онтохнур, к Чару. «Довольно, — сказал

он себе, — больше меня не втравишь ни в какую авантюру. Я сделал себе кораблик из газетной бумаги и долго забавлялся им, но теперь он размок и потонул, а мне пора домой».

По всей вероятности, Бхупоти, как и большинство мужчин, придерживался мнения, что нет никакой необходимости завоевывать право на сердце своей жены. Она и так никуда не денется, сердце ее навсегда отдано мужу и светит само по себе, ровно и беспрестанно, как Полярная звезда, которая горит без масла и которой не страшны никакие бури.

Бхупоти вернулся из Бурдвана вечером. Он устал и проголодался, поэтому быстро умылся и сразу же — раньше привычного часа, не дожидаясь Чару, — сел ужинать. Он спешил вернуться домой, полагая, что Чару сообщает от любопытства узнать подробности свадьбы Омола и его отъезда за границу. Чару, однако, не вышла к столу — видимо, не ждала его так рано. Звать ее он не стал, а, поужинав, пошел в спальню и, закулив хуку, прилег отдохнуть. Чару все не шла, — захлопоталась, наверно, по хозяйству, бедняжка!

Докулив трубку, усталый Бхупоти задремал. Когда он очнулся, первая мысль его была о Чару. Где же она? Почему ее до сих пор нет? Не в силах дольше ждать, он послал за ней слугу.

— Ты где же это так задержалась, Чару? — спросил он.

Не отвечая на его вопрос, она сказала деревянным голосом:

— Да, я задержалась.

Бхупоти ждал града нетерпеливых вопросов. Но никаких вопросов не последовало. Чару молчала. Бхупоти был расстроен. Неужели Чару не испытывала к Омолу никаких теплых чувств? Сколько времени они провели вместе — делили и радость, и печаль, и игры, а теперь, не успел он уехать — и она сразу же о нем забыла! Как странно! А может быть, Чару вообще не способна на глубокие чувства. Может, в голове у нее одни развлечения? Но нет, женщина не может быть такой черствой.

Бхупоти очень радовала дружба Омола и Чару. Так приятно было смотреть на них, наблюдать, как по-детски

мило и непосредственно они ссорятся и мирятся, фантазируют и играют. А как внимательно, заботливо ухаживала Чару за своим деверем. «У меня чудесная жена, — не раз думал он с удовлетворением, — какое у нее доброе и нежное сердце». И тем более непонятным было ее сегодняшнее поведение. Неужели ее ласковость, ее заботливость были поверхностны и не шли из глубины сердца. Но ведь если это правда, если она действительно так пуста, то и ему не на что рассчитывать.

Чару по-прежнему молчала. Чтобы как-то разрешить свои сомнения, Бхупоти наконец сам завел разговор:

— Чару, у тебя все в порядке? Как ты себя чувствуешь?

— Я здорова, — коротко ответила она.

— Знаешь, наш Омол уже женатый человек. Все свадебные церемонии закончились.

Чару попыталась было выдать из себя что-нибудь приличествующее случаю, но слова не шли на ум. Казалось, что ее оглушили ударом по голове.

Хотя сам Бхупоти был по характеру флегматичен, но и он чувствовал, что отъезд Омола вывел его из душевного равновесия, и непонятное безразличие Чару вызывало у него все большую горечь. Хотя бы уж она отнеслась к разлуке с Омолем так же, как он сам. Они потолковали бы о нем, обсудили бы все, и обоим стало бы легче.

— А невеста, знаешь, очень красивая!.. Чару, ты спишь?

— Нет.

— Бедняга Омол уехал совсем один, вернее, провожал его один только я. Когда я его усаживал в поезд, он ревел как малый ребенок; да, признаться, глядя на него, и я, несмотря на всю свою солидность, не мог удержаться от слез. В купе с ним оказалось двое англичан. Они всласть позабавились, наблюдая, как льют слезы мужчины.

В спальне было темно. Чару сперва долго ворочалась на постели, потом вдруг вскочила и убежала.

— Чару, ты куда? Тебе нехорошо? — встревоженно крикнул Бхупоти.

Ответа не последовало. С веранды, примыкавшей к спальне, донесся заглушенный плач. Испуганный Бху-

потом вскочил и бросился туда. Чару лежала ничком на полу и безуспешно пыталась справиться с душившими ее рыданиями. Эта вспышка отчаяния поразила Бхупоти еще больше, чем ее прежнее равнодушие. Он-то думал, что знает жену как свои пять пальцев! А у нее, оказывается, характер настолько замкнутый, что она даже с мужем не желает делиться своими переживаниями. Такие женщины любят глубоко и безраздельно, а страдают мучительно и неутешно. Заурядные женщины склонны к внешнему, показному проявлению своих чувств, а такие, как Чару, тщательно охраняют их от постороннего глаза. До сих пор Бхупоти и не подозревал, на какие сильные чувства она способна, потому что чувства эти таились в сокровенных, не доступных никому глубинах ее сердца. Он и сам не любил никому показывать, что творится у него на душе, и потому, поняв сегодня всю тонкость и сложность натуры жены, Бхупоти словно бы вновь открыл для себя Чару и еще больше оценил ее.

Он сел рядом с женой и молча обнял ее. Но он не мог ее успокоить — он не знал, что человек, который изо всех сил старается задушить свое горе, не хочет никого видеть рядом с собой.

XIV

Избавившись от газеты, Бхупоти задумался над своим будущим. Что же дальше? Чем он будет теперь заниматься? Он не позволит в будущем химерам увлечь себя и не станет бесплодно растрачивать свои силы. О нет! Он посвятит себя жене, семье, домашним делам, будет ежедневно заниматься с Чару.

Истинное счастье, думалось Бхупоти, рядом с нами — оно доступно и незатейливо и в то же время прекрасно. Оно изменчиво — как изменчива жизнь, и никогда нельзя сказать, когда и в чем оно проявится, но оно всегда непорочно и возвышенно, как нерушимая и незыблемая святыня. Наступающие сумерки его жизни будут освещены пламенем такого счастья. Оно загорится от огонька вечернего светильника в онтохпуре, и в мягком его свете он обретет наконец глубокий и радостный покой. Это

счастье — в улыбке, в шутке, в душевной беседе, в повседневных мелочах, дорогих сердцу близкого человека, — во всем том, что не требует чрезмерных усилий, но без чего немыслима настоящая радость жизни.

Вскоре, однако, Бхупоти убедился, что обрести это, казалось бы, немудреное счастье не так-то просто. Если оно не дается в руки само или если за него ничем не заплачено, сколько ни бейся, ничего не получится.

Бхупоти никак не мог найти общего языка с Чару. В этом он винил только себя. «Конечно, двенадцать лет я день и ночь корпел над газетой и вот в результате даже утратил способность нормально разговаривать с женой».

Зажигались вечерние фонари, Бхупоти спешил домой, там он обменивался с Чару несколькими словами, и все... Говорить им было не о чем. Ему становилось стыдно за себя. Что случилось? Беседовать с женой, — казалось бы, что тут хитрого? Увы, для тупицы и эта задача, видно, не по силам. Странно, а на собраниях выступать было куда проще. В чем же тут наконец дело?

Он мечтал о вечерах, до краев наполненных счастьем, о веселых, остроумных, непринужденных разговорах с нежной, внимательной женой. Но встречи оставляли у обоих только неприятный осадок. Обменявшись несколькими ничего не значащими фразами, супруги безнадежно умолкали. Натянутое молчание становилось нестерпимым. Бхупоти мучительно хотелось встать и уйти куда глаза глядят. Но он не осмеливался — бог знает, что может подумать Чару.

— Сыграем в карты? — предлагал тогда Бхупоти.

— Хорошо, — отвечала Чару, если ей нечем было заняться. Она с видимой неохотой доставала карты и играла без всякого воодушевления, невнимательно и быстро проигрывала. Такие развлечения никому удовольствия, естественно, не доставляли.

В конце концов, после долгих размышлений, он спросил жену:

— Чару, может быть, пригласим погостить Монду, тебе ведь так скучно.

Чару вспыхнула:

— Нет, Монда мне не нужна.

Бхупоти улыбнулся. Он был доволен. Верная жена не терпит ни малейших отклонений от добродетели.

А Чару, подавив в себе отвращение к Монде, подумала, что, собственно говоря, мысль эта не так уж нелепа — приезд Монды, вероятно, хоть как-то развлеч бы Бхупоти.

Перемена, происшедшая в Бхупоти, разумеется, не укрылась от глаз Чару. Она понимала, что муж хочет найти с ней счастье, что он всей душой стремится к этому, и сознание собственного бессилия, неспособность ответить на его чувства мучили, угнетали ее. Ее даже пугала горячность Бхупоти, который, решив, что в ней все счастье его жизни, только о ней и думал и всеми силами старался доказать свою любовь. А она... ее душа разбита, опустошена. Сколько времени это может продолжаться? Почему бы ему не увлечься чем-нибудь еще? Новой газетой, например? Чару никогда не приходилось развлекать мужа, он не требовал от нее ни любви, ни заботы. Она вообще была ему не нужна. И вдруг теперь он протянул ей свое сердце, вручил ей всю свою жизнь, как будто свет клином сошелся на ней. Она не знала, что он хочет от нее, что нужно сделать, чтобы озарить радостью жизнь Бхупоти, но даже знай она это, вряд ли нашла бы в себе силы дать ему счастье, к которому он стремился.

Если бы он постепенно, исподволь попытался как-то подойти к ней, быть может, Чару и смогла бы как-то откликнуться на его зов. Но пустую чашу для подаяний он поставил перед ней слишком неожиданно, — после того, как сам за одну ночь лишился всего, после того, как сам полностью обанкротился. Поэтому, подумав немного, она сказала мужу:

— Знаешь что, давай все же пригласим Монду. Она, наверно, будет лучше смотреть за тобой, чем я.

— Смотреть? За мной? Вот еще! Зачем это нужно? — засмеялся Бхупоти, но в душе он был очень огорчен. «Какой же я, наверно, сухарь! — подумал он. — Видно, я совершенно неспособен расшевелить Чару — обрадовать ее хоть чем-то».

Но он не сдавался и теперь решил приняться за литературу. Может быть, книги помогут ему найти путь

к сердцу Чару. Навещавшие его друзья только диву давались: Бхупоти увлекся поэзией, читает Теннисона, Байрона, повести Бонкима. Немало ехидных шуточек было отпущено по его адресу.

— Друзья мои, и бамбук, бывает, цветет, только никому не дано знать, когда это случится, — отвечал им Бхупоти.

И вот как-то вечером Бхупоти пришел в спальню, торжественно зажег большую лампу. Он долго собирался с духом и наконец, преодолев смущение, сказал Чару:

— Может быть, тебе почитать?

— Читай.

— А что?

— Что хочешь.

Не видя особого энтузиазма со стороны жены, Бхупоти сник, затем, собрав все свое мужество, все же сказал ей:

— Я переведу тебе отрывок из Теннисона.

— Хорошо.

Но все было уже испорчено. От робости и нерешительности он плохо читал и переводил неточно. Пустой взгляд Чару говорил о том, что мысли ее находятся где-то далеко. Нет, видно, так не украсишь вечерних часов, не наполнишь жизнью эту маленькую комнату. Сделав две-три неудачные попытки, Бхупоти не стал больше мучить жену литературой и перестал заниматься с ней.

XV

Сильное потрясение на какое-то время парализует чувствительность нервов, и человек не ощущает боли. В первые дни разлуки Чару не сознавала по-настоящему, что Омола уже нет здесь, что она больше не увидит его, не услышит его голоса. Но дни сменялись днями, и неприятная пустота, которая образовалась в ее жизни после его отъезда, все росла и росла, и на душе у нее становилось все тяжелее и тяжелее. Ей было страшно.словно из тенистой рощи ее перенесли вдруг в выжженную пустыню, границы которой непрестанно расширяются, и вот уже вокруг нет ничего, кроме раскаленного желтого песка.

Когда Омол уезжал, ей и в голову не приходило, что жизнь ее станет такой опустошенной.

Просыпаясь утром, она чувствовала неприятное покалывание в сердце — это была мысль, что Омола нет с ней. Она готовила на веранде бетель, а сама думала лишь о том, что никогда больше не подкрадется он к ней сзади и не напугает в шутку. Приготовив в забывчивости слишком много бетеля, она начинала укорять себя: «Что за дурацкая рассеянность! Ведь все равно все пропадет даром, ведь Омола, который поглощал его в несметных количествах, нет». Она открывала кладовую и думала: «А зачем, собственно, я это делаю. Кого я собираюсь кормить?» Ее неизменно тянуло в те покои онтохпура, которые граничили с внешней частью дома. Но, придя туда, она спохватывалась: «Зачем я здесь — ведь Омол больше не придет сюда после занятий в колледже». Ей не с кем было делиться впечатлениями о новой книге, не для кого выискивать интересные произведения, собирать забавные анекдоты. Не для кого было шить, писать рассказы, покупать красивые вещи.

Это горе, так неожиданно свалившееся на нее, удивляло и страшило саму Чару. Ее пугала непрерывная, невыносимая боль в сердце. «Отчего я так страдаю? — думала она. — Кем был для меня Омол, почему его отъезд причиняет мне такую боль? Ведь прошло уже столько времени после того, как он уехал? Все люди — даже слуги, даже вон те кули и носильщики на улице, живут, как ни в чем не бывало, а я... О боже, за что я обречена терпеть такие муки?»

Но сколько она ни вопрошала и ни поражалась сама себе — воспоминания об Омоле преследовали ее на каждом шагу. Рассчитывать на помощь Бхупоти не приходилось — этот доверчивый ребенок сам жалел об отъезде Омола и только еще больше растравлял ее горе.

Чару пришлось признать себя побежденной. Она устала бороться со своими страданиями и позволила воспоминаниям об Омоле полностью завладеть ее сердцем. Более того, она стала даже как-то лелеять их. Скоро ей стало казаться, что встреча с Омолем — это самое прекрасное из того, что даровала ей судьба, и воспоминания о нем стали предметом ее тайной гордости.

Освободившись от домашних дел, она запиралась в спальне и предавалась воспоминаниям. Перед ее мысленным взором оживали картины былых встреч, она старалась восстановить в памяти все разговоры, все события, связывавшие их, а потом бросалась на постель и, зарывшись лицом в подушку, твердила в изнеможении: «Омол, Омол, Омол, где ты, Омол?» Ей казалось, что откуда-то из-за океана до нее доносится:

— Что, Чару, дорогая?

Чару, закрыв мокрые от слез глаза, спрашивала:

— Омол, милый, почему ты рассердился и уехал? Я ведь ни в чем перед тобой не виновата. Если бы ты по-хорошему со мной простился, я бы, наверно, так не мучилась, — и продолжала так, словно он стоял перед ней наяву: — Омол, я никогда тебя не забуду, ни на день, ни на минуту. Милый, ты лучшее, что было у меня в жизни, я всегда буду тебя боготворить, в жертву тебе я принесу все то хорошее, что есть во мне.

Так шли дни, наполненные будничными делами, хлопотами по хозяйству и неустанными думами об Омоле, и постепенно Чару удалось создать в самой глубине своей души потайной уголок — надежное убежище, хорошо спрятанное от посторонних глаз. Теперь, погружаясь в свои мысли, она уходила туда — как в некий храм, некую юдоль печали. Она оставляла на пороге все условности и там, в тишине и во мраке, украшая свое святилище гирляндами слез, становилась наконец сама собой. Туда был заказан вход всем, даже мужу. А затем она поднималась на поверхность, надевала привычную маску деланной бодрости и снова окуналась в жизнь.

XVI

После того как Чару перестала тщетно бороться с противоречивыми чувствами, терзавшими ее душу, словно что-то изменилось в ней. Наступило успокоение, овеванное тихой, неизбывной скорбью. Она должна стать примерной — примерной по самым строгим индуистским канонам — женой: смиренно служить мужу, поклоняться ему и всецело посвятить себя заботам о нем и о доме.

Иногда бессонными ночами, когда Бхупоти спал глубоким сном, она, охваченная внезапно нахлынувшим чувством благоговения, прижималась головой к стопам мужа и мысленно посыпала себя прахом.

Теперь она старалась предупреждать малейшее желание мужа, усердно выполняла каждое его распоряжение по дому. Зная, как огорчает Бхупоти любое невнимание к людям, которым он покровительствовал и помогал, Чару всячески старалась угодить им. Вечерами она встречала мужа, подавала ему ужин, приготовленный своими руками, прислуживала во время еды, сама ела лишь то, что оставалось после него, и только тогда шла отдыхать.

Бхупоти расцвел. Забота жены, ее ласки словно переродили испытавшего жестокое потрясение человека. Он переживал, казалось, вторую молодость, можно было подумать, что он только что женился, что сейчас еще не истек медовый месяц. Он улыбался, шутил, стал уделять много внимания своей внешности. Горе и невзгоды забылись, отодвинулись куда-то далеко. Бхупоти был подобен человеку, выздоравливающему после тяжелой болезни, который испытывает волчий аппетит, радуется всякому пустяку, для которого все вокруг свежо и ново, — душа его переполнилась неизведанными доселе чувствами. Неожиданно для себя он увлекся поэзией и с интересом читал стихи, думая, однако, все время только о жене. «Лишь теперь, избавившись от газеты и испытав столько горя, я начинаю понимать, какая она у меня замечательная», — говорил он себе.

Вспомнив о том, что Чару и сама неплохо пишет, он как-то спросил ее:

— Чару, почему ты совсем забросила свои литературные занятия?

— Подумаешь, важное дело мои писанья! Кому они нужны...

— Кроме шуток, Чару, ты знаешь, я не вижу среди современных бенгальских писателей никого, кто мог бы сравниться с тобой. Я полностью согласен с автором той статьи в «Бишшобондху».

— Ах, оставь, пожалуйста.

— Ну сама посмотри. — Бхупоти вытащил экземпляр «Шерорухо»; стал сопоставлять сочинения Омола и Чару. Чару залилась краской, вырвала журнал из рук мужа и спрятала его под сари.

«Нельзя дать увянуть ее таланту, — думал Бхупоти, — мой долг помочь ей развить свои способности. Только, очевидно, пока кто-то не будет трудиться с ней рядом и вдохновлять ее, Чару не вернется к литературе. Ну что ж, значит, придется взяться за дело мне — вот набью руку в сочинении стихов, тогда, может, мне и удастся вернуть ее на этот путь».

И вот, прячась от всех, он стал исписывать тетрадь за тетрадью — листая словарь, без конца перечеркивая и переписывая то, что ему удавалось сочинить. Он отдавал этому занятию все свои силы и время — ведь другой работы у него не было — и мало-помалу сам увлекся им и даже уверовал в то, что у него есть какие-то литературные способности.

Наконец наступил день, когда он принес жене свой труд, предварительно попросив приятеля своей рукой все переписать.

— Знаешь, Чару, — сказал он, — один мой приятель написал тут кое-что и попросил меня прочесть. Только я ведь в этом ничего не смыслю. Возьми, пожалуйста, и посмотри, что он там насочинял. Интересно, понравится тебе или нет.

С трепетом вручив Чару тетрадь, Бхупоти удалился. Однако его простодушная хитрость ни на минуту не ввела Чару в заблуждение. Она прочла то, что было написано в тетради. Содержание и манера изложения невольно вызвали у нее улыбку. Боже мой, ведь она так старается почитать своего мужа, с таким смирением взирает на него, а он совершает ребяческие поступки и делает бесплодной ее жертву. Разве достойно его из кожи лезть вон, чтобы как-то поразить жену, услышать ее похвалу? Если бы он ничего для нее не делал, не старался всеми силами вызвать ее расположение, ей было бы гораздо легче служить ему. Чару больше всего боялась, чтобы муж не оказался в чем-то ниже ее.

Она закрыла тетрадь, облокотилась о подушку и долго смотрела вдаль, вся во власти нахлынувших воспомина-

ний — ведь Омом тоже всегда приносил ей читать свои новые сочинения...

Вечером Бхупоти в трепетном ожидании поливал цветы на веранде около спальни — спросить жену о том, как ей понравилось сочинение его «приятеля», он не осмеливался.

Чару сама позвала его.

— Это первое сочинение твоего знакомого? — спросила она.

— Да.

— Даже не верится, что это может быть первая работа, так замечательно написано.

Бхупоти, вне себя от восторга, стал размышлять над тем, как ему открыть имя истинного автора.

Тетради его начали заполняться с устрашающей быстротой. И свое инкогнито он открыть не замедлил.

XVII

Дни, когда приходила почта из Англии, накрепко запали в память Чару. Первое письмо — на имя Бхупоти пришло от Омола из Адена. В конце он посылал ей привет. Следующее — тоже адресованное Бхупоти — письмо было из Суэца. В нем тоже был привет ей. Привет был и в постскриптуме третьего письма — уже из Мальты. Вот и все. Самой Чару Омом не написал ни разу.

Она бесконечно перечитывала его письма к Бхупоти. Она вертела их и так и сяк, но, кроме приветов, так и не нашла ни слова о себе.

Грубое невнимание Омола погасило слабое, неверное, напоминающее лунные блики, пламя тихой скорби, возле которого пыталась согреться Чару. В надвинувшейся темноте угрожающе зашаталась с трудом налаженная жизнь и семейное счастье Бхупоти. Снова открылись кровоточащие раны, снова нестерпимо ныло сердце.

Проснувшись как-то среди ночи, Бхупоти обнаружил, что постель Чару пуста. Обеспокоенный, он отправился на поиски и наконец нашел Чару у окна в одной из комнат, выходящих на южную сторону. Увидев мужа, она вскочила и торопливо проговорила:

— В спальне было очень душно, я пошла подышать свежим воздухом.

На следующий день Бхупоти поставил у ее кровати вентилятор. Теперь он постоянно справлялся у жены о здоровье.

— Да я прекрасно себя чувствую, зачем ты зря беспокоишься, — смеясь, говорила Чару. Но чтобы смеяться, ей приходилось напрягать все свои душевные силы.

Наконец Огол добрался до Англии. Чару говорила себе, что, по всей вероятности, он не мог почему-то послать ей с дороги отдельное письмо, но что теперь-то уж он, конечно, пришлет ей длинное послание. Но время шло, а писем ей не было — ни длинных, ни коротких.

В дни прихода почты Чару не находила себе места, ничем не могла заняться и думала только об одном. Но она боялась задать вопрос мужу, чтобы не получить всегдашний ответ:

— Тебе писем нет.

Но однажды, как раз в очередной почтовый день, Бхупоти как-то необычно медленно вошел в спальню и весело сказал:

— А у меня что-то есть. Хочешь, покажу?

— Ну конечно, сейчас же покажи! — задрожав от волнения, воскликнула Чару.

Но Бхупоти решил подразнить ее и нарочно медлил. Снедаемая нетерпением, Чару безуспешно пыталась вырвать у мужа то, что он прятал в складках чадора. Она лихорадочно думала: «Недаром у меня с утра было предчувствие, что сегодня я получу письмо. Предчувствия никогда не обманывают!»

Бхупоти тем временем так разошелся, что заставил Чару бегать вокруг кровати. «А ну, поймай меня!» — дразнил он жену.

Наконец Чару всерьез обиделась, села на тахту и заплакала.

Бхупоти, восхищенный нетерпением жены, вытащил из кармана тетрадь со своими сочинениями и торжественно положил ее Чару на колени.

— На, возьми, — сказал он, — и не сердись больше!

XVIII

Омол сообщил, что теперь долго не сможет писать, потому что учение отнимает у него все время. И все равно, стоило почтальону несколько раз подряд появиться без его писем, и страшное беспокойство охватило Чару. Она буквально не находила себе места.

Снова пришел почтальон, снова письма не было, и Чару не выдержала. В тот же вечер она, собравшись с духом, будто невзначай, сказала мужу безразличным тоном:

— Надо бы послать в Англию телеграмму, узнать, что там с Омолом, как ему живется. Что-то он упорно молчит.

— Да ведь он всего две недели назад писал, что будет очень занят. Сидит, наверное, сейчас, день и ночь над книгами.

— Ах да, ты прав. Знаешь, я почему-то представила себе, что он так далеко, один, среди чужих, вдруг он захворал...

— Да нет, если б он заболел, то уж обязательно сообщил бы. И к тому же телеграмма стоит очень дорого.

— Правда? А я думала, какую-нибудь рупию-две...

— Ну что ты, рупий сто, не меньше.

— Неужели? Тогда, конечно, это слишком дорогое удовольствие.

Прошло дня два, и Чару попросила Бхупоти:

— Знаешь, у моей сестры скоро должен родиться ребенок, съездил бы ты к ней, узнал, как там и что.

— А разве она плохо себя чувствует?

— Да нет, но ты ведь знаешь, как они тебе бывают рады. Съезди, прошу тебя.

Отказать жене Бхупоти, конечно, не мог. Он приказал заложить экипаж и поехал на вокзал, в Ховру. Но по пути застрял — на дороге скопилось множество телег и образовалась пробка.

Вдруг он увидел в толпе знакомого телеграфиста — тот шел к экипажу, размахивая телеграфным бланком. Телеграмма была из Англии. Не на шутку испугавшийся Бхупоти поспешно вскрыл ее — может, Омол действительно заболел? Но телеграмма гласила: «Здоров. Омол».

Что это могло означать? Посмотрев внимательнее, Бхупоти увидел, что телеграмма эта была заранее оплачена здесь, в Индии.

Он не поехал на вокзал и повернул домой. Увидев в руках у мужа телеграфный бланк, Чару смертельно побледнела.

— Я ничего не понимаю, может быть, ты объяснишь мне, в чем дело, — сказал Бхупоти.

Выяснилось, что Чару с помощью слуг заложила свои украшения и отправила телеграмму на вырученные деньги.

«Но зачем ей понадобилось это делать? — думал Бхупоти. — Если бы она толком попросила меня, я, конечно, послал бы телеграмму, а делать это тайком, через слуг, закладывать неизвестно где украшения... Нехорошо это как-то, просто никуда не годится».

А в уме вертелся назойливый вопрос: почему так страшно волнуется Чару? Смутное подозрение незаметно закралось в душу. Бхупоти гнал его, но ощущение чего-то неприятного росло и не желало уходить.

XIX

Омол здоров и не пишет! Разве можно так плевать в душу? Чару хотелось хотя бы на миг перенестись туда, за океан, чтобы задать Омолу этот единственный вопрос. Но океан разделял их, и никаким чудом пересечь его было нельзя.

Как страшна такая разлука! Она лишает людей возможности что-то исправить, добиться ответа на свой вопрос!

Постепенно Чару потеряла всякую власть над собой и пустила все по воле волн. Дом быстро пришел в запустение, слуги бессовестно обкрадывали ее. Казалось, что мысли ее витают где-то далеко: она часто отвечала невпопад и не слышала обращенных к ней вопросов. Ее пришибленный вид служил досужим людям пищей для сплетен — она ничего не видела и ничего не замечала.

Все глубже и глубже погружалась она в это странное, полудремотное состояние, вздрагивала безо всякой причины, посередине разговора вдруг начинала плакать

и убегала, а при одном упоминании имени Омола бледнела как полотно.

Наконец Бхупоти все понял. Он тяжело задумался над тем, что раньше никогда не приходило ему в голову. Мир снова поблек для него, исчезли все краски, и глаза застлала какая-то пелена, сквозь которую все стало казаться дряхлым, высохшим и уродливым.

Ему было мучительно стыдно за себя. «Чему же я так радовался, слепец! — думал он. — Только глупая обезьяна не способна отличить бриллиант от фальшивого камня, только она может так ошибиться».

«Какая она актриса! — с горечью думал он, вспоминая напускную нежность Чару, ее притворную заботливость, — как ловко обвела она меня вокруг пальца!» Терзаемый жгучим стыдом, он клял себя приговаривая: «Так тебе и нужно, болван, идиот, простофиля!» И вдруг он вспомнил о своих писаниях, на которые затратил столько труда. «Ох, какой я был непроходимый идиот! — приговаривал он. — О боги, пусть земля разверзнется у меня под ногами и поглотит меня!» Как подгоняемый анкушем слон, он ринулся к Чару.

Она была в кухне и жарила пирожки с яйцами.

— Где мои тетради?

— У меня, — ответила Чару.

— Дай их.

— Они тебе нужны сию минуту?

— Да, сию минуту.

Чару отставила сковородку с огня, прошла в спальню, вынула из шкафа пачку тетрадей и кипу бумаг и принесла все это мужу. Бхупоти вырвал их из рук Чару и швырнул в огонь.

Пораженная Чару попыталась было вытащить бумагу из печки.

— Что с тобой? Что ты делаешь? — воскликнула она.

— Оставь! Не смей трогать! — прорычал Бхупоти и словно железными тисками сжал ей руку.

Чару онемела от удивления. Остановившимся взглядом смотрела она, как огонь быстро пожирает бумагу. Вот от нее уже ничего не осталось, кроме кучки пепла...

Она все поняла. Глубоко вздохнув, Чару медленно вышла из кухни. Пирожки так и остались недожаренными.

Бхупоти вовсе не собирался уничтожать свои тетради на глазах у Чару. Но в тот момент, когда он увидел пылающую печку, вся кровь бросилась ему в голову, он перестал владеть собой и швырнул их — жалкие потуги обманутого глупца — в огонь на глазах у той, которая так страшно надругалась над ним!

Когда бумага превратилась в пепел, угас и порыв ярости. Бхупоти стал приходить в себя. И в этот момент перед ним возник образ жены — скорбная, сгорбившаяся под тяжестью своей вины, с потупленным взором выходила она из комнаты. Потом его взгляд упал на пирожки — значит, как-то по-своему она все-таки любила его. Разве стала бы она иначе так заботливо, своими руками, готовить ему еду?

Бхупоти вышел на веранду и облокотился о перила. «Нет, наверно, ничего трагичнее на свете, — думал он, — чем судьба этой женщины, вынужденной всеми силами скрывать свои чувства и в то же время неустанно заботиться о муже, прислуживать ему. Ведь все ее уловки, хитрости, к которым она прибегала, конечно же, совсем не то, что низкие приемы закоренелой обманщицы, с которой все, как с гуся вода. Обманимая, эта женщина во сто крат усугубляла свои страдания. День за днем, минута за минутой, вынужденная ложь терзала несчастную, высасывая по капле кровь из ее разбитого сердца. Бедная, слабая женщина! Зачем ты делала это? Никому это не было нужно! Мне это не было нужно. Жил же я столько времени без любви, сидел над своими статьями и корректурой и не подозревал, какая она такая — любовь и что значит жить без нее. Нет, не нужно было делать для меня этого».

Подобно тому как внимательно и холодно смотрит врач на опасно больную пациентку, Бхупоти попытался посмотреть на Чару со стороны, глазами не мужа, а постороннего. Отделив мысленно жизнь Чару от своей, он увидел то, что было прежде от него скрыто, — он понял, что могущественный мир нещадно хлестал эту слабую женщину. Но не было человека, которому она могла бы все рассказать, не было слов, которые выразили бы ее чувства, не было места, где она могла бы быть сама со-

бой, безбоязненно открыть свое сердце и кричать во весь голос от боли, и, несмотря на все это, неся бремя безысходного, неизлечимого, не отпускающего ни на мгновение горя, она должна была вести себя, как все женщины, как ее благодушная соседка, например, должна была неукоснительно исполнять все, что требовали от нее обязанности жены.

Бхупоти прошел в спальню. Чару стояла у окна, ухватившись за раму, и пристально смотрела вдаль на улицу. Глаза ее были сухи. Он медленно подошел к ней, ничего не сказал и только положил ей руку на голову.

XX

Друзья приставали к Бхупоти:

— Что случилось? Чем ты так озабочен?

— Да вот газета...

— Опять газета? Неужели тебе так хочется утопить в Ганге остаток поместья, завернув его предварительно в газетный лист?

— Да нет же, теперь это будет не моя газета.

— Как?

— В Майсоре начинает выходить новая газета. Меня приглашают на место редактора.

— Значит, ты бросишь дом и уедешь в Майсор? Чару, конечно, едет с тобой?

— Нет, она остается здесь. У нее тут есть родственники — братья ее покойного отца.

— Так, значит, ты никогда не избавишься от страсти к редактированию?

— Человеку при всех обстоятельствах нужно иметь какую-то страсть.

При расставании Чару спросила Бхупоти:

— Когда ты вернешься?

— Если тебе будет скучно и захочется меня видеть — напиши, я приеду.

Бхупоти попрощался и уже взялся было за дверь, когда Чару бросилась к нему и схватила за руку.

— Не бросай меня здесь, — воскликнула она. — Возьми меня с собой.

Удивленный Бхупоти внимательно посмотрел ей в лицо. Пальцы Чару разжались, она отпустила его руку. А Бхупоти оставил ее и вышел на веранду. Он понял, что, подобно раненному стрелой оленю, она хочет бежать из дома, где все так живо напоминает ей об Омоле, о разлуке с ним. «Хорошо, но подумала ли она хоть раз обо мне. Как же я? Куда бежать мне? — думал он. — Разве можно уехать и забыть женщину, мысли которой заняты другим? А ведь там не будет ни друзей, ни знакомых, все свободное время мне придется проводить только с ней. Как ужасны будут вечера, когда придешь усталый с работы, а тебя будет ждать дома молчаливая, погруженная в свою горе женщина! Надолго ли у меня хватит терпения. Долго ли смогу я обнимать женщину, у которой на сердце лежит тяжелый камень, жить с женщиной, которая несет такой страшный мертвый груз. Созданное моим воображением пристанище лежит в развалинах. Выбросить обломки я все равно не сумею. Неужели же я обречен тащить их за собой до конца дней?»

Бхупоти вернулся к Чару.

— Нет, Чару, — сказал он, — я не могу.

Кровь отлила у нее от лица, она стала бледна как смерть и обеими руками вцепилась в кровать.

Тогда Бхупоти сказал:

— Ладно, поедем вместе.

— Не надо. Пусть!..



УЧИТЕЛЬ

Пролог

Было два часа ночи. Всколыхнув море уснувших звуков, по улицам Калькутты прокатил большой экипаж, запряженный парой, и остановился у перекрестка Бирджитолао и Бхобанипура. Из него выглянул молодой человек и, увидев стоявший наемный фиакр, подозвал извозчика. Рядом с молодым человеком спал подвыпивший юноша-бенгалец, одетый по-европейски: ноги его лежали на переднем сиденье, голова беспомощно свисала на грудь. Юноша только что вернулся из-за границы, и друзья устроили ему прием. И вот теперь, когда банкет окончился, один из них взялся подвезти захмелевшего героя в собственном экипаже до первого извозчика. Несколькими толчками в бок он разбудил спящего.

— Эй, Мозумдар, я нашел фиакр, садись, он отвезет тебя домой.

Юноша, бормоча под нос английские ругательства, залез в фиакр. А его приятель сказал извозчику адрес и отправился своей дорогой.

Некоторое время фиакр ехал прямо, потом свернул на Майдан со стороны Парк-стрит.

Юноша еще раз выругался по-английски:

— Что это такое, черт возьми! Куда мы едем?

«Впрочем, наверно, так и надо», — снова засыпая, вяло подумал он,

Когда они выехали на Майдан, Мозумдару сделалось не по себе. Ему вдруг показалось, что рядом кто-то сидит; словно кто-то занял свободное место и наваливается на него сбоку. Он протянул руку — никого не было.

«Что же все-таки это такое? — подумал Мозумдар, — как ведет себя этот проклятый фиакр!»

— Эй, извозчик, — крикнул он.

Извозчик молчал. Мозумдар обернулся, открыл окно, высунулся, схватил стоявшего на запятках ездового за руку.

— Иди сюда, сядь со мной.

— Нет, са-аб, я не пойду туда!

В это мгновение словно острая игла вонзилась в тело Мозумдара.

— Сию же минуту иди сюда! — заорал он.

Ездовой с силой рванулся, соскочил с запяток и бросился бежать.

Мозумдар в ужасе вглядывался во тьму. Никого! И вместе с тем он явственно ощущал, что какая-то неподвижная глыба притаилась рядом.

— Извозчик, придержи лошадей, — прохрипел он с трудом.

Ему казалось, что извозчик изо всех сил натягивает вожжи, но лошади продолжали мчаться. Они пронеслись по Рэд Роуд, а затем снова свернули направо.

— Куда ты едешь? — в страхе крикнул Мозумдар.

Молчание. Мозумдар продолжал пристально вглядываться в темноту. Все его тело покрылось потом. Юноша съежился и постарался занять как можно меньше места, но тщетно — глыба продолжала теснить его.

Мозумдар вспомнил, что какой-то европейский ученый утверждал, будто природа не терпит пустоты. «Вот и доказательство! — думал он. — Неужели? Неужели природа? Но я не в силах больше выносить это жуткое молчание. Если так будет продолжаться, я выпрыгну из кареты».

Но и прыгать было страшно — а вдруг за его спиной в последнюю минуту случится что-то.

— Полицейский! — решился наконец крикнуть Мозумдар, но крик его прозвучал так пискливо и жалко, что, несмотря на сковывавший его страх, он сам невольно усмехнулся.

Похожие на привидения деревья шептались о чем-то

между собой, во мраке ночных улиц стояли вытянувшиеся во фронт фонарные столбы — они-то прекрасно знали, в чем дело, но хранили угрюмое молчание и только время от времени подмигивали.

Мозумдар решил одним прыжком перескочить на переднее сидение, но лишь только эта мысль пришла ему в голову, как он почувствовал устремленный прямо ему в лицо чей-то взгляд. Мозумдар не видел ни глаз, ни лица, он только чувствовал этот взгляд. Он где-то уже встречался с ним, но где, когда — этого он не мог вспомнить.

Он хотел закрыть глаза — но страх мешал ему сделать это — пристальный таинственный взгляд неодолимо тянул его к себе, он не мог даже моргнуть и продолжал напряженно всматриваться в темноту.

Фиакр кружил по улицам Майдана. Лошади, казалось, обезумели — они мчались с бешеной скоростью, все быстрее и быстрее, и окна экипажа дрожали и звенели.

И вдруг, словно налетев с разбега на какое-то препятствие, фиакр остановился.

Мозумдар вздрогнул и открыл глаза. Фиакр стоял около его дома, а извозчик тряс его за плечи и спрашивал:

— Бабу-сахиб, куда ехать дальше?

— Зачем тебе понадобилось столько времени кружить меня по Майдану? — сердито спросил Мозумдар.

— Да я и не ехал по Майдану, — удивился извозчик.

— Так что ж, мне это приснилось, что ли? — недоверчиво спросил Мозумдар.

— Нет, бабу-сахиб, — испуганно ответил извозчик. — Может, и не совсем приснилось. Тут три года назад такая произошла история...

Но Мозумдар уже окончательно проснулся и протрезвел. Пустая болтовня извозчика не интересовала его, он расплатился и вышел из экипажа. Спал он, однако, в ту ночь плохо — его мучил вопрос: где он встречал тот взгляд?

I

Дед Мозумдара начал свою карьеру с клерка в небольшой пароходной компании и дослужился до управляющего крупной торговой фирмы. На службу его стали носить в паланкине, на голове у него красовался велико-

лепный белый тюрбан, но вел он себя безукоризненно, по-прежнему принимал участие в религиозных церемониях и даже гордился тем, что самые разные люди обращались к нему со своими нуждами и заботами.

Отец же Мозумдара — Одхор-бабу, пустил доставшийся ему в наследство капитал в оборот и давал деньги в рост, так что ему самому крутиться уже не пришлось.

И хотя в наследство от отца Одхор-бабу получил еще и большой дом, и прекрасные экипажи, жил он замкнуто и уединенно — только агент по выдаче ссуд со своей неизменной трубкой во рту заходил к нему обсудить неотложные дела, если нужно было, например, срочно договориться об условиях ссуды.

Бюджет семьи Одхора-бабу был настолько строг, что даже упорным футболистам местной команды, при всей их настойчивости, не удалось подобраться к карману хозяина.

Но вот семья обогатилась новым членом — у Одхора-бабу после долгих ожиданий наконец родился сын.

Лицом ребенок был похож на свою мать, Нонибалу. У него были большие глаза и прямой нос, нежный, как лепесток туберозы. Все восхищались прелестным ребенком и утверждали, что это — не ребенок, а картинка, на что верный слуга Одхора-бабу, Ротиканто, отвечал, что именно так и должен выглядеть отпрыск знатного семейства.

Мальчика называли Бенугопалом.

Раньше Нонибала никогда не спорила с мужем по поводу домашних расходов. Правда, бывали столкновения из-за пустяковых трат на безделушки или слишком пышный, по мнению Одхора-бабу, прием гостей, но Нонибала быстро признавала свое поражение, затаив в душе презрение к скупости мужа.

Но теперь слово Одхорлала перестало быть законом для жены. В расходах на сына он вынужден был уступать ей, и расходы эти все росли и росли. Ему приходилось оплачивать все — запястья, браслеты и ожерелья, шапочки и всевозможные индийские и заграничные украшения. Победа достигалась разными средствами, иногда это были беззвучные слезы, а иногда поток крикливой брани.

Нонибала покупала малышу всяких вещей — нужных и ненужных — и не признавала никаких ссылок на отсутствие денег и отсрочек.

Бенугопал рос, и мало-помалу Одхорлал привык тратить на него. За большие деньги он нанял сыну учителя, обладавшего не одной ученой степенью. К сожалению, почтенный старец стал утверждать свой авторитет далеко не изысканным способом; он, по-видимому, с самого начала взял неверный тон и, естественно, завоевать расположение ребенка был не в состоянии.

— Ну что это за учитель. Ребенку делается плохо, как только он появляется. Прогони его, — говорила Нонибала.

Старику отказали от места. Нового учителя Нонибала выбирала, как невесту на смотринах. Ей никто не нравился — претендентам не помогали ни дипломы, ни удостоверения.

Но вот однажды в доме появился новый кандидат — молодой человек в грязном чадоре и рваных парусиновых туфлях. Звали его Хоролал.

Его мать, вдова, очень хотела дать сыну образование. Она нанималась кухаркой, ходила шелушить рис в чужих домах и с большим трудом, но все же дала сыну среднее образование. Хоролал поклялся, что не бросит учиться и поступит в колледж в Калькутте.

Полуголодное существование привело к тому, что лицо его сузилось, заострилось и очертаниями своими стало напоминать мыс Коморин, как он выглядит на карте Индии, и только широкий лоб был великолепен, как Гималайский хребет. Глаза его сверкали, как раскаленные песчинки пустыни, и горели каким-то лихорадочным огнем. Такие глаза часто встречаются у бедняков.

— Тебе что? Кого тебе нужно? — спросил Хоролала привратник.

Тот робко ответил:

— Я бы хотел поговорить с хозяином.

— Нельзя, — отрезал привратник.

Хоролал топтался в нерешительности, не зная, что еще сказать.

В это время около ворот оказался Бену. Он наигрался в саду и сейчас бежал домой.

— А ну проваливай, бабу! — закричал привратник Хоролалу.

Неожиданно Бену закапризничал.

— Никуда он не пойдет! — воскликнул он, схватил Хоролала за руку и потащил его на второй этаж к отцу.

Одхор-бабу только что поднялся после полуденного сна и сидел, развалившись в плетеном кресле, на веранде. Рядом с ним на жесткой деревянной скамейке сидел старый Ротиканто и курил трубку.

И тут свершилось нечто невероятное: Хоролал получил место учителя.

— Какое у вас образование? — осведомился Ротиканто.

— Экзамены за среднюю школу я сдал, — опустив голову, ответил Хоролал.

— Как, только за среднюю школу? — удивился Ротиканто. — А я полагал, что вы уже окончили колледж, — выглядите вы совсем уж не так юно.

Хоролал молчал. Он не знал, что любимым занятием Ротиканто было мучить тех, кто как-то зависел от его хозяина или рассчитывал на его милость.

Ротиканто попытался обнять мальчика.

— Сколько магистров и бакалавров приходило и уходило, — сказал он, — и ни один не пришелся по вкусу. И вот теперь наше золотко будет заниматься с недоучкой.

— Пусти! — крикнул Бену, вырываясь из объятий Ротиканто.

Бену не выносил Ротиканто, а старику бурная любовь мальчика казалась милым ребячеством и доставляла особенное удовольствие. Он не упускал случая называть Бену «золотко» и «ясным месяцем», чтобы заставить его позлиться.

Хоролал решил, что после такого разговора здесь довольно трудно рассчитывать на работу, и стал придумывать благовидный предлог, чтобы подняться и уйти.

Но в этот момент Одхорлала осенило: ведь молодому человеку можно будет платить сущие гроши! И вскоре они сошлись на том, что Хоролал будет готовить Бену по всем предметам за стол, комнату и пять рупий в месяц. Конечно, отдельная комната — это со стороны хозяина большая милость, но, без сомнения, с молодого человека в благодарность за это можно будет требовать больше.

Итак, в доме Одхорлала поселился новый учитель. Бену и Хоролал сразу же подружились, — можно было подумать, что они родные братья. В Калькутте у Хоролала не было ни родных, ни друзей, и мальчишка совершенно завладел его сердцем. Бедняга Хоролал ни к кому еще не привязывался так сильно, как к этому ребенку. До сих пор с утра до вечера он был поглощен своими занятиями, считая, что только образование может вывести его в люди.

Мать его постоянно работала на чужих людей, зависела от их милостей, и поэтому с детства мальчик испытывал одни лишения; он не вкусил счастья тайно нарушать запрет старших, не знал детских шалостей. Товарищей у него не было, и одиночество его делили лишь потрепанные книги да сломанная грифельная доска.

Ребенок, которому с детства приходилось быть примерным, видеть страдания матери, постоянно подлаживаться к окружающим или бояться как-то их раздражить, не зная, что такое беспечность, и проявлять недетскую выдержку, чтобы, страдая, не плакать, а играя, не резвиться, как никто, достоин жалости. Но ведь такого ребенка чаще всего жалеют меньше других!

Униженный и обездоленный Хоролал и не подозревал, сколько нежности скопилось в его душе, — нежности, которая только и ждала подходящей минуты, чтобы прорваться наружу.

Игры с Бену, уроки с ним, бессонные ночи, проведенные у его постели во время болезни, многое открыли Хоролалу. Он понял, что человек живет не только ради обеспечения своего будущего благополучия, что в жизни есть и другие ценности, открыв которые он забывает о себе.

Бену тоже всей душой тянулся к Хоролалу. Он был единственным мальчиком в семье. Играть с сестренками — из них одна была совсем крошечная, а другая — едва достигла трех лет — он считал ниже своего достоинства. Конечно, по соседству жило немало мальчишек его возраста, но Одхорлал глубоко верил в то, что на общественной лестнице он стоит неизмеримо выше соседей и не допускал, чтобы сыну мог найтись здесь достойный това-

рищ для игр. Таким образом, Хоролал стал единственным товарищем Бену. И ему приходилось одному безропотно терпеть деспотизм мальчика, которому тиранить больше было некого. Но это обстоятельство лишь усиливало любовь Хоролала к своему ученику.

Ротиканто не раз предостерегал Одхорлала от того, что учитель испортит мальчика, да и самому Одхорлалу иногда казалось, что учитель слишком уж привязан к ребенку. Но разлучить их не мог никто.

IV

Бену исполнилось одиннадцать лет. Хоролал к тому времени перешел на третий курс колледжа с отличием и получил стипендию. Нельзя сказать, что у Хоролала совсем не было товарищей, но Бену по-прежнему был ему ближе всех. Вернувшись с занятий, он шел гулять с мальчиком к Голдигхи или в Иден-гарден и во время прогулки с воодушевлением рассказывал ему о подвигах древнегреческих героев или передавал содержание романов Вальтера Скотта и Виктора Гюго. Он декламировал английские стихи, переводил их затем на бенгальский и объяснял смысл, читал шекспировского «Юлия Цезаря» и все хотел, чтобы Бену выучил наизусть монолог Антония.

Мальчик словно волшебным ключом коснулся сердца Хоролала и открыл его. Раньше, когда Хоролал один занимался английской литературой, он воспринимал ее совершенно иначе. Теперь же, натолкнувшись на что-нибудь интересное из истории, естествознания или литературы, он первым делом думал о том, как рассказать об этом Бену. Желание возбудить в Бену радость познания удваивало его собственную энергию, воодушевляло его.

Возвратившись из школы, Бену торопливо обедал и бежал к Хоролалу. Как ни старалась мать, что она ни придумывала, чтобы удержать его возле себя, это ей не удавалось. Стоит ли говорить, что Нонибала была этим весьма недовольна. Ей казалось, что учитель нарочно старается привязать к себе мальчика, чтобы сохранить за собой место.

И вот однажды она вызвала Хоролала к себе и, стоя за занавесом, защищавшим ее от взгляда постороннего мужчины, сказала:

— Ты ведь всего лишь учитель, так и занимайся с мальчиком час утром и час вечером. Совершенно незачем вам неразлучно быть вместе. Он теперь никого не признает — ни мать, ни отца. Чему ты его учишь? Раньше, бывало, слово матери заставляло его плясать от радости, а теперь его не дозовешься. Ведь Бену — мальчик из знатной семьи, и не дело ему дружить с тобой.

Хоролалу и раньше приходилось слышать, как Ротиканто рассказывает Одхору-бабу всякие небылицы о проходимцах, которые проникают в дома под видом учителей, втираются в доверие своих учеников, вступают в управление имуществом, когда дети становятся совершеннолетними, забирают все в свои руки и начинают вертеть молодыми хозяевами, как им угодно. Хоролал, конечно, понимал, каких проходимцев имеет в виду Ротиканто, но молчал и терпел.

Однако теперь, когда он услышал то же самое от матери мальчика, ему стало очень больно. Вот, значит, как смотрят на учителя в богатом доме. Учитель обязан снабжать ученика знаниями, подобно тому как корова снабжает его молоком. Нежные, дружеские отношения с мальчиком были в их глазах наглостью, возмущали всех — начиная от слуг и кончая хозяйкой дома, представлялись им просто ловким приемом, рассчитанным на достижение каких-то затаенных целей.

— Хорошо, ма, — с дрожью в голосе ответил Хоролал хозяйке, — теперь я буду только давать Бену уроки. Я не буду проводить с ним свободное время.

Хоролал сдержал свое слово и после занятий в колледже не пошел прямо домой, а отправился бродить по улицам. На сердце у него было очень тяжело.

Он вернулся только к вечернему уроку. Мальчик был хмур и невесел. Хоролал не стал объяснять причины своего отсутствия. Урок прошел вяло, кое-как.

Обычно Хоролал вставал, когда было еще совсем темно, и готовился к лекциям в колледже. Потом просыпался Бену. Умывшись и позавтракав, он прибежал к учителю, и они шли в сад кормить крошками рыбок в бассейне.

В одном из уголков сада Бену строил из камней миниатюрную беседку, вокруг которой был даже разбит маленький парк с забором и дорожками. Они долго возились там, а когда становилось жарко, возвращались домой и брались за уроки.

В этот день Бену встал раньше, чем всегда. Ему хотелось дослушать историю, которую учитель начал рассказывать ему накануне вечером. Он хотел сделать приятное Хоролалу, поднявшись так рано. Но учителя в комнате уже не оказалось. Привратник сказал, что он куда-то ушел.

На урок Бену пришел тихий и подавленный. С задумчивым видом слушал он Хоролала, но опять не спросил, почему его не было дома утром. А учитель избегал взгляда мальчика и, объясняя ему урок, не подымал глаз от книги. Когда мальчик пришел обедать, мать спросила:

— Что с тобой творится со вчерашнего вечера? У тебя такое кислое лицо, ты ничего не ешь.

Бену молчал. Мать нежно привлекла его к себе и продолжала допытываться, в чем дело. Наконец Бену не выдержал и залился слезами.

— Ма, учитель...

— Что учитель?

Но мальчик никак не мог объяснить, чем именно обидел его Хоролал.

— Он, наверное, жаловался тебе на твою ма? — спросила Нонибала.

Бену не понял, что хотела сказать мать, и, ничего не ответив, ушел.

V

В доме Одхора-бабу была обнаружена пропажа — исчезло несколько носильных вещей. Вызвали полицию. Во время домашнего обыска осмотрели и сундук Хоролала. Ротиканто с невинным видом заявил при этом:

— Разве вор станет класть ворованное в свой сундук?

Вещей так и не нашли. Одхорлал ходил злой и раздраженный, а Ротиканто все время подзуживал его.

— В доме столько людей, — говорил он, — не поймешь, на кого думать, кого подозревать. Каждый приходит и уходит когда ему вздумается.

В конце концов Одхорлал вызвал к себе Хоролала.

— Вот что, Хоролал, — сказал он, — меня не устраивает, что ты продолжаешь жить у нас в доме. Найди себе другую квартиру, а по утрам и по вечерам приходи заниматься с Бену, как всегда. Так будет лучше. Я даже согласен прибавить тебе две рупии к жалованью.

А Ротиканто, покуривая трубку, вставил:

— Да, так будет лучше — лучше и для вас и для него.

Хоролал молча выслушал хозяина. Он не был в состоянии что-нибудь ответить. Но, вернувшись в свою комнату, написал письмо Одхорлалу, в котором сообщил, что ему по некоторым причинам неудобно больше заниматься с Бену и он сегодня же покинет их дом.

Когда Бену вернулся из школы, комната учителя была пуста. Даже его поломанный железный сундучок исчез куда-то. Веревка, протянутая из угла в угол, осталась, но на ней больше не висели ни полотенце, ни чадор Хоролала.

А на столе, который прежде всегда был завален книгами и тетрадями, теперь стояла большая стеклянная банка, в которой, поблескивая плавниками, плавала золотая рыбка. К банке была приклеена бумажка, на которой рукой учителя было выведено «Бену», а рядом лежала английская книга с картинками в дорогом переплете. На титульном листе тоже стояло имя Бену и число.

Бену кинулся к отцу.

— Папа, где учитель, куда он ушел?

Отец взял сына за руку и привлек к себе.

— Учитель отказался работать у нас и уехал, — сказал он.

Бену вырвал руку, убежал в соседнюю комнату и, уткнувшись в подушку, горько заплакал. Все попытки Одхора-бабу утешить его оказались тщетными.

На следующий день, в половине десятого утра, грустный Хоролал сидел на койке у себя в комнате, размышляя о том, идти ли ему сегодня в колледж. Неожиданно в дверях появился один из слуг Одхорлала, следом за ним шел Бену. Мальчик бросился учителю на шею. У Хоролала комок застрял в горле. Он боялся, что не сможет сдержать слез, если заговорит, и потому молчал.

— Учитель, вернитесь к нам, — прерывающимся голосом сказал Бену.

Оказалось, что Бену упросил старого привратника Чондروبхана узнать, куда уехал Хоролал, и проводить его к учителю. Чондروبхан разыскал носильщика, который нес вчера сундук Хоролала, выведал у него, что учитель поселился в пансионе, и по дороге в школу завез к нему мальчика.

Хоролал и себе не мог бы дать ясного отчета, почему для него совершенно невозможно было вернуться в дом Одхорлала. Тем не менее это было так.

И все же он еще долгое время вспоминал, как Бену бросился к нему на шею, просил вернуться, и чувствовал комок в горле. Но время шло, постепенно оборвались последние ниточки, связывавшие его с бывшим учеником, и невыносимая боль уже не сжимала больше его сердце при воспоминании о мальчике.

VI

Разлука с маленьким другом тяжело сказалась на занятиях самого Хоролала. Он потерял способность сосредоточиваться, стал быстро уставать, посидев немного над учебниками, отодвигал их, выходил на улицу и без всякой цели быстро шагал по городу. Он стал небрежно записывать лекции и часто сам не мог разобраться в своих записях, потому что значки в его тетрадях скорее всего напоминали древнеегипетские иероглифы.

Хоролал понимал, что все это к добру не приведет. Если ему даже и удастся сдать экзамены, стипендии он не получит, а без стипендии ему и дня не прожить в Калькутте. Матери тоже нужно было посылать хотя бы несколько рупий. Он хорошо знал, что службу найти в Калькутте трудно. Однако не менее хорошо он знал и то, что без службы пропадет. Поэтому, как ни слаба была надежда, он отправился искать место.

Ему посчастливилось. Он понравился управляющему крупной английской фирмы, в контору которого забрел в поисках работы.

Англичанин верил в свою способность распознавать людей с первого взгляда. Побеседовав с Хоролалом, он решил: этот подойдет.

— Дело знаешь? — спросил управляющий.

— Нет.

— Можешь внести залог?

— Нет.

— Можешь представить рекомендации от каких-нибудь влиятельных лиц?

— Нет.

Англичанин был восхищен.

— Отлично. Для начала будешь получать двадцать пять рупий, освоишься с работой — станешь получать больше.

Затем он критическим взглядом окинул костюм Хоро-лала.

— Вот тебе аванс — пятнадцать рупий. Закажи себе приличный костюм.

Костюм сшили, и Хоролал приступил к работе. Работать ему приходилось невероятно много. Управляющий, по-видимому, считал, что Хоролал обладает сверхъестественной выносливостью. Он заставлял его оставаться в конторе после того, как все расходились, и требовал даже иногда, чтобы тот приходил к нему домой поздно вечером заканчивать срочную работу. Зато благодаря этому Хоролал очень быстро вошел в курс дела и скоро разбирался во всем гораздо лучше остальных клерков. Сослуживцы завидовали ему и старались восстановить против него управляющего, но этот робкий, молчаливый, маленький клерк был, казалось, неуязвим.

Как только заработок Хоролала достиг сорока рупий в месяц, он выписал из деревни мать и поселился с ней в маленьком домике на окраине. Наконец-то мать его узнала счастье.

— Женился бы ты, сынок, — сказала она ему как-то. Хоролал низко склонился и взял прах от ее ног.

— Ма, прости меня, но я...

Тогда старушка обратилась к нему еще с одной просьбой:

— Пригласи когда-нибудь пообедать с нами Бену. Ты мне о нем много рассказывал. Я хочу на него посмотреть.

— Как мы можем принять его в такой хибарке, — возразил Хоролал. — Вот подожди, переедем в хороший дом, тогда и пригласим.

Жалованье Хоролала неуклонно росло, и скоро он действительно смог переехать из маленького домика на окраине в особняк на оживленной улице. Но он так и не решался зайти к Одхорлалу или пригласить Бену к себе. Почему? Он, наверное, и сам не отдавал себе в этом отчета.

Возможно, Хоролал так никогда и не преодолел бы своей робости. Но вдруг он узнал, что мать Бену скоропостижно скончалась, и не теряя ни минуты отправился к Одхорлалу. После долгой разлуки ученик и учитель встретились снова, и Хоролал продолжал навещать Бену сразу после того, как кончился траур. Но в их отношениях не осталось почти ничего от прежней дружбы. Бену был уже совсем взрослым, на верхней губе у него пробивались усики. Одевался он щегольски и имел много приятелей — молодых людей одного с ним круга и положения. Бену развлекал их граммофонными пластинками с записями пошловатых песенок. Старый сломанный стул и стол, запачканный чернилами, безвозвратно исчезли из комнаты, где Бену когда-то занимался с Хоролалом. Их место занимала теперь отличная мебель, на стенах висели зеркала и картины.

Бену учился в колледже, но, видимо, не чувствовал никакой необходимости идти дальше второго курса. Однако отец считал, что какой-нибудь диплом будет немалым козырем, когда настанет время женить сына. В этом он не сходил с своей покойной женой.

— Нашему Бену, слава богу, не нужно сдавать экзамены, чтобы набивать себе цену, — не раз говорила она. — Ценные бумаги в несгораемом шкафу заменят ему всякое образование.

Эти слова матери юноша запомнил хорошо.

Как бы то ни было, учиться Бену было сейчас ни к чему — Хоролал отлично понимал это и лишь изредка вспоминал о прежних временах, о том дне, когда мальчик утром неожиданно вбежал к нему в пансион, обнял и попросил: «Учитель, вернитесь к нам». Теперь уже нет того Бену и того дома! Вряд ли кто-нибудь стал бы звать сейчас Хоролала вернуться. И Хоролал понимал также, что теперь он может пригласить Бену к себе. И все же у него не хва-

тало духу это сделать. Он совсем уже решался позвать его, но его каждый раз останавливала мысль — а какой в этом смысл? Бену, может быть, и придет, но зачем...

Однако мать не отставала от Хоролала:

— Я сама приготовлю ему самые вкусные блюда. Ведь у него нет матери...

И наконец Хоролал решился.

— Попроси только разрешения у Одхора-бабу, — сказал он Бену.

— Вот еще! Вы, наверное, думаете, что я все еще ребенок.

И вот Бену у них в гостях. Мать Хоролала благословила красивого юношу и потихоньку всплакнула при мысли о том, как тяжело было, наверное, расставаться с ним его матери.

Пообедав, Бену сказал:

— Учитель, мне придется уйти пораньше — ко мне должны прийти друзья.

Он вытащил из кармана золотые часы, взглянул на них, простился, сел в экипаж, запряженный парой, и уехал.

Хоролал стоял у дверей своего дома и смотрел вслед экипажу, который с грохотом катил по мостовой.

— Приглашай его к нам почаще, — сказала мать, — у меня сердце переворачивается, как вспомню, что он так рано лишился матери.

«Ну, нет, — с грустью подумал Хоролал. — Больше я его звать не буду. Что ни говори, а когда-то я работал у них учителем за пять рупий в месяц. Для них я всего лишь ничтожный Хоролал».

VIII

Вернувшись как-то поздно вечером домой со службы, Хоролал увидел, что в гостиной кто-то сидит. Он прошел бы мимо, но почувствовал, как на него пахнуло из дверей крепкими заграничными духами, и, войдя в комнату, спросил:

— Кто тут?

— Это я, учитель, — услышал он голос Бену.

— Что случилось? Ты давно меня ждешь?

— Да, уже порядочно. Я не знал, что вы так поздно приходите со службы.

После первого визита Бену ни разу не был у своего бывшего учителя. А сегодня вдруг взял и без всякого предупреждения пришел и долго ждал его, даже не зажигая огня, — это не могло не встревожить Хоролала.

Они вместе поднялись наверх, Хоролал зажег лампу и спросил Бену, как его дела.

Бену ответил, что учение ему страшно надоело. Он столько времени просидел на втором курсе, что ему теперь приходится заниматься вместе с юношами намного его моложе, и это ему неприятно. А отец уперся на своем и требует, чтобы он учился.

— Чего же ты хочешь? — спросил Хоролал.

— Я хотел бы поехать в Англию учиться на адвоката. Туда едет один мой однокурсник, хотя он подготовлен гораздо хуже, чем я.

— А отцу ты что-нибудь говорил о своем желании?

— Говорил, но он сказал, что, пока я не сдам экзамены, он и слушать не станет о поездке в Англию. А я уже совсем замучился и здесь ни за что не смогу заниматься.

Хоролал задумался.

— Сегодня отец изругал меня за то, что я не занимаюсь, — сказал Бену, прервав его размышления. — Если бы вы знали, как он только меня не называл! О, была бы жива ма, этого никогда бы не случилось.

Вспомнив о пережитом унижении, Бену заплакал.

— Давай пойдем вместе к отцу, — предложил Хоролал, — и я попробую уговорить его.

— Нет, к отцу я не пойду.

Хоролал вовсе не был доволен тем, что Бену поссорился с отцом и хочет остаться у него. Но он не мог сказать об этом Бену. «Надо подождать, — решил Хоролал, — пусть он успокоится, и тогда я отвезу его домой».

— Ты ужинал? — спросил он Бену.

— Нет, я не голоден, мне не хочется есть.

— Ну, это никуда не годится, — сказал Хоролал и пошел в комнату матери.

— Ма, пришел Бену, — сказал он, — надо будет его покормить.

Старушка очень обрадовалась и бросилась хлопотать. Хоролал умылся, переменял одежду и вернулся к Бену. Некоторое время он в раздумье ходил взад и вперед по

комнате, затем подошел к юноше, неуверенно положил руку ему на плечо и сказал:

— Послушай меня, Бену. Не надо ссориться с отцом и уходить из дому.

Бену моментально вскочил с дивана, на котором сидел.

— Если я мешаю вам, я пойду к Шотишу! — воскликнул он, собираясь уходить.

— Не сердись, — мягко сказал Хоролал, — пойдем поужинаем.

— Нет, есть я не буду.

Но в дверях он столкнулся с матерью Хоролала, которая несла поднос с разными блюдами, приготовленными для сына, а теперь предназначавшимися Бену.

— Ты куда это собрался, сынок? — спросила она.

— Я очень занят, мне надо идти.

— Нет, нет, никуда я тебя не пушу, пока ты не поешь.

Она взяла его за руку, отвела на веранду и насильно усадила, расстелив перед ним большой пальмовый лист.

Бену сердился и не хотел ничего есть. Мать Хоролала уговаривала его. Вдруг они услышали, что у подъезда остановился экипаж. Первым в комнате появился привратник. За ним, громко топая по лестнице, следовал сам Одхорлал. Бену побледнел. Мать Хоролала скрылась у себя в комнате. Одхор подошел к сыну и дрожащим от гнева голосом сказал, обращаясь к Хоролалу:

— Так я и знал! Ротиканто предупреждал меня, а я не верил, что у тебя могут быть такие планы. Ты решил прибрать к рукам Бену и вертеть им как хочешь. Но я не позволю это! Похищать мальчика! Я подам на тебя жалобу в полицию и не успокоюсь, пока не запрячу тебя в тюрьму. Вставай! Живо! — приказал он Бену.

Бену, не говоря ни слова, встал и поплелся за отцом. После их ухода Хоролал не мог проглотить ни куска.

IX

Торговая фирма, в которой служил Хоролал, начала делать в сельских районах крупные закупки риса. Каждую субботу Хоролал брал в конторе семь-восемь тысяч рупий и с первым утренним поездом ехал расплачи-

ваться по счетам. В одном из населенных пунктов была устроена контора, где производились расчеты с посредниками и агентами. Приезжая туда, Хоролал просматривал расписки и счетные книги, подводил недельный баланс и там оставлял деньги, предназначавшиеся для текущих расходов. Вместе с ним обычно ездили два охранника.

Сослуживцы начали говорить о том, что Хоролал работает без залога. Но управляющий взял всю ответственность на себя.

— Хоролал не нуждается в залогах, — заявил он.

Работа началась в середине января, и были все основания предполагать, что она затянется до апреля. Хоролал был теперь особенно занят. Он часто возвращался домой очень поздно. Как-то раз придя вечером домой, он узнал, что Бену снова был у них и что мать угощала его обедом. После этого визита старушка стала относиться к юноше с еще большей нежностью.

Визиты продолжались.

— У него ведь нет матери, вот мальчик и тянется к нам. А он для меня все равно что собственный сын — младший брат твой. Конечно, ему приятно чувствовать, что его любят, что он может назвать кого-то ма. Вот он и ходит, — сказала она и вытерла глаза краем сари.

Наконец, Хоролалу удалось встретиться с Бену, который на этот раз дождался его. Они разговаривали до поздней ночи. Бену сказал:

— Отец все время в отвратительном настроении, и я больше не могу жить с ним вместе. Кроме того, он собирается жениться. Роти-бабу уже подыскивает ему невесту — они только и делают, что шепчутся об этом. Раньше стоило мне немного задержаться где-то, отец места себе не находил, а теперь я могу пропадать хоть по нескольку дней — ему все равно, он даже рад этому, потому что сейчас он ни о чем не может думать, кроме своей свадьбы. А уж если он действительно женится, мне нельзя оставаться в доме. Посоветуйте, что мне делать? Я хочу стать самостоятельным человеком.

Смешанное чувство горечи и жалости овладело Хоролалом. Мысль о том, что в трудную минуту Бену пришел именно к нему, к своему бывшему учителю, скорее радовала, чем огорчала его. Но чем он, учитель, мог помочь юноше?

— Мне необходимо уехать в Англию учиться на адвоката, иного выхода нет, — говорил Бену.

— Но разве Одхор-бабу позволит тебе уехать?

— Ему же самому будет легче, если я уеду. Вот только как быть с деньгами. При его скаредности вытянуть у него деньги на поездку в Англию не так-то просто. Придется прибегнуть к хитрости.

Рассудительность Бену насмешила Хоролала.

— Как же ты думаешь это сделать? — улыбнувшись, спросил он.

— Я займу деньги под вексель, а когда кредитор подаст на меня в суд, отцу волей-неволей придется заплатить мой долг. На эти деньги я уеду в Англию. А уж если я буду за границей, он не сможет не посылать мне денег.

— Все это так, но кто даст тебе в долг?

— А вы разве не сможете?

Пораженный Хоролал переспросил:

— Я?!

Больше он ничего не сказал.

— Ну да! Ведь я же своими глазами видел, сколько денег принес вам сегодня конторский охранник.

Хоролал засмеялся.

— На эти деньги у меня столько же прав, сколько у охранника.

Он стал объяснять Бену, в чем заключается его работа.

— Деньги эти только на одну ночь находят приют у такого бедняка, как я, наутро они разлетаются в разные стороны.

— А ваш начальник не может дать мне денег взаймы? Я согласился бы платить ему большие проценты.

— Если бы твой отец внес залог, то он по моей просьбе, наверное, дал бы.

— Если бы отец согласился внести залог, он с таким же успехом мог бы просто дать мне денег, — возразил Бену.

Разговор на этом окончился.

«Если бы у меня было хоть что-то — дом, какое-то имущество, я все продал бы и помог мальчику», — думал Хоролал.

Вся беда была в том, что ни дома, ни имущества у него не было.

Однажды в пятницу поздно вечером около дома Хоролала остановился экипаж, из него вышел Бену. Охранник низко ему поклонился и сейчас же побежал доложить своему господину. Бену застал Хоролала в спальне — он сидел на полу и считал деньги. Подняв глаза, Хоролал с удивлением отметил, что Бену на этот раз изменил своей обычной манере одеваться. Вместо дхоти и чадора его статную фигуру облакал дорогой европейский костюм, на голове была кепка. Почти на всех пальцах сверкали кольца с драгоценными камнями, из рукавов пиджака выглядывали манжеты сорочки с бриллиантовыми запонками, а из жилетного кармана тянулась цепочка от часов.

Хоролал перестал считать деньги.

— Что случилось? Почему ты так поздно и в таком виде?

— Послезавтра отец женится. Он скрывает это от меня, но мне сказали. Я попросил у него разрешения поехать на некоторое время в наше имение в Баракпуре. Отец был очень доволен и согласился. Я еду туда и не хочу больше возвращаться домой. Ах, если бы у меня хватило мужества, я утопился бы в Ганге!

Бену заплакал. Сердце Хоролала больно заныло. Он прекрасно понимал, что Бену должно быть невыносимо смотреть на то, как чужая женщина займет место, принадлежавшее когда-то его матери, поселится в ее комнате, будет спать на ее постели, трогать ее вещи. «Можно родиться богатым, — думал он, — но это все равно не спасет от страданий и унижений». Он не знал, как успокоить Бену, что ему сказать, и только взял его за руку. И внезапно в голову ему пришла мысль: «Ведь у него такое горе — зачем же он так нарядился?»

Бену заметил, что Хоролал смотрит на бриллиантовое кольцо, и, видимо, понял молчаливый вопрос своего учителя.

— Это кольцо принадлежало моей матери, — сказал он.

У Хоролала на глаза навернулись слезы.

— Ты ужинал, Бену? — спросил он.

— Да, а вы?

— Я не могу выйти из комнаты, пока не пересчитаю деньги и не запру их в сейф.

— Идите ужинайте, а я покараулю деньги. Мне нужно о многом с вами поговорить. Ведь мать, наверное, уже жаждалась вас.

После некоторых колебаний Хоролал сказал:

— Ладно, я быстро поем и приду.

Наскоро поужинав, Хоролал вернулся вместе с матерью. Бену низко поклонился ей, а она нежно поцеловала его в подбородок. Сын уже все ей рассказал, и сердце ее разрывалось от сострадания. Она знала, что, как бы она ни старалась, заменить Бену родную мать никогда не сможет, и это ее мучило.

Они сидели втроем среди разложенных на полу мешочков с деньгами и разговаривали. Вспомнили детство Бену и учителя, жившего у них в доме, мать Бену, горячо любившую сына.

Было уже очень поздно, когда Бену неожиданно посмотрел на часы и сказал:

— Больше я не могу сидеть, если я опоздаю, то пропущу поезд.

— Оставайся сегодня у нас, сынок, а завтра утром поедешь вместе с Хоролалом, — возразила старушка.

— Нет, нет, — взмолился Бену, — не просите меня, пожалуйста, мне во что бы то ни стало надо уехать сегодня. Учитель, — добавил он, обращаясь к Хоролалу, — я боюсь брать с собой все эти драгоценности. Оставьте их у себя, а я заберу их обратно, когда вернусь. Скажите вашему слуге, чтобы он принес из экипажа мой чемоданчик. Я сложу их туда.

Когда слуга вернулся, Бену снял часы, кольца, запонки и положил все это в чемоданчик. Осторожный Хоролал сейчас же спрятал его в сейф.

Затем Бену взял прах от ног матери Хоролала. Она благословила его со слезами в голосе.

— Пусть сама Дурга станет твоей матерью и защитит тебя, — сказала она.

Затем Бену распростерся ниц и коснулся лбом ног Хоролала. Прежде он никогда этого не делал. Хоролал молча его обнял, и они вместе спустились вниз. Ярko горели газовые фонари. Бену сел в экипаж. Жаждавшие лошади

рывком взяли с места. Мгновение, и они унесли Бену в сияющую тысячами огней ночную Калькутту.

Долго потом сидел Хороал в глубокой задумчивости у себя в спальне. Наконец он глубоко вздохнул и снова принялся считать мелкие деньги. Он еще раньше пересчитал банкноты, разложил их в парусиновые мешочки и спрятал в свой сейф.

XI

Спать Хороал улегся уже глубокой ночью, ключи от сейфа он положил под подушку. Спал он плохо. Ему приснилась мать Бену. Она выглядывала из-за занавески и громко его за что-то бранила. Он не мог разобрать ее слов, но зато отчетливо видел, как сверкают бриллианты и изумруды в ее кольцах и брошах, — ослепительные, разноцветные лучи, исходявшие от них, словно пронзали насквозь темную занавеску. Хороал хотел позвать Бену, но крик его застревал в горле — он не мог произнести ни слова. Вдруг занавеска оборвалась и с шумом повалилась на пол. Хороал вздрогнул, проснулся и открыл глаза. Было совсем темно. Порыв ветра распахнул окно и погасил лампу. Хороал зажег ее и посмотрел на часы. Было уже четыре часа — лечь снова не имело смысла, нужно было собираться в дорогу. Хороал умылся и шел к себе, когда его окликнула мать.

— Ты что это так рано, сынок? — спросила она.

Хороал зашел в спальню к матери и низко поклонился ей. Она благословила его и сказала:

— Знаешь, а я только что видела сон — ты поехал за невестой. Утренние сны сбываются.

Продолжая улыбаться, Хороал вошел в свою комнату, вытащил мешочки с деньгами из сейфа и стал складывать их в саквояж. Вдруг сердце его замерло. Ему показалось, что три мешочка пусты! Может быть, он еще не проснулся, может быть, все это ему снится? Он схватил мешочки, хлопнул ими по крышке сейфа. Сомнения не было — кто-то опустошил их! Тем не менее, он развязал мешочки и стал отчаянно трясти их; вдруг из одного выпало два письма, написанных рукой Бену, — одно на имя отца, а другое на имя Хороала.

Судорожно разорвав конверт, он стал читать. Но слова сливались, и он ничего не мог разобрать. Решив, что в комнате слишком темно, он усилил огонь в лампе. Но тут выяснилось, что он не понимает того, что читает, словно забыл вдруг свой родной бенгальский язык.

В конце концов, смысл письма он все же понял — Бену взял три тысячи рупий — они нужны ему для поездки в Англию. Пароход должен отплыть сегодня на рассвете. Он взял деньги, пока Хоролал ужинал. Бену писал:

«Я прошу отца, чтобы он покрыл мой долг. Кроме того, драгоценности моей матери, которые я оставил вам, должны с лихвой покрыть эти три тысячи. Если бы мать была жива и отец не давал мне денег на поездку в Англию, она, конечно, продала бы их и снарядила меня в дорогу. Я не перенес бы, если бы отец отдал эти вещи другой женщине. Поэтому при первом удобном случае я взял их. Если отец затянет с уплатой моего долга, вы сможете легко продать или заложить эти драгоценности. Они принадлежат моей матери, а значит, мне».

В письме было написано многое другое, не относившееся к делу.

Хоролал запер свою комнату, бросился на улицу, нанял экипаж и поспешил к пристани Метийабуруджа на набережной Ганги. Но он не знал названия парохода, на котором должен был уехать Бену, а на пристани ему сказали, что сегодня в Англию отошли два парохода. Разве мог он узнать, на каком из них находится Бену, и связаться с ним!

С пристани он вернулся домой. Солнце заливало утренним светом дома и улицы. Калькутта просыпалась, но Хоролал ничего не видел. Темная пелена застилала глаза. Ему казалось, что кто-то невидимый и страшный неотвратно надвигается на него. Экипаж остановился около дома. За этой дверью его ждала мать. Обычно стоило ему переступить порог — и сразу же исчезала вся усталость и все неприятности рабочего дня. Хоролал расплатился с кучером и подавленный, растерянный вошел в дом. Мать выбежала ему навстречу.

— Куда ты ездил, сынок? — встревоженно спросила она.

— Я искал тебе невестку, — ответил он с неестественной улыбкой и вдруг потерял сознание.

— О господи, что же это такое? Да что же такое? — запричитала старушка. Она бросилась в кухню, принесла воды и дрожащей рукой стала брызгать Хоролалу в лицо.

Наконец он очнулся и пустыми глазами посмотрел вокруг...

— Не беспокойся, ма, — сказал он, — мне уж лучше, только я хочу побыть один.

Он заперся у себя в комнате. Мать опустилась на пол и, не обращая внимания на палящее солнце, осталась под запертой дверью, выкрикивая время от времени:

— Хоролал, сыночек мой, Хоролал!

— Ма, я выйду попозже, иди пока к себе.

Но старуха продолжала сидеть на солнце и бессвязно бормотала молитвы.

Пришел охранник, постучал в дверь и сказал:

— Пора ехать, бабу, а то мы опоздаем на поезд.

Не отпирая двери, Хоролал ответил:

— Семичасовым поездом мы не поедем.

— А когда?

— Я скажу после.

Охранник недовольно покивал головой и пошел вниз. Хоролал напряженно думал:

«Разве я могу кому-нибудь сказать об этом? Ведь это кража! Ведь за это полагается тюрьма!»

Внезапно он вспомнил о драгоценностях. Он совершенно забыл о них. Словно луч света прорезал вдруг окутавший его мрак. Он открыл чемоданчик. В нем были не только кольца, часы и запонки, там лежали браслеты, золотые обручи, нити жемчуга — все это стоило, конечно, гораздо больше трех тысяч. Но ведь они не принадлежат Бену. Он украл их, так же как украл три тысячи. И пока этот чемоданчик находится у него, его могут обвинить в укрывательстве краденого.

Не медля ни минуты, он схватил письмо, которое Бену оставил для отца, и чемоданчик и бросился из комнаты.

— Ты куда, сынок? — крикнула ему вдогонку мать.

— К Одхорлалу.

Старушка почувствовала облегчение — тяжесть беспричинного страха спала с ее сердца. Она решила, что это известие о свадьбе отца Бену так сильно подействовало на ее сына, потому-то он до сих пор и не может успокоиться. О, как он любит Бену!

— Так ты, значит, сегодня не уедешь из города?

— Нет, нет, ма, — ответил Хоролал, выбегая на улицу.

Еще не дойдя до дома Одхора-бабу, он услышал свадебную мелодию нескольких флейт, ведущих друг с другом нежный разговор. Но едва он переступил порог, как сразу почувствовал холодок тревоги и натянутость в праздничной атмосфере дома. Привратники были, как никогда, строги, никого из слуг не выпускали из дома, на всех лицах были написаны страх и беспокойство. Хоролалу сказали, что вчера вечером были похищены драгоценности на большую сумму. В краже подозревали нескольких слуг и их должны были передать в руки полиции.

Хоролал поднялся на второй этаж. Одхор-бабу сидел на веранде. Он был вне себя от ярости. Рядом с ним сидел Ротиканто, с неизменной трубкой во рту.

— Мне нужно поговорить с вами наедине, — сказал Хоролал.

— У меня нет сейчас времени секретничать с тобой, — сердито ответил Одхор-бабу. — Говори, что надо.

Он решил, вероятно, что Хоролал пришел просить у него помощи или денег взаймы.

— Если бабу стесняется говорить при мне, я могу выйти, — сказал Ротиканто.

— Сиди и никуда не выходи, — раздраженно воскликнул Одхорлал.

— Вчера вечером Бену оставил у меня этот саквояж.

— Что в нем?

Хоролал открыл чемоданчик и передал его Одхору-бабу.

— А, ученичок и учитель затеяли вместе хорошее дело! Поняли, что их поймают, если они захотят сбыть ворованное, потому и вернули, — решили, что получат награду за честность!

Хоролал протянул Одхорлалу письмо Бену.

Но письмо это только еще больше взбесило Одхорлала.

— Ах так? — закричал он, — я сейчас вызову полицию. Мой сын — несовершеннолетний. Это ты похитил

его и тайком переправил в Англию. Наверное, одолжил ему пятьсот рупий, а сам заставил его подписать обязательство на три тысячи. Я не собираюсь признавать этот долг!

— Да я ему ничего и не одалживал.

— А откуда он взял эти деньги? Взломал твою шкапу и украл?

Хоролал молчал. Ротиканто, подмигнув своему патрону, сказал:

— Вы спросите его, видел он когда-нибудь своими глазами пятьсот рупий — я уже не говорю о трех тысячах.

Мало-помалу история с кражей драгоценностей прояснилась, но известие о побеге Бену в Англию вызвала новую бурю возмущения. Хоролалу пришлось принять всю вину на себя и молча удалиться.

Тупое отчаяние овладело им вновь. Он больше не испытывал ни страха, ни тревоги. Ему казалось даже, что он утратил всякую способность думать.

Подойдя к переулку, он увидел около своего дома экипаж. Неожиданно вспыхнула надежда: Бену вернулся! Ну, конечно же, он вернулся! Хоролал отказывался верить, что несчастье, обрушившееся на него, непоправимо.

Хоролал подбежал к экипажу и увидел своего сослуживца-англичанина. Англичанин вышел из экипажа, схватил Хоролала за руку и спросил:

— Ты почему сегодня не уехал?

Охранник, не добившись утром толку от Хоролала, пришел к управляющему и сообщил ему о своих подозрениях. Тот послал к Хоролалу своего помощника.

— Я обнаружил, что у меня пропали три тысячи рупий.

— Куда же они могли деваться?

Хоролал молчал.

— Знаешь что, — сказал англичанин, — давай хорошенько осмотрим все вместе.

Они поднялись наверх, снова пересчитали все деньги и тщательно, комнату за комнатой, осмотрели весь дом. Мать больше не могла сдерживаться — не обращая внимания на то, что в комнате находится посторонний, она вышла и с тревогой в голосе спросила:

— Что случилось, Хоролал? Скажи мне, что случилось?

— У меня украли деньги, ма.

— Украли? Как украли? — закричала она. — Кто мог украсть деньги? Кому понадобилось погубить нас?

— Молчи, ма!

Окончив поиски, англичанин спросил:

— Кто был у вас этой ночью?

— Никого. Я запер двери и лег спать.

Англичанин забрал оставшиеся деньги и сказал Хоролалу:

— Ладно, поедem к управляющему.

Увидев, что Хоролал уходит вместе с англичанином, мать испуганно преградила им дорогу:

— Сахиб, куда вы уводите моего сына? Я отказывала себе во всем, голодала — все для того, чтобы мой сын получил образование. Мой сын никогда не тронет чужих денег.

Но сахиб не понимал по-бенгальски и поэтому только приговаривал:

— Хорошо, хорошо!

— Да не волнуйся ты, ма. Я съезжу к управляющему и скоро вернусь.

— Ведь ты с утра еще ничего не ел, — продолжала волноваться старушка.

Но Хоролал отказался от еды и уехал вместе с англичанином.

И тогда мать, почувствовав прилив смертельной тоски, в отчаянии опустилась на пол.

Управляющий сказал Хоролалу:

— Ну, рассказывай правду, как было дело?

— Я денег не брал.

— Да в этом я нисколько не сомневаюсь. Но ты, безусловно, знаешь, кто взял деньги.

Хоролал стоял, потупив голову, и молчал.

— Кто-то, очевидно, взял их с твоего ведома, — сказал управляющий. — Кто это был?

— С моего ведома их взять никто не мог, — ответил Хоролал, — ему пришлось бы сначала убить меня.

— Вот что, Хоролал, — сказал управляющий, — я тебе доверял безусловно. Я не потребовал от тебя залога и поручал тебе по-настоящему ответственную работу. Все у нас в конторе возражали против этого. Три тысячи, конечно, небольшие деньги. Но тут задет мой престиж. Поэтому давай сделаем так: я даю тебе целый день — за

этот срок ты должен добыть деньги и вернуть их мне. Если ты это сделаешь, можешь продолжать работать, как будто ничего не произошло.

Управляющий встал. Было одиннадцать часов утра. Хоролал, понутив голову, вышел из конторы, а ликующие клерки принялись на все лады обсуждать позор, свалившийся на голову их сослуживца.

Итак, он получил день отсрочки — долгий-долгий день, лишь удлинявший срок его мучений, удлинявший срок пребывания в бездне безысходного отчаяния.

«Что делать, что мне делать?» — думал Хоролал.

Солнце нещадно палило, но он ничего не замечал. Он больше не искал выхода и без всякой цели упорно шел куда-то вперед.

Громадная Калькутта — город, в котором нашли себе приют десятки тысяч людей, представлялся ему сейчас огромной ловушкой, выбраться из которой не было никакой возможности.

Казалось, все в этом городе сговорились цепко держать в плену маленького, безобидного Хоролала. Никто его не знал, ни у кого не было причины ненавидеть его, и тем не менее окружавшие его люди были врагами.

А вокруг кипела жизнь — прохожие, толкая Хоролала, шли своей дорогой, из контор высыпали клерки, они толпились на тротуарах, пили воду из бумажных стаканчиков. Никто из них не обращал ни малейшего внимания на Хоролала. На Майдане под деревом лежал развалившийся какой-то прохожий, заложив руки под голову и задрав ногу на ногу. В сторону Калигхата проехал экипаж с девушками-индусками. Какой-то посыльный попросил Хоролала прочесть адрес — словно Хоролал был одним из многих, частицей этой толпы. Хоролал объяснил посыльному, куда нужно идти.

Закончилась работа в конторах и учреждениях. Экипажи начали развозить людей по домам. Продребезжал битком набитый трамвай, сидевшие в нем клерки высывались из окон, читая театральные афиши.

Но отныне Хоролал не принадлежал к этой толпе — у него не было ни работы, которая поглощала бы его день, ни часов отдыха после работы. Кипевшая вокруг него жизнь большого города — мчавшиеся экипажи,

шумная уличная толпа — то надвигалась, как грозная, неумолимая действительность, то вдруг отступала назад и начинала казаться каким-то сумбурным сном. Весь день он ничего не ел, ни на минуту не присел отдохнуть, не прятался в тень от раскаленных лучей солнца.

Он не помнил, как прошел день и наступила ночь, и ему чудилось, будто газовые фонари, словно глаза злых духов, подстерегающих свою жертву, буравят зрачками темноту.

Хоролал не замечал времени. В висках у него стучало, голова раскалывалась от боли, все тело горело, ноги отказывались служить. Жгучая тоска в сердце сменялась вдруг тунным отчаянием, и тогда он впадал в какое-то оцепенение.

Только одна мысль доходила до его сознания, один образ вставал перед его мысленным взором, одно слово срывалось с его губ — мать! Во всей огромной многолюдной Калькутте у Хоролала не было, кроме нее, ни одной близкой души, ему не к кому было обратиться.

Он мечтал о том, как глухой ночью, когда все улягутся спать, он придет к ней, молча положит голову ей на колени и уснет. Уснет, чтобы больше никогда не проснуться.

Но домой идти было нельзя, — он боялся, что за ним придут полицейские и будут оскорблять его на глазах у матери.

Он уже с трудом держался на ногах от усталости и, увидев извозчика, подозвал его.

— Вам куда, господин? — спросил извозчик.

— Все равно куда, просто я хочу подышать свежим воздухом. Покатай меня по Майдану.

Извозчик с подозрением посмотрел на странного клиента и хотел ехать дальше. Но Хоролал сунул ему рупию вперед, и, тронув лошадь, извозчик покатил к Майдану.

Смертельно усталый Хоролал прислонился пылающей головой к раме открытого окна и закрыл глаза. Медленно, постепенно стихала невыносимая боль, окончательно истерзавшая его. Приятная прохлада разлилась по телу, и невыразимое блаженство и покой наполнили душу. Как заблуждался он, думая, что ему нет спасения, что нет конца его мукам, его горю и унижению! Теперь он понял, что страшное отчаяние, овладевшее им, было порождено

страхом и что оно — ложь. Как железные тиски, сжимало отчаяние его душу. Сейчас эти тиски вдруг разжались. И он ощутил безграничную свободу. Словно порвались вдруг все цепи, приковывавшие его к земле, и перед ним открылись неведомые миры, где царили высшее блаженство и настоящий покой. И никто — даже самый могущественный владыка — не мог бы вновь накинута на слабого маленького Хоролала эти цепи страданий, унижений и несправедливости. Он вырвался из тенет им же самим сотканного страха и сердцем ощутил всю безграничность вселенной, принявшей его. И тотчас же перед ним возникло видение. Это была его мать. Ее образ рос и ширился, словно выступив из мрака, она озаряла его. Скромная и незаметная, сейчас она властно отодвигала в тень все, что окружало его до тех пор. Уже скрылись во тьме дома Калькутты, ее улицы, сады, магазины и базары. Оставались еще небо, ветер, звезды, но и они постепенно слились в одно ощущение — ласки нежной материнской руки. От ее прикосновения вмиг исчезли и боль, и тревога, и заботы, а затем померкло и сознание — словно лопнула вдруг жаркая опухоль... И больше уж не было ничего — ни тьмы, ни света, один только покой — безграничный и глубокий.

Башенные часы пробили час ночи. Извозчику надоело кружить по темным улицам Майдана.

— Бабу, лошади устали, говори, куда ехать, — сказал он.

Молчание. Извозчик соскочил с козел, потряс седока и снова спросил, куда его отвезти.

Молчание!

На этот вопрос Хоролал так никогда и не дал ответа.

КОММЕНТАРИИ

РОМАН «ДОМ И МИР»

Роман Р. Тагора «Дом и мир» впервые был опубликован в журнале «Шобудж Потро» («Зеленые листья»). Он печатался с апреля 1915 по февраль 1916 года. В 1916 году роман вышел отдельной книгой.

Как об этом свидетельствуют само название романа, а также имена героев (Никхилеш — «совершенный», Шондип — «воспламеняющий», Бимола — «чистая»), Тагор хотел показать в этом произведении отношения между «домом» и «миром», то есть между личным и общественным, показать ценность человеческой личности, наконец, поведение человека в эпоху больших общественных конфликтов. С этой целью Тагор обращается к недавнему прошлому своей страны.

В «Доме и мире» отражены события 1905—1908-х годов, бурной для истории Индии эпохи, когда в стране царила атмосфера духовного пробуждения. События времени заполняют мысли героев, логически мотивируют их поступки.

Отношения между «домом» и «миром» даются писателем в раскрытии характеров героев, в их идеологических и нравственных коллизиях и в авторской оценке «свадеша».

Национально-освободительное движение 1905—1908-х годов, вошедшее в историю под названием «свадеша», явилось началом массовой антиимпериалистической борьбы народов Индии против британского колониального господства.

Руководство движением было неоднородным. Наиболее передовые его деятели, так называемые «крайние», стремились развязать инициативу народа с тем, чтобы добиться независимости родины. Своим основным лозунгом они выдвинули бойкот английских товаров. Однако, обращаясь к народу, «крайние»

часто апеллировали к индуистской религии. Обращение к религии объективно играло на руку колонизаторам, которые стремились разжечь среди участников движения индо-мусульманскую рознь, что, конечно, не могло не сказаться отрицательно на движении в целом. Представители правого крыла национального движения не претендовали более чем на автономию в рамках Британской империи, преследуя лишь цель достижения экономических выгод для крупной национальной буржуазии. Естественно, они были против развертывания массового движения.

Выразителем мыслей и оценок автора в романе выступает Никхилеш. Он предлагает свою конструктивную программу «свадеши». Она идет вразрез с позицией левых, то есть «крайних», и очень сильно отличается от конституционных требований правых. Эта программа представляет собой выдвинутый Тагором в 1904—1908-х годах так называемый «план созидательной деятельности», продиктованный горячим желанием облегчить участь народа, но утопический по существу.

Тагор призывал интеллигенцию направить свои усилия на преобразования в деревне. Для этого он рекомендовал создавать специальные группы, которые, по его мысли, должны были заниматься постройкой школ, дорог, водохранилищ, а также выделением общественных пастбищ, устраивать народные музыкальные представления в деревне, выставки изделий кустарного производства и продуктов сельского хозяйства, читать лекции по медицине и санитарии. Тагор считал, что все это должно способствовать объединению всех индийцев, независимо от религиозной принадлежности, независимо от их имущественного положения, в общем стремлении, направленном на повышение благосостояния народа.

Идеи Тагора о духовном возрождении народа перекликались с просветительскими идеями «крайних» о «материальном, моральном и религиозном возрождении» народа. Но путь, которым шли «крайние» в борьбе за национальную независимость, вскоре оказался неприемлемым для Тагора, ибо он противоречил его религиозно-философским и этическим представлениям.

Герой романа, как и сам автор, непримиримый противник насилия. Никхилеш не приемлет насилия как средства борьбы за освобождение Индии. «Совершать насилие во имя родины — значит совершать насилие над родиной», — говорит он. По его мнению, достижение свободы, касается ли это отдельного человека, народа или страны, ни в коем случае не должно про-

исходить насильственным путем. Отвергая насилие вообще, Никхилеш, как и Тагор, предлагает в качестве основного и, может быть, единственного пути — путь примера, убеждения, самосовершенствования. Когда все поймут, думает он, что свобода необходима, она станет всеобщей и вечной.

При этом Никхилеш-Тагор исходит из того, что достижение общественного блага возможно только при полном развитии и утверждении каждой личности, при полном ее раскрытии. «Гармоническое развитие личности, — отмечал известный современный писатель и критик Гопал Халдар, — согласно Тагору, является *sine qua non*¹ человеческой жизни. Это означало требование свободы личности в буржуазном понимании, но в то же время предполагало единство личности и общества, и даже человека и природы, на что не претендует буржуазный индивидуализм. Тагор считал, что гармоническое развитие человеческой личности невозможно при эгоистической изоляции ее от мира»².

Однако нельзя не заметить, что Никхилеш особенно страстно осуждает именно тот акт насилия, который причиняет несчастье народу. И в этом он повторяет своего учителя Чондронатха-бабу, который внушил ему веру в людей и любовь к ним. «Родина, — говорит Чондронатх-бабу, — это не только земля, но и люди, которые живут на ней. А вы видели хотя бы краем глаза, как они живут? ...Вся их жизнь — непрерывная, упорная, тяжелая борьба за существование... Я, старик — ваш наставник, готов приветствовать вас и даже последовать за вами. Но если вы, размахивая знаменем свободы, будете попираť свободу бедняков, я восстану против вас и, если потребуется, отдам жизнь».

Устами Никхилеша и Чондронатха-бабу выражено характерное для Тагора того времени абстрактное понимание гуманизма, оторванное от конкретных исторических условий и потому лишенное действенности.

Другой герой романа, университетский товарищ Никхилеша — Шондип, аморальный, честолюбивый человек, готов пойти на любую сделку с совестью, даже на преступление ради достижения личной славы и власти. Шондип мыслит и действует по формуле — «цель оправдывает средства». Он утверждает, что можно и даже нужно обманывать непосвященных, чтобы

¹ *sine qua non* (лат.) — без чего не может быть.

² Халдар Г. Влияние Рабиндраната Тагора на жизнь и литературу современной Индии, в сб. «Рабиндранат Тагор. К столетию со дня рождения», ИВЛ, М. 1961, стр. 78.

заставить их служить родине, которую он по-своему чтит, но с которой зачастую отождествляет также свое личное благополучие. Он использует религиозные убеждения людей и играет на низменных человеческих инстинктах, не останавливается даже перед обольщением, обманом, воровством. Мечтая о счастье плотском, осязаемом, «земном», Шондип исходит из принципа: «мое — то, что я сумею отнять». Гипертрофированный эгоцентризм Шондипа, «возвышающий» его над другими людьми, порой смыкается с ницшеанством: «...все великое жестоко, — говорит он. — Справедливыми могут быть лишь заурядные люди. Несправедливость — исключительное право великих». Мрачный, хотя и не лишенный обаяния образ Шондипа, нарисованный Тагором тенденциозно, по существу выступает в пародийном плане и в целом, конечно, не соответствует исторической правде.

Жизненная установка Шондипа — себялюбие и человеконенавистничество — вызывает активный протест гуманиста Тагора. Писатель особенно остро почувствовал во время первой мировой войны, что пути достижения свободы в толковании ее людьми, подобными Шондипу, приводят к «свободе» насилия, уничтожения и смерти.

Причину того, что в романе единственным руководителем движения свадеши изображен Шондип, надо искать не только в отрицательном отношении писателя к данной форме национально-освободительного движения, но и в тревоге за судьбы цивилизации, которая может погибнуть от руки таких людей, как Шондип. И здесь Тагор остался «Великим часовым» (как его называл Ганди), всегда стоявшим на страже интересов угнетенных во всем мире.

Разрушительные идеи Шондипа отталкивают Тагора, убежденного сторонника и пропагандиста «созидательной деятельности». В них Тагор усматривает опасность, которая грозит и помещикам никхилешам, и крикливым «радикалам» шондипам, и, наконец, — самое главное — патриотическому делу возрождения страны.

Однако, наделяя одного из ведущих героев романа отрицательными свойствами характера, Тагор, по существу, снижает значение той роли, которую играло «свадеши» в антиимпериалистической борьбе народов Индии. Он вольно или невольно осуждает методы действия наиболее передовых политических сил Индии того времени и наиболее радикальные формы борьбы в движении свадеши. Тагор думал, что в конкретной

практике движения свадеши на первом плане находится якобы элемент «общинный», индусский. Усмотрев в национальной борьбе преобладание религиозно-общинного элемента (особенно знаменателен конец романа «Дом и мир» — Никхилеш становится жертвой кровавой стычки мусульман и индусов), Тагор разоблачением Шондипа предостерегает вождей «свадеши» от тех губительных последствий, которыми, по его мнению, чревата для национально-освободительного движения насильственная форма борьбы и отсутствие единства между двумя религиозными общинами.

Логикой развития событий и поведения действующих лиц писатель подчеркивает недолговечность успехов Шондипа: Бимола разлюбила его; слепо веривший в своего наставника, искренний и глубоко честный юноша Омулло разочаровался в нем, не оправдало себя и уничтожение английских тканей, к которому призывал Шондин, а ему самому, в конце концов, пришлось бежать из усадьбы Никхилеша, спасаясь от гнева народа, а может быть, и от самого себя.

Так, сопоставлением двух друзей-антиподов осуществляется политическая оценка событий 1905—1908-х годов.

Близкий друг Тагора — профессор-экономист П. Махаланобис в одной из своих статей, посвященных столетнему юбилею Р. Тагора, писал:

«По мере развития движения («свадеши». — Е. П.) Тагор все яснее сознавал, что оно становится все более индусским по своему характеру и что не уделяется достаточно внимания тому, чтобы вовлечь в это движение и мусульман. Возможно, это и было одной из причин, заставивших его постепенно отказаться от участия в движении свадеши. Впоследствии в хорошо известном романе «Дом и мир», написанном в 1915 — 1916-х годах, он подверг резкой критике стремление ограничить общенациональное патриотическое движение участием в нем одних индусов. Такая критика вызвала недовольство со стороны определенной части его соотечественников...»

Однако сравнением Никхилеша и Шондипа решается не только политическая задача. В идеологическом противоборстве Никхилеша и Шондипа сталкиваются две диаметрально противоположные идеи: «все для других» (Никхилеш) и «все для себя» (Шондин). Если в оценке политических событий Тагор занимал противоречивую позицию, то в своих философско-эстетических взглядах он оставался верен высоким гуманистиче-

ским идеалам. Тагор с большим художественным мастерством утверждает конечным выбором Бимолы правоту дела и моральных принципов Никхилеша.

Образ Бимолы — жены Никхилеша — нарисован Тагором с большой теплотой. К Бимоле сходятся все сюжетные нити романа; она выступает своего рода арбитром в идейно-политическом столкновении Никхилеша и Шондипа. Но Бимола играет в романе и самостоятельную, притом большую роль, ибо во многом она сама решает проблему отношения «дома» и «мира».

Перенеся центр тяжести этой проблемы на образ Бимолы, писатель достигает поразительного эффекта: замысел писателя и идея романа приобретают реалистическую конкретность.

В Индии начала XX века женщина представляла собой существо наиболее угнетенное, наиболее бесправное. В этих условиях натура незаурядная, ищущая, одаренная способностью глубоко и тонко чувствовать, была обречена на духовное умирание. Такова Бимола. Воспитанная в традиционном духе подчинения и покорности мужчине, Бимола вошла в дом Никхилеша преданной женой, высшее счастье которой — служить мужу. Никхилеш, страстно любивший жену, пробуждает в ней самосознание, но не находит для нее конкретного дела. Начатое Никхилешем довершает Шондип, однако беспринципность Шондипа развенчивает его в глазах Бимолы.

Огонь страсти, который зажег в Бимоле Шондип, явился для нее подлинным очищением. Когда в этом огне сгорел призрак созданного ее воображением героя и перед нею предстал «живой» Шондип, Бимола возвращается к мужу не во имя супружеского долга (хотя тема борьбы чувства и долга органически связана с образом Бимолы), а в силу истинной, вынесшей тяжкое испытание любви к нему. «Я ничего больше не боюсь, — пишет Бимола в своем дневнике. — Я вышла из огня. Пеплом стало то, что должно было сгореть, то, что уцелело, бессмертно».

Произошло самоутверждение личности Бимолы, и она отдает свою любовь Никхилешу теперь уже не по обязанности и не по обычаю, а полностью разделяя его идеалы.

В разрыве личного и общественного видит Тагор «корни запретной любви». Лучшие его героини от Читрангоды (драма «Читрангода», 1892 г.) до Бимолы стремятся к утверждению своих прав на равное с мужчинами участие в общественной жизни.

Роман «Дом и мир» написан в виде дневников. Форма переkreщающихся записей-рассказов трех действующих лиц —

Никхилеша, Бимолы и Шондипа — позволяет Тагору показать в «тройном освещении» и поступки героев, и их мотивировку, анализ и оценку. В чередующихся рассказах субъект и объект наблюдений меняется, и читатель видит каждого из трех героев то «изнутри», то «со стороны». Тагор в этом романе приходит к новой для бенгальской литературы форме социально-психологического романа и к неизвестным еще приемам художественного исследования человеческих характеров, расширив тем самым возможности реалистического романа в индийских литературах.

Е. Паевская

Стр. 7. *...лунцовую полосу твоего пробора...* — Речь идет о широко распространенном среди замужних женщин Индии обычае красить пробор в волосах синдуром, или киноварью.

Стр. 8. *...времена падишахов* — время правления императоров мусульманской династии — Великих Моголов (1526—1858).

...лепят маленьких идолов на празднике Шивы. — Ежегодно весной, в четырнадцатую ночь фальгуна (февраль — март) девушки-невесты лепят из глины маленькие фигурки Шивы, олицетворяющего в их представлении владыку будущего семейного очага.

Стр. 9. *Ману* — мифический прародитель человеческого рода. *Парашара* — имя легендарного древнего мудреца.

Стр. 11. *Шанкара стоял нищим у дверей Аннапурны...* — Шутливое смешение двух древних легенд. Одна из них основана на представлении о том, что богиня Дурга — кормящая мир (букв. Аннапурна), сжалась над Шивой, представшим перед ней в облике нищего, и накормила его; в то время как в другой — Дурга — простая бедная девушка (Ума), чтобы стать достойной своего супруга — бога Шивы, подвергла себя мучительным испытаниям.

Стр. 12. *Мантры* — священные стихи или гимны из вед в честь какого-либо божества. Мантры имеют якобы магический смысл и употребляются как заклинания.

Стр. 13. *Боро-рани* — здесь: старшая невестка, старшая хозяйка, то есть жена старшего сына в семье; *меджо-рани* — средняя невестка, *чхото-рани* — младшая невестка.

Стр. 18. *Ашон* — маленький коврик, используется во время религиозных церемоний.

Стр. 19. ...*Сита в изгнании* — ссылка на эпизод из древней поэмы «Рамаяна». Сита — жена героя поэмы царевича Рамы, изгнанного отцом из страны. Сита последовала за своим супругом и разделила с ним суровые лишения.

Стр. 20. *Свадеш* («свой», «национальный») — один из этапов национально-освободительного движения Индии — 1905—1908 годы, — проходившего под лозунгом борьбы за независимость («сварадж») и за развитие национального производства, против ввоза иностранных, преимущественно английских товаров.

Стр. 24. «*Банде Матарам*» («Приветствую тебя, Мать») — название песни, написанной известным бенгальским писателем Бонкимчондро Чоттопаддхаем (1838—1894) к роману «Анон-домотх» («Обитель радости»). Эта песня стала гимном движения *свадеш* (см. прим. к стр. 20).

Стр. 26. *Белый конь Индры*. — По преданию, бог-громовержец Индра ездил на белом коне, который вышел из пены, когда боги и демоны взбивали море, чтобы добыть напиток бессмертия — амриту.

Мы, женщины, не только Лакшми! Нет, мы еще и Сарасвати! — Соединение Лакшми и Сарасвати в одном лице — символизирует единство Красоты, Верности, Ума и Знания. Мифологическая традиция Индии донесла до нас образ богини Лакшми как олицетворение красоты и преданности, а образ богини Сарасвати как олицетворение мудрости и знания.

Стр. 27. *Джагаддхатри* (букв. «поддерживающая мир») — один из эпитетов популярного в Бенгалии божества — Матери-Дурги, выступающей в роли Кормилицы Вселенной, поддерживающей мир.

Стр. 30. *Кобирадж* — лекарь, использующий в лечебной практике средства народной медицины.

Стр. 32. *В битве с Махадевой, одетым в тигровую шкуру, Арджуна завоевал себе друга*. — Имеется в виду одна из легенд «Махабхараты». В легенде рассказывается о том, как Арджуна — один из героев «Махабхараты» — боролся против Шивы (он же Махадева), выступавшего в образе дикаря (горца). По преданию, Шива был одет в тигровую шкуру. Борьба завершилась заключением союза, и Шива, восхищенный мужеством и силой Арджуны, отдал ему свое божественное оружие.

Стр. 34. ...*сердце женщины — подобно кровавому лотосу*... — Сравнение с лотосом — устойчивый образ индийской поэтики: «сердце-лотос», «руки-лотосы», «глаза-лотосы» и т. д.

...обряд помазания кровавым сандалом... — здесь: смещение образа — литературный прием, вызывающий ассоциацию торжественной церемонии помазания на престол, возведения в сан.

Стр. 35. ...стихи Вальмики, отринувшего зло во имя любви и добра. — Речь идет о предании, связанном с именем легендарного поэта Индии Вальмики. По преданию, Вальмики был предводителем шайки разбойников. Захваченная в плен разбойниками и обреченная на смерть девушка своими слезами разжалобила Вальмики, в котором добро и любовь победили зло. Вальмики становится поэтом. Содержание этой легенды легло в основу пьесы Р. Тагора «Гений Вальмики» (1881).

Стр. 49. *Рани-ма* (букв. «мать-царица») — здесь: почтительное обращение к хозяйке.

Стр. 54. *Лалиталабангалата* (букв. «Прекрасный цветок гвоздики») — лирическая поэма Джаядевы (XII в.), классика бенгальской поэзии, писавшего на санскрите.

Стр. 71. *Ма́кара* — мифическое животное с головой антилопы и туловищем рыбы; эмблема на знамени бога любви Камадевы.

Стр. 74. *Мелодия светильника* — одна из индийских ритуальных мелодий.

Стр. 77. *Дамаянти сама выбирала себе мужа.* — В древней Индии был довольно широко распространен брак по принципу «сваямвара», когда невеста сама выбирала себе жениха. Одна из самых поэтических поэм «Махабхараты» рассказывает о преданной любви царевны Дамаянти к царевичу Налю, которого Дамаянти предпочла богам, претендовавшим на ее руку.

Стр. 84. *Точно так же погиб Равана...* — Здесь выражено своеобразное (встречающееся и у М. Дотто) толкование текста «Рамаяны» в той ее части (глава «Прекрасная»), где речь идет о похищении демоном Раваной жены Рамы — Ситы, которую Равана хотел сделать своей женой. Сита отвергла притязания Раваны и осталась верна Раме. Брат Раваны — Вибхишана выдал Раме местонахождение Ситы и тем самым навел его на след Раваны, которому было суждено погибнуть от руки человека. Глава о Ланке («Ланка») рассказывает о битве Рамы с Раваной и о гибели последнего.

Стр. 86. *Месяц бхадра* — шестой месяц бенгальского календаря, соответствует европейскому августу — сентябрю. В тексте приводятся строки из стихотворения Биддапотти (Видьяпати, XIV—XV вв.) — поэта вишнуитского направления.

Стр. 87. ...на горе Кайласе, среди лотосов озера Манаса, встретились Шива и Парвати. — Древнее предание хранит поэтичную легенду о первом свидании бога Шивы и дочери царя гор Парвати. Эта тема нашла отражение во многих произведениях индийской литературы и живописи.

Стр. 88. «Ритусамхара» Калидасы — сборник в значительной мере эротических стихотворений древнего поэта Индии Калидасы (V в.).

Стр. 89. ...дневник Амиеля... — Амиель Анри Фредерик (1821—1881) — известный швейцарский философ и критик. Речь идет о его книге «Journal intime».

Стр. 90. Поселок номошудр — поселок, где живут представители одной из самых низких каст Индии.

Баташа — особый род сладостей, приготовленных из сахара и молока.

Стр. 91. Сиддхартха — Сиддхартха Гаутама — имя Будды в миру.

Стр. 92. ...из Боттолы в Лалдигхи... — Боттола — северная окраина Калькутты; Лалдигхи — деловой центр.

Стр. 93. ...превращенная в камень Ахалья. — Одна из древних легенд «Рамаяны» рассказывает о том, как супруга мудрого отшельника Гаутамы — Ахалья — нарушила супружеский долг. За этот грех она была проклята на десять тысяч лет и обращена в камень. Когда пыль ног Рамы коснулась камня, Ахалья ожила.

Стр. 97. Вайшнавья — поэты вишнуитского направления.

Стр. 102. Праздник Дивали — праздник огней, широко отмечаемый в Индии.

Стр. 109. Партия Конгресс — Индийский национальный конгресс, основан в 1885 году.

Стр. 117. Купцы-марвари — ростовщики и торговцы из Раджастана.

Стр. 124. ...подобно покинутой Шакунтале... — Речь идет о героине одноименной драмы Калидасы. Царь Душьянта, охотясь в лесах, забрел в уединенное жилище отшельника Канвы и тайно вступил в брак с его приемной дочерью Шакунталой. Вскоре Душьянта покидает Шакунталу, обещая прислать за ней. Однако над Шакунталой тяготеет проклятие мудреца Дурвасы, и Душьянта забывает о ней.

Стр. 125. Подобно Чанд Шодагор... он склонен прибегать к «божественным знаниям»... — Речь идет об одной из средневековых легенд, посвященной богине змей Моноше. Чанд Шодагор

был преданным почитателем Шивы, за что последний наградил его «божественным знанием». Долгое время Чанд не соглашался стать почитателем богини Моноши, и богиня решила его наказать. Один за другим от укуса змеи погибли все семь сыновей Чанда, но он оставался ревностным почитателем Шивы.

Стр. 128. *Арджуна всегда знал Кришну лишь как своего возницу, но Кришна мог явиться вселенной и в другом облике.* — В основном сюжете «Махабхараты» Кришна выступает в роли возницы одного из героев поэмы — Арджуны. Однако впоследствии «Махабхарата» обогатилась рядом легенд, где Кришна выступал и в роли наставника и учителя. В частности, в одной из книг «Махабхараты» — «Бхагавадгите» — Кришна ведет с Арджуной философскую беседу.

Стр. 129. *...десятирукая богиня, восседающая на льве...* — богиня Дурга.

Стр. 139. *...Будда, а не Александр* — то есть не Александр Македонский.

Стр. 140. *Ганготри* — место в Гималаях, где берет начало священная Ганга.

Стр. 143. *Кальпатару* — мифическое дерево, обладающее будто бы чудодейственной силой исполнять любое желание.

Стр. 145. *...церемония благословения брата (бхаипхонта)* — широко распространенный обычай, когда сестра ставит на лоб брата знак сандаловой пастой.

Стр. 154. *Лакшмана* — один из героев «Рамаяны» — младший брат Рамы, его верный спутник и друг.

Стр. 161. Цитируется отрывок из стихотворения английского поэта Роберта Броунинга (1812—1889) — «Кристина»:

Ей не следовало смотреть на меня,
Если она не хотела, чтоб я ее полюбил!
Есть много ... мужчин — так их называют,
По-видимому ... им она может открыть
Всю свою душу, если пожелает,
И все же они останутся такими, как прежде;
Но я не таков, и она это знала,
Когда остановила свой взор на мне, оглядывая их.

Гоур — древнее название западной части Бенгалии.

Стр. 163. *Бхойроби* — название одной из традиционных индийских мелодий.

Стр. 170. *Деби Чоудхурани* — героиня одноименного романа Бонкимчондро Чоттопаддхая, предводительница отряда крестьян-повстанцев.

Стр. 174. *Чхуту* — уменьшительное от чхото (чхото-рани).

Стр. 179. *Прошад* — остатки жертвоприношений богам; дать прошад — значит благословить.

Стр. 183. «*Многоводную, плодородную, овеваемую прохладным ветерком*» — строка из гимна «Банде Матарам» (см. прим. к стр. 24).

Стр. 188. *Радхаваллабха Тхакур* — одно из имен Кришны.

Стр. 190. *...радостное ржание, доносящееся из конюшен гандхарвов*. — В древней мифологии гандхарвы — небесные певцы и музыканты. Их изображали конеголовыми людьми.

В. Новикова

РАССКАЗЫ

Период 1891—1895 годов был одним из самых плодотворных в творчестве писателя. С ноября 1891 года по ноябрь 1895 года в каждом номере журнала «Шадхона» печатались рассказы Тагора. Журнал издавался на средства писателя. Тагор был его единственным, бессменным редактором. Однако, несмотря на большую популярность издания, доходы от него не покрывали расходов, задолженность росла — и в конце 1895 года Тагор был вынужден прекратить выпуск «Шадхоны».

В эти годы писатель жил в деревне, управлял делами имения семьи. Непосредственное общение с крестьянами, жизнь на лоне природы были, несомненно, значительным творческим стимулом. Кроме рассказов, Тагор в это время опубликовал на страницах «Шадхоны» большое число стихотворений и статей на самые разнообразные темы. Примечательно, что именно в эти годы писатель проявлял значительный интерес к социальным учениям и особенно к социалистической идее распределения общественных благ.

Из рассказов, написанных в этот период, шесть входят в настоящий том.

Цикл рассказов 1891—1895 годов — первый и самый значительный вклад в становление жанра короткого рассказа в бенгальской литературе и других литературах народов Индии.

После закрытия «Шадхоны» в течение нескольких лет Тагор не писал рассказов. С 1898 года писатель редактирует журнал «Бхароти», в котором до 1901 года публикует новый цикл рассказов. Шесть из них, включая повесть «Разоренное гнездо», вошли в настоящий том.

Тетрадь («Кхата»). Публикация в периодической печати неизвестна. Существует предположение (см. Б. Боппадахайдхайд и Ш. Даш, Библиография изданий Рабиндраната Тагора), что рассказ был напечатан в 1891 году в журнале «Хитобади». Известны последующие бенгальские публикации: Р. Тагор, Короткие рассказы (Р. Тхакур, Чхото голпо), 1894; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. I, изд-во М. Э.¹, 1900 г.; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди², 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), изд-во И. П. Х.³, 1908; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. I, изд-во В.⁴ (1926, 1946, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XVIII (1944, 1955). Английских изданий нет. В русских изданиях: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957; Р. Тагор, Свет и тени, М. 1957.

Стр. 213. *«Секреты Хоридаша»* — популярная в Бенгалии книга Бхубоночондро Мукхопаддхая и Упендрокришно Деба — переложение одного из романов английского писателя Рейнольдса.

Стр. 214. *«Котхамала»* — сборник басен, наиболее распространенная в Бенгалии книга для начального чтения, написанная выдающимся бенгальским просветителем и педагогом Ишшорчондро Биддашагором (1820—1891). По этому учебнику учащиеся начальных школ занимаются и в настоящее время. Басня о тигре и цапле входит в состав «Котхамалы».

Стр. 216. *«Чарупатх»* — популярная хрестоматия для начального чтения в трех частях, составленная Окхойкумаром Дотто (1820—1886), известным бенгальским писателем и просветителем.

«Бодходой» — другая популярная книга для начального чтения Ишшорчондро Биддашагора (см. прим. к стр. 214).

Стр. 217. *Шамла* — головной убор с украшениями; обычно носят адвокаты.

Стр. 218. *...песня Агомони* (Агомони — букв. «приходящая», «прибывающая»). — По преданию, каждую осень в светлую половину месяца ашшин (октябрь — ноябрь), во время праздника Дурги, супруга Шивы — Ума (одно из имен Дурги; см. прим.

¹ Изд-во М. Э. — (сокр.) издательство Мазумдар Эйдженси.

² Изд-во Х-ди — (сокр.) издательство Хитобади.

³ Изд-во И. П. Х. — (сокр.) издательство Индиан паблишинг хауз.

⁴ Изд-во В. — (сокр.) издательство Вишвабхарати.

к стр. 11) приходит к своим родителям, владыкам Гималаев. Ее приход встречают песней Агомони.

Н о ч ь ю («Нишитхе»). Первая публикация — журнал «Шадхона», магх (январь — февраль), 1895 г. Бенгальские публикации: Р. Тагор, Десять рассказов (Р. Тхакур, Голподошок), 1895; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. I, изд-во М. Э., 1900; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 4, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XIX, изд-во В. (1945, 1956). В английских изданиях: R. Tagore, Broken ties and other stories, London, 1925. В русских изданиях: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957.

Стр. 221. *...подобно слону Индры, замершему в страхе...* — По преданию, слон Индры — Айравата, опьяненный своей силой, пытался пересечь небесную Гангу, но не мог справиться с течением и стал тонуть. Ганга, сжалившись, спасла его.

Яма — индуистский Плутон, владыка подземного царства и преисподней. По верованиям индуистов, посланцы Ямы приводят к нему души умерших.

Стр. 228. *...утвердительно покачала головой.* — Покачивание головой — характерный жест индийцев, выражающий утверждение.

Б е д а («Апод»). Первая публикация — журнал «Шадхона», фальгун (февраль — март), 1895 г. Бенгальские публикации: Р. Тагор, Десять рассказов (Р. Тхакур, Голподошок), 1895 г.; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. I, изд-во М. Э., 1900; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 4, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XIX (1945, 1956). В английских изданиях: «Stories from Tagore», London, 1918 (1920—1923 — 3 переиздания). R. Tagore, Mashī and other stories, London, 1918. В русских изданиях: Р. Тагор, Новые рассказы (под заглавием «Покинутый»), Пг. — М. 1923;

Р. Тагор, Голодные камни (под заглавием «Покинутый»), Л. 1925; Р. Тагор, Счастливая ночь (под заглавием «Отверженный»), Пг. 1923; Р. Тагор, Отверженный (под одноименным названием), Л. 1925; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV (под заглавием «Несчастье»), М. 1956; Р. Тагор, Свет и тени (под заглавием «Несчастье»), М. 1957.

Стр. 236. «*Наль и Дамаянти*» — вставная поэма из III книги древнеиндийского эпоса «Махабхарата» (см. прим. к стр. 77).

Стр. 237. *Бидда* — героиня популярного сказания о любви принцессы Бидды к чужестранцу — принцу Шундору. Сказание, заимствованное из светской санскритской литературы, вдохновляло многих бенгальских поэтов; наиболее известна поэма «Биддашундор» выдающегося поэта XVIII века Бхаротчондро Рая (1712—1760). В рассказе речь идет о своеобразном народном представлении (джатра), сценической постановке на этот известный сюжет.

Старшая сестра («Диди»). Первая публикация — журнал «Шадхона», чойтро (март — апрель), 1895 г. Бенгальские публикации: Р. Тагор, Десять рассказов (Р. Тхакур, Голподошок), 1895; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. I, изд-во М. Э., 1900; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 4, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XIX, изд-во В. (1945, 1956). В английских изданиях: R. Tagore, *Mashi and other stories*, London, 1918. В русских изданиях: Р. Тагор, Новые рассказы, Пг. — М. 1923; Р. Тагор, Голодные камни, Л. 1925; Р. Тагор, Маши, Л. (1925?); Р. Тагор, Счастливая ночь, Пг. 1923; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956.

Создание рассказа «Старшая сестра» не свидетельствует об ослаблении критической позиции писателя, занятой им в отношении английского колониализма (см. рассказ «Свет и тени», т. 3 наст. изд.). Гипертрофируя благородство судьи-англичанина, писатель лишь хочет подчеркнуть глубину морального падения тех, на ком держатся патриархальные устои индийского общества.

Стр. 255. *Чанакья* (или Каутилья) — главный советник царя Чандрагупты (IV в. до н. э.), автор известного трактата «Артха-

шастра», содержащего подробные сведения о политической, социальной, экономической и военной организации современного ему государства. Здесь имеется в виду то место в трактате, где Чанакья не рекомендует подходить к хищным зверям ближе, чем на сто локтей. Интересно отметить, что Тагор в своих литературных произведениях часто прибегает к этому выражению, используя его в сатирическом плане.

Б а б у и з Н о й о н д ж о р а («Тхакурда»). Первая публикация — журнал «Шадхона», джойштхо (май — июль), 1895 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Семь рассказов (Р. Тхакур, Голпошопток), 1896; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. I, изд-во М. Э., 1900; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), кн. 4, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), т. 2 (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XX (1945, 1955). В английских изданиях: R. Tagore, *Hungry stones and other stories*, London, 1916; «*Stories from Tagore*», London, 1918. В русских изданиях: «Голодные камни» (под названием «Бабу Найянджора»), Л. 1925; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957; Р. Тагор, Свет и тени, М. 1957.

Стр. 261. *Сер* — мера веса, равная приблизительно 1 кг.

Бхори — мера веса, применяемая, в частности, ювелирами при определении веса золотых предметов. Соответствует весу золотой рупии в 180 гран.

Стр. 263. *Бхавабхути* — Шриканта Бхавабхути (VIII в.), поэт и драматург, писавший на санскрите. До нас дошли три его драмы «Малатимадхава», «Вирачарита» и «Уттарачарита». Стихи взяты из пролога к драме «Малатимадхава».

Стр. 266. *Урду* — один из наиболее распространенных языков Северной Индии, ныне один из государственных языков Пакистана (наряду с бенгали). При дворе последних императоров из династии Великих Моголов на урду говорила знать. Язык характеризуется наличием значительной арабско-персидской лексики.

Г о л о д н ы е к а м н и («Кхудито пашан»). Первая публикация — журнал «Шадхона», срабон (июль — август), 1895 г. Бен-

гальские издания: Р. Тагор, Десять рассказов (Р. Тхакур, Голподошок), 1895 г.; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. II, изд-во М. Э., 1901; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гроитхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 2, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, «Голпогуччо»), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XIX (1945, 1956). В английских изданиях: R. Tagore, Glimpses of Bengali Life, Madras, 1913; R. Tagore, Hungry stones and other stories, London, 1916 (1917—1922—5 переизданий). В русских изданиях: Р. Тагор, Рассказы из жизни Бенгалии, Собр. соч., кн. 7, М., Португалов, 1915; Р. Тагор, Голодные камни, Л. 1925; Р. Тагор, Рассказы, М. 1955; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956.

В 1877 году Тагор едет учиться в Англию. Перед отъездом он живет некоторое время в Аллахабаде у своего среднего брата — судьи. В своей книге «Детство» (1940) Тагор пишет:

«И вот я очутился в совершенно новой для меня обстановке. Брат жил в Шахибхаге, в бывшем дворце могольских императоров. Я словно окунулся в историю... Огромный пустой дом, казалось, силился рассказать мне о чем-то. Я ходил по комнатам, будто населенным видениями прошлого, какими-то таинственными духами... время для меня словно остановилось и повернуло вспять. Я вновь увидел грандиозную панораму прошлого. Казалось, оно было запрятано где-то глубоко под землей и охранялось духами — якшами...

Что же представлялось моему взору? С тех времен прошли столетия... Тогда в музыкальной зале ни днем, ни ночью не умолкали флейты и барабаны. Одна мелодия сменяла другую по мере того, как на смену ночи приходил рассвет, а следом за ним наступало утро... На улицах ритмично цокали копыта — шла парадным аллюром турецкая конница — с пиками наперевес, на остриях копий играли солнечные блики. Зловещий шепот бежал по рядам людей, толпившихся у дворца... врата женских покоев охраняли евнухи-абиссинцы с обнаженными мечами... А там, в бассейнах, купались принцессы, били фонтаны розовой воды, звенели браслеты на запястьях красавиц...

Безмолвие Шахибхага я ощущал, как молчание забытой легенды... стерлись яркие краски, навсегда умолкла музыка, остались только суетные дни, долгие мертвые ночи... Передо

мною высился голый скелет, с которого давным-давно свалилась корона...

Разумеется, я не решусь сказать, что волшебная сила моей фантазии могла полностью восстановить картину ушедших дней, облечь их во плоть и оживить. Игра воображения создавала туманную схему. Это и не трудно, когда так мало известно и так много забыто...

Ведь даже обращаясь к временам детства, я теперь, почти через восемьдесят лет, вспоминаю только отдельные разрозненные события своей жизни такими, какими они были в действительности, а остальное дорисовывает моя фантазия.

...пережитое мною впоследствии послужило основой для написания рассказа «Голодные камни».

Рассказ был написан в 1895 году в одну из поездок Тагора по его заминдарству, по реке Падме. Биограф Тагора Пробхаткумар Мукхопаддхай приводит еще одно воспоминание писателя: «Когда я писал «Голодные камни», я был весь полон игрой света и теней, звуков и красок природы. Читатель вряд ли почувствует и половину пережитого мною в те дни: что навевали моей душе поблескивавшая в мягком осеннем свете прохладного утра река, безмятежный покой раскинувшихся на ее берегах деревень, густые тени деревьев...»

Омол Хом сообщал в письме П. Шену, преподавателю университета в Шантиникетоне о некоторых прототипах героев рассказа: «Как-то раз, уже после того, как я прочел «Голодные камни», мне довелось познакомиться с Огорнатхом Чоттопаддхаем. Все: одежда, манеры, разговор — живо напоминало мне образ рассказчика в «Голодных камнях». А Рабиндранат на мой вопрос ответил, что тот действительно послужил прообразом, но только частично. Многое было заимствовано от доктора Нишиканто Чоттопаддхая из Хайдерабада, бывшего преподавателя санскрита в Санкт-Петербургском университете, близкого друга семьи Тагоров. Что касается спутника-теософа, то его прообразом оказался Мохинимохон Чоттопаддхай, зять Диджендронатха, старшего брата Рабиндраната».

Стр. 269. *...русские продвинулсь далеко вперед...* — Речь идет о вступлении царской армии в 80-х годах XIX века в Туркмению, в частности, занятие в 1884 г. Мервского оазиса, вызвавшее резкое обострение русско-английских отношений. Конфликт завершился подписанием соглашения о русско-афганской границе в 1895 году и договором о разделе сфер влияния на Памире.

Стр. 270. *Низам* — титул мусульманских правителей княжества Хайдерабад (1724—1950). В 1950 г. Хайдерабад вошел как штат в состав Республики Индия.

Ситара — трехструнный щипковый музыкальный инструмент.

...газели о виноградниках... — По-видимому, речь идет о садах вообще, ибо в персидской поэзии виноградник часто служит синонимом сада.

Стр. 274. *...«натх» ...«чондро»* («владыка», «луна»). — Бенгальские индуистские имена чаще всего состоят из двух, иногда трех, имен, каждое из которых имеет определенное значение, например: Робиндронатх (бенгальское произношение имени Рабиндраната Тагора) состоит из трех слов: роби—«солнце», индро (Индра) — имя бога, натх — «господин», «владыка».

Стр. 278. *Саранги* — струнный музыкальный инструмент, напоминающий скрипку.

С к и т а л е ц («Отитхи»). Первая публикация — журнал «Шадхона», тройной номер за бхадра — картик (сентябрь — ноябрь), 1895 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Десять рассказов (Р. Тхакур, Голподошок), 1895; Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. II, изд-во М. Э., 1901; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 3, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XX (1945, 1955). В английских изданиях: R. Tagore, Glimpses of Bengali Life, Madras, 1913; R. Tagore, Runaway and other stories, Calcutta, 1959. В русских изданиях: Р. Тагор, Рассказы из жизни Бенгалии, Собр. соч., кн. 7 (под заглавием «Странствующий гость»), М., Португалов, 1915; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV (под заглавием «Гость»), М. 1956; Р. Тагор, Рассказы (под заглавием «Гость»), М. 1957; Р. Тагор, Свет и тени (под заглавием «Гость»), М. 1957.

Стр. 288. *...рассказ о Куше и Лаве...* — Куша и Лава — братья, сыновья Рамы и Ситы, воспитанные в лесу поэтом Вальмики (по другой версии — мудрецом Вьясой). Рассказ о них входит в «Рамаяну».

Стр. 291. *...минуло всего пять лет.* — Помолвки совершаются в правоверных индуистских семьях рано, и, если будущий муж умирает, девочка считается вдовой и не может выйти замуж.

Обманутые надежды («Дураша»). Первая публикация — журнал «Бхароти», бойшакх (апрель — май), 1898 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхаккур, Голпо), кн. II, изд-во М. Э., 1901; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхаккур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхаккур, Голпогуччо), кн. 3, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхаккур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXI (1946, 1957). В английских изданиях: R. Tagore, Runaway and other stories, Calcutta, 1959. В русских изданиях: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V (под заглавием «Утраченные надежды»), М. 1956; Р. Тагор, Рассказы (под заглавием «Утраченные надежды»), М. 1957.

В своей работе «О Рабиндранате» Бипинбихари Гупто пишет: «Роби-бабу рассказывал: «Как-то раз в Дарджилинге на одном из вечеров махарани Куч-Бихара предложила: «Давайте все вместе сочиним рассказ. Начнет Роби-бабу». Я согласился, но решил про себя: пусть рассказ будет романтическим и события происходят не в Бенгалии. «Итак начнем, — сказал я вслух. — В Дарджилинге, на обочине Калькутта-роуд сидела женщина-хиндустанка и плакала...» Тут я остановился. Все молчали. Мне ничего не оставалось, как продолжать. Так были задуманы «Обманутые надежды».

А в одном из писем (журнал «Пробаши», срабон, 1932 г.) Тагор вспоминает:

«Повесть о Кешорлале — вымышленная, однако не совсем. Рассказ скорее пример того, как из ничего можно создать нечто... В бытность мою в Дарджилинге я виделся с махарани Куч-Бихара, она любила слушать «интересные» истории. И вот по ее просьбе я экспромтом сочинил этот рассказ («Обманутые надежды». — А. Г.), а также «Исчезнувшее сокровище» и пролог к «Учителю».

Стр. 301. *Хинди... Хиндустанни.* — Хинди — наиболее распространенный язык Северной Индии, ныне государственный язык Республики Индия. Хиндустанни — здесь, очевидно, одно из названий языка урду (см. прим. к стр. 266). В рассказе речь идет именно о таком толковании языка хиндустанни.

Сахиб — господин, обычная форма обращения к европейцам, *Наваб* — мусульманский правитель.

Стр. 302. *Бибисахеп* — госпожа, форма обращения к знатной женщине-мусульманке.

«*Облако-вестник*», «*Кумарасамбхава*» — поэмы Калидасы.

Стр. 304. *..лесни бойраги* — Бойраги — название лада утренних ритуальных напевов, гимнов, призывающих и восхваляющих божество.

Стр. 305. *Кешорлал-тхакур*. — Тхакур — почтительная форма обращения к брахманам.

Стр. 309. *Бабу-джи* — господин, форма обращения к бенгальцам.

Стр. 310. *Тантия Топи* (1814—1859) — выдающийся индийский военачальник, один из самых блестящих партизанских вождей Великого национального восстания 1857—1859 годов. Много месяцев вел успешную борьбу с превосходящими силами англичан. Выданный предателем, погиб на виселице 18 апреля 1859 года.

Стр. 311. *Шудры* — низшая из четырех основных каст Индии.

Стр. 312. *Дхарма* — основной религиозно-этический догмат; многозначное понятие, включающее в себя кодекс морали, праведности и весь круг обязанностей ортодоксального индуса.

Ж е р т в о п р и н о ш е н и е («Путроджогго»). Первая публикация — журнал «Бхароти», джойштво (май—июль), 1898 г., за подписью Шоморендро Тхакура. Бенгальские публикации: Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи») т. XXI (1945, 1956). Английских изданий нет. В русских изданиях: Р. Тагор, Рассказы, М. 1955; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957.

В письме Шоморендро Тхакура П. Шену есть прямое указание на то, что рассказ принадлежит Р. Тагору. «Нет никакого сомнения, — пишет он, — в том, что рассказ написан Рабиндранатом. В свое время я сделал для «Кхамкейали Шобха» (литературный клуб в Калькутте. — А. Г.) набросок одного рассказа и показал его Рабиндранату. Рабиндранат, не оставив буквально ни одного слова, написал на этот сюжет — в своей неповторимой манере — совершенно новое произведение и прочел его в «Кхамкейали Шобха», выдав за мое творение. Видимо, поэтому его и напечатали под моим именем. Мне доставило большую радость узнать, что рассказ включен в сборник Рабиндраната и ошибка тем самым исправлена».

Стр. 314. ...*врата ада, который уготован мужчинам, не имеющим сыновей.* — По поверьям ортодоксальных индусов, отцы семейств, не имеющие сыновей, какими бы благочестивыми они ни были, направлялись Ямой (см. прим. к стр. 221) в особый ад — путнарак, спасти от которого могло лишь рождение в семье мальчика.

К о р о н а ц и я («Раджтика»). Первая публикация — журнал «Бхароти», ашшин (сентябрь—октябрь), 1898 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. II, изд-во М. Э., 1901; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), кн. 3, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXI (1946, 1956). В английских изданиях: R. Tagore, *Hungry stones and other stories*, London, 1916. В русских изданиях: Р. Тагор, «Голодные камни» (под названием «Мы венчаем тебя королем»), Л. 1925; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957.

Стр. 323. *Сурендранатх Банерджи* (1848—1925) — видный индийский общественный и политический деятель. В 1875 году он основал в Бенгалии «Индийскую ассоциацию» — предшественницу Индийского национального конгресса, одним из основателей и первых руководителей которого он был. Славился ораторским искусством.

...по случаю дня рождения королевы Виктории... — В этот день обычно оглашались списки лиц, получивших очередные звания и награды от англо-индийского правительства.

И с ч е з н у в ш е е с о к р о в и щ е («Монихара»). Первая публикация — журнал «Бхароти», огрохайон (ноябрь — декабрь), 1898 г. Бенгальские публикации: Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. II, изд-во М. Э., 1901; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), кн. 3, изд-во И. П. Х., 1901; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXI (1945, 1956). В английских изданиях: R. Tagore, *Broken ties and other stories*, London, 1925. R. Tagore, *Runa-*

way and other stories, Calcutta, 1959. В русских изданиях: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы (под заголовком «Утерянное сокровище»), М. 1957.

Стр. 335. *Колридж Сэмюэл Тейлор* (1772—1834) — известный английский поэт-романтик. В рассказе речь идет о его поэме «Старый моряк».

Стр. 350. «*Махамудгара*» — сборник поучений о путях избавления от ложного, иллюзорного мира, из сетей майи — иллюзии. Авторство приписывается философу Шанкарачарье (VIII—IX в.) — основоположнику идеалистической философской школы Веданта.

Оплошность («Дурбуддхи»). Первая публикация — журнал «Бхароти», бхадра (август — сентябрь), 1900 г. Бенгальские публикации: Р. Тагор, Рассказы (Р. Тхакур, Голпо), т. I, изд-во М. Э., 1900; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), кн. 4, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXII (1946, 1957). Английских изданий нет. В русских изданиях: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Тагор, Рассказы, М. 1957.

Счастливые смотрины («Шубходришти»). Первая публикация — журнал «Пробаши», ашвин (сентябрь—октябрь), 1900 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), т. 2, изд-во М. Э., 1900; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), кн. 2, изд-во И. П. Х., 1908; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччхо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXII (1946, 1957). В английских изданиях: R. Tagore, Glimpses of Bengali Life, Madras, 1913; R. Tagore, Mashi and other stories, London, 1918. В русских изданиях: Р. Тагор, Собр. соч., кн. 7 (под названием «Счастливый взгляд»), М., Португалов, 1915; Р. Тагор, Счастливая ночь. Пг. 1923; Р. Тагор, Маши, Л. (1925?); Р. Тагор, Новые рассказы (под названием «Благая встреча»), Пг. — М. 1923; Р. Тагор, Голодные камни (под названием «Благой взгляд»), Л. 1925; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956.

Стр. 360. *Мандакини* — в древней мифологии небесная Ганга, главная часть Ганги, протекающая на небесах.

Парвати — в индуистском пантеоне супруга бога разрушения и созидания Шивы (см. прим. к стр. 87).

Несчастье маленького человека («Улукхорер би-под»). Первая публикация в периодической печати неизвестна. Бенгальские издания: Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во М. Э., 1901; Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 1, изд-во И. П. Х., 1908; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 1, изд-во В., 1926 (1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956 — т. 2.); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XX (1945, 1955). Английских изданий нет. В русских изданиях: Р. Тагор, Рассказы (под названием «Непоправимое несчастье»), М. 1955; Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. IV (под названием «Непоправимое несчастье»), 1956.

Стр. 336. *Наиб* — управляющий заминдарством, главный сборщик налогов.

Стр. 367. *Храмовый надел* — надел, подаренный брахману и не облагаемый налогами.

Разоренное гнездо («Ноштонир»). Первая публикация — журнал «Бхароти», бойшакх — огрохайон (апрель — ноябрь), 1901 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Избранное (Р. Тхакур, Гронтхаболи), раздел «Романы», изд-во Х-ди, 1904; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), кн. 5, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхакур, Голпогуччо), т. 2, изд-во В. (1926, 1934, 1940—1943 — 4 переиздания, 1956); Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXII (1946, 1957). Английских изданий нет. Русские издания: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V (под названием «Разрушенное гнездо»), М. 1956; Р. Тагор, Рассказы (под названием «Разрушенное гнездо»), М. 1957.

По мнению известного индийского критика и общественного деятеля Кришно Крипалани, «это произведение («Разоренное гнездо». — А. Г.), хотя и было позднее включено в сборники рассказов, является в действительности повестью». Мнение К. Крипалани разделяют П. Мукхопаддхай и другие бенгальские литературоведы. Повесть, возможно, отразила личные пережи-

вания писателя, о чем также упоминает К. Крипалани: «Можно делать догадки, прослеживая сложный ход развития чувств героев, приведший к трагической развязке, что Тагор запечатлел свои собственные воспоминания. (Речь, возможно, идет о трагической смерти Кадомбори Деби, жены брата Тагора, Джотириндронатха. — А. Г.) Это вполне вероятно. Однако проблема, поставленная им, имеет общечеловеческое звучание». Оценивая повесть, К. Крипалани продолжает: «...эти два произведения («Разоренное гнездо» и «Песчинка». — А. Г.) заложили основу современного романа в индийской литературе». «Разоренное гнездо» — одно из самых выдающихся произведений Тагора», — отмечает П. Биши. «Произведения Тагора заложили основу и дали направление современному роману, — пишет Ш. Бондопадхай, — из них «Разоренное гнездо» наиболее примечательно... его, в частности, можно назвать первым в современной литературе рассказом, касающимся темы «запретной любви». Существует мнение, что роман «Сожженный дом» бенгальского классика Шоротчондро Чоттопаддхая являлся в известном смысле продолжением этой темы.

Стр. 373. *...тебе, как принцессам в древности...* — шуточный намек на существовавший в древности обычай. У раджи было две жены-рани — шуйарани (букв. «счастливая»), которая была фавориткой и жила во дворце, и дуйарани (букв. «несчастливая»), жившая в саду, в небольшом домике. Принцесса — дочь дуйарани — обычно должна была ухаживать за дворцовым садом.

Стр. 375. *Иден-гарден* — большой парк в центре Калькутты.

Стр. 379. *Колоконтхо* — букв. «сладкозвучный»; *Гологондо* — букв. «больной зобом».

Стр. 380. *Ашока* — здесь игра слов, построенная на совпадении: ашока (*Ionesia asoka*) — большое вечнозеленое дерево с ярко-красными почками, считается священным. *Ашока* (273—232 до н. э.) — знаменитый император династии Маурьев, в его царствование государство Маурьев достигло наибольшего расцвета.

Стр. 383. *Раскин Джон* (1819—1900) — английский критик и философ-идеалист, автор многочисленных работ по литературе и искусству; проповедник «христианского социализма».

...месяц, ашар — май—июнь по европ. календарю; *фальгун* — февраль—март по европ. календарю.

Стр. 384. *«Мегхнадбодх»* — известная поэма выдающегося бенгальского поэта XIX века Модхушудона Дотто (1824—1873).

«Чондимонгол» — одно из наиболее замечательных произведений средневековой бенгальской литературы, созданное Мукундорамом Чоккроборти (XVII в.), известным под псевдонимом «Кобиконкон».

Стр. 389. *«Комолаканто»* — произведение классика бенгальской литературы XIX века Бонкимчондро Чоттопаддхая.

Стр. 395. *Чарупатх... Омола*. — Бенгальские имена, как правило, несут на себе смысловую нагрузку. В частности: Чару — значит «прекрасная», а Омола — «чистый», «незапятнанный». На этом построена игра слов: Чарупатх, значит «приятное чтение», Омола — «чистая».

Стр. 407. *...тысячу имен Дурги*. — По индуистскому поверью, если написать 1000 раз имя Дурги, это может умиловать грозную богиню и принести счастье. Набожные торговцы, например, не открывают магазина, пока не выполнят этого обряда.

Стр. 422. *...повести Бонкима* — то есть Бонкимчондро Чоттопаддхая.

Учитель («Мастармошай»). Первая публикация — журнал «Пробаши», ашар — срабон (июнь—август), 1907 г. Бенгальские издания: Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхаккур, Голпогуччо), т. 5, изд-во И. П. Х., 1909; Р. Тагор, Восемь рассказов (Р. Тхаккур, Атти голпо), изд-во И. П. Х. (1911, 1935, 1946, 1949); Р. Тагор, Избранные рассказы (Р. Тхаккур, Голпогуччо), т. 3, изд-во В.; Р. Тагор, Собр. соч. в 26 тт. («Робиндророчонаболи»), т. XXII (1946, 1957). В английских изданиях: «Stories from Tagore», London, 1918. В русских изданиях: Р. Тагор, Сочинения в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Тагор, Свет и тени, М. 1957.

Рассказ «Учитель» был написан по заказу Раманондо Чаттерджи, известного общественного деятеля, издателя популярных калькуттских журналов «Пробаши» (на бенгальском языке) и «Модерн Ревью» (на английском языке). Тагор испытывал в тот год значительные материальные затруднения в связи с предстоявшей свадьбой дочери, и Раманондо Чаттерджи выдал ему в счет гонорара за рассказ аванс в 300 рупий.

Бипинбихари Гупто приводит в своей книге о Тагоре свидетельство писателя: «Однажды меня пригласил к себе на обед махараджа Натора. Среди гостей была махарани Куч-Бихара. После трапезы она попросила меня рассказать о привидениях. «Быть того не может, чтобы вы их никогда не видали», — ска-

зала она... Что я мог поделать? Пришлось согласиться. Однажды мы с махараджей, — начал я, — задержались на одном приеме. Было очень поздно, и махараджа предложил отвезти меня домой в своем экипаже. У Майдана я сошел. Я пытался нанять фаэтон на перекрестке. Кучер упорно отказывался ехать в Джорашанко. Он поехал только после того, как махараджа записал его номер и пригрозил сообщить в полицию.

И вот я в карете. Дверца захлопнулась, лошади тронулись. Внезапно я почувствовал, что в карете я не один. Кто-то коснулся меня. Я пошарил в темноте рукой — никого. Меня стало трясти от страха; я не выдержал и позвал мальчика, сидевшего на запятках: «Поди сюда». Но мальчик наотрез отказался, и чем больше я его уговаривал, тем упорнее он твердил свое: «Не пойду, бабу...» Лошади стали кружить по огромному, залитому лунным светом Майдану. Опять кто-то коснулся меня; я пытался обеими руками защитить себя... Вдруг в карете раздался громкий хохот... Голова у меня закружилась, я закричал и в испуге выскочил из экипажа. Очнувшись, я увидал, что уже светло и я нахожусь у своего дома. Днем я рассказал о ночном происшествии махарадже. Он пошел со мной в полицейский участок. Инспектор поинтересовался номером экипажа и сказал: «Когда-то в этом экипаже на Гхорер Матх покончил жизнь самоубийством один клерк, и с тех пор ночные пассажиры, нанимающие этот экипаж, испытывают неприятные ощущения. Извозчик, боясь, как бы я не отобрал у него лицензию, не возит ночью седоков на далекие расстояния...» — Тут я остановился. «Это все правда?» — спросила махарани. «Да нет же, махарани, конечно, неправда, я все выдумал...» Позже я написал этот рассказ совсем по-иному».

Стр. 435. *Бхобанипур* (Бхаванипур) — в начале XX века проходившая через Калькутту часть Гранд Трэнк Роуд — шоссе, связывающего Калькутту и Дели. В настоящее время один из крупнейших районов города.

Майдан — большой район в Калькутте, прилегающий к рукаву Ганги — Хугли, где расположены парки, стадионы, ипподром, — место отдыха калькуттцев. Его называют «легкие города».

А. Гиатюк-Данильчук

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- 1. Рабиндранат Тагор (1914 г.)**
- 2. Страница из рукописи «Дом и мир»**
- 3. Рабиндранат Тагор в Японии (1916 г.)**
- 4. Рабиндранат Тагор на митинге Индийского Национального конгресса, 1917 г. (с картины Гогонендронатха Тагора)**
- 5. Рабиндранат Тагор (1917 г.) — карандашный рисунок Мукулчондро Де**
- 6. Рабиндранат Тагор и его старший брат Диджендронатх Тагор**
- 7. На дороге надежды — акварель работы Ошиткумара Халдара**
- 8. Шантиникетон. Настенные лепные украшения в древнеиндийском стиле, выполненные учащимися «Кола-бхобон» (Школы искусств)**

СОДЕРЖАНИЕ

ДОМ И МИР. Роман. Перевод В. Новиковой . . . 7

РАССКАЗЫ

Тетрадь. Перевод Е. Алексеевой	213
Ночью. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	220
Беда. Перевод С. Рудина	233
Старшая сестра. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	246
Бабу из Нойонджора. Перевод Г. Шестопаловой	258
Голодные камни. Перевод Е. Алексеевой	269
Скиталец. Перевод И. Товстых	282
Обманутые надежды. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	300
Жертвоприношение. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	314
Коронация. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	319
Исчезнувшее сокровище. Перевод С. Рудина	334
Оплошность. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	354
Счастливые смотрины. Перевод Т. Гуниной	359
Несчастье маленького человека. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	366
Разоренное гнездо. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	370
Учитель. Перевод А. Гнатюка-Данильчука	435
Комментарии	467
Список иллюстраций	494

Рабиндранат Тагор
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 6

Редактор М. Кафитина
Художественный редактор Г. Клодт
Технический редактор Ж. Примак
Корректоры Р. Пунга и А. Юрьев

✱

Сдано в набор 6/VII 1963 г.
Подписано в печать 18/X 1963 г.
Бум. 84×108¹/₃₂. 15,5 печ. л. = 25,42
усл. печ. л. 24,48 уч.-изд. л. + 8 вкл. =
= 24,88 л. Тираж 98 000. Зак. 1537.
Цена 1 р. 10 к.

Издательство
художественной литературы
Москва. Б-66, Ново-Басманная, 19.

✱

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УЦБ и ПП Ленсовнархоза
Ленинград, Измайловский пр., 29.



Рабиндранат Тагор
(1914)

[illegible][illegible][illegible]

Signature _____

Figure 1

Страница из рукописи «Дом и мир»



Рабиндранат Тагор в Японии
(1916)



Рабиндранат Тагор на митинге
Индийского Национального конгресса
(1917)

С картины Гогоендронатха Тагора



Рабиндранат Тагор
(1917)

Карандашный рисунок Мукулчондро Де



Рабиндранат Тагор и его старший брат Диджендронатх Тагор



На дороге надежды

Акварель работы Ошиткумара Халдара



Шантиникетон

Настенные лепные украшения в древнеиндийском стиле, выполненные учащимися «Кола-бхобон» (Школы искусств)

12.10.16